

174642

ЗНАМЯ
1942г.

W3-4

8.24.20 021

ЗНАМЯ

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ СССР

177672.

МАРТ—АПРЕЛЬ

КНИГА ТРЕТЬЯ—ЧЕТВЕРТАЯ

ВОЛОГОДСКАЯ
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Обл. Библиотека

ОГИЗ

МОСКВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1942

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ПАДЕНИЕ ПАРИЖА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Люсьен шел по затемненному городу. Походка была необычной: он как будто ощущивал враждебную землю. Моросил дождик. Синие лампочки таинственно просвечивали среди черной листвы платанов. Люсьен мнил. Еще позавчера он думал, что войны не будет: просто отец подготавливает очередной министерский кризис. И вот вам сюрризм!.. Рассказывают, что на линии Мажино уже стреляют. Завтра вечером Люсьен должен явиться на призывной пункт. За что он будет сражаться? За Бека? За «человеческое достоинство», как сказал папаша? Могут убить... Но страшнее другое: окопы, дугань капрала, переходы по сорок километров. Скучно!

И Люсьен громко зевнул. Его окликнула жепщина:

— Хочешь бай-бай?

Он засмеялся: эти не теряют времени! — на углу стояли проститутки с противогАЗами. Люсьен сказал:

— Значит, на боевом посту?

Одна из жепщин выругалась.

Люсьен увидел за шторами свет; зашел в бар. Там былолюдно; пили, кричали. Заплаканная хозяйка чокалась с посетителями.

— Ваш?..

— Сегодня уехал.

Владелец зеленой пил ром и бушевал:

— Нет, вы мне скажите, кому она нужна, эта война? Пашлевать мне на поляков!

Другие поддержали:

— Если англичане хотят, пожалуйста, пускай воюют!..

— Секрет полишинеля — Тесса получил миллион фунтов!..

Люсьен не вмешивался в разговор; молча пил и злился. Потом пошел к жепни — простится и заодно возьмет несколько тысяч. Завтра он будет весь день пить. Да и с собой нужно прихватить тысячку — не сидеть же у солдатской балаиде!..

Жепни его встретила грустная, но восторженная. Все ей казалось необычным: Люсьен будет защищать свободу, а Париж разрушат, погибнет Лувр... Она обнимала его и говорила:

— Весь мир должен выступить... Я купила тебе теплые вещи...

Увидав меховой жилет, Люсьен фыркнул:

— Это, милая моя, для офицера, а я солдат второго ранга. И потом тепе сентябрь, до зимы все кончится.

— Люсьен, у тебя есть противогаз? Они, паверно, сегодня прилетят. Я ходила за противогазом, но иностранцам не дают. В аптеке мне продали какую-то жидкость, сказали, когда пустят газы, смочить этим носовой платок. Видишь?

— Бутылочка очаровательная. Чем па духи «Молине»? Вообще, да здравствует изящная жизнь! Я надеюсь, что и вши в окопах будут элегантным.

Он фальшиво запел «Париж остается Парижем». Дженни зажала уши. И том она стала серьезной.

— Люсьен, скажи, тебе страшно?

— Нет, противно.

— Но ведь правда на нашей стороне?

Он недаром опрокинул в баре четыре рюмки — как он смеялся! Его немно белое лицо зарумянилось.

— «Правда»?.. погоди, сейчас я тебе все объясню.

Он сорвал с постели кружевное покрывало, накинул его на плечи, налову надел шляпу Дженни, сложил руки и забормотал:

— Дети мои, святой дух снизошел на Бонне и Тесса. Мы придем помощь великомученику Беку. Этот бессребреник сподобился узреть боимать в чешском городе Тешене. А в Беловсжежской пуще, он постился вмессо святым Себастьяном, в миру именуемым маршалом Герингом. А тепе Вельзевул хочеть отнять у Бека Данцит. Трепещите, нечестивцы! Поль Тедет освобождать гроб господень. Аминь!

Дженни растерялась. О каком Беке говорит Люсьен? И где этот Тешен? Она не читала газет, не разбиралась в политике. Но за гаерством Люсьена она почувствовала тоску. Молча они выпили кофе. Наконец Дженни робко спросила:

— Значит, неправда, что война за свободу?

— За какую свободу?

— Не знаю... За свободу вообще... Ну, писать в газетах что хочешь...

Он зевнул.

— Жолио вчера был красным, сегодня он белоснежка, завтра станет стефиолетовым. Скучно!

Она задумалась; потом наивно сказала:

— Тогда нужно устроить революцию.

Люсьен рассердился: сколько он терзался над этим словом! Дом культуры, статьи, книги, ссоры с отцом... И вот какая-то американочка ему подносит «Устроить революцию»!

— Устраивайте у себя. Мы четыре раза устраивали. С меня хватит! Лно, раздевайся, я хочу спать.

Его разбудил крик сирены. Дженни тряслась; ее руки не попадали в ирокне рукава пеньюара. А он повернулся на другой бок: к чорту! НапрасДженни умоляла его спуститься в подвал. Наконец постучали в дверь:

— Сходите.

— К чорту!

— Я — начальник претивовоздушной обороны.

Пришлось сойти. В погребе было жарко, тесно; мужчины в полосатых

жамах; растрепанные, полуголые женщины. Небритый субъект, называвший себя «начальником», покрикивал: «Соблюдать тишину», «Приготовить противогазы». По его команде старенькая консержка стала зачем-то поливать стены водой. Женщина, прижав к себе детей, всхлипывала. Говорили, будто бомба упала на соседнюю улицу. Дженни держала флакон с таинственной жидкостью и кружевной платочек. У одной женщины были красивые плечи; Люсьен загляделся; растолкав других, стал с ней рядом. Красавица отодвинулась. Люсьен злобно пробурчал:

— Теперь, сударыня, время военное...

Глаза Дженни были мокрыми — от ревности, от страха, от предстоящей разлуки. А Люсьен все зевал и зевал.

Так ему и не удалось выспаться. Утром он вышел сонный, злой. В подъезде скандалила женщина: у нее магазин вина, а погреб хотят отобрать под какое-то бомбоубежище!..

— Я пойду к министру! Они все время кричат, что Франция должна быть сильной. Так зачем же бить по коммерции? Я не очищу погреба. Вы меня слышите? Вы перейдете через мой труп!

Люсьен приподнял измятую шляпу:

— Великолепно!.. Вы достойны лучших героинь Расипа. «К оружию, граждане!..» Шу и балаган!..

2

Каждую ночь парижане просыпались от рева сирен. Какие-то люди рассказывали, будто видели разрушенные дома. Но Тесса усмехался: «Простая предосторожность. Стоит немцам перелезть границу, как мы даем тревогу. Это приучает Париж к идее самопожертвования...» Многие предпочли покинуть беспокойную столицу. Богатые кварталы опустели; зато ожили курорты Нормандии и Бретани. Запасные ехали на восток; рассудительные буржуа — на запад.

Монтинья отправил семью в Овернь: «Идеальное место! На сто километров ни одного завода...» Обеспечив мир домашним, он приступил к другому, более сложному делу: начал переправлять капиталы в Америку. Узнав об этом, Дюкава написал статью «Плохой француз». Цензура статью запретила; два белых столбца в газете были украшены изображением ножиц. О нападках Дюкава рассказали Монтинья; тот возмущился: «Скажите, пожалуйста, Дантон!.. Я хочу сберечь то, что принадлежит мне и только мне. Кажется, Франция ничего не выиграет, если я разорюсь».

Повет решила ехать к тетке в Морван: боялась газов. Тесса всполосилась: в такое время остаться без женской ласки!

— Ты хочешь бросить меня одного...

— Поль, я не героиня.

— Тебе печего бояться. Сюда они не прилетят. Это молчаливый уговор... Если они тронут Париж, мы начнем бомбить Берлин. А это им невыгодно.

Повет заплакала:

— Зачем вы затеяли эту войну?

— Я? — голос Тесса задрожал от обиды. — Как ты могла такое сказать?.. Ты знаешь, что я хотел одного: сохранить мир. Но что же мы могли сделать? Они полезли на стену.

Повет продолжала плакать:

— Зачем убивать людей?

— Никого не убивают. Воюют поляки. В конечном счете это их дел Даницг не Страсбург. Понятно, на линии Мажино могут быть случайные жертвы. Но сколько погибает в мирное время от автомобильных катастроф. Пойми, конечка, теперь все изменилось. Нельзя рассуждать по-старинке. Э не война в прежнем смысле слова. У нас линия Мажино, у них линия Зифрида. Никто не может продвинуться вперед хотя бы на один километр. Значит, мы будем сидеть друг против друга и таранить глаза. Покойная Амали в таких случаях говорила: «Как фарфоровые собачки на этажерке...» Полиция защищается великолепно. Я всегда говорил: рыцарский народ! Они продержатся до весны, может быть, и дольше. За это время мы хорошенько вооружимся. А тогда можно будет договориться с немцами. Ты видишь, что тебе нечего бояться.

— Все это ужасно... Когда я выхожу на темную улицу... И ночью... Сны...

Заплаканная, она показалась Тессе еще привлекательней. Он прижал к груди свою маленькую птичью головку.

— Конечка, не уезжай! Я очень измучен... Ты не можешь себе представить, сколько у меня работы. Вель ближайшие недели будут решающим

— А ты сказал, что ничего не будет...

Он засмеялся:

— Глупенькая, конечно, ничего не будет. Я говорю о внутренних делах. Большинство в Палате обеспечено. Но ты понимаешь, что значит ликвидировать коммунистов? Это не простая полицейская операция. Это настоящая кампания большого стиля. Здесь нужен Паулюс. Но мы их уничтожим!

Его лицо окаменело. Ему казалось, что он показывает пример гражданской добродетели. Кто знает, как он любил Дениз! Но она пошла с врагами Франции, и он вырвал из сердца отцовские чувства.

И вдруг Тесса хихикнул:

— Я тебе сейчас расскажу... Это очень смешно! Догадайся, что предстоит завтра? Никогда не догадаешься. Я должен представлять правительство на торжественной мессе. Ты видишь меня кольчужником? Или разве не смешно?

Но Полеет продолжала плакать.

С детских лет Тесса не бывал в церкви. Он ненавидел все, связанное с религией; желая высмеять кого-нибудь, говорил: «Воняет ладаном», а священников называл «черными воронами», чем в свое время немало огорчал Амали.

Он думал, что в церковь ходят только старухи, и удивился, увидев среди молящихся мужчин даже военных. Полумрак, свечи — как над гробом Амали... Им овладела грусть. Тонкие голоса певчих и лучи солнца, и тяжелые свозы темнофиолетовые стекла, говорили о потерянном рае. Тогда теперь понимал этот язык: у него отобрали Амали, детей, покой. Конечка все эти обряды — предрассудки; но иногда приятно уйти от мелких драбеньки...

Он поглядел на толстого епископа: красные жилки, а глаза печальные умные. Наверное, и у епископа свои заботы — надо ладить с паной, с министрами, с папвой. Жизнь — это политика. А потом — конец, воскров свечи.

Зазвенел колокольчик; все опустились на колени. Тесса про себя усм

нулся — как в театре... Но покорно согнул колени и потом поднялся вместе с другими.

Натеоло!.. Тесса едва сдерживал судорожную зевоту. И вдруг оживился: направо стояла молодая женщина в длинном черном платье, с большим выпуклым лбом и тонкими, но яркими губами. Тесса подумал: флорентийка, портрет Бронзино... А такие бывают страстными, очень страстными...

Почувствовав на себе жесткий взгляд Бретейля, Тесса вздрогнул, зашевелил губами, как будто молился. Дураки думают, что роль Бретейля кончена — он ведь стоял за сближение с Германией. Но Тесса понимает, что будущее принадлежит Бретейлю. Все проклинают Народный фронт; значит, правительственное большинство будет перемищаться направо. И потом война не навеки!.. А кто сможет договориться с Гитлером, если не Бретейль? Да, с этим изувером нужно ладить!

Звуки органа снова навели на Тесса тоску. Ничего не скажешь — играют красиво... В семнадцатом году случилась катастрофа: снаряд «Берты» попал в церковь. Было очень много жертв. Вдруг сейчас упадет бомба? Нет, не может быть: они побоятся начать. Воевать никому не охота... Говоря откровенно, поляки — дикари. Немцы ведут в Польше колониальную войну. А французов они уважают... Жалко, что не договорились! Муссолини, наверно, помирил бы всех. Растерялись... И вот война... Гамелен придумал какую-то операцию в лесу. А там мины... Зря убивают людей. Могут убить и Люсьена. Конечно, Тесса устроил бы его в штабе, но шелонай исчез, его теперь не найти. Грустно это! Да и все грустно... Когда же они кончат играть?

Вот генерал де Виссе... Как он усердно молится! А говорили, что он — приятель Фуже, красный... Смешно, командующий армией — и кладет поклоны, как деревенская бабка. Неужели он верит в непорочное зачатие? Впрочем, пускай!.. Лучше, чем водиться с Фуже.

Служба кончилась. После церковного мрака Тесса наслаждался ярким осенним днем. Камитаны были в золоте. На Елисейских полях, как водяная зыбь, дрожали солнечные пятна. Женщины выглядели особенно нарядными. В предвидении бомбардировок обыватели наклеили на оконные стекла полочки бумаги; получались затейливые узоры. Тесса усмехнулся; вот вам новый декоративный стиль!

3

Частунил октябрь. Зарядили дождь. Тесса в кулуарах парламента кричал: — Я всегда говорил, что поляки не продержатся и месяца! Это воры и пропойцы. Но мы ничего не потеряли. Наоборот... Гитлер убаюкивал немцев победами на востоке. Теперь они почувствуют, что такое линия Мажино. Четырнадцатого июля мы будем танцевать всю ночь на освещенных улицах, увидите!

С неба падали не бомбы, а листовки. И фешенебельные кварталы ожили. Монтинья выписал семью: зачем мокнуть под дождями в глухом поместье? Жена Монтинья ворчала — не могла примириться с продовольственными ограничениями:

— Бог знает что такое!.. Какое дело правительству до кухни? Пензвестно, что заказать на обед: в понедельник нельзя получить бараньих котлет, во

вторник запрещено продавать ростбиф, в среду не делают пирожных... Это издевательство!

На несколько дней исчезло кофе; госпожа Монтинья обезумела:

— Я была у Корселе, у Карлама — нигде... И подумать, что все это из-за поляков! Я убеждена, что англичане пьют свой чай. Они себе ни в чем не отказывают. Винават Даладь: это ничтожество, репетитор, а не премьер!..

Кофе вскоре привезли, и госпожа Монтинья несколько успокоилась.

Дела шли прекрасно: близость смерти даже скупцов сделала расточительными. В ресторанах нельзя было найти свободный столик. Ателье мод работали, как никогда. Дамские шляпки напоминали головные уборы солдат. В витринах были выставлены брэнки-танки, пудреницы с английскими флагами, амулеты и шелковые платочки, украшенные надписью: «Он где-то во Франции».

«Где-то во Франции» — стало формулой, заменив скучную букву N. Газеты сообщали: «Вчера где-то во Франции генерал Сикорский принял парад». А под окнами гнусавил бродячий певец: «Где-то во Франции вспомни лобзанья!..»

Говорили, что солдаты скучают; собирали для них патефоны, футбольные мячи, игральные карты, домино, полицейские романы. Любящие жепы посылали офицерам жилеты из шерсти ламы, наполеоновский коньяк, консервы, изготовленные лучшими поварами столицы.

На банкете иностранной прессы Тесса заявил:

— Расскажите всему миру, что мы живем по-старому. Грохоту пушек мы противопоставили слова песни «Париж остается Парижем».

Думали, что война принесет с собой грусть и лишения. Но осенний сезон начался блистательно: премьеры, рауты, выставки, благотворительные аукционы. И везде можно было встретить баловня судьбы Гранделя; без него не обходился ни один прием.

В первые дни войны Грандель потребовал, чтобы его отправили на фронт: «Я хочу сражаться!» Депутаты запротестовали: «Здесь вы будете куда полезней». Популярность Гранделя настолько возросла, что когда Люкан попробовал было напомнить о пропавшем документе, все возмутились: «Не разбивайте национального единения личными дрязгами!»

Грандель не скрывал, что до последней минуты стоял за компромисс:

— Первого сентября вечером еще можно было все предотвратить. Ботше говорил по телефону с графом Чпано... Я настаивал на встрече четырех премьеров. Меня поддерживали депутаты нашей группы. Но события разворачивались слишком быстро... История установит вину каждого. А теперь не время спорить. Поскольку война объявлена, надо ее выиграть.

Война освободила Гранделя: карты в колоде оказались перетасованными. Он готов был сражаться. Когда он говорил «нужно победить», в его голосе слышалось подлинное волнение.

Депутаты восхищались патриотизмом Гранделя; промышленники называли его «трезвой головой», а светские дамы были в него влюблены — красавец, говорит так, что хочется плакать, и за спокойствием чувствуется настоящая страсть...

Даже Бретейль заколебался: уж не стал ли он жертвой мистификации? Он поверил Люсьену, который обожает дешевую романтику. А Грандель ведет себя безупречно...

Для Бретейля война была драмой. Он пытался продумать все до конца и не мог. Иногда говорил себе: нужно выиграть войну. И тотчас усмехался: е

пелзя выиграть, пока у власти шайка депутатов. Да и что принесет Франция победа?.. Распустить парламент, посадить под замок болтунов! Может быть, огонь противника переплавит Францию...

Виски Градделя побелели; глаза стали печальными! Бретейль, глядя на него, думал: терзался, как я... И Бретейль первый пожал руку Градделя, когда они остались наедине:

— Забудем прошлое!

Никто не знал ни о размолвке между Бретейлем и Градделем, длившейся свыше года, ни об их примирении: для депутатов и для страны они оставались единомышленниками, друзьями. Всем казалось естественным, что Бретейль выдвинул Градделя на ответственный пост, предложив доверить ему руководство военной промышленностью.

Бретейль помнил, с каким трудом он добился от Тесса реабилитации Градделя, он и теперь ждал сопротивления. Но Тесса было не до воспоминаний. История с документом, похищенным Люсьеном, представлялась ему далекой и неинтересной. Кто заподозрил Градделя? Фуже, Дюкан. Фуже исключили из радикальной фракции; во время московских переговоров он стал обличать Чемберлена и чуть было не поссорил Париж с Либденом. А Дюкан витийствует: этот злыка вообразил себя Гамбеттой; восстановил против себя всех; Виар назвал его «шовинистом, пропахшим нафталином», а Бретейль подал на него в суд за диффамацию. Нет, враги Градделя не заслуживают доверия... Притом надо смотреть на вещи трезво. Граддель ненавидит коммунистов; он вертелся среди них, знает среду. В представлении толпы — это левый, любит обличать «двести семейств», написал брошюру против американской олигархии. А военная промышленность — тот фронт, на котором придется дать коммунистам генеральное сражение. Пускай Граддель сажает в тюрьму, проводит удлинение рабочей недели, снижает ставки. Если он перегнет палку, будут ругать его, а Тесса и радикалы останутся незапятнанными.

Еще недавно Бретейль говорил Тесса, что не выдал бы своей дочки за Градделя. Оба забыли об этом разговоре. Теперь война — надо подняться над партийными раздорами!.. И Тесса сказал:

— Что же, я одобряю твой выбор.

Крупные промышленники, за исключением Дессера, поддержали кандидатуру Градделя. Монтинья кричал: «Он по крайней мере наведет порядок. Как можно воевать, когда в тылу анархия? Рабочие ничем не хотят поступиться. Словами их не убедишь, здесь нужен кулак».

Во главе союза промышленников стоял Меже. Он также покровительствовал Градделю. Дюкан как-то заявил, что Меже продолжает поставлять немцам боксит через Швейцарию; тот ответил: «Это — клевета. Но у меня есть программа...» Его программа была проста: воевать нужно не с Берлином, а с Москвой. Копьком Меже был «крестовый поход против Третьего Интернационала». Когда Тесса попробовал возразить: «Увы, воюем-то мы против Германии», Меже многозначительно ответил: «Погодите, это только первый акт...» После объявления войны он съездил в Мадрид; говорили, будто он там встречался с германским послом.

Только Дессер рассердился, узнав о назначении Градделя: «Здесь нужен техник, специалист, а не политический интриган...» Но положение Дессера за последний год сильно пошатнулось. В финансовых кругах рассказывали об его неудачных спекуляциях. Депутаты считали, что Дессер остался в

дураках: поддерживал Народный фронт, хотел предотвратить войну резолюциями Лиги наций. Бретейль острит: «Пожарный с дамским пудеризатором...» Даже Тесса относился к Дессеру, как к неудачнику.

Прошел месяц. Грандель показал себя неутомимым рабочником. Каждый день он встречался с Бретейлем, советовался, докладывал. Грандель говорил: «Коммунисты... Дессер... Это Авгиевы конюшни! Прежде чем начать, нужно чистить, чистить и чистить!»

На заводе «Сэн» осталась треть рабочих. Дессер решил объясниться. Возмущенный, он вошел в кабинет Гранделя; держал в руках шляпу и палку с большим набалдашником; говоря, помахивал палкой. А Грандель улыбался, листал бумаги на столе; он наслаждался положением: еще недавно всемогущий Дессер, покровитель Бриама и Бошкура, сидит перед ним как ходатай!

Дессер задыхался; он был болен, знал, что болезнь тяжелая, не лечался, пил. Его личная жизнь была запущенной и унылой, как его дела: печальные свидания с Жаннет, полные жалости и тревоги, одинокие ночи в загроможденном домишке, мысли о смерти. Он боялся умереть, хотел преодолеть страх и не мог. Видел, как страна идет к разгрому, и мучился от своего бессилия. Еще недавно он чувствовал себя всемогущим. А теперь он оказался выброшенным из игры. Его вежливо выслушивали, но никто его не слушал. Он стал вдовствующей императрицей, биржевым академиком, осколком идиллических времен. Слушали глупого крикуна Монтиньи, Меже, способного за несколько миллионов продать родную мать, других, но только не Дессера.

Он сказал Гранделю:

— Как вы хотите, чтобы я сдал в поябре заказы, когда у меня не осталось рабочих? Войны еще нет, а все квалифицированные рабочие на фронте.

— Это печально, но я не вижу другого выхода. Мы не можем поставить рабочих в привилегированное положение. Наша страна земледельческая. Что скажут крестьяне? Они должны умирать, пока рабочие зарабатывают вдвое? Нельзя выиграть войну, пренебрегая элементарной справедливостью.

— А сорокалетние? Эти не на фронте. Механики моют стекла в казармах.

— Мы не можем выделять рабочих...

— Я вас спрашиваю: нужны вам моторы или нет? Интересно, как вы собираетесь воевать без авиации? А если вам нужны моторы, верните рабочих. Вчера на «Сэн» снова арестовали двести человек...

— Проказу не лечат бальзамом. Мы теперь расплачиваемся за времена Народного фронта...

— При чем тут Народный фронт? — Дессер махал палкой, будто собирался ударить Гранделя. — И потом вы прошли в Палату как кандидат Народного фронта...

— Насколько я помню, господин Дессер, вы не пожалели денег, чтобы обеспечить победу Народного фронта.

Дессер посмотрел на Гранделя; красивое лицо с тонкими бровями, с тонким носом, с холодной, еле заметной улыбкой еще больше его разозлило.

— Я тоже помню... Все помню... И бумажку Фуже...

Грандель не изменился в лице; все так же улыбаясь, он сказал:

— Во время войны дуэли неуместны. Поэтому попрошу вас удалиться.

Уходя, Дессер уронил шляпу, закашлялся. А Грандель делал вид, что читает рапорт.

Вечером у Гранделя был прием. На приглашениях стояло: «Ужин солдата». Гостям подали салми из фазана на грубых оловянных тарелках; превосходное «Оспис де бон» пили из жестяных кружек. Принимала Муш. После разрыва с Люсьеном она долго хворала, ездила в Альпы. Она все еще была красива, но теперь это было престелью раннего увядания; в каждом жесте сказывались грусть и болезнь.

Когда все разошлись, Грандель снял смокинг, жилет. На ослепительно белой рубашке выделались тонкие черные помочи. Он сказал жене:

— За тобой, кажется, ухаживал полковник Моро. Это крупная фигура. Я не удивлюсь, если он кончит начальником штаба.

Он зевнул: устал за день. Снял аккуратно брюки и вдруг сказал:

— А все-таки мы победим...

Муш не вмешивалась в его дела. Она даже не вспоминала про злополучное письмо. Последнее объяснение с Люсьеном ее опустошило. Война, разговоры о линии Мажино и бомбардировках, карьера мужа — все это было туманной проекцией на крохотном экране. Но теперь, неожиданно для себя, она спросила:

— Кто «мы»?

Она сразу поняла, что сказала бестактность; отвернулась, ожидая оскорбления. Грандель спокойно ответил:

— Мы. Французы.

Он был игроком; вся его жизнь напоминала сдержанный шопот, протолеченные вскрики вокруг зеленого сукна. Так было и в те страшные месяцы, когда он наделал столько глупостей, чуть было не погубил себя... Он проиграл восемьдесят тысяч. Выручил его Вернон. Пришлось встретиться с Кильманом... Доставать для немцев документы... Впрочем, зачем об этом вспоминать? Он дорвался до крупной партии. Он говорил себе «мы победим», но в точности не знал, о какой победе думает. Сказал вслух — Муш или себе:

— Глухой вопрос!.. Дураки хотят переспорить судьбу. Это как с рулеткой: они ставят на тот же номер. А надо менять, почувствовать, где счастье, пойти ему навстречу... В этом весь фокус...

4

Даже Монтиньи ворчал: «Одно дело арестовывать коммунистов, другое посылать стариков в казармы. У меня нехватает рабочих». В кулуарах Палаты вопрос о военной промышленности стал модным; его подхватила скрытая оппозиция.

Говоря с Дессером о «справедливости», Грандель повторял слова Бретейля. Грандель крестьян ненавидел и боялся: «Это не люди, но репа, корневлоды...» А Бретейль твердо верил, что беда Франции в гипертрофии промышленности, в росте городов. В деревнях скучно, нет кино, работа тяжелая, и молодежь уходит... Сколько во Франции брошенных деревень! Разваливаются дома. гниют амбары, личают плодовые сады. Отсюда — коммунизм, Народный фронт, безбожье, развал. Бретейль думал, что война выдвинет крестьян на первое место, и он подсказал Гранделю: «Никаких поблажек рабочим».

Все же пришлось уступить. В конце октября правительство решило откомандировать соркалетних рабочих, занятых в военной промышленности.

Среди них оказался Легре. В самом начале войны его отправили на юг. Возле Тулузы он охранял мост, по которому когда-то проходила узкоколейка.

Ветку давно упразднили, и мост порос желтым душистым кустарником. По пункт числился в списках военного округа; и два месяца Легре глядел на лужайку с пятнистыми коровами.

Он много поредумал за это время. Вспоминал ту войну, Аргонский лес, сапы, лазареты. Как будто это было вчера! А недавние события казались ему тусклыми, призрачными. Между двумя войнами прошел один день... Тогда они думали, что люди поумнели, рассчитаются с виновниками войны. Одни верили в Вильсона, другие повторяли: «Ленин... Ленин...» Если бы тогда им сказали — через двадцать лет снова!..

Легре тосковал о Жозет. Так и не суждено ему узнать счастье! Летом они решили пожениться, присматривали квартиру. А теперь конец... Отца Жозет арестовали. Она уехала в Безансон к сестре; пишет короткие грустные письма. Ночью, глядя на частые звезды Юга, Легре вспоминал ласку Жозет и уныло, громко зевал.

На заводе он не нашел своих старых друзей; Мишо и Пьер были на фронте. Вечером Легре отправился на розыски; заходил в кафе, где собирались товарищи; побродил вокруг закрытой библиотеки, поехал в Монруж, потом в Вильжюив. Он никого не встретил: одних арестовали, другие прятались.

Легре был одинок, растерян. Он не знал, что делает партия, и это было, как слепота. С ненавистью он отбрасывал газеты, которые писали, что коммунисты — предатели, что русские сражаются на линии Зигфрида, что Морис Торез убежал в Германию. В Тулузе говорили, будто выходит «Юманите» — печатают в подполье. Но как ее разлюбить?.. Рядом с Легре работали новички; они подозрительно на него поглядывали: уж не подослан ли полицией?..

Легре терялся от своей оторванности, от вынужденного бездействия. Это продолжалось четыре дня. На пятый его арестовали.

Он провел ночь в крохотной камере. Кого только там не было! Политическим и сутенерам, немецким эмигрантам и еврей из Польши, остряки, которых схватили за анекдот об аперитивах Даладе или о любовных похождениях Тесса, обыватели, поплатившиеся за панический вздох: «Молока не будет», или: «Призовут семнадцатилетних».

Утром Легре повели на допрос. Комиссар Невилль входил в масонскую ложу и не боялся говорить, что предпочитает Эдуарда Эррио Эдуарду Даладе, — для польшейского это было свободомыслием. Невилль знал, что Легре — один из руководителей коммунистической организации «Сэн». Если Легре отступился, это произведет впечатление. Газеты напишут: «Еще один прозревший». Тесса оценит рвение Невилля; покаявшийся стоит десяти грешников... И Невилль был отменно любезен: предложил Легре папиросу.

— Я — чиновник, — начал он, — и не имею права высказывать мои убеждения, но верьте мне, я не фашист. Я искренно радовался победе Народного фронта. Мы тогда думали, что это — прочный союз. Случилось иначе... Впрочем, теперь не до борьбы партий. Все французы должны объединиться. Вы коммунист, но вы француз. Вы были ранены на войне. Я не могу вас рассматривать как изменника.

Он ждал, что скажет Легре; но Легре молча мял кепку и оглядывал стол, заваленный синими папками.

— Что же вы молчите?

— Не знаю, право, что сказать. Вы сами сказали. Я был коммунистом, ну и остался.

— Я понимаю ваше упрямство, оно продиктовано благородными соображениями — не хотите изменить товарищам. Но, мой друг, теперь не до шепетильности. Вы были игрушкой. Вас обмалывали, говорили о патриотизме, призывали бороться с фашистами. А теперь?.. Морис Торез — дезертир.

— Положим, дезертиры не мы, это вы оставьте. Где теперь Морис Торез, я не знаю. Только уж не в Германии, как пишут ваши газеты! Я думаю, он издает «Юма». Это настоящее дело. А где дезертиры, я знаю. Мюнхен, кажется, помню. И как с Испанией было... Наши там дрались против фашистов, а Бонне помогал врагам Франции, это даже дети знают. Я вас слушаю и удивляюсь: вот вы говорите «фашисты»... Да вы их всегда защищали с дубинками. А теперь фашисты у власти.

Невилль снисходительно улыбнулся:

— Вам сорок три года, а пыл юношеский. Это похвально. Жаль только, что не хотите расстаться с шорами. Ваша партия вам изменила. Она добивается победы Германии.

— Никогда я этому не поверю!

— Тогда чего же они хотят?

Легре насунился:

— Каких теперь лозунги, я не знаю. Это вы постарались: «Юма» закрыли, похватили всех честных людей. И меня хотите сбить с толку. Но кое-что я сам соображаю. Кто теперь травит коммунистов? Даладь, Тесса, Блюм, Виар, Бретейль, Лаваль — словом, вся шайка. Значит, коммунисты не изменили — враги-то старые... Вот если бы Лаваль закричал: «Браво, коммунисты!» — здесь бы я задумался. А теперь все в порядке.

Невилль бросил недокуренную папиросу и позвонил: «Уведите».

Легре, вместе с другими коммунистами, отправили в концентрационный лагерь. На узловой станции Пуази-ле-Сек поезд, в котором везли арестованных, простоял свыше часа. Жандармы не подпускали к нему публику, объясняли: «Везут дезертиров». Солдаты и женщины злобно поглядывали на вагоны: лжурники! Другим, значит, умирать?.. Кто-то крикнул: «Трусцы!» Тогда Легре запел «Интернационал». Люди на платформе, удивленные, замерли. А из вагонов кричали: «Мы не дезертиры! Мы рабочие, коммунисты». После «Интернационала» запели «Марсельезу». Солдаты на платформе подхватили припев. Напрасно жандармы пытались оттеснить народ. Высунувшись в окошко, Легре кричал:

— Я на той войне ранен был, на лице печать, они этого не сотрут... А сняли меня с авиазавода. Везут пужники чистить. Вот где изменники — Бонне, Тесса, Фланден!... А за нашу Францию мы на смерть пойдем!..

Он поднял кулак — полузабытый грозный жест, память о тридцать шестом, о великой несбывшейся надежде. Жандармы его оттащили. Поезд тронулся. Но тогда поднялись сотни кулаков: женщины и солдаты провожали осужденных.

Арестовывали по спискам, по дописам, по наитию. Один преступник поднял кулак, другой насвистывал «Интернационал», третий повесил у себя изображение Кремля. Читая сводки полиции, Тесса разводил руками: куда только они не проникли! «Союз любителей рыбной ловли в Ньевре», «Шахматный кружок департамента Вар», «Общество альпинистов Гренобля» оказались фи-

лиалами коммунистической партии. Тесса говорил себе: да, это сила! Теперь понятно, что они могли увлечь naïвную Дениз.

Бретейлы требовал расстрела депутатов-коммунистов. Тесса отвечал: «Осторожней, мой друг! Как-никак это — народные избранники». Тесса боялся создать прецедент... Од... к арестованным депутатам чувство профессиональной солидарности; хотел их спасти: «Подпишите, что вы отрываетесь от Третьего Интернационала, а вы сохраните мандаты». Узнав, что арестованные упираются, он вышел из себя: «Фанатики! Я сделал для них все, что мог».

Пришлось выдержать атаку Фуже. Кулаки марсельцев ничему не научили сумасброда; он заявил: «Преследования коммунистов деморализуют армию». Тесса крикнул: «Значит, вы за Гитлера?» Депутаты зааплодировали, и Фуже сошел с трибуны под дружный свист.

Никогда Тесса так не трудился; редко вырывал он часок для Полет. В изнеможении спрашивал себя: может быть, бросить все? Зачем притворяться? Он стар. Сколько ему осталось жить? Но тотчас отгонял эти мысли. Разве Клемансо в преклонном возрасте не спас Францию?.. Тесса казалось, что он — наследник Клемансо. Его статуи будут красоваться на площадях. Он как-то сказал Полет: «Улица Тесса — это звучит неплохо...»

Тесса приходилось заниматься стратегией, экономикой, даже механикой, говорить о запасах хлопка, о новых бомбардировщиках, о торговом договоре с Венецуолой. Все приходило с претензиями, жаловались на беспорядок. Прежде он имел дело с депутатами или финансистами. Теперь он должен был выслушивать военных: не понимал терминов, не знал, как подойти к человеку, что обещать, чем развлечь. Он говорил: «Армия — иной мир», а про себя добавлял: «Пизший».

Узнав о предстоящем визите генерала де Виссэ, Тесса нахмурился. С этим вэрчуном. кажется, трудно сговориться!..

Генерал де Виссэ выдвинулся в пятнадцатом году; он тогда командовал бригадой на Шмен-де-Дам. Раненный в ногу, не покинул командного поста. В шестьдесят четыре года он сохранил бодрость, даже задор. Его круглое обветренное лицо с жесткими желтыми усами походило на морду бульдога. Был он человек добрый, но вспыльчивый; покрикивал на жену, ругал адъютанта. Любил только военное дело и садоводство: на досуге ходил с лейкой, подвизывал розы, прививал, стриг.

Никогда генерал де Виссэ не заговаривал о политике; когда его спрашивали, что он думает о том или ином министре, отвечал: «Армия — великая немая». Одни говорили, будто он — монархист и яхшается с эмиссарами претендента; другие (среди них генерал Пикар) уверяли, что де Виссэ чуть ли не коммунист, слушается беспрекословно Фуже и не зря расхваливает советскую авиацию. Увидав, как де Виссэ молится, Тесса искренно удивился: вот вам и приятель Фуже!..

Зачем он пришел? Может быть, хочет пожаловаться на Пикара, который запретил солдатам читать левые газеты? Или потребует, чтобы утвердили институт полковых священников! Поди разберись.

Тесса усадил генерала в покойное кресло, вынул коробку с сигарами: — «Партагас» и, кажется, свежие. Боюсь, что теперь не скоро получат новую партию: нарходы завалены другим добром. Что вас привело ко мне, дорогой генерал?

Де Виссэ долго готовился к разговору: он составил дома вступление — о

патриотизме, об уроках прошлой войны, о долге военного. Но теперь он забыл все, откусил кончик сигары, выплюнул его и сразу брякнул:

— Положение отвратительное — во всем нехватка! Вы знаете, сколько пулеметов на батальон?.. Я уж не говорю об авиации. Я, например, располагаю десятью бомбардировщиками. Да, да, вы не ослышались, — десятью! Нет обуви, нет одеял. А зима на носу.

Тесса сокрушенно кивала головой:

— Знаю, знаю... Это наследие Народного фронта, платные отпуска и прочее. Но положение скоро изменится. Кое-что мы купим в Америке...

— Надо покупать, и скорей!

— Сразу видно, что вы не экономист. (Тесса покровительственно улыбнулся.) Покупать самолеты в Америке исключительно невыгодно. Куда остроумней выписать оборудование. Мы экономим на каждом моторе. Да и промышленники волнуются. Меже — против; говорит, нельзя посягать на национальную индустрию. Но я повторяю, кое-что мы купим и в Америке. Разместили некоторые заказы в Италии. К весне сорок первого года...

Генерал перебил:

— А если они начнут весной сорокового?

— Вы лучше меня знаете, что взять линию Мажинно невозможно.

— Ничего нет невозможного. Все зависит от того, сколькими людьми они решат пожертвовать. Потом линия Мажинно не защищает нас с севера.

— А форты Льежа, канал Альберта? Если бельгийцев тронут, они будут драться, как львы: это рыцарский народ.

— Может быть. Но нельзя полагаться на других. Мы должны укрепить северную границу.

— Для этого нужны годы. И мы обязаны соблюдать экономию. Войну выиграет тот, у кого будет больше золота.

Тесса снисходительно смотрел на собеседника: ребенок! Лицо генерала побагровело. На груди ходили ленточки орденов.

— Я человек военный, мое дело повиноваться. Но я не могу молчать... Генерал Инкар твердит, что необходима тяжелая артиллерия к сорок второму году: брать линию Зигфрида. А вы видели, что произошло в Польше? Какие у них моторизованные части, видели? Они могут попытаться прорвать фронт. На коротком участке. И вот мне говорят, что производство противотанковых орудий не только не увеличилось — понизилось. Почему? Да потому, что рабочих отправили в концлагери. Я видел — они там мешки делают. Хорошо еще, что не бомбоньерки. Я был у Гринделя. Он говорит: «По рынее сорок второго года...» Господин министр, это катастрофа! Почему квалифицированные рабочие...

Тесса рассердился:

— Напрасно вы слушаете Фуже. В лагерь посылают только коммунистов. Я не вмешиваюсь в стратегию, оставьте политику!

— Причем тут политика? Я говорю об орудиях, о самолетах.

Тесса встал, прошелся по кабинету, вытянул руку и проникновенно, как будто перед ним присяжные, сказал:

— Я видел, как вы молились. Не скрою — я был потрясен. Лично я вырос в светской семье, но я уважаю религию, понимаю чувства верующего. Скажите, как можете вы, католик, заступаться за коммунистов?

— Я не за коммунистов заступаюсь. Мне доверена армия. Религия тут ни при чем. Кто будет отвечать? Мы, военные. Я ненавижу немцев. Это

вам понятно? И вот они могут прийти сюда, в Париж. Да, я согласен посадить на заводы не только коммунистов — чорта, лишь бы у нас было снаряжение!..

— Вы напрасно волнуетесь. Не учитываете специфики этой войны. Это скорее вооруженный мир. Не знаю, зачем Гамелен погубил столько жизней в Варнадтском лесу. Франция — страна низкой рождаемости, мы должны вдвойне экономить... Красивые жесты обходятся слишком дорого. А война решится иначе. Блокада — вот наше оружие! Причем расплачиваются англичане. Кого топят немцы? Англичан. Нам это только выгодно: пусть Англия придет на мирную конференцию сильно потрепанной. Блокада — чудовищный пресс: мы его закрутим, но не слишком. Было бы ошибкой довести немцев до отчаянья — тогда они могут действительно полезть на липки Мажино. Необходимо их припугнуть, и они станут сговорчивей. Почему мы воюем против Германии? Это роковое недоразумение — и только. Простите, я привык говорить прямо. Военные должны ступать: эту войну выиграют не генералы, а дипломаты.

Рассказывая потом о беседе с министром, де Виссэ кричал: «Выпроводил меня, как прислугу: не вашего ума дело!.. В Америке покупать не хотят — дорого. Здесь ничего не делают: рабочие — коммунисты. И воевать не собираются — армия должна сидеть смирно. А чего они хотят? Вот и поймите!..»

В тот вечер Тесса обратился по радио к стране. Он не любил говорить в микрофон: его расхолаживало отсутствие глаз, которые загораются или покрываются влагой сочувствия. Когда пришли операторы, Тесса позвал старого курьера:

— Морис, посиди здесь, пока я буду читать. Твое лицо меня вдохновляет.

Морис улыбнулся и замер. А Тесса, кокетливо улыбаясь, восклицал:

— Рубикон перейден! Наша война — крестовый поход двадцатого века. Мы обнажили меч за высокие моральные ценности, за христианский гуманизм, за очеловечение грубой механики. Наш меч — страшный меч: Я не раскрою перед неприятелем военной тайны, сказав, что никогда небо Франции не видало столь мощного воздушного флота. Никогда наша земля не сотрясалась от таких полчищ танков. Мы работаем, не останавливаясь, день и ночь, чтобы еще усилить гигантскую броню. Нам помогают наши доблестные союзники — англичане и великая азиатско-американская демократия. Но главная наша сила — наш дух, братство, которое вяжет людей всех партий, всех классов, единство пации, ее воля к победе. Французы, мы не вложим меч в ножны, пока не сразим заклятого врага цивилизации!

Морис боялся шелохнуться. Он сидел на кончике стула все с той же искусственной улыбкой; ему казалось, что его фотографируют.

6

Штаб армии помещался в усадьбе богатого эльзасского фабриканта. Это был поместительный дом с зимним садом и с бильярдной, где у офицеров по вечерам происходили турниры. В библиотеке офицеры сидели над картами. Канцелярия находилась в бывшей детской; там стучали безумолку «Ундервуды», на стене еще висел мышонок из фильма, а под ним работала машинистка Люси, с соломенными волосами и с длинными ресницами!

выкрашенными в фиолетовый цвет. За ней волочился любямен генерала, майор Леруа

Хозяин усадьбы любил бездельники; и на письменном столе, за которым работал генерал Леридо, стояли черпильница в виде Пизанской башни, пингвин из кофенгагенского фарфора и часы с различными циферблатами, показывавшими время Парижа, Сан-Франциско и Токио. Работая, генерал отодвигал пингвина: боялся разбить. Он не выносил ущерба; его оскорбляли чернила, пролитые на паркет, или солдатские сапоги, примявшие газон.

Казалось, человек с таким характером должен был выбрать другую карьеру: но в семье Леридо все были военными. В четырнадцатом году Леридо командовал полком; показал себя исполнительным; дошел до генеральского чина. Он умел ладить с начальниками и с подчиненными; не вылезал вперед; называл себя учеником Фюа; говорил: «В нашем деле самое главное — спокойствие, чувство меры». Неизменно любезный, гладко выбритый, пахнущий одеколоном, он всем правился, всех успокаивал. Его несчастьем был низкий рост; он не позволял фотографам снимать его, когда кто-нибудь стоял рядом.

Успеху Леридо способствовала его тактичность. Он ненавидел депутатов, но когда штатские при нем заговаривали о политике, отвечал: «Я доверяю избранныкам пачи». С Леридо ладил все: Бретейль, Дюкал, Внар. Он охотно беседовал с ними о роли, сыгранной семидесятипятимиллиметровыми орудиями в марнской победе, или о красоте классической поэзии. Он обожал литературу; покупал роскошные издания Расина и Корнеля и даже напечатал лет тридцать тому назад статью в провинциальном журнале «О некоторых погрешностях Стендаля», посвященную разбору «Пармской обители» с точки зрения военной науки.

Свое дело Леридо любил; но война его огорчала хаотичностью: все, что на маневрах было совершенным, искажалось тысячами случайностей. И за три последних месяца он осунулся, постарел. Жаловался на боли. Врач говорил «печень», но Леридо приписывал болезнь хлопотам. Все его смущало: фронт был коротким, и он не знал, что делать с частями, приговаривал: «Горе от избытка, вот что...» Люди спали под открытым небом; в ноябре начался грипп. Офицеры побаивались солдат, не проводили учений, а солдаты томилась и пьянствовали. Когда Леридо говорили: «Гамелец накапливает тяжелую артиллерию для атаки против линии Зигфрида», он вздыхал: «У командиров пет револьверов, вот что...»

Он строго следил за распорядком дня в штабе. Все вставали в шесть часов. Полковник Моро принимал рапорты. Майор Леруа читал скучные газеты, стараясь заглянуть в канцелярию, где стучала на машинке Люси. Майор Жюзе распекал иптепантов. Полковник Жавог изучал карты. А капитан Санже, лысый и мечтательный, вздыхал про себя о парижских кабачках, докладывая генералу: «В Цвипкере два солдата ранены... Против шестнадцатой дивизии замечено передвижение, немцы подвезли сто восемьдесят шестой полк... Вчерашних действий авиации противника не замечено... В Таувилле открыли лазарет для венериков...» Генерал, отодвигая пингвина, бормотал: «Вот что!..» За стол садился робко в двенадцать.

Сегодня подали страсбургский паштет из гусиных печенок. Полковник Моро сказал:

— Дары местных богов.

Генерал вздохнул: врач посадил его на лпату. Чтобы утешить себя, он заметил:

— Самое полезное — салат. С возрастом человек становится травоядным существом. Это естественно...

Поспешно проглотив кусок паштета, капитан Санже поддержал:

— Конечно...

Поговорили о том, что Гитлер — вегетарианец. Генерала это утешило; он долго приговаривал: «Вот что... Интересная черта...» Потом майор Леруа стал излагать содержание газетных обзоров.

В центре внимания Финляндия. Все спрашивают, что будут делать русские...

Генерал оживился:

— Очень интересно! Конечно, они могут начать обходное движение, попытаться выйти к Ботническому заливу, чтобы отрезать Хельсинки от Швеции. Могут предпринять и лобовой удар на линию Маннергейма. Посмотрим, посмотрим... (Война в Финляндии была для него стратегической задачей; она как бы возвращала его к уюту парижского кабинета, и он меланхолически вздохнул.) А что пишут о наших делах?

— Мало. В «Эпоке» цензура вырезала две болочки...

— И хорошо сделала. Наверно, статья Керилласа или Дюкана. Не понимаю, как им позволяют писать!

Полковник Моро был близким другом генерала Пикара; оба не видели Дюкана. И полковник сказал:

— Мне пишут из Парижа, что Дюкан собирается сюда. Только его не хватало!..

Генерал, сердясь, всегда облизывал губы. Так он поступил и теперь.

— Ни в коем случае! Даладе может нас избавить от подобных сюрпризов. Дюкан способен заразить всех своей папкой. Я сам слышал, как он кричал: «Немцы весной предпримут решительную операцию...» Что вы хотите, человек когда-то был летчиком, но в стратегии неуч, отстал, ничего не видит. Для него линия Мажино — это полевые укрепления на Энепиде на Сомме... (Он тщательно выбрал грушу, долго ощупывал ее, проверяя, спелая ли, потом маленьким ножом осторожно снял кожу, вытер пальцы залившие душистым соком.) Когда ножик входит, как в масло, груша всегда хорошая... Попробуйте, майор. (Он протянул Санже половину груши.) А болтовне Дюкана сказывается влияние полковника де Голля. Я прочитал его записку... Гамелен прав: это фантазер. Не хочет понять, что немцы блефуют. Валит все в одну: Польшу, Испанию, где против регулярной армии сражались анархисты, наш фронт... Вообще плохо, когда люди, вместо классиков военной науки, пытаются газетными сенсациями. Такой де Голль считает себя новатором. На самом деле он рутинер. Он видит перед собой Седан или наполеоновские войны. Забыл про опыт мировой войны. Думает, что такки будут носиться по Европе, как когда-то носилась кавалерия. А эпоха молниеносных войн миновала. Мы вернулись к длительным осадам стран. Это Троянская война, вот что...

Он аккуратно свернул салфетку, надел на нее кольцо и встал. Гофе сидели в гостиной. Полковник Моро сказал:

— Генерал Моше запрашивал... Они хотят провести нечто вроде маневров — приучить солдат к действию пикирующих самолетов.

Слово «маневры» напомнило Лериду мирное время, но тотчас же он и

хмурился: этот Моше опять что-то придумал!.. Выскочка, всегда хочет опередить других!.. А полковник Моро продолжал:

— Префект против. Дело в том, что за Мюнстером население не эвакуировано, крестьяне боятся, как бы не пострадала виноградники...

Генерал кивнул головой:

— Я вполне согласен с префектом. Мы должны быть особенно внимательными к эльзасцам. Все это вздорная затея... «Шпирующие самолеты!..» Да, в Польше, или в Испании, когда пет зениток... Они клюют на немецкую удочку, поддаются любому паническому слуху. Так и сообщите генералу Моше... Обычные занятия, не больше... Притом надо дать людям отдохнуть.

После завтрака генерал с капитаном Санже отправились на позиции. Шофером у Леридо состоял сын промышленника Меже, молодой спортсмен, благодаря положению отца откомандированный в штаб армии. Меже гнал машину, и Леридо приговаривал: «Тише, мой друг, вот что...»

Леридо любил поговорить с шофером: Меже знал все, что случается окрест.

— Какие новости, мой друг?

— Все спокойно, господин генерал. В Мюнстере я разговаривал с потарнусом: он приезжал из Периге за вещами. Он говорит, что на эльзасцев произвел тяжелое впечатление процесс Росссе.

— Я так и думал. (Леридо обратился к Санже.) В Париже они ослеплены. Да, если этот Росссе и был связан с немецкой разведкой, теперь не время выволакивать дело... Зачем углублять политические распри? (Генерал слегка повернулся к шоферу.) Вы ездили с полковником на позиции?

— Мы были, господин генерал, в Эрштейне. Майор Лесаж жаловался: солдаты там распустились.

Меже хотел рассказать, что майора Лесажа солдаты вымазали коровьим навозом, но во-время спохватился: это выведет генерала из себя. Меже только усмехнулся, вспомнив, как визжал бедный майор. А Леридо сказал:

— Ничего не поделаешь, люди скучают. Нужно организовать разумные развлечения.

Они въехали в Страсбург. Город был пуст. В киосках за стеклом висели газеты от последних чисел августа. На террасах кафе стояли мраморные столики, соломенные стулья, как бы поджидая посетителей. Портал собора был прикрыт мешками с песком. Часы на площадях все показывали разное время. Увидев в витрине сиреневый пеньюар, генерал вздохнул: такой пеньюар у Софи... Леридо четыре года тому назад второй раз женился на молоденькой дочери военного врача. Софи в двадцать шесть лет была рассудительной и заботливой. Когда Леридо работал, в доме ходили на цыпочках. Софи готовила его любимое блюдо: телячью голову в винегрете. Она душилась духами «Корсиканский жасмин»...

Наблюдательный пункт находился в беседке, прикрытой хвоей, над обрывом. Леридо в бинокль увидел людей возле блокгауза. Он машинально подумал: противник... Потом он заметил большой транспарант: «Французы, наш общий враг — Англия!» Рядом красовались изображения Гитлера и Жанны д'Арк. Леридо поморщился: до чего это вульгарно! Вместо военных операций какая-то пропаганда. Как будто война — предвыборная кампания... А там дальше — дома с бурными крышами, синий дымок, виноградники... Слов нет, странная война! Можно забыться, принять все за маневры: синие пытаются форсировать реку... А в шестнадцатом году было иначе... Леридо

вспомнил развалины Перонна, щепень, воронки, кости. Это не повторится! Тогда мы начали войну с песнями и красивыми штанами «пью-пью». Теперь у нас линия Мажино.

Леридо шел по размытой дорожке. Пахло сырой землей. Показалось мутное зимнее солнце. Вдруг он услышал музыку: Шуберт. Эту вещь играл Софи...

— Что это?

Полковой командир отрапортовал:

— Громкоговоритель: заглушаем немецкую пропаганду. А противник слушает знакомую музыку. Мы им показываем, что ничего не имеем против немцев.

Леридо одобрил:

— Прекрасно придумано.

— Нам предлагали между музыкальными номерами вставлять короткие обращения на немецком языке. Так делают в двадцать седьмой дивизии. Но я не нашел это удобным.

— И правильно сделали: на войне пужно воевать. Предоставим политику политиканам. Что же, у вас целый день концерт?

— Сегодня с семи часов утра до семи сорока была артиллерийская перестрелка. Их батарея находится...

— Знаю, знаю... Имеются жертвы?

— Три солдата убиты, один сержант тяжело ранен.

На минуту воцарилась тишина. И тотчас с того берега донеслось по французски:

Так за вашими спинами
Подписали условие:
Англия платит машинами,
Франция — кровью...

Поехали дальше, в штаб двадцать седьмой дивизии. Леридо хотел проверить, правда ли, что там занимаются политической пропагандой. Но он забыл про громкоговорители; его оживило важное известие: утром возле Эрштейна разбился немецкий истребитель. Летчик погиб; на трупе нашёл документы — лейтенант Карл фон Шпрау.

Леридо распорядился устроить торжественные похороны.

— Вот вам настоящая пропаганда! Мы покажем, что умеем уважать противника. Я пришлю полковника Моро. (Он задумался.) Вы говорите: фон Шпрау?... Фон... Наверно, из аристократической семьи... Это может произвести в Германии большое впечатление... Я постараюсь тоже приехать...

Леридо осмотрел госпиталь. Зашел в барак. Солдаты быстро прикрыли шинелью игральные карты.

— Что, дети мои, отдыхаете?

— Так точно, господин генерал.

Леридо не знал, что сказать, и вышел. В дверях он услышал:

— Генеральчик с пальчик!..

Леридо однажды уже слышал это обидное прозвище — в Париже на улице. Но он не думал, что здесь, на фронте, кто-то посмеет над ним глумиться. Наверно, коммунист... Он облизал губы, и капитан Санже, вздохнув, он собирался вечером завести разговор о трехдневном отпуске.

Поехали назад: всю дорогу Леридо переживал обиду. В вестибюле стояло большое зеркало; пройди мимо, генерал отвернулся. Он вызвал полковника Моро:

— В двадцать седьмой дивизии царит распушенность. Солдаты производят отвратительное впечатление, вот что... А генерал Мопе, вместо того чтобы подтянуть людей, занимается пропагандой... Передают немцам какие-то политические речи, паверно, эмигрантов, коммунистов... Мы сейчас составим записку главнокомандующему, копию Даладье...

Полковник вздохнул: он собирался сегодня взять реванш у майора Бизе — две партии по сто очков... А капитан сказал Леруа:

— Губы лижет... Там кто-то крикнул «с пальчик»... А я думал завтра съездить в Париж. Ну и жизнь!..

Пробило шесть часов. Канцелярия опустела. Только Люси еще работала. Наконец она отстучала «Дюбуа Пьер, сержант», сложила копки, закрыла машинку чехлом и, осторожно озираясь, прошла наверх — ее ждал майор Леруа.

— Деточка, давайте представим себе, что мы в Венеции, в гондоле...

7

Дождь зарядил с утра, длинный дождь гнилой зимы. Скучно было глядеть на серо-желтое пухлое небо. И Пьер разглядывал свои рыжию, промокшие насквозь ботинки. Он теперь часто глядел в одну точку, казалось, что-то высматривает; но он ничего не видел. Он и не думал ни о чем. Все происходящее вокруг было смутным, хотелось потрогать себя, крикнуть, проверить, не спит ли он. Да ничего и не происходило: рядовой тридцать девятого полка мок под дождями, слушал то ралседии Листа, то брань сержанта, изредка прерываемые грохотом снарядов. За всем было нечто страшное: об этом Пьер не смел думать.

Это началось в горячий день августа. А проснувшись на следующее утро, он радостно потянулся: Аньес варила кофе, на полу играл Дуду, и его рыжая лошадка браво гарцовала, вся залитая солнцем. Но сейчас же Пьер вспомнил...

С тех пор он жил в оцепенении, не мог выпрямиться, молчал. А он был создан для громкой жизни.

На родине Пьера сейчас тепло; цветут розовые декабрьские розы; вдали видна вся обожженная рыжая гора Канигу. Когда-то он на нее забирался... А дождь будет идти весь день, завтра, послезавтра. И скоро в несветлой вате неба ангелы хрипло, как громкоговоритель, завопят: «Сла-а-ава в вышних».

Перед отъездом Пьер бродил, как осужденный. Аньес видела, что он погибает, искала выхода.

— Пьер, уедем куда-нибудь далеко, в Америку. Будем работать...

Он покачал головой.

— Всем плохо. Что ж я буду спасать шкуру? А того, что было, все равно не вернешь.

Говоря так, он думал о днях Народного фронта.

Прежде ему казалось, что он участвует в событиях, отвечает за них. Даже после предательства Виара он мог сказать: «Я переправляю самолеты...» А теперь он был деревом, помеченным дровосеком, колесиком, не способным и своей гибелью замедлить ход машины.

В день отъезда они чуть не поссорились. Нахмурив лоб, Аньес сказала: — Но вы этого хотели...

Он вскипел:

— Не этого! Это — не наша война.

Для Аньес война была войной: снаряды, грязь, кровь, смерть. Как она могла ей объяснить, что сентябрь тридцать девятого года не похож на сентябрь тридцать восьмого? Она возражала: «Софизм, политика, игра». А для него это было правдой. По-другому звенели шаги призывных. Никто не видел Пьера на лицах покорности обреченных. И Пьер не видел выхода.

Он теперь понял, что отделяло его от Мишо. Давние споры не были случайными. Мишо — крепкий, его можно сломить, тогда он упадет, как упал вчера Жюль. Но Мишо нельзя согнуть: он усмехнется, скажет «и еще как», выстоит. Где он теперь? Мокнет под дождем? Посадили? Как хотел Пьер с ним поговорить! Но нет, и Мишо не помог бы... Мишо ответил бы: «Надо глядеть вперед... Диалектика событий...»

Пьер был одинок. Его всунули в рот, составленную из бретонских крепостей, богомольных и пугливых; им сказали, что Пьер апархист, безбожник, в Испании он жег церкви. Лейтенант Эстерель, уроливый гном, был одним из «латников» Бретеяля; он обожал поэзию, говорил, что «пищегромантична» и что в фашизме «мистическая сущность». Лейтенант презирал своих солдат: они пахли потом, плохо говорили по-французски, верили в ладанки с изображением святого Геноле. Пьера он боялся, предостерегал других офицеров: «Такой способен выстрелить в затылок...» Его оскорбляли, что Пьер — инженер, что он ходил в театр «Ателье» и читал стихи Элюара.

Пьер подружился с единственным парижанином Жюлем, который работал прежде на газовом заводе. Это был неисправимый балагур. Он корил Пьера «Нельзя вешать нос на квинту. И не то бывало... Сейчас, наверно, Морд Торез думает. И подумает. А я пойду на охоту — здесь куриным пометом пахнет. Давненько я не ел хорошей личины». Он смешил Пьера: «Я оптимист. Посмотрим на события с точки зрения свиньи. До войны свиньи кололи семь дней в неделю. А теперь по понедельникам и вторникам запряжено продавать свинину. Значит, не пройдет и ста лет, как свиньи добьются неприкосновенности личности, увидишь!..» На минуту Пьер вышел из своего полусна, смеялся. И вот Жюль убили...

Письма Пьера были короткими: он не знал, что рассказать Аньес. О дожде? О шутках Жюля? О том, как Жюль, умирая, почему-то повторял: «Время ва»? О лейтенанте Эстереле, который читает стихи Валери и боится, прохляв, задеть солдатскую шинель? Аньес заполняла письма вопросами об его здоровье или рассказами о проказах Дуду. Им столько нужно было сказать друг другу, но оба онемели. Пьер часто думал об Аньес — прямая дорога, белый июльский день: спит... Иди, и ты обязательно дойдешь... А у него тропинки... Неразбериха!.. Вот и заблудился...

А дождь никогда не перестанет! Пьер вспомнил дождливый вечер на тулузском аэродроме. Как он тогда мучился! Теперь и боли нет: умираешь по хлороформом. Шинель пахнет мокрой псиной: это еще живой запах, пашим дорожить, за ним — ничего. Патефон... Говорят, это чтобы немцы не скучали... Шутники!

Его вызвал лейтенант Эстерель:

— Отнесите капитану Жемье.

— Слушаю, господин лейтенант.

Он взял книгу. Лейтенант хотел упизить Пьера: коммунист, наверно, признает только пролетарских поэтов... Пускай прогуляется! До фермы, где стояли артиллеристы, было четыре километра. Капитан Жемье тоже был эстетом, просил: «Пришлите что-нибудь почитать. Я со скуки составляю словарь рифм».

Забравшись под павес, Пьер раскрыл книгу. Стихи... Он не поглядел, кто автор.

Бывает — радости наперечет,
Не завестись ему, но он живет...

И захлопнул. Ему показалось, что его окликнула Аньес, подошла, провела рукой по мокрой щеке. Рука горячая... А с лица падали капли дождя.

Он пошел дальше по крутой дорожке между виноградниками. Ферма была скрыта маленькой рощицей. Направо осталась церковь... Петушка на эляголье сбили... Пьер обогнул воронку; машинально подумал: «Пристрелялись...» И свернул с дороги.

Он отдал книгу близорукому застенчивому капитану, выпил с артиллеристами кувшин молодого кислого вина, пошел назад. Вот так штука — дождь перестал!.. Громкоговорители смолкли на час раньше обычного. Прощумел внизу ружейный выстрел, но остался без ответа. Воцарилась тишина. Пьер смутно повторил: «Бывает — радости наперечет...» Вечером будет письмо от Аньес. Потом — сеник, душное животное тепло, уютный храп рыжего Ива...

Вдруг в тишину ворвался грохот. Это приключалось по два раза в сутки, но Пьер никак не мог привыкнуть к первому разрыву: мир сразу менялся, раздирали воздух... Сейчас ответят наши... Пьер сошел в сторону и присел на корточки: мокро... Придется посидеть час. Зато вечером будет письмо...

Он не осознал второго разрыва; только подскочил: осколок попал в пах. Полчаса спустя его подобрала артиллеристы.

Очнулся он под утро: увидел невыносимо четкий свет лампочки без абажура и сейчас же закрыл глаза. Медленно припоминал: книга, артиллеристы, вино, снаряд... Он, кажется, ранен... Может быть, умирает?.. Пет... Слит?.. Он захотел повернуться на правый бок — всегда так спал, но вскрикнул. Значит, умирает... Нужно вспомнить что-то очень важное... Напрягаясь, он вспоминал, сам не знал что. Хотел увидеть Аньес, как увидел ее под павесом, и не мог — липа не было. Он только повторял, чтобы успокоить себя, имя: Аньес!.. Подошла сиделка, попривизла подушку. У сиделки лицо было длинное, как черта; он подумал: чужая. Потом увидел на одеяле яркую игрушку. Это была песочница, красная, с елками зелеными полосками. Он сидел на куче песка. Из песочницы выходили пирожки. Пет. рыбы... Или, может быть, карлик с длинной бородой?.. Песок был сухим, формы распались. Он крикнул: «Почему сухой?..» Сиделка подошла с мокрым полотенцем, положила его на лоб Пьера; он не почувствовал — снова впал в забытие.

А под окном гремела музыка: третий батальон салютовал убитому немецкому летчику. Генерал Леридо произнес речь:

— Мы преклоняемся перед останками воина... Любовь к отечеству... Чувство долга...

И снова пошел дождь, еще сильнее, чем вчера, будто он хотел наверстать потерянное.

Письмо от Аньес пришло, как и думал Пьер, вечером. Оно пролежало в канцелярии три дня; его отослали с пометкой: «Адресат скончался».

8

Цензуру называли «теткой Анастасией», и Жюлио жаловался, что эта тетя загонит его в гроб. Газета выходила с белыми пятнами. Нельзя писать, что в Вогезах стоят лютые холода, что итальянцы устроили германскому посланнику омование, что чилийское правительство приняло испанских беженцев. Жюлио разводил руками:

— Осталась одна тема — бром!..

Говорили, будто солдатам в кофе подмешивают бром, чтобы они не толковали по женам. И Жюлио поместил в своей газете куплеты:

Гретхен, я у вашего дома
Без брома, без брома, без брома!

Закат Дессера вынудил Жюлио искать нового покровителя. Бретейль свел его с Монтиньи. «Ла вуа пувель» не впервые меняла направление; но этот раз Жюлио загрустил: Дессер умел жить, смягчал резкость шуткой, чем давал просто, как пширосу; а Монтиньи кричит на Жюлио, как на лакея, вмешивается в редакционные дела; возмущается певинной заметкой о свадьбе какого-нибудь радикала или социалиста. А как может Жюлио рассориться со всеми? Ведь и Монтиньи не вечен...

Один из сотрудников употребил в очерке слово «боши» — так прозвали немцев четверть века назад. Монтиньи вышел из себя:

— Возмутительно! Вы апеллируете к самым низким инстинктам. Конечно, мы воюем с Германией, но это рыцарский поединок; если угодно, это историческая трагедия. Гитлер — величайший государственный ум!

Легко понять, как обрадовался Жюлио, узнав о торжественных похоронах немецкого летчика. Описанию церемонии и речи Леридо была посвящена целая полоса. Но на следующий день Жюлио снова томился: о чем писать? Вот уже четвертый месяц, как идет война, а ее не видно, это — война-невидимка. Солдаты умирают от гриппа. Вчера в Палате огласили конвенцию с Германией о железнодорожном сообщении через Рейн; только при голосовании кто-то вспомнил, что законопроект, внесенный в парламент летом, устарел и мосты через Рейн давно взорваны. Войну окрестили «Ну-и-война». Говорят: «Как вам нравится ну-и-война?» Правится она всем. Только писать не о чем...

Неизвестно, кто враг. Немецкие самолеты скидывают листовки, брошюры. Подбирают, говорят: «Хорошо издано...» Слушают радиопередачи из Штутгарта; там диктор — француз. Жюлио его окрестил «штутгартским предателем». Кличка привилась. Но «штутгартский предатель» стал популярным персонажем. Депутаты спрашивают друг друга: «Что рассказал «штутгартский предатель» о закрытом заседании Палаты?..»

И вот произошло чудо. Монтиньи поздно вечером вызвал толстяка, был весел, даже любезен, дал Жюлио, не торгуясь, столько, сколько тот попросил, восторженно приговаривая:

— Политическую сторону поручите Бретейлю. И побольше анекдотов, героических штрихов, эпизодов... Пошлите лучших военных корреспондентов...

Враг наконец-то был найден. Два дня спустя военные корреспонденты выехали в Хельсинки.

Тесса пригласил к завтраку итальянского посла; расхваливал римскую кухню, пьемонтское вино, живопись Веронеза, государственный гений Муссолини.

— Вы не можете себе представить, как я был удручен, когда, несмотря на вмешательство «дуче», началась война! Эти месяцы для меня были кошмаром. Как для всех культурных европейцев... Но вот вам первый просвет: реакция на выступление Москвы показывает, что не все еще потеряно. В частности, меня ободряет позиция Италии. Говорю «меня»: я всегда стоял за союз латинских стран. Мы — паперники великого Рима. Что значит Данциг, да и вся Польша по сравнению с судьбой цивилизации? Скажем прямо: наш общий враг — Москва! От борьбы на Карельском перешейке зависит будущее не только Парижа и Рима, но и Берлина.

Все оживились. Госпожа Монтинья организовала «северные вторники»: дамы из лучшего общества, под звуки Сибеллуса, вязали носки и наушники для финских солдат. Меже пожертвовал на «лотт» Маннергейма полтора миллиона; чек был торжественно вручен дочери финского маршала. Марсельский гангстер Вилье потребовал, чтобы Московскую улицу переименовали в Гельсингфорскую.

В соборе Мадлен служили молебен — о даровании победы финскому войску. Бретейль горячо молился. Из церкви он поехал в редакцию «Ла вуа пувель». Он ошеломил Жолио (а толстяка трудно было чем-либо удивить):

— Сейчас же поезжайте к Виару. Пусть он напишет несколько статей о Финляндии.

Монтинья не выносил Виара; кричал: «Это он распустил рабочих, приучил их валяться на пляжах!..» Жолио приходилось считаться со вкусами своего пового покровителя, и он избегал Виара. Как-то они встретились в ресторане «Мариус», возле Бурбонского дворца. Виар меланхолично вздохнул:

— Вы меня забыли...

Жолио запротестовал:

— Вы думаете, что я Зевс? Я только посланник богов, Меркурий. Вы ведь знаете, что за скотина Монтинья! Несчастье, что Дессер слался, не только для меня — для Франции... Теперь я пишу под диктовку Бретейля. Это богомольный сухарь, злой судак. У нас в Марселе таких нет. Помесь галльского петуха с пемецкой овчаркой. Я ему несколько раз говорил: а Виар?.. Увы, национальное объединение существует только на словах! Лично я вас ценю, уважаю, больше того — люблю!

Виар грустно улыбнулся и выбрал спокойный столик. Ему предстояло трудное дело — заказать завтрак согласно с указанием врача. Виар носил при себе список запрещенных блюд, сверял: щавель, помидоры нельзя, морковь можно...

И вот Бретейль послал Жолио к Виару. Толстяк всю дорогу разговаривал сам с собой — до того был потрясен. Ну и времена! Каждый день все меняется. Непонятно, кому улыбаться, кого чернить?..

Виар теперь жил уединенно среди картин и книг. Он с отвращением следил за событиями, как зритель, которому показывают дурную драму — уйти нельзя, а глядеть скучно... Говорил: «Во всем этом я не вижу никакой идеи...» С удовлетворением думал: «Мне все же повезло! Во-время на мое место сел Тесса. Они заварили, пускай расхлебывают!..» Конечно, в пар-

ламенте Внар голосовал за правительство; дважды выступил с патриотичскими декларациями; но говорил сухо, как будто повторял неинтересную цитату. «Пу-и-война» казалась ему ненужной суматохой. Вот и в Китае убивают людей. А зачем?..

Он несколько ожил, когда начались преследования коммунистов. Просидел старая обидка: коммунистов он считал виновниками своего поражения. Это они подстроили захват заводов, озлобили лавочников, толкнули Далаца в объятия Бретейля. Кричали о патриотизме, возмущались Мюнхеном, а когда дело дошло до войны, выкрутились. Теперь рабочие говорят: «Только коммунисты против войны...» Внару это казалось хитрым предвыборным маневром: он почти машинально думал: заработают миллион голосов... Конечно, он поддерживал предложение о выдаче депутатов-коммунистов; приговаривал: «Ничего не возразишь — справедливо». А узнав, что сенатор Кашен оставлен на свободе, огорчился. Кашена он ненавидел: когда-то они были в одной партии вместе выступали на собраниях. Молодые коммунисты были людьми с другой планеты; Кашена Внар считал изменником: культурный человек, гуманист, демократ, и остался с коммунистами!..

Каждый день арестовывали сотни людей. Где-где в провинции стали хватать и социалистов. Внар исполнился: «Начинается реакция!» Он почувствовал себя блюстителем традиций, старым жрецом. Может быть, выступить. Но тотчас осалил себя: это будет наруку коммунистам.

Он снова замыслен. Ему удалось приобрести маленький натюрморт Сезанна: два яблока на лакированном подносе. Часами Внар глядел на холст. Яблоки были мирами в себе, законченными и бесконечно тяжелыми, как сущность материи.

Он думал, что неспособен увлечься; не знал себя — события в Финляндии вернули ему молодость. Он выступил в Палате с негодующей речью, и лепет его подпрыгивало, как хвалить лет назад. Война стала сразу осмысленной: «Коммунисты — вот тайная армия империализма!..»

Когда Жолио изложил просьбу Бретейля, Внар сказал:

— Охотно, мой друг, охотно, и это несмотря на возраст, на болезнь. Врач запретил мне работать. Но когда страдают слабые, я на посту. Хорошо, что Бретейль забыл партийные раздоры. Теперь мы сможем осуществить национальное объединение не только на словах.

Он продиктовал первую статью. Его голос дрожал от волнения.

— Я возмущен. Когда-то солдаты фон Гольца сражались за правое дело. Маршал Маннергейм — борец за справедливость...

Потом он сказал Жолио:

— У нас мощный союзник: генерал-мороз.

Жолио развел руками:

— По правде сказать, я даже не знаю толком, где эта Финляндия. Но говорят, что там чертовски холодно. Если пошлют напих, они замерзнут честное слово! А что вы думаете о позиции Италии? Я ведь марсельский патриот... Как бы они не пошли на Марсель...

— Никогда! Они возмущены Москвой, как мы с вами. Теперь итальянская опасность миновала.

На следующий день к Внару приехала дочка Луиза. Ее мужа призвали в армию.

— Гастон пишет, что там страшный беспорядок... Нет противотанковых орудий, кажется, это называется так... А у солдат нет ботинок. Они ужасно настроены. Гастон боится с ними разговаривать. Папа, что будет с Францией?

Виар слушал рассеянно.

— Ужасно!.. Я всегда говорил, что эта война ни к чему не приведет. Главное — никакой идеи... Другое дело — Финляндия...

Он начал с жаром рассказывать об операциях в Барелни, о лыжниках, «лотгах». Луиза перебила:

— Я теперь часто не могу уснуть до четырех-пяти. Все думаю, думаю... Вдруг немцы победят?

— Возможно.

Он сказал это настолько спокойно, что Луиза растерялась:

— Папа, что ты говоришь?

Он увидел, что у нее дрожат губы, — сейчас заплачет, и стал успокаивать:

— Не бойся. У нас линия Мажино...

Принесли газету. Там была статья Виара. Он внимательно перечел ее: кивал головой, одобряя свои слова. Потом взглянул на фотографию: снег, и стоят два мертвых солдата — замерзли. В руках винтовки. Как будто идут в бой — мороз пролевал жесты жизни. Виару это показалось обидным: нет успокоения, выхода...

Луиза ушла. Сидя в кресле, он наслаждался покоем. Он впервые понял, что ему безразлично, кто победит. Да и в Финляндии... Не все ли равно?.. Какие-то люди бегут, падают, замерзают... Это — жизнь. А он над ней, он — мир в себе, как яблоки. Довольно волнений, слов, суеты! Пора отдохнуть!

Его потревожил фотограф «Ла вуа нувель», земляк Жюлио, шумный и патетичный:

— Простите за вторжение! Необходим ваш портрет на первую полосу — к событиям в Финляндии: неутомимый борец за свободу и справедливость!..

Виар поправил пенсне и постарался придать лицу мужественное выражение.

9

Тесса вряд ли узнал бы в кокетливой мастерице, которая развозила платья парадным заказчицам, свою дочь: короткие завитые волосы, пунцовые губы, шляпа, похожая на поварской колпак, а в руке картонка, перевязанная лиловой ленточкой.

Дениз работала в мастерской мод на бульваре Мальзерб. Мастерицы шили бальные платья. В салоне стояли длинные зеркала. Заказчицы показывались редко, и хозяин жаловался, что дела идут плохо. Это был немолодой человек с короткими седыми усами и с грустным взглядом. Иногда он перелистывал «Жарден де мод» или «Вог». Манекены в сумерки казались посетителями. Цели швейные машины; танцевали электрические утюги: длинные почти пробегали по шелку — звук был несносен. А в задней комнате хромой Юзень приправлял лист на американке: там помещалась подпольная типография. Хозяин мастерской мало что смыслил в модах, он писал листовки; а Дениз разносила их в парадной картонке по районам.

Сегодня у Дениз праздник. Она спит в Бельвиль. Вот адрес... Там она встретится с Мишо. Это первая встреча после четырех месяцев разлуки.

Мишо послали сначала в Брест: он был запасным флота. В штабе, прочитав сопроводительный лист, стали думать, как бы отделаться от «смутьяна». Недели две спустя его отравили в Аррас — в пехотный полк. Он мыл полы в казарме. Батальонный командир Фабр был пьяницей и чудачком, по литнику презирал, начальству не верил, говорил: «В жизни два отрядных явления — таксы и кактусы». Вначале он решил, что Мишо вор, а узнав, что «преступник» сражался в Испании, развеселился, прозвал его «Доп-Кихотом»; благоволил к нему. Вот отпустил на два дня в Париж...

Дениз волновалась; не сразу нашла она узкую полутемную улочку, похожую на десятки таких же улочек. Дверь открыла старая женщина. Мишо еще не было.

— Садитесь, милая. Я сейчас кофе сварю. Замерзли? Мишо скоро придет.

Но Мишо задержался. Хозяйка спросила:

— Вы моего Жано не знали? Его фашисты убили на заводе.

Дениз вспомнила рассказы Мишо о Клемансе.

— Это вы?..

Клеманс вытерла глаза передником: Жано!.. И Дениз теперь поняла язык чужеземной комнаты. На стене висел портрет ушастого подростка. На комод лежали книги, тетрадки. Старая кепка... Клеманс не могла расстаться с вещами сына. Она ухаживала за его товарищами, кормила их, пришивала пуговицы. Когда началась война, она сидела по вечерам и плакала: всех забрали! А в поябре к ней пришел незнакомец.

— Я от Мишо. Можно у вас остаться до утра? Меня ищут...

Она теперь прятала у себя коммунистов. Никогда не расспрашивала — кто, зачем; готовила ужин, стелила постель. С ней разговаривали о событиях. Она гордилась доверием. Сказала Дениз:

— Финляндию они придумали, чтобы отвести глаза...

Потом поглядела внимательно на Дениз и улыбнулась:

— Я давно Мишо говорила — зачем ты один болтаешься? Хорошо, что вы его заметили, он скромный. А сердце у него замечательное. И умница. Скоро будет, как Морис Торез. Только без женской руки трудно... У Жано была.

Скрытная Дениз не смутилась: будто с ней говорит близкий человек...

Вот и Мишо! Какой он смешной в форме!

— Ты!

Он обнял Клеманс. Старуха напояла его кофе.

— Мне на работу нужно. Если уйдете раньше, закройте дверь, а ключ — под коврик. Ты смотри, Мишо, чтобы тебя не убили! Говорят: «войны нет», а все-таки убивают. Ты еще пригодись... Я вот ей сказала: будет, как Морис Торез...

Когда она ушла, Мишо прижал к себе Дениз и забормотал:

— Стосковался! И еще как!

Вот и умер короткий январский день. Комната стала синей; сумерки — как дым. Скоро вернется Клеманс. А они еще не наговорились.

— Развал... Мы у бельгийской границы стоим. Хотели рыть укрепления, раздумали. Я слышал, как полковник кричал: «Только пораженцы могут говорить, что они придут сюда!..» Это их излюбленное слово. А кто пораженцы? Они. Все делают, чтобы немцы нас расколотили. Конечно, будь другое правительство, было бы иначе... Удержаться можно... Только я боюсь сначала разгромят, а потом нам скажут: «Спасайте». Солдаты спрашивают:

«Как коммунисты?..» Когда я листовки получил, накупилсь... Офицеры, как на подбор, фашисты. Те же гитлеровцы. Только мой исключение — оглашенный с кактусами... А остальные: «Наказание за Народный фронт», «Измена коммунистов» и так далее. Солдат боялся. А солдаты ждут, сами не знают чего. Пороха много, искры нехватает. Но если в Париже начнется, подержат...

— Здесь то же самое... На заводах возмущены, но молчат. Вот только Финляндия растолкала. Говорят: «Финским фашистам самолеты строить? Ни за что...» Могут начаться забастовки. А тогда прорвется...

Он расспрашивал, какие известия из-за границы, что думают в Москве. Довиз объясняла. Он вдруг улыбнулся:

— Вот какая ты стала важная! А помнишь, как я тебя повел на первое собрание?

Они вспомнили начало любви, недомолвки, смущение... И ни губы, ни руки, ни глаза не могли передать силу созревшего чувства. А сейчас снова расстанутся...

— Я прочитала в газете про одного капитана. Англичанин. Это было под Новый год. Они ужинали. Вдруг взрыв — немцы — подводная лодка. Там была его жена, молодая женщина. Он надел на нее пояс и потащил к борту. Она отбивалась, думала, что он сошел с ума. Он ее бросил в воду. Она спаслась. Понимаешь, какое самообладание! И чувство какое!.. Теперь, Мишо, пужно мужество, чтобы жить. Ты мне это скажи, прикрикни на меня, чтобы я была сильной. Я не про опасность говорю, мне ничего не грозит... Но когда мы с тобой расстаемся, каждый раз думаю: вдруг навсегда?

— Все теперь на плотках. Корабль потопили... Но держимся. И доплывем, Дениз. Увидишь!

Они расстались на углу двух темных улиц, широких и тихих, как ночные реки. На груди у Мишо была пачка листовок, два номера «Юманите». До поезда оставалось три часа. Он пошел на вокзал пешком. Затемненный Париж был непонятным новым городом. Иногда из темноты выступали голые ветки деревьев. А дома не были видны, они только смутно чувствовались, как далекие горы. Детский смех, голос женщины: «Я уронила перчатку», гудок автобуса, огонек папиросы... И была в темноте сила, влажность, несное бормотание города, похожее на морской прибой.

Мишо думал о Дениз, о расставании судорожном и поспешном — оба боялись выдать боль. Она говорила: «Я положила папиросы в карман...» Он: «Закрой шею, простудилась...» Когда они теперь встретятся? И встретятся ли?

Широкие темные улицы-реки... Вот идет кто-то с фонариком. В темноте слабый свет кажется ярким; он освещает камни, решетку вокруг дерева, ноги. Неужели когда-то на улицах были яркие фонари? А свет исчез, прохожий повернул за угол. Если бы пронести любовь через эти темные годы, как свет фонарика, как крохотный огонек!

Андре послали в Пуатье. Каждый день говорил, что полк отправят на линию Мажино; по слухи не подтверждалось. Прошло четыре месяца. Полковник стал своим в салоне маркизы де Ниор; престарелый Гранмезон обсуждал с ним операции против Баку, а местные археологи его расспрашивали, не грозят ли Пуатье воздушные бомбардировки. Офицеры завели себе

любовниц. Солдаты задолжали всем кабатчикам, обследовали все публичные дома. Андре каждый вечер вычеркивал в карманном календаре еще оди число. Его приятель Лорье говорил:

— Интересно, потеряли мы день или выиграли?..

Жизнь была монотонной, как в тюрьме, маршировали, подметали длинны двор, ели суп с репой; потом бродили по городу, знакомились с продавщица ми, смотрели в кино старые картины, пили аперитивы; потом сидели возле чугушной печки, отрывивая и посыпывая, дремали. Андре разглядывал лица которые постепенно освобождались от напряжения, забот, хитрости. И лица напоминали пейзаж. Андре думал о сходстве человека с землей, о связи между гончаром и глиной. И в такие минуты Андре хотелось работать. Он издевался над собой: «В Париже не писал, а здесь тоскую по краскам...» Лорье сказал: «Через неделю выступим». Андре мерещились огромные клубы дыма холод рассвета, проволока, смерть, пустая и белесая, как те невыносимы души, бессолнечные, но спящие, когда предметы теряют цвет и форму.

Андре легко сходился с людьми. В Париже он жил одиноко — среди холстов, на голубятне. Здесь он оказался с другими, слушал, рассказывал, смеялся, шутил. Особенно он подружился с Лорье. Это был музыкант из Авинь она: играл в кафе. Беспечный, ребячливый южанин, он пел: «Все прекрасна госпожа маркиза»; минуту спустя говорил: «Война на сто лет»; потом смеялся: «Полковник поднес богородице восковые руки и ноги — авансом, чтобы его не ранили».

Бретонец Ив вздыхал: «Земля здесь хорошая! И коз много. А у нас не коз. И кто это придумал, чтобы воевать?..» Он останавливался возле каждого дерева, будто встретил земляка. Андре с ним подолгу беседовал об удобрениях, ячмене. Ив иногда ночью хныкал: тосковал по жене, по детям, по дому.

Нивель был прежде официантом в большом кафе. Два месяца он пролежал в госпитале на испытании. Жена приносила ему герань. Нивелю сказали, что от герани у него начнется сердечная болезнь, а тогда его освободят. Но герань подвела... Нивель горячился: «Зачем они меня держат? Я вырабатываю восемьдесят франков в день. Помножь на тридцать. А теперь дела идут еще лучше. Мне вчера сказал официант в «Кафе де Пари», что он зарабатывает вдвое против прежнего. Значит, помножь две тысячи четыреста на два. Я понимаю, что им наплевать на меня. Я тоже на них наплевал бы, если бы мог... А сколько таких, как я? По меньшей мере три миллиона. Значит помножь четыре тысячи восемьсот на три миллиона. (Он вытаскивал обглоданный карандаш.) Получается четырнадцать миллионов четыреста тысяч. Помножь на двенадцать...»

Бухгалтер Лабон боялся самолетов: «Хоть бы просто застрелили. А ты сверху...» Утешался он тем, что жена далеко; не выходил из домов терпимости: «Все равно убьют, хоть на прощанье узнаю, что такое свободная жизнь».

А молоденький, тщедушный Живер писал стихи о черной улице и сумасшедшем шарманщике.

Все эти люди жили вместе, томились, пьянствовали. Кто-нибудь прибежал: «Завтра трогаемся!..» Начиналась суматоха, писали письма, обнимали девушек. Потом объявляли: «Ложная тревога». И снова Ив вздыхал: «Зачем?..»

Андре как-то сказал Лорье:

— И не думай понять! Все перепуталось. Кто с кем? Впечатление давки! только никто не двигается с места. А слушать, что они говорят?.. Все равно

правды не скажут. Плутуют, стараются друг друга перехитрить. Представь себе, что я сел писать. Тюбики с краской. Нажмешь киноварь, вылезает черная; нажмешь белила, а там краплак. Нет, лучше не думать!

Когда радио переходило от веселой музыки к сообщениям, его закрывали: намоело слушать, что Даладе стоит за культуру, что на фронте не произошло ничего существенного, и что немцы потопили еще семнадцать тысяч тонн.

Город забыл про войну. Жизнь, на несколько недель потревоженная мобилизацией, снова вошла в русло. Парикмахер Шарлоне выиграл двести тысяч в лотерею. Вышел очередной номер археологического журнала, посвященный раскопкам в Афганистане. Маркиза де Ниор жаловалась, что все вздоржало; ей пришлось расчитать садовника — за садом будет приемотривать шофер. Садовник украл у маркизы часы и столовое серебро. Его поймали в доме свиданий. Местные газеты занимались этим делом куда больше, нежели морской битвой возле берегов Уругвая. На большой площади расположился цирк. Три замученных леопарда прыгали с кресла на кресло.

В январе полковник изругал Ива: «Вы похожи не на солдата, а на деревенского пожарного...» Казармы почистили. Через главную улицу протянули трехцветные ленты. Приехал депутат Пуатье, ставший министром. Мэр в приветственной речи сравнивал Тесса с мужами древности и с Кломансо. Тесса одобрительно кивал головой; потом сказал:

— Я хотел в эти исторические дни посетить город, оказавший мне доверие. Я знаю, что в груди сыновей Пуатье пылает священный огонь. Он вдохновлял некогда покровителя Пуатье, святого Иларiona, ныне он вдохновляет защитников липии Мажино. Все наши помыслы посвящены одному — победе...

Тесса приехал, чтобы купить участок в департаменте Вьенны. Прежде он тратил все, что зарабатывал. Теперь он не знал, что делать с деньгами. А различные акционерные общества, в правлениях которых он состоял, процветали. Конечно, можно перевести деньги в Америку. Но зачем?.. Они станут цифрой, абстракцией. Да и ненадежно... Тесса теперь не верил ни в акции, ни в доллары. Только одно непреложно — земля. Можно купить красивое поместье; на пасху привезти туда Полет, забыть среди цветов о войне, о Бретейле, о генералах... Еще недавно Тесса посмеивался над Лавалем: «Овернь-як, скопидом, знает одно — скупает землю». А сейчас он с волнением разглядывал в конторе нотариуса планы, фотографии. Вот эта усадьба недурна: фасад восемнадцатого века, парк в духе Малого Трианона и все удобства...

На следующий день он поехал в Пре-де-Дэн — так называлось облюбованное им поместье. Он надел на себя шерстяное белье и два вязаных жилета. Стояла на редкость суровая зима. Часто Тесса думал: что с Люсьефом? Видел сына замерзшим.

— Совсем, как в Финляндии, — сказал он нотариусу. — Кстати, вы читали сегодня газеты? Этот маршал с немецкой фамилией — молодец! Я лично уверен в победе...

Голая нимфа держала бронзовый кувшин; из него торчали, как стрелы, сосульки. Кажется, и нимфе было холодно...

Тесса сказал:

— Дом прекрасный. Мне нравится сочетание: лепные потолки Людовика Пятнадцатого и центральное отопление.

Он вернулся в город под вечер. Вспомнил, как покупал в кондитерской конфеты для Дениз, и приуныл. Почти четыре года прошло... Не будь войны,

скоро пришлось бы предстать перед пзбирателями. Но теперь другие заботы! А хорошее было время! Он — единственный кандидат; все перед ним отступило. Дома его ждали Амали, дети. Дениз улыбалась, даже Люсьен старался быть любезным. Как Амали обрадовалась бы, узнав, что он купил Пре-де-Дэз! Она любила деревенскую жизнь, кур, овощи... А для кого теперь эта усадьба? Для Полет? Но она его бросит, как только подвернется богатый мальчишка, вроде сына Меже. Нет, земля для него, и только для него. Он вдруг подумал о другой земле — на кладбище Пер-Ланез, рядом с Амали. Готов был заплакать; но, к счастью, вспомнил, что вечером прием в честь у маркизы де Пиор, и утешился.

Маркиза встретила его восторженным шобетом:

— Мы рады вас приветствовать, как соседа... Хорошо, что вы выбрали Пуату!..

Тесса нашел в салоне местных аристократов, археологов, несколько военных и своего бывшего соперника, старика Гранмезона, который кричал:

— Их надо проучить! Я не понимаю деликатности англичан. Войти в Черное море — в точка...

Обступили Тесса. Онпил жидкий чай и важно объяснял:

— Все разворачивается согласно плану. Нельзя рассматривать Германию как нечто целое. Зима их многому научила. Бегство фон Тиссена важнее военной победы. Рейхсвер возмущен... Я предвижу возможность серьезного разговора с немцами. Такой человек, как Геринг, прекрасно понимает положение... А Гессе!..

Он осведомился о судьбе своих противников. Ставленник Бретеяля, агроном Дюгар, был мобилизован, ведал поставками бензина. А слесаря Дидье отравили в концлагерь на острове Ре. Тесса вздохнул:

— Ужасно, что приходится прибегать к таким мерам! Но ничего не поделаешь — враг стоит у границ Франции.

Тесса уехал на следующий день. Батальон отдавал ему почести. Андре много раз слышал рассказы Люсьена об отце, но никогда он не видел Тесса. Он удивился: маленький, как птучка... А Тесса торжественно прошел мимо солдат, потом вытер рукой в лайковой перчатке длинный нос. Раздалась «Марсельеза».

Солдаты говорили о приезде Тесса; все знали, что он купил поместье. Им вздыхал:

— Вот сукин сын, пронюхал, что земля хорошая! И денег не пожалел. Мнэ говорили, что земля здесь здорово вскочила — с трех франков на двенадцать...

— Ему-то что, — проворчал Пивель. — Он на каждом снаряде зарабатывает. Как я когда-то на каждой кружке шива. А чтобы отпустить меша, это ему не придет в голову...

Лорье сказал:

— Лицо у него постное. С таким лицом только на похороны ходить. А он кричит: «Победа!..» Пойдем, что ли, в цирк?

В цирке пахло пудрой и звериной мочой. На юбочке паззиппы сверкала стеклярус. Мартышка кашляла. Ревела огромная шарманка. И Андре вспомнил четырнадцатое июля, карусель, голубого слона. Где теперь Жаппет? Расхваливает пилули? Плачет? Не повезло! Прежде он думал — ему; теперь знает — всем. Лорье прав — мира они не увидят; если даже подпишут — на год, на два, а потом слова...

Ив думал о своем:

— Замечательная земля! А крестьяне здесь хитрые. Подмешали к хлебу просо, чтобы не сдавать. Скот режут. Говорят: «Зачем нам бумажки?..» Никому не верят. Земля вот как вздорожала!.. И кто только это придумал?..

Леопарды жмурились от яркого света, прижимали уши. Тщедушный укротитель в малиновом фраке до одурения щелкал бичом.

— Неудобно им в кресле, — сказал Живер.

И снова шармайка... Андре вышел с Лорье; говорил:

— Самое страшное — равнодушие. В цирк ходят. Все кафе полны. Тесса пекушает землю. Крестьяне прячут пшеницу. А что будет завтра?.. В ту войну было иначе, может быть, глупее, но человечней. Кричали: «В Берлин!», громили немецкие лавки, ругались: «Боши!» Дрались. Страсть была. Клемансо лез на стену, говорил: «Мы будем защищаться под Парижем, в Париже, за Парижем...» Потом прокламация: «Ленин сказал...» И все кипело. А теперь такая тишина, что выть хочется. Я себя чувствую, как эти леопарды. На афише сказано: «Грозные хищники», а они хуже драгой кошки. Мне страшно, Лорье!

И Лорье ответил:

— Мне тоже.

11

Солдаты шутливо спрашивали Люсьена: «Ты, может, родственник?» Он отвечал: «Однофамилец». И все же фамилия озадачивала; осторожный майор отправил Люсьена санитаром в госпиталь — подальше от палатной нули.

В бывшем монастыре содержали душевнобольных. Люсьену приходилось вязать буйных, кормить через нос меланхоликов. Сержант лежал, привязанный к койке: хотел колоть штыком. Кричал благим матом солдат Беран; все его пугало — щетка, плевательница, очки врача. Другой рисовал голых солдат с женскими грудями. А изможденный марселец с утра до ночи повторял формулу военных сводок: «Ничего существенного... Ничего существенного...»

Один солдат признался Люсьену: «Я парочно... Прежде думал, что печень вывезет; в Лиможе пятнадцать яиц глотал, противно вспомнить... Не вышло, отправили на фронт. Придумал — мычу, как корова. Только ты меня не выдай». Люсьен пожал плечами: «А мне что? Мычи».

Санитары играли в карты, усердно посещали дома терпимости. Пиши, где когда-то стояли святые, были забыты бутылками из-под вина. Люсьен сидел возле печурки; это было его единственной радостью; он думал — понимаю огнепоклонников. Его вдохновлял огонь, притихший было, который приподымался, креп, пожирал доску. И волосы Люсьена казались продолжением огня.

Дженни написала, что уезжает в Америку; оправдывалась — консул настаивает; уверяла, что они обязательно встретятся — в Париже или в Нью-Йорке. Он кинул письмо в печь. Только теперь он понял, что любит Жаннет. Говорят, что время — враг. Неправда! Время снимает шелуху; так исчезают неисскрешенные горести, надуманные страсти. А подлинные чувства остаются... Для Жаннет он — чужой, как для него Дженни. Это странная игра: картинка разрезана, надо ее составить, но один кусок не подходит к другому...

Радио хрипело: «Не произошло...» И раздирающе вопил марселец: «Ничего существенного».

После Нового года Люсьен потребовал, чтобы его отправили на фронт. Он думал, что близость смерти скрасит его тоску. Он нашел скудный быт, хо-

лод, ругать. Спаряды аккуратно убивали; к этому привыкли; зевали «лотерея»...

Люсьен нашел собеседника. Это был высокий норманец с лошадиной лостью и восторженными глазами, по образованию археолог. Звали его Алфредом. Он рассказывал Люсьену о раскопках в Сахаре — кости погибших мира... И Люсьен вспоминал льды, пингвинов. Потом говорили о войне. Алфред был доверчив; доказывал, что Даладь — за свободу; после победы начнется расцвет искусств, Афины, Возрождение... Люсьену было совестно его разубеждать. Он только изредка перебивал Альфреда: «Хорошо, что их не знаешь...»

Увелили солдат с отмороженными ногами. Теплые носки казались неслучайной мечтой. Пошли слухи, что солдат отправят в Финляндию.

В холодный февральский день, когда мир казался мертвым — белое небо над ним красное воспаленное солнце, позиции осматривала парламентская делегация. Сопровождал депутатов генерал Пикар.

Еще недавно уверяли, что Пикара пошлют в Сирию. Вейган называл его «пожарным», говорил, что призван потушить пожар на Ближнем Востоке. Пикар возражал:

— На войне зажигательная бомба куда полезнее шланга.

Пикар разработал план кампании; сирийскую армию он называл «бакской». По события в Финляндии заставили его повернуться к северу. (Заявил Тесса:

— Мы должны послать солидный экспедиционный корпус. С немцами воевать мы не можем. Да и не хотим. А держать людей без дела — опасно. Коммунисты работают. К весне начнутся беспорядки. Только эффектная победа в Финляндии может вывести нас из тупика.

В парламентских кулуарах говорили о лапландской руде, о «колоссе и глиняных ногах», о сочувствии Римз. Депутаты приехали, чтобы убедиться в солидности линии Мажинно; прежде чем одобрить северную экспедицию, нужно проверить, хорошо ли заперты все двери... Три радикала, три правых, один социалист. За исключением Бретейля это были люди, ничего смыслящие в военном деле. Они казались зрителями, случайно попавшими на сцену; стыдились своих шляп, брюк. Один из них, добродушный толстяк попросил, чтобы ему дали шлем:

— Боюсь за голову...

Задавали дурацкие вопросы, осматривали ДОТы, как туристы средневековый замок, охая и ахая, а увидев тяжелые орудия, стали пугливо ежиться.

Генерал Пикар шел с Бретейлем; говорили о перспективах северной кампании. Бретейль был настроен радужно:

— Это поворотный пункт. Я боюсь, что социалисты затормозят, но Блик молчит, а Внар врет в бой. Вопрос об отправке альпийских стрелков решен в ближайшие дни.

Они прошли мимо поста. Люсьен отдал честь. Он вспыхнул: вдруг Бретейль его узнает? Но Бретейль был поглощен разговором; да и не в обычных привычках было разглядывать солдат.

А Люсьен погрузился в мучительные воспоминания. Даже зрелище депутатов, которые шли согнувшись, как будто над ними летают пули, не смогло его развеселить. Он понял, что значит «стогать от стыда». Да, его прощало постыдно! Как мог он поверить этому бездушному человеку? Петруша догадаться, о чем Бретейль беседует с Пикаром: хотят поставить Францию в

коленн. Мстят за тридцать шестой. Уведут войска в Сирию, в Финляндию, все равно куда... И впустят Гитлера. Люсьен вспомнил, как отец, возмущаясь забастовками, повторял: «Немцы и то лучше...» Все они таковы! Может быть, Грандель еще самый невинный... А людей убивают. Вчера убили Шарля. Это был горец, пастух, играл на дудке... За что его убили?.. Подлецы!

Вечером он сидел на корточках у маленького костра рядом с Альфредом. Мерзли, молчали. Потом Альфред начал:

— После резолюции Лиги наций...

Люсьена прорвало:

— Вздор! Все это слова. А за ними предательство, личные интересы, мелкие обиды. Ты видел Бретейля? Святой, метит в рай. И, конечно, «патриот». Когда говорит о Лотарингии, в голосе слезы. Но, между прочим, он знает, что Грандель — немецкий шпион. Покрывал его. Ты думаешь, Пикар готовится к войне? Он был занят другим: подготавливал фашистский переворот. Откуда пулеметы? Из Дюссельдорфа. А деньги кто ему давал? Немец, Кильман... Грязь! Что ты мне рассказываешь о Лиге наций? Ты лучше скажи, за что убили Шарля? *

Люсьен долго говорил о «верных», о сборищах у Монтинья, о предательстве; промолчал только о том, как достал письмо Кильмана, не мог признаться, что он — сын Тесса; это ему казалось самым позорным. Альфред сидел убитый, глаза его помутнели: он все начинал: «По... по...» Наконец выговорил:

— Но если так, надо рассказать всем... Свергнуть... Спасти Францию...

Люсьен злобно засмеялся:

— Как Дженип, честное слово! Была такая американочка... Я с ней жил, вернее, с ее долларами. Она мне тоже сказала: «Тогда нужно устроить революцию». Поздно, милый! Что мы в тридцать шестом делали? А теперь ничего не поможет. Разобьют нас и посадят гаулейтером Бретейля. А может быть, просто все спесут к чорту... И нас с тобой. Как твои раскопки... Через двадцать веков найдут в земле зажигалку «Донхила», мотор «Мессершмитта», череп благородного Винара и пойдут вздыхать: «Удивительная была цивилизация!» Я тебя утешу: мы этого не скажем. Бррр! До чего холодно! И, откровенно говоря, надоело.

12

Новый год Жюлио встретил с женой и шурином. (Альфред, военный врач, приехал с фронта на три дня.) Пошли в ресторан, выпили две бутылки шампанского. Какие-то девушки кидали бумажные шарики, розовые и голубые, Альфред застенчиво щурится и говорит: «Бомбы...» Жюлио произнес тост:

— За победу! Я вижу наших солдат, встречающих Новый год в Берлине. И суеверно схватился за край стола. Альфред отвернулся. Развязность Жюлио его стесняла. А Мари, нежно глядя на брата, вздохнула:

— Только чтобы тебя не убили!..

Жюлио стал объяснять:

— Это логически беспорно, в конце года у нас будет пять тяжелых фрулий против одного немецкого.

— Не знаю, — ответил Альфред. — Я ничего в этом не смыслю. Нам с сыворотками плохо. Боюсь, как бы нас не застали врасплох. На той войне столбняк...

Жюлио его перебил: не выносил разговоров о болезнях и смерти.

На следующую день Альфред уехал. Жюлио о нем не вспоминал: мятежно бесцветный человек. А Мари часто плакала: боялась, что брата убьют. Напрасно Жюлио ей говорил: врачи — в тылу, им ничего не грозит. Снова повторяла: «Вдруг?..»

Жюлио жил, как всегда, лихорадочно. Теперь его голова была начинена трудно выговариваемыми финскими именами. Засыпая, он видел обледеневших людей, как сталактиты свисающих с неба. И от этого становилось жутко; натягивал на голову одеяло.

Жюлио не был жаден, хотел всех подпустить к пирогу. Он послал десятка два приятелей в Финляндию и в Стокгольм. Своему двоюродному брату Мариусу, расторопному марсельцу, он посоветовал:

— Устрой вечер-гала. Расскажи что-нибудь о Маннергейме. В пользу финских «лотт». Золотое дело!

И недели две спустя Мариус перед изысканной публикой, не спуская глаз с Жозефины Монтинья, щебетал:

— Однажды маршал сидел под деревом. Страшная революция только-только начиналась. Подошел оборванный нахальный солдат, большевик, и попытался прикурить. Я забыл сказать, что маршал курил сигару. В возмущении он поглядел на солдата и, рискуя своей жизнью, ответил: «Да я лучше проглочу эту горящую сигару...»

Дамы аплодировали. Сбор достался, конечно, не «лоттам», но Мариусу.

Жюлио давно хотел отблагодарить типографа Пуарье: тот ни разу не напомнил о срочных платежах. Теперь подвернулась оказия: генеральному штабу потребовались карты Финляндии. Жюлио порекомендовал Пуарье. Сообщив типографу о заказе, Жюлио сказал:

— Мой друг, это все равно, что найти на улице четыреста тысяч. Только не смотрите на карту: варварские имена, можно сойти с ума... Пудачи ярки... Мне кажется, что у меня теперь во рту не язык, но глина...

Дела газеты шли прекрасно. И все же толстяк был меланхоличен, боялся сам не знал чего. Дважды в день приносили сводки: «Ничего существенного...» Париж богател и развлекался. Жюлио говорил:

— Вы только поглядите — раскупают дома и автомобили, как плюшки!

В газете, рядом с фотографиями финских стрелков, красовались отчеты лыжных состязаний в Межеве и Шамониксе: парижские модницы не хотели отстать от солдат Маннергейма. Но Жюлио не верил ни хорошему лыжникам, ни сводкам. С миром приключилось что-то страшное. Подумаешь, какие стоят холода! В Севилье — снег. А в Аргентине каждый день сотни людей умирают от солнечного удара. В Турции трясется земля. Все это к добру!.. Жюлио стал еще суеверней; не расставался с кусочком дерева. И ночам думал: кажется, я прошел под лестницей — не к добру... Когда Мари вздыхала: «От Альфреда давно нет писем», он отвечал: «Кутит», но сжимая в кармане щепку, не взглянуть бы...

В Париж приехал рурский магнат, барон фон Тиссен. За ним бегали фотографы. Ему улыбались красавицы. В «Ла вуа нувель» появилась фотография его собачонки: Жюлио знал, что с немцем нянчится Бретейль...

Фотографиями дело не кончилось. Позвонил Бретейль... газета должна напечатать заметку фон Тиссена:

— Это нам наруку... Намечается взаимное понимание...

Жюлио направился в «Отель Грийон», где остановился барон. Он долго ждал в пышной гостиной. Потом к нему вышел молодой презрительный че-

ловек. Жюлио кокетливо нагнул голову, улыбнулся, стал говорить о свободе, о братстве народов. Фон Тиссен процедил:

— Простите, я занят.

Дал рукопись и ушел. Жюлио, раскрыв папку, прочитал: «В ту весну я вместе с Гитлером разработал план кампании против коммунистов...»

Он пришел домой измученный. Увидав, что Мари плачет, сказал:

— За Альфреда можешь не беспокоиться: войны нет и не будет. Если бы ты видела этого немца! Такому место в концлагере... А он сейчас поехал к Тесса, честное слово! Завтра начинаем печатать его мемуары. Монтиньи мне сказал: «Контакт налаживается». Понимаешь?.. Не плачь, Мари! С Альфредом ничего не будет... Войны нет... Разве что в Финляндии...

Жена отняла платочек ото рта и тихо сказала:

— Альфреда убили.

Только тогда Жюлио заметил на столе большой желтый конверт без марки.

13

Полк, где находился Мишо, отправили в Гавр. И Мишо всполошился: в Финляндию!..

Москва была для Мишо порукой, что его жизнь не напрасна, что счастье не только слово. Все, что делалось там, было таинственным и в то же время знакомым, близким, своим. Он блаженно улыбался, когда по радио рассказывали о питрусовых рощах Абхазии. Он следил за тем, как строят московское метро, как будто это строили его дом. Говорил: «В Брюсселе наши пианисты получили на конкурсе первую премию», и слово «наши» у него выходило естественным. Как-то он сказал Дениз: «Там и цветы за нас, да, да, обыкновенные цветы, ромашки или колокольчики...» Когда становилось невтерпёж, он разглядывал карту Советского Союза; огромное зеленое пространство успокаивало. Даже при последнем свидании с Дениз он спросил: «Как выставка в Москве?..» Он видел этот далекий город, будто прожил в нем десятки лет. За него готов был умереть... Не он один... И его приподымала общность веры: вокруг сотни солдат думают так же. Да и в других полках... Это было тайным братством миллионов.

И вот ветер ходит по широким улинам Гавра, рвет занавески, опрокидывает щиты с рекламами, кружит прохожих. Кричат портовые сирены. Скрежещут зубами лебедки. День и ночь идет работа. Говорят об экспедиционном корпусе...

Мишо отводит в сторону то одного, то другого солдата. Он не знает, кто коммунист. Но есть множество примет: вздыхает, что нет «Юма», потешается над благородством Виара, говорит о Торезе: «Наш Морис». Мишо шепчет:

— Если пошлют против русских, мы должны отказаться. Скрыть они не смогут, вся страна узнает...

— Не знаю... Что другие скажут? Ведь это не выборы, здесь пахнет расстрелом...

Мишо любили за смелый язык, за веселость; когда он срезывал сержанта, поддерживали. Но другое дело — бунтовать... Мишо и сам не знает, что скажут солдаты. Он уговаривает, объясняет; вдохновенно рассказывает о большом северном городе, за который сражаются русские: там широкая река, в дворах — рабочие, там жил Ленин... Он ругает изменщиков, готовых ого-

лечь фронт. Он с каждым говорит по-другому, говорит, волнуясь, торопясь — могут завтра отправить...

Узнав, что его полк входит в экспедиционный корпус, полковник Керье потерял сон. По ночам он раскладывал пасьянсы. Это был вспыльчивый слабохарактерный человек. На войне он показал себя храбрым, получил два креста; был равнодушен к смерти, но жизни боялся, боялся печальства хитрой сети политики, доносов, уличных демонстраций.

Всю зиму полк простоял в Пикардии. Керье решил рыть укрепления нельзя оставлять людей без дела. По генерал Пикар разнес его: «Кто вас просил вызывать панику? Они не могут прийти сюда. Вы наслушались пораженцев...»

Керье перепугался — кто их поймет? Все это — политика... Он приказал прекратить работы и заявил: «Укрепления ни к чему — только поражения могут думать, что немцы придут сюда».

Теперь говорят о Финляндии. Известно, что скажут солдаты. А так начнут брататься с русскими. И кто это придумал?.. Всегда говорили: один враг лучше двух. Как можно победить Россию?.. Даже Наполеон там завяз. Пужели Гамелен допустит?.. Впрочем, и Гамелен беспилец, все решаю политика...

И полковник в отчаянии отбросил карты: пасьянс снова не вышел, не хватило двух валецов. В шестой раз!.. Значит — конец!

А Мишо говорил товарищам:

— Видали границу? Укреплений нет. Людей снимают. Хотят воевать русскими. А сюда пустят гитлеровцев. Вот их война!

Тусклая лампочка едва освещала лица. На белой стене бились длинные тени. Напрасно хотел Мишо новать, что означает молчание. Разные люди — слесарь из Апьер, кажется, коммунист; крестьянин — говорит, что у него хороший дом; комми-вояжер — продавал швейные машины; посыльный; мясник; почтовый служащий. О чем они думают?

Развязка наступила неожиданно. Должен был приехать Пикар. Выстроили две роты. Керье стоял покурый, не глядел на солдат. Вдруг сзади крикнули — Куда везут?..

Полковник покраснел, вытер платком лицо.

— Кто кричит?

— Все!..

Керье растерялся. Он не грозил, не пробовал уговаривать. У солдат отобрали вилтовки. Говорили, будто отдадут всех под суд. Почью люди не спали, припоминали детство, мирную жизнь, семью.

Допрашивали: кто зачинщик? У всех было в голове: «Мишо». По пикту не называл его. А над городом металась мартовская буря.

На следующий день Пикар сказал полковнику:

— Придется трех-четыре расстрелять — для острастки.

Тогда Керье закричал:

— Вы понимаете, что это значит? Они нас убьют!..

Он тотчас опомнился, покорно опустил голову: ждал — «под суд». Ему казалось, что зачинщик он.

А Пикар, отвернувшись, барабанил по грязному стеклу. Он забыл, что рядом стоит подчиненный. Он повторял себе: Мариз, Верден... Все в прошлом. Разве это армия? Орда, сброд! Сколько раз он говорил Бретейлю: «Осторожно, это не сойдет даром...» Конечно, северная кампания могла бы подняти

дух. По радикалы, как всегда, колеблются. А среди солдат много коммунистов. Что же дальше?.. Против немцев не пойдут офицеры. Честнее сразу сказать: сдаюсь. Еще целы не только фигуры — пешки; но партия проиграна.

Он поглядел в окно. Люди обступили газетчика. Ветер вырвал листы и погнался по длинной прямой улице.

— «Ja vua нувель»!.. Последнее издание!.. Слухи о переговорах между Хельсинки и Москвой!..

14

Тесса ел яйцо всмятку, когда ему принесли телеграмму. «Мирные переговоры... Стокгольм... Финская делегация...» Слова прыгали. Желток яйца замарал жилет. Тесса морщился, как будто испытывал физическую боль. Собранный с силами, он позвонил Даладьё:

— Какое несчастье!..

Даладьё ответил, что выступит по радио: предложит финнам сопротивляться — экспедиционный корпус готов. Тесса замотал головой:

— Поздно, мой друг! Не поверят... Надо подумать о другом...

Даладьё стал говорить о «трагедии маленьких пацанов». Тесса в досаду оборвал:

— Конечно, трагедия! И не только для финнов. Можешь верить моему нюху — кабинет не продержится недели...

Тесса стал подсчитывать голоса. Большинство будет против... В мире парит несправедливость. Тесса придется расплачиваться за ошибки какого-то Маннергейма. И Тесса проклинал финнов: дикари!

Случилось, как он предполагал; за правительство голосовало меньшинство. Выплыл Рейно. Тесса его не понравил: гном, вундеркинд, мажак! Рейно предложил Тесса сохранить министерский портфель. Тесса ответил:

— Я подумаю, посоветуюсь с друзьями...

Прежде всего он поехал к Даладьё. Тотпил аперитив; глядя исподлобья, сказал:

— Рейно — это катастрофа. Но я решил остаться на посту. До компа...

Большого Тесса от него не добился. Решил обратиться к Бретейлю; это человек завтрашнего дня! Если Бретейль посоветует перейти в оппозицию, Тесса откажется от портфеля. Пужно уметь переждать, проявить гражданское мужество!

В кабинете Бретейля Тесса увидел высокого голубоглазого человека.

— Я имел счастье познакомиться с господином министром накануне марсельского конгресса.

Тесса смутно припомнил: делегат Кольмара... не дал Фуже говорить... И Тесса дружески улыбнулся:

— Как же, помню...

Когда Вайс вышел, Бретейль сказал:

— Не удивляйся, что ко мне приходят радикалы. Мы проводим национальное объединение. Вайс работает с Гранделем. Вообще, я считаю, что дела идут неплохо...

Его бодрый голос озадачил Тесса.

— По-моему, очень плохо. Финны нас подвели. От Рейно можно ждать всего.

— Я тоже не из его поклонников. Английский приказчик, хочет, чтоб мы стали доминионом. По Рейно — мотылек. Он не доживет до лета. Под что мы его используем. Он уберет Гамелена, это плюс. Мы должны выдвинуть Пикара. Потом карлик влез на ходули. Он должен выкинуть что-нибудь эффектное. И на первом прыжке он сорвется...

— Он предложил мне портфель. Но я хочу отказаться.

— Ни в коем случае! Ты должен считаться с национальными интересами. Надо иметь в кабинете своего человека...

Тесса не заставил себя упрямивать. Хорошо, он будет работать с Рейно Ловые за это простят ему многое. Он боялся правых, но вот его благословляет Бретейль... Конечно, он останется! Приятней быть министром. Да и почетней — историки отметят, что Тесса не покинул боевого поста.

Получив список нового правительства, Жолио закричал:

— Как вам нравится?.. Из тридцати министров шестнадцать адвокатов И они называют это «военным кабинетом»!

Принесли агентские телеграммы. Жолио поблдепел:

«Ужасные аусвинии! Заговорила Эгна. Это неспроста... Они плачут, что прозевали Финляндию. А я боюсь, как бы макаронщики не пошли на Марсель...»

Когда типограф Пуарье сдал заказанные ему карты, в штабе удивились: какая Финляндия?.. Но деньги уплатили.

Прошло три недели. Рано утром Жолио узнал о минных полях возле норвежских берегов. Он тотчас позвонил Пуарье:

— Поздравляю вас с новым заказом! Рейно тоже захотелось к белым медведям. Теперь им понадобятся карты Норвегии, увидите! Только не проделешевите...

У Монтиньи состоялся пышный прием: впервые правые чествовали Тесса. Были Бретейль, Лаваль, Фланден, Грандель, Меже, генерал Пикар.

Дамы обсуждали, где лучше всего провести каникулы. Супруга Пикара остановилась на Бриансоне:

— Это возле итальянской границы. Муж говорит, что Муссолини ни в коем случае не решится... А я хочу немного отдохнуть от этой ужасной войны. Там так тихо, так спокойно...

Госпожа Меже решила провести несколько недель в Биаррице: океан, элитное общество. Спросили Муш, куда она поедет.

— Муж хочет, чтобы я отдохнула в Швейцарии. Не знаю...

Она вспомнила бокетливую швейцарскую гостиницу, смех туристов, затылок Бильмана, колокольчики коров и потом расплату — искаженное гримасой лицо Люсьена...

Госпожа Монтиньи, сильно декольтированная, с припудренными плечами, потчевала гостей:

— Сегодня вторник, ужасный день! Ни мяса, ни кондитерских изделий, ни ликеров. Но, слава богу, французы не педанты! Дорогой генерал, я вам рекомендую арманьяк — из погребов моего брата. Вы чем-то озабочены?..

— Пет... Арманьяк прекрасный.

— Какие новости?

— Невеселые. Я говорю о военных событиях... (Генерал вздохнул.) Они уверяли, что удержат дорогу Берген—Осло. Но немцы не церемонятся... Остался самый север... Положение...

Тесса расслышал только последнее слово, подхватил:

— Положение безусловно окрепло. Я ждал солидного большинства. Но скажу прямо: единодушный вотум Палаты меня изумил. Какая зрелость политической мысли! Мы теперь выражаем действительно волю всей Франции. Целовала ли, генерал?

Пикар стал говорить о Бергене, о фиордах. Тесса отмахнулся:

— Это детали...

Пикар его раздражал: типичная слепота военного!.. Куда забралась немцы?.. Пустынная, нищая страна. В фиордах ездили чужаки, любовались полуночным солнцем. Хорошо, что немцы клюнули, это отвлекает их от наших границ. И Тесса сказал:

— Норвегию затеяли англичане. Мы тут ни при чем. Адмирал Дарлан негодует, он прямо говорит, что лучше Гитлер...

Брестейль усмехнулся:

— Англичане... Я их видел когда-то на Сомме. Они каждое утро в окопах брылись. А в пять часов пили чай с тостами. Посмотрим, что они будут делать в тундре...

Гости подхватили:

— Будут есть свою любимую треску.

— Или треска съест их.

— Представляю, как перепугался Рейно!

— Да, гному не весело... Я думаю, что правительство Австралии и то пользуется большей независимостью...

— Ха-ха! Мы на положении кепгуру...

Тесса нашел необходимым вступиться за правительство:

— Конечно, Рейно англоман и сноб. По графиня де Порт — умная женщина. Это, так сказать, Эгерия. А я действую через приятеля графини — Бодуэна...

Кто-то фыркнул:

— Любовник любовницы.

Тесса продолжал:

— Жаль, что в кабинет не вошли наши друзья — Брестейль и Лаваль. Но будьте уверены, в норвежском вопросе мы не пойдем на авантюру. Я первый настаивал на помощи Финляндии — Франция всегда протягивала руку слабым. А в судьбе Норвегии мы не заинтересованы. Это спор между англичанами и немцами. Пускай Черчилль расхлебывает... Что касается нашей территории, мы гарантированы от сюрпризов. Через Голландию они не смогут пройти — голландцы откроют шлюзы. Испытания прошли блестяще. А бельгийские укрепления мало чем уступают линии Мажино. Конечно, у немцев некоторое преимущество в самолетах и танках. Но этого недостаточно. Генерал Дериод говорит, что для настоящего наступления немцы должны выставить шесть орудий против одного. Значит, их партия проиграна.

— Наше слабое место — тыл, — сказал Меже. — Коммунисты снова подняли голову. Забастовка в Куршевеле может распространиться. Посмотрите, вот эти листовки...

— Возмутительно!

— Напрасно не расстреляли депутатов...

— Им создали рекламу. Теперь все питируют речь Греза на процессе.

— Весь процесс был ошибкой. Я говорил Даладьё... Падо было или держать их в тюрьме без суда, или подвести дело под государственную измену.

— Мы связаны законами. (Тесса вздохнул.) Посмотрите приговоры: два-

три года тюрьмы. Бого это может остановить? Рейно — тряпка. А Мацслено ненавидит Гитлера. Это — опаснейший демагог, он мечтает стать эсаром Коммуны. Я рассчитываю на поддержку Серроля. Он социалист, порядочный человек. Счастье, что ему дали портфель министра юстиции. Он говорит, что московскую язву следует выжечь железом...

Тесса вынул рюмку арманьяка и загрузил: могут расстрелять Денна. быстро совладал с собой, стал снова непримиримым, мужественным. Годообрительно шумели. Тесса стоял возле круглого столика: окаменел, держал в руке щипчики для сахара. Ему казалось, что он стоит у государственной кормила.

Потом вниманием овладел Пикар. Он рассказывал анекдоты о генерале Горте.

К Тессе подошла Жозефина, тихо спросила:

— Где Люсьен?

Тесса растерялся: впервые кто-то заговорил с ним о сыне. Он ответил, подумав:

— Пропал.

И сразу понял, что это звучит двусмысленно; поправился:

— Может быть, убит. Бедный Люсьен!.. — Его голос дрогнул.

Жозефина не выдержала, заплакала. Тесса тоже почувствовал во рту слезы и дослешно вытер пальцем свой птичий нос.

Подошел Монтинья. Тесса опомнился: нельзя давать волю чувствам! Нельзя быть сильным, как Клемансо... Стал рассуждать:

— Гитлер сделал еще одну ошибку: он будет сражаться с моржами. А пока что можем жить, работать. Даладье решил демобилизовать полмиллиона крестьян. Пужлю пахать, сеять; без булки не проживешь. Пускай Люка и Фуже кликушествуют... Мы покажем миру, что такое французская выдержка.

Монтинья кивал головой: правильно! Потом обнял Тесса и захохотал на гостиную:

— Вы хорошо сделали, что купили участок в Пуату. Это пуп Франции от всех границ. У меня усадьба в Савойе, и, говоря откровенно, побаиваюсь. Все-таки итальянцы — фантазеры... А вот вы можете спокойно — в Пуату никто не придет. Я всегда говорил Бретейлю, что вас государственный ум...

15

Узнав, что Рейно сел на место Даладье, Меже заявил Гранделю:

— Я должен был сдать к первому мая сто восемьдесят бомбардировщиков. Но положение изменилось... Вы можете сказать министру, что необходимы дополнительные испытания...

Грандель улыбнулся:

— Я вас понимаю... Рейно — авантюрист. Чего доброго, он втянет нас в настоящую войну. Зачем он послал альпийских стрелков в Нарвик? По моему мнению, что его скоро свалят. Достаточно одного хорошего поражения. Нам не постараятся... Говорят, что его поздравил Дессер. Это превосходная приманка дружба с Дессером не к добру...

Дессер, еще недавно всемогущий, стал посмешищем. Им кормились карьеристы. А Бретейль поучал Жюлио:

— Папирайте на Дессера — международный делец, поставщик пушек, плутократ. Естественно, что он за войну до победного конца. Можете его шельмовать, как хотите: Тесса мне обещал, что цензура не будет вмешиваться. Молитвы приказал Жолио пачать кампанию против Дессера. Толстяк жаловался:

— Можно менять политическое направление, это в порядке вещей. Но Дессер поддерживал меня в самые тяжелые минуты. Вы понимаете, что значит — изменить старому другу? И потом Дессер — честный человек. Конечно, он не марселец, но он любит Марсель. Я слышал, как он разговаривал с рыбаками в Кассисе... Это настоящий француз! А я должен писать, что он австрийский еврей и подкуплен американцами.

Дессер занимал прежде слишком высокое место. Как только он зашатался, все решили — падает; повторяли: «бедняга», хотя у Дессера еще были и заводы, и акции. Никто не справлялся, как идут его дела. Инженеры «Сэп» говорили: «Вряд ли дотянет до голичного собрания...» Даже старик-садовник усомнился в кредитоспособности своего хозяина и попросил жалованье вперед.

Дессер все больше и больше пил, избегал людей, скрывал от Жаннет припадки грудной жабы. Встречаясь с приятелями, шутил: «Позвольте представиться — австрийский плутократ, у которого садовник просит жалованье вперед». Собеседник отворачивался — на Дессера страшно было глядеть: болезнь и неудачи размыли его лицо, оно стало рыхлым, бесформенным.

Жаннет чувствовала к нему острую, почти невыносимую жалость. Это чувство было унижительным для обеих; и не раз она пыталась озлобить себя, говорила ему дерзости, надеялась, что он ответит тем же. Но Дессер вбирал голову в плечи и глядел на нее добрыми, мутными глазами старой собаки. Тогда она его обнимала, повторяла трогательные, влюбленные слова. Он шептал: «Жаннет!» Это было заклиниваем, как будто Жаннет могла его спасти. Он знал, что только она привязывает его к жизни, а смерти он боялся еще сильнее прежнего, не боли, но пустоты, — ничего не будет, ни хорошего, ни плохого, и от этого хотелось выть.

Он часто говорил себе, что губит Жаннет; решил порвать с ней, выдерживал несколько недель, потом вдруг будил ее ночью, вбегал растерянный, спрашивал: «Можно?» Она гладила его жесткие седые волосы, а из больших испуганных глаз катились слезы.

Первого мая Дессер столкнулся с Меже. Призшло это в баре «Карлтон».

— Мне говорили, что вы хвораете, — сказал Меже.

— Пет, я себя превосходно чувствую.

— Здоровье — самое важное, особенно в наше время... Вы знаете, какой сегодня день? Первое мая. И никто об этом не думает. А помните, как в прошлом году мы волновались, ждали забастовок, демонстраций? Обыкновенный будничныи день. Пет худа без добра. Вы, кажется, со мной не согласны?

Меже так часто называл Дессера «красным», что сам уверовал в созданный им миф. А Дессер равнодушно ответил:

— Спокойно... Пожалуй, чересчур...

На улице его остановила молоденькая цветочница:

— Купите ландыши! Двадцать су. Приносят счастье...

У нее были зубы грызуна, а глаза затравленные. Он взял букетик еще не распустившихся зеленых ландышей. «Приносят счастье...» Пет, не принесут!..

Улыбка Меже, глаза цветочницы, Жаннет... И выхода нет. Убьют. Кого? Нет, его, всех... Он жадно пил коньяк у стойки. Радио хрипело:

Счастье стоять над ручьем,
Счастье ни в чем, ни в чем...

Неделю спустя Дессер встретил Жаннет. Она прошла мимо, не заметив его, шла и улыбалась. Он понял: без него она оживает. Пора кончать!

Много раз Дессер уговаривал Жаннет пересечь. Она отказывалась. Она жила все в той же старенькой гостинице возле улицы Бонапарт. Он хорошо знал и пышную хозяйку, обсыпанную голубоватой пудрой, и темную винтовую лестницу. Каждая ступенька — одышка и сомнение. Коридоры пахли уборной, духами, кухней. Комната Жаннет была узкой, глубокой. Над каминным Дафине полвека целовал бронзовую Хлою. Кто жил здесь прежде? Художник, мечтавший о славе? Счетовод, влюбленный в красотку из «Фолл-бержер», урод с фиксатором и яркими галстуками? Или немецкий эмигрант, аккуратный и растерянный, без правожительства? По ночам он вникал открытку с видом Мангейма и, сняв ботинки, шагал из угла в угол. В этой плохо проветриваемой комнате одиночество накапливалось, сгущалось. Дессер спокойно сказал:

— Мы не должны больше встречаться.

Он приготовил эту фразу; боялся, что она спросит «почему» или поглядит на него; тогда он не выдержит. Но Жаннет, отвернувшись, сказала «да». Она подумала: ничего не осталось, даже обмана. Так лучше!.. А он дивился своей спокойствию: ведь это смерть, и нестрашно...

Была теплая майская ночь. Над затемненным городом множились звезды. Цвели каштаны. Куранты на соседней церкви подробно вызванивали четверть.

— Ночь для влюбленных, — усмехнулся Дессер. Он стоял у окна.

— Влюбленных нет. Есть звезды, деревья, стихи. Вот, Дессер, мы и сстарелись!..

— Вы не начинали жить. Я вам помещал. Больше не буду — ни мешать ни жить...

Последние слова вырвались против воли; он рассердился на себя — жалуется. Она подумает — вымалывает. Он всегда знал, что любовь нельзя купить на деньги; ее нельзя купить и на слезы. А Жаннет, не замечая его волнения, ответила:

— Мне не хочется жить. Когда-то хотелось... Не вышло... А вам?..

— Я боюсь смерти... то есть не могу понять, как это — умереть...

Он собрался было уходить, когда загрохотали зенитки; будто свора сорвалась, и лают, лают... В мягкое бархатное небо вцепились прожекторы. А сирены сходили с ума, было в их реве что-то живое, звериное. Жаннет спросила:

— Что это?

— Скорее всего начало. Весна... Я вам говорил — ночь для влюбленных. Они думали, что немцы будут сидеть и ждать. Меже спял: «До чего спокойно!» Жалкие люди!.. Нет, хуже — предатели... А впрочем, все равно... Жаннет, неужели вы совсем не боитесь смерти?

Она ответила твердо, даже сухо:

— Нет.

А зенитки все грохотали.

Накопел тревога кончилась. Дессер сидел у окна в кресле: попросил разрешения остаться до утра. Зачирикали птицы: детские, простые звуки. Косые лучи, длинные тени. Прохлада. Провезли овощи на рынок. Прошла молочница. И Дессеру показалось, что ничего не было — ни ночной тревоги, ни объяснения. Он поглядел на Жаннет; она спала; лицо ее было спокойным, равнодушным. Он подумал: когда закрыты глаза, она обыкновенная... А Жаннет, точно угадав во сне его мысли, проснулась, поглядела. Он отвернулся. Она весело сказала:

— Доброо утро, Дессер!

— Может быть, и она забыла про все? В окно допелся смех школьников:

— Если меня Бегемот вызовет — скандал...

— У меня — задача с бассейнами... А мы пошли в кино — «Поцелуй смерти»...

Потом загнусавило радио: «При третьем ударе будет ровно семь часов одна минута... Передаем утренние известия... Сегодня ночью германские войска вступили в Голландию и Бельгию...»

Жаннет вскрикнула, любезала к окну. На улице стояла женщина с корзиной, слушала радио. «Отряды парашютистов сброшены на территорию Голландии...» Женщина выронила корзинку, на мостовую посыпалась крупная бледнорозовая земляника.

Дессер повернулся к Жаннет:

— Я вам говорил, что это начало...

Под окном, возле газетного киоска, толпились люди: рабочие, торговцы, женщины. Все обсуждали события.

— Как в четырнадцатом... Могут сюда притти...

— Они там завязнут. Допустим, что даже возьмут Голландию. А дальше что? Нам это только наруку.

— Писали, будто голландцы затопят все...

— Мало ли что пишут! За писание платят... А немцы могут спуститься на парашютах... Прямо на Марсово поле...

Дессер захлопнул окно:

— Сколько этих людей обмзнывали! (Он сел в кресло. Тяжело дышал. Болели плечо, рука.) Жаннет, поглядите на меня! Я ведь боюсь ваших глаз... Слушайте! Слушайте внимательно!.. Я тоже обманывал... Может быть, больше других... Хотел сохранить... А что сохранить?.. Тесса?.. Вот и расплата!.. Не знаю, что с нами будет... Придет Гитлер... Тогда — Франции конец... Пьер был прав... Он мне говорил: «Бросьте!..» Я мертвый... Но убили не меня, а Пьера... Жаннет, только чтобы вас не убили!.. Ну, прощайте!.. Видите, с чем совпал наш разрыв? Эффектно, как в театре... А на самом деле просто... И странно...

Он говорил глухо, несвязно. Потом надел шляпу и, уже стоя в дверях, поцеловал руку Жаннет; резко начнулся. И в поцелуе, в согнутой спине, в дрожи руки сказались сила чувства, боль, отчаяние.

— Жаннет, я достану вам паспорт, визу. Уезжайте! Подальше, в Америку...

Она покачала головой: нет. Она слишком устала... И сейчас ей невыносимо жалко всех: и голландцев, и людей, которые еще галдят под окном, и Дессера. Больше всего ей жалко Дессера. Думают — он все может. А он несчастнее ее: раб, кукла, тень. И впервые она обратилась к нему на «ты»: — Не убивайся! Все кончится. Не знаю, как, но кончится. Милый мой Дессер, прощай!..

Майор Леруа позеленел; тряслась челюсть; казалось, он сам с собой говаривает. А Леридо пожал плечами:

— Не понимаю, причем тут мосты?...

— Генерал Моке сказал... Я связался по проводу...

— Генерала Моке за такие разговоры следует отдать под суд. Против в шестидесяти километрах от переправ. Я убежден, что это — диверсия, сколько наши основные силы проникли в Бельгию со стороны Като-Верв. Но возьмем самое худшее — удар направлен на нас. Чтобы дойти до Ма они должны положить месяц. И я беру хорошие темпы наступления. А вы контратаки?.. Седьмая армия подошла к Антверпену. Это что же по-ваше оборона или наступление? А при наступательном характере операции толпеучи могут говорить о разрушении мостов. Вы меня понимаете, майор? И перестаньте шептать под нос!..

— Я...

— Вы?.. Сразу видно, что вы ту войну просидели в Париже. Первое правило — спокойствие. Война вступила в острую фазу, это естественно. Но мы должны работать, как прежде, в этом секрет победы. Я попрошу вас изложить мне содержание сегодняшних газет...

Леруа сделал над собой усилие:

— Ромье в «Фигаро» считает, что наступление противника удастся и остановить на линии Намюр — Антверпен... (Его челюсть снова затрясла) Господин генерал, немцы не в шестидесяти километрах, а в сорока. Они пята Марш.

— Можно подумать, что вы депутат, а не офицер. Во-первых, это — проверенные данные... Во-вторых, если даже патрули противника достигли Марша, это ровно ничего не доказывает. Можете идти. И пришлите полиника.

Леридо развернул большую карту. Вошел Моро, как всегда невозмутим:

— Чудесный день. Я только что вернулся — был у таджиков. Здесь пыльные места — рощи, пригорки.

Погруженный в свои мысли, Леридо ответил:

— Местность сильно пересеченная. Так что глупо подымать пашку. Посмотрите — я отметил синим карандашом линию фронта. Это совпад с вашими данными?

Рядом с крохотным Леридо полковник казался великаном. Он поглядел генерала благодушно, даже снисходительно:

— Фронта нет. Вы очеркнули Марш — Либрамон. Но ведь это было утро А теперь четыре часа пополудни.

— Вы хотите сказать, что они продолжают продвигаться?

— Они попросту едут вперед.

На минуту Леридо смутился, закрыл глаза. У него были мясистые синие веки. Но тотчас он оправился:

— Тем хуже для них. Мешок вытягивается, а по обе стороны наши часы Нам остается прощупать, где у них слабое место. Я должен повидаться с генералом Пикаром. Хорошо, что вы со мной... Наш майор потерял голову. И Моке... А в положении нет ничего угрожающего. Ваше мнение, полковник?

— Вряд ли генерал Пикар захочет поставить на карту резервы. Вы знаете, как он относится к этой войне?..

— Да, но положение изменилось — теперь они наступают. Мы вынуждены действовать.

— Боюсь, что ничего не поможет. Они бросили не менее семисот танков. А защита слабая. К сорокасемикилометровым нет снарядов...

— Это деталь. Можно, наконец, применить полевые орудия... Я вижу, что вы поддались общему психозу. Вспомните август четырнадцатого. Тогда было хуже... Я не забуду бегства от Шарлеруа до Мо. Артиллеристы бросали орудия, садились на коней. А две недели спустя мы гнали немцев до Эны. Фон Клюк не прикрыл правого фланга, и что же, он поплатился. А теперь они наступают узкой колошмой. Это безумие! Их коммуникации под нашим ударом.

Он долго говорил о законах стратегии, о переменчивости военного счастья, о качествах французской нехоты. Полковник стоял у окна и глядел на отлогие холмы с шашечницами полей; рассеянно улыбался. Потом он ушел: нужно проверить расположение зениток. Леридо остался один, вытер платком потные виски, задумался. Моро — человек хладнокровный. Если и он раскис, это плохой признак... Надо признать, что противник продвигается неслыханно быстро. Или они сошли с ума, или они дьявольски сильны. Вместо планомерной военной операции какой-то хаос. Трудно разобраться!.. На линии Мажино было куда спокойней; там не могло приключиться таких сюрпризов. Разве это современная война?.. Это примитивная драка!

Перегруппировку произвели еще в начале апреля. Тогда сектор Седана был спокойным тылом. Солдаты радовались — курили контрабандный бельгийский табак. А Леридо скучал. Он был убежден, что немцы не войдут в Бельгию. «Зачем им повторять ошибки Вильгельма?» Внимательно следил за операциями в Норвегии; ругал англичан: «Негоцианты, а не солдаты, вот что!» По вечерам играл с полковником в шахматы или писал длинные письма Софи.

Все произошло неожиданно; как говорил Леридо, «безграмотно». Наступление немцев представлялось генералу глупой выходкой. Он успокаивал всех: «Они лезут в канкан». Но сейчас его расстроил Моро. Может быть, положение серьезнее, чем он думает?.. Пренебрежительная история с противотанковыми орудиями! А Рейно хочет выдвинуть де Голля... Это чистосердечный неуч. Естественно, что генерал Пикар возмущен... Да, Леридо попал в переделку! Нужно успокоиться... Он положил поверх карты бювар: решил написать Софи.

«Дорогая моя певунья!

Третий день от тебя нет писем. Я ужасно волнуюсь. Санже говорит, что в Париже гастрические заболевания. Деточка, но ешь сырых фруктов и салата! Я здоров и бодр, хотя последние дни были очень утомительными. Ты, наверно, знаешь из газет, что противник начал операции крупного масштаба. Безусловно, он скоро выдохнется. Погода стоит хорошая, и я каждый день гуляю два часа. Вчера к нам приезжал адъютант генерала Пикара майор де Грав, молодой человек с большими музыкальными способностями. Он играл нам Грига. Я его поздравил, но про себя подумал — далеко ему до моей Софи! Как я скучаю по тебе, мое сокровище! Мечтаю о дне, когда увижу твои милые ручки, которые, как чайки, носятся по клавишам. Стендаль был прав, говоря, что настоящая любовь...»

Леридо вздрогнул от грохота, посадил вляксу и рассердился. Не стучась, вошел Моро:

— Придется спуститься.

В погребке было прохладно. Тайно и поспешно освещивали пыльные бутылки полках. Пахло вином. Офицеры зевали, потягивались. Моро сел на табурет, улыбнулся. Генералу принесли табурет. Леридо дулся: опять не дали коньяку...

Майор Леруа лепетал:

— Сюда метят...

Моро кивнул головой:

— У них прекрасная разведка. Стоит нам обосноваться, как сразу повлияют с новосельем... Придется утром переехать. А я плохо сплю на новом месте.

— Ничего не поделаешь, — ответил генерал. — Это война. Не маневры. Не надо сказать — люди одичали. В ту войну никто не трогал штабов. До войны было взаимное уважение... А теперь они нас ищут, как батарею... Думают, мы ушли от рыцарского духа! Они ничем не гнушаются. Вы помните, полковник, «Помпей»? Это шедевр. Особенно сцена, когда Корнелия, оплакивая Помпея, узнает о заговоре. Она говорит Цезарю: «Ты — враг. Мою ты считаешь землей. И вот рабы замыслили тебя сразить. По помощи рабов я принимаю»... Вот это характер! А благородство стиха!..

Не обращая внимания на грохот, Леридо декламировал Корнелию. Потом молк — устал, едва сдерживал зевоту. Майор хотел прикурить; рука с пачкой сигарет подпрыгивала. А Санже насвистывал: «Все прекрасно, госпожа маркиза».

— Замолчите вы! — крикнул майор.

— Простите. Это от обстановки — бутылки, бочки, стихи... Можно и представить себе, что мы в кабаре на Монмартре.

Когда бомбардировка кончилась, Леридо хотел дописать письмо. Но с него помешали — пришел Моро:

— Представление продолжается — немецкие танки в Пализэле.

Леридо поглядел на карту и стал шагать из угла в угол. Он волновался, но не хотел показать Моро, что ошибся.

— Я вам говорил, полковник, это сумасшедшие! Они даже не пытаются расширить мешок. (Он помолчал.) Так или иначе, я считаю необходимо взорвать мосты между Монтермэ и Нузоном. У вас есть связь с Моке?

— Утром была... Но я думаю, что они уехали из Нузона.

— Тогда отправьте капитана Санже. Одновременно предупредите станцию, если саперы опоздают, выполнят с воздуха...

Наконец-то он дописал письмо: «Положение несколько усложнилось. Но я не теряю надежды увидеть тебя еще в мае. При таком расходе людей и горючего они должны будут скоро остановить операцию. Береги себя!»

Санже налил в кофейную чашку коньяку, выпил и простился с Леруа:

— Экскурсия из невеселых...

А час спустя майор узнал, что Санже и шофера застрелили на дороге; едва успели отъехать от дома. Прибежали крестьяне:

— Это немцы!..

Леридо крикнул:

— Вздор! Я сейчас подъеду, проверим...

Кто напал на Санже, осталось невыясненным. Леридо, увидав два трупы в машине, отдал честь; был спокоен. Полковник Моро спросил:

— Прикажете мне поехать?

— Нет.

Все ждали, кого пошлет Леридо. Но он сел в машину и сказал:

— Никто не поедет. В конечном счете генерал Моке не ребенок, он сам знает, что делать. А мосты уничтожат с воздуха. Садитесь, полковник.

— К нам?

— Нет, в Ретель. Мы не имеем права рисковать собой, это азбука. (Он вспомнил оскал мертвого Санже и облизал губы.) У нас отвратительный тыл, вот что!

Они ехали медленно: дорога была забита — танки, тягачи, лошади. Все это двигалось навстречу. И Леридо несколько успокоился:

— Наконец-то они поняли, что без подкрепления нельзя ликвидировать прорыв!

Возле Шарлевиля машину остановили солдаты; что-то выкрикивали. Увидав генерала, притихли. Леридо спросил:

— Что случилось?

Кто-то позади нерешительно ответил:

— Немцы...

И сразу все завоняло:

— Десант... Убили начальника станции...

— Парашютисты!..

— Двух офицеров застрелили...

Леридо привстал, гаркнул:

— Тише! Куда направляетесь?

Солдаты молчали. Моро усмехнулся:

— Дело ясное — дезертиры.

Тогда с земли раздался крик, похожий на лай:

— Что, генерал, удираешь?

Леридо не потерял самообладания;

— Молчать!

Он поглядел на обидчика и увидел, что солдат рапен — земля кругом была в крови. Леридо распорядился:

— Меже, мы его доведем до перевязочного пункта.

Раненого посадили рядом с шофером; он молчал; глаза были закрыты.

Напрасно Меже гудел; густой толпой шли беженцы. Многие гнали скот. Приходилось пробиваться сквозь стада. Крестьянские телеги плелись в два ряда. Леридо начал нервничать:

— Так мы никогда не выберемся. Это паника, вот что!

Меже остановил машину, прислушался. Генерал выглянул в окошко — бомбардировщики... Беженцы и солдаты рассыпались по полю, спрятались в рощице. Ехать дальше было невозможно: телеги, коровы. Отошли в сторону; полковник лег; его примеру последовал Меже. Леридо счел это унижением: стоя он глядел на небо, маленький, но величественный. Девять самолетов...

— Летают они аккуратно...

Одна из бомб упала на рощу. Когда они садлись в машину, генерал увидел на носилках девочку лет шести-семи: осколок бомбы оторвал ноги. Леридо высморкался и тихо сказал полковнику:

— Какой ужас!

Потом он обратился к раненому солдату:

— Ну, как поживает наш герой?

Солдат молчал. А вскоре после этого Меже спросил:

— Разрешите выкинуть? Наваливается, мешает...

— Да вы с ума сошли! Выкинуть раненого?

— Он кончился... Холодный.

Труп солдата качался, и сзади казалось, что человек засыпает.

Они остановились перед железнодорожной станцией; Меже хотел набр воды. На платформе валялись снаряды. Леридо вышел, проверил:

— Для сорокасемимиллиметровых. А вы говорили, что их нет... Вот ва Но почему они здесь?.. Неслыханный беспорядок!

Обошли всю станцию, но никого не встретили. В комнате телеграфиста полу сидел босой солдат; что-то жевал. Увидав генерала, он перепугался, ст обуваться. Леридо спросил:

— Какого полка?

— Сто семьдесят третьего. Ногу натер, отстал.

— Где винтовка?

Солдат не ответил.

— Где начальник станции?

— Все разбежались. Говорят, что немцы рядом... На мотопяклах; Страшно!..

Он хныкал, как ребенок. Леридо брезгливо поморщился.

Набрали воды; поехали дальше. Генерал молчал. А когда они подъезжа к Ретелю, он вдруг сказал Моро:

— Война проиграна, вот что! Не знаю, что придумают депутаты. Э авантюристы и неучи, во главе с Рейно. А мы теперь можем умыть руки мы сделали все, что могли. Как говорили римляне: пускай другие сделан лучше.

17

Деревушка, где стоял батальон, была за тридевять земель от беспокойно мира. Крестьяне жгли можжевеловый, коптили окорока. Мудро, как древни боги, глядели на грузовик тучные коровы. Зеленели люцерна и клевер; цве лиловые крокусы.

Когда приносили газеты, солдаты накидывались на последнюю страниц их не занимали ни потопленные тонны, ни бои за Тронгейм; они жадно п речитывали хрошку происшествий, объявления. Где-то остались театры, каф с людными террасами, женщины, много веселых, наряженных женщин.

Андре не тосковал о Париже. Сын нормандского крестьянина, он как буд нашел себя в этой медленной, тягучей жизни. Если и вспоминал он прошл это были смутные, призрачные образы: улыбка Жаннет или нешарпанн холсты — пепел домов, сизая Сена.

Солдаты обжились, подружились с крестьянами. Живер писал стихи зелен глазами девчонке; сравнивал ее с Горгоной. Лорье раздобыл флейту; играл в свадьбах. Нивель в деревенском кафе, как человек сведущий, доказывал х зяину, что вермут «Крюсификс» куда выгоднее «Сензано». Ив говори: «Земля здесь хорошая...» Открывал рот, удивлялся — земля оказалась хор шей повсюду. Андре был общим любимцем. С той же неловкой улыбкой о отдавал Иву последнюю щепотку табаку и рисовал Живера — «для невесты».

Ротный командир лейтенант Фрессинэ в мирное время был фотографом снимал молодоженов, новорожденных, провинциальных львиц. Это был добры ворчливый и чересчур чувствительный. Он рассказывал солдатам о Верден: «Люди были другие — глупее, но порядочнее...» Солдаты вежливо улыбались они не верили в героизм, не хотели славы, не связывали своей судьбы с ц

понятной чужой войной. И Фрессинэ по почам думал: «Разве это армия? Разобьют нас впрах. А Даладье ничего не вкрит...»

Колосилась пшеница. Молодые телята стали рассудительней: в их глазах проступила ранняя меланхолия. Начались жаркие дни. В кафе солдаты теперь заказывали не грэг, но пиво; заводили патефон; пластинок было мало, и сыпный тенор неизменно стонал: «Да, да, да, это не кончится никогда...» Все подпевали. Ив думал о своем белом домике в Бретани; а чудак Андре, глядя на звездное небо, вспоминал туманности Гершеля.

И вот пришла война, пришла сразу, застала всех врасплох — и штабы, и сердца. Прошлой осенью солдаты были более подготовлены к бою, к смерти. Их размерило долгое прозябанье. И когда прибежал Лорье с криком: «Началось!», никто не поверил. Ив вырубался, перетасовал колоду. Нивель сказал: «Ерунда! А вот сдал ты мне чорт знает что...»

Прошло четыре дня; все оставалось на месте. По радио передавали: французские войска дошли до Голландии; Рузвельт возмущен немецкой агрессией; бельгийский король (его называли «король-рыцарь») поздравил доблестных защитников Льежа. А на пятый день, с раннего утра, заметались автомобили, мотоциклы. Покой зеленого утра разодрала глухая канонада. Фрессинэ мрачно сказал: «Вот вам и Голландия!..»

В полдень прилетели немецкие бомбардировщики; разрушили церковь, восемь домов. Убили женщину. На узкой проселочной дороге показались беженцы; кричали: «Убивают!» Жители деревни не испугались бомбардировки; но, увидев беженцев, безумели; женщины плакали; стали грузить пожитки на скрипучие возы; кололи свиней; выгоняли коров. Один крестьянин поджег дом. Солдаты едва справились с пожаром. Напрасно Фрессинэ уговаривал: «Куда идете?.. Вас на дороге убьют...» Его не слушали; глядели мутными, непонимающими глазами. К вечеру в деревне никого не осталось. Андре зашел в дом — еще теплая печь, котелок с мясом...

Среди беженцев шли солдаты; многие без винтовок. Уверяли, будто немцы в пяти километрах.

— Танки!..

— Отчего наши не стреляют?

— Стреляют... Только их наши снаряды не берут... Танки вот какне!..

Показывали — танки с холм. Нивель сказал товарищам:

— Что — снимаемся?..

Ив злобно сплюнул...

— Хочешь идти, иди.

Нивель вскипел:

— Ты что меня за труса считаешь? Я думал — все идут. А надо оставаться, и я останусь.

«
Андре удивленно посмотрел на Ива: кто бы подумал?.. «Земля здесь хорошая...» И Андре почувствовал свою связь с этой землей, с опустевшей деревней. Еще час тому назад война была для него чужим делом, флажками на карте, политикой Тесса. И вот он — в самой войне, не смотрит, не рассуждает, лежит на верхушке голого холма и ждет. Отдать вот эти поля, дорогу, обсаженную тополями, домик под холмом? Нет! Все мысли пропали; осталось чувство, горячее и темное — не уйду! И рядом Живер — щуплый мальчишка с хроническим ларингитом, поэт — ну да, он стихи пишет о Горгонье; Живер, как Ив, повторяет: «Нельзя уйти...» А Лорье, милый весельчак

Лорье, пробует шутить: «Ив, закрой рот! Танки испугаются, подумают жма...» Ив стоит, стоит, приоткрыв свой большущий рот.

Лейтенант Фрессинэ угрюмо говорит:

— В Домоне было хуже. Но люди были другие...

Андре спрашивает:

— Это вы о нас?

Фрессинэ показывает рукой — нет, по Париж...

Наступила ночь. В других деревнях она была обыкновенной; лаяли собаки, храпели в альковах старики; просыпаясь, кричали грудные дети. А здесь осталось ни собак, ни детей, ни стариков — деревня вымерла. На су-земле молча лежали солдаты. Ночь была короткой: к четырем рассвело вместе с первыми лучами солнца показались самолеты. Батальон потерял девять человек.

Внизу снова солдаты — бегут...

— Снарядов нет...

— С четверга не подвозили... Говорят, нет бензина...

— О чем они раньше думали?..

— Продали нас за четыре су...

Нивель вздыхает: ему хочется уйти; но один не пойдешь, а другие от-хиваются — «Уходи!» Чтобы успокоиться, он считает: большие потери — две трети состава. Значит, из ста шестидесяти шести, скажем, шестьдесят семь... На трех раненых один убитый. Значит, на сто — семнадцать убитых. Можно уцелеть...

Немецкие танки прошли мимо кирпичного завода к станции; холм обещал. Теперь стрельба доносилась отовсюду. Зачем они уцепились за эту высоту? Справа немцы, спереди немцы, сзади немцы. Слева... Чорт их знает, кто с-ва!.. Должны быть наши: третий батальон. По и слева бегут... Уйти? На этот холм теперь дорожке всего, он не чужой, не «позиция», как пишут га-ты; он все, что осталось от жизни. Андре кажется, что ничего и не бы-ло позади — родился и лег сюда, к пулемету. Да и все это чувствуют. Жи-вот что-то бормочет под нос; не стихи — ругань, все в нем кипит.

Снова бомбардировщики. Убили Нивеля. Нет больше славного офицера. Никто теперь не напомнит о горько-сладких аперитивах. Никто не скажет: сколько, по-твоему, звезд? Я читал, что окрещенных восемнадцать тысяч. Помножь на сто...»

Опустилась еще одна ночь, подаренная судьбой, с окрещенными и неокрещенными звездами. Солдаты грызли сухари, томилась, как милости, жда-света, боя, смерти.

И в половине пятого Фрессинэ крикнул:

— Пулеметы к бою!

Лорье заметил, как легкий серебряный туман позади дороги дрогнул, за-велился.

— Пулемет первый, поле, девятьсот!..

— Огонь!

Немцы не ожидали сопротивления: думали, что солдаты давно разбежались. Андре почувствовал непонятное веселье; оно, как вино, ударило в голо-ву. Рядом Ив ревел:

— Закувыркались?..

Немцы залегли в ложбине у самой дороги. Двадцать минут спустя по вы-соте открыли артиллерийский огонь. Сначала были перелеты.

— В деревню... Боши по своим стреляют...

Потом снаряды начали падать на холм. Взлетала земля. В промежутках между разрывами кричали люди; крик был отчаянным, неправдоподобным. Солнце било в глаза. И одна мысль оставалась: не уйти, зацепиться, врасти в эту зыбкую, летучую землю, взлететь с ней, но не уйти.

И вот тишина. Кажется, никого не осталось. Андре, удивленный, видит — Живер шурится... Значит, жив. Смеется Лорье. И Лорье жив. Кричит в траве глупая птица. А Фрессина курит. Где Ив? Наверно, Ива убили. Все это быстро проносится в голове. И ни жалости, ни страха. Сейчас меня убьют... Все равно! Не подпустить! И никого Андре так не любил, как этот пулемет...

— Шестьсот пятьдесят!..

Опять самолеты; они падают сверху, как камни.

Андре почувствовал резкую боль выше колена. Хотел поглядеть, что случилось, долго тер глаза — засыпало. А взглянув, увидел лицо Лорье — кровь... Все равно! Не подпустить!..

Его оттащили в сторону.

— На место Корно — Живер!

Андре лежал, уткнув лицо в колючую траву. Немцы снова пошли в атаку. В полусне Андре слушал пулемет; его подробный, обстоятельный рассказ успокаивал. Вдруг пулемет замолк. Раздался крик маленького Живера:

— Верблюды!.. Диск скошен!..

Андре ползет через силу; хочет сказать, объяснить, но язык не слушается. Он поднимает руку и с размаху ударяет широкой ладонью по диску.

— Вот!..

И голова снова падает на землю.

Очнулся Андре ночью. Солома... Сначала ему показалось, что он заснул в поле. Почему так рано косят?.. Это он спрашивает отца... Потом вспомнил: ранен. Рядом лежит Лорье; лица его не видит; но голос Лорье.

— Ты?

— Я...

Андре морщится от боли; ему хочется говорить — много, безумолку.

— Лорье, ты меня слышишь? Пулемет выручил. А помнишь, как у Тесса из носа текло? Он землю покупал. Боюсь, что Ива убили. «Земля здесь хорошая...» Смешно!.. «Да, да, да, это не кончится...»

Лорье тихо отвечает:

— Никогда.

Паровоз свистит: не может двинуться с места. Кто-то пришел.

— Ив! Я думал, тебя убили.

— Меня? (Ив возмущен.) Дудки!.. Ты не разговаривай — сестра сказала: «Ему нельзя разговаривать». Не хотела пускать...

— Глупости! Скажи, Ив, удержались?

— Удержались. А деревню наши танки отбили. Четыре танка. В семь часов... Потом приехали из штаба на мотоцикле — приказ: «Очистить».

— Что ты несешь?

— Генерала Пикара приказ. Фрессина, как прочитал, выхватил револьвер и ац в голову. Честное слово! Хороший был человек, только нервный. Я за него свечку поставлю. И за Ивеля. Жалко мне, что холм отдали...

И Андре жалко — дорога с тополями, домик, колючая трава... «Земля здесь хорошая...» Земля... Жаннет...

— Ив, не уходи! Нельзя уходить! Ты слышишь меня — нельзя!..

Газеты писали, что немцы топчутся на месте. По солдаты разбитой армии показались в восточных предместьях Парижа. Монтинья отпр семью в Биарриц. Роскошные машины — «кадильяки», «испаносуды», «буионы» — покидали город. В Булонском лесу начали рыть окопы. Горили о таинственных парашютистах, о пятой колошине. Бретейль заяв что пятая колошина — это иностранцы, политические эмигранты. По его на янию, полиция арестовала несколько тысяч немецких евреев, рабочих, у жавших из фашистской Италии, испанских республиканцев. Полицией роздали винтовки. Они стояли, гордые своим оружием, на перекрестках ули регулировали движение. Жизнь большого города продолжалась: были переп нены кафе, бойко торговали магазины, на аукционах продавали автогра Марии-Антуанетты и мебель Директории; ателье мод уже готовились к зим му сезону. Особенно оживлены были окрестности биржи: вопреки всему ценно поднялись на несколько пунктов. Исчезли автобусы; их реквизировали переброски войск. Это успокоило парижан: вспоминали канич Марны — то, генерал Гальени реквизировал такси и разбил немцев...

Утром шестнадцатого мая секретарь доложил Тесса, что немецкие та подошли к Лану; многозначительно добавил:

— За пять дней они прошли сто сорок километров. А от Лана до Пари сто тридцать...

Тесса возмутился:

— Как вы смеете распространять панические слухи! Да я не останавлию перед крутыми мерами!

А когда секретарь вышел, Тесса позвонил Рейпо:

— Послушай, насчет немцев, я надеюсь, это вздор?..

— Она возле Лана.

— Говоря другими словами, ты считаешь, что они идут на Париж?

— Это не вызывает никаких сомнений.

— В таком случае они будут здесь самое позднее через четыре дня, — о делают тридцать километров в день, я сосчитал.

— Гамелен говорит, что сегодня вечером они могут быть в предместь Парижа. Я приказал сжечь архивы. Нужно быть готовым к отъезду. Я п звоню тебе через час...

Тесса позвал секретаря:

— Я погорячился... Но вы сами понимаете, такие известия, что легко п терять голову... Впрочем, лично я спокоен. Нужно принять экстренные мер Во-первых, уничтожьте архивы. Во-вторых, составьте список служащих, п лежачих эвакуации. И скажите шоферу, чтобы он проверил машину. Пуск не отлучается ни на минуту. Я, может быть, уеду после завтрака...

Он вспомнил про Полет. Вывести ее невозможно. Толпа возбужден А Полет знают все... Могут быть экссессы... Скапалом воспользуются соци листы... Но как ей объяснить? Она не от мира сего... Будет плакать... ! телефону куда проше...

— Детка, ты должна сейчас же уехать... Я не могу тебе сказать... И вости ужасные... Вечером они будут здесь, это безусловно... Но публика ея не знает, и ты не говори — зачем вызывать панику?.. Поезжай на Лео ский вокзал и с первым поездом... Я?.. Я не могу. Я останусь на посту

Кюнна. Нас не спрашивают... Мы обязаны быть героями... Прощай, моя крошка!..

Тесса положил трубку и вдруг, уронив голову на стол, заплакал. Какое горе! Подумать, что неделю тому назад все было спокойно!.. Обсуждали операцию в Норвегии. Он думал уехать с Полет в Пре-де-лен. Сто сорок километров за пять дней! Это чудовищно! Очевидно, солдаты попросту разбегаются. Может быть, они и не виноваты. Кому охота зря умирать?.. Бедная Франция!..

Тесса вздрогнул, поспешно поглядел на часы. Почему Рейно не звонит? убегут, а про Тесса забудут...

— Скажите Бернару, чтобы он приготовил машину, и пусть возьмет баки с бензином — кто знает, что теперь делается на дорогах.

— Господин Дессер просит принять его по срочному делу.

— Дессер?.. Чудак! Какие теперь могут быть дела?.. Хорошо, проведите его сюда.

Они молча поздоровались; старались не глядеть друг на друга. У Тесса были красные глаза. А Дессер выглядел стариком; под седыми лохматыми бровями едва означались мутные зрачки. Он разглядел перчатки, вынул портсигар, но не закурил; придвинул и отодвинул пресс-панье. Тесса угнетало молчание.

— Что скажешь, Жюль?

Дессер глядел в одну точку. Он и сам не знал, зачем пришел к Тесса. Он метался, как маньяк, по штабам, по министерствам: был у Рейпо, у Манделя, у генерала Жоржа; уговаривал, грозил, доказывал. Его вежливо выпроваживали. Наконец он заговорил:

— Завтра они могут занять Париж. Остались считанные минуты. Уйти! Или скажите, что вы будете сопротивляться, но честно, всерьез. Повсюду шпионы. Нужно арестовывать, расстреливать. И не рабочих — Лавала, Гранделя, Бретеяля, Пикара.

— Ты понимаешь, что ты говоришь? Конечно, мы старые друзья. Но я занимаю ответственный пост, я — министр, а ты мне предлагаешь государственный переворот?

— Я тебе предлагаю уйти. Или воевать. Париж можно защищать — улицу за улицей...

— Покорно благодарю! Чтобы господа рабочие устроили Коммуну? Нет, я предпочитаю сохранить честь.

— Но Франция...

— Франция оправилась после семьдесят первого, она оправится и теперь.

— Тогда держался Бельфор, сражались на Луаре, Гамбетта поднял ополчение, Париж выдержал осаду, были партизаны. А теперь стоит им показаться, как все разбегаются.

— И ты предлагаешь?

— Сопротивляться. Если нельзя удержать Париж — на Луаре. Если они прорвутся дальше, уйти в Алжир. Я готов все отдать: не только деньги — жизнь. И таких, как я, много... Пойми, вам никто больше не верит.

Тесса обиделся:

— Мы не нуждаемся в твоём доверии. Нас поддерживает парламент, то есть страна. Завтра ты скажешь, что мы должны уехать на Мадагаскар...

Дессер как будто проснулся — до чего он дошел: пытается усовестить Тесса! Он переменял тон:

— Поль, подумай о себе! Если они победят, парламента не будет. посадят гаулейтера — Бретейля или Лавала. Ты достаточно скомпрометируван. Что ты будешь делать?

— Как-нибудь проживу. Бретейль все-таки лучше Коммуны. Ты плохой советчик. Я не суеверный, тринадцать для меня счастливое число. А четырнадцатого умерла Амали... Но у каждого свои приметы. Я заметил, ты приносишь несчастье. Как англичане... Ты поддерживал Бретейля — дился Народный фронт. Ты начал дружить с Виаром — Виара свалили. Если ты советуешь сопротивляться, — значит нужно капитулировать.

Дессер встал, прошел к двери. Тесса стало жаль его:

— Жюль, почему ты не уезжаешь в Америку? Денег у тебя много. В Америке рай. Я не могу, я связан. Кстати, это ты меня подбил... Погодь теперь не время ссориться! Послушай меня — уезжай.

Дессер выпрямился; его глаза оживились; он усмехнулся:

— Уехать?.. Я, конечно, дрянной француз. Я не удивлюсь, если меня оскорбит первый встречный. Но все-таки я — француз, черт побери!..

Тесса пожал плечами и прикрыл за гостем дверь. Он сразу забыл о разговоре. Составил список — все, что нужно взять с собой: карту Генерального штаба, почтовые бланки, последний выпуск «Ревю де де Монд», листовку «Гематополь», бутылку старого арманьяка, путеводитель... Он собрался было в дорогу, когда позвонил Рейно:

— Положение в районе Ланса улучшилось. Основной удар направлен на Первую армию — сектор Сем-Кентен-Перрон. Они, видимо, хотят прорваться к побережью. Сегодня я выступлю в Палате...

Тесса просиял. Самодовольно улыбаясь, он сказал секретарю:

— Я вам говорил, что нельзя поддаваться панике. В моем возрасте приходится учить вас храбрости, а храбрость — добродетель молодости.

Позвонил Полет, но опоздал — Полет уехала. Тогда Тесса вызвал Жюль Толстяк прибежал сам не свой: сразу все выложил:

— В городе паника. Монтиньи удрал. У меня в кассе сто франков. Газеты уезжают. А куда мне ехать? В Марсель? Но я слушал Рим... По моему, они завтра выступят.

— С деньгами устроим... Не понимаю, почему вы волнуетесь? Положение давно не было таким устойчивым. Вы думаете, что немцы идут на Париж? Ничего подобного! Они идут на Лондон.

И Тесса засмеялся от удовольствия. Жюль попробовал возразить:

— Они-то хорошо знают, что у нас делается. Но кто может знать наши планы?..

Однако, когда Тесса подтвердил, что выдст из секретных фондов триста тысяч, Жюль утешился. В редакции он продиктовал передовую: «Маневр противника обозначился. Немцы хотят захватить Великобританию, которая является слабым местом союзного фронта. Мы уверены, что наши друзья с этой стороны Ламаша не будут захвачены врасплох». Приехав домой, Жюль крикнул:

— Мари, можешь распаковать чемоданы. Они повернули на Лондон. Тесса дал мне триста тысяч. Представляю, что сейчас делается в Англии. А нам подарили месяц, и то хорошо.

Прочитав статью Жюль, парижане облегченно вздохнули. Газеты сообщили о двух мероприятиях правительства: в соборе Нотр-Дам завтра будет торжественный молебен, на котором должен присутствовать Рейно; министр

Внутренних дел и юстиции предложено очистить Париж от остатков коммунистических организаций. Восемь рабочих приговорены к пяти годам тюремного заключения — у них нашли «Юманите». Немецкие войска в Бельгии несут тяжелые потери; многие части отказываются идти в бой. Биржевой день прошел оживленно.

Рейно говорил в Палате о выдержке, мужестве. Когда он кончил, Тесса его поздравил:

— Ты сегодня в форме... Хорошо, что правительство не уехало утром... Когда ты мне сказал, что немцы пошли на Лондон...

— На Лондон? — Рейно удивленно поморщил лоб. — Я тебе сказал, что они хотят прорваться к побережью. Они идут на Амьен, чтобы окружить армию. Понимаешь?..

Тесса кивнул головой, но не поверил. Пять минут спустя он шептал Брейлю:

— Рейно волнуется за своих хозяев. Что ты хочешь — это английский грим!.. Но теперь он доживает последние дни. Если немцы дойдут до Амьена, Рейно слетит. И чем это раньше будет, тем лучше для Франции.

19

Слышимость была плохая. Старческий надтреснутый голос едва доходил до генерала. Де Виссэ кричал: «Не слышу!» Гул заглушал слова. Вдруг стало тихо, и голос Пикара прозвучал, как в соседней комнате: «Противник нажимает на Лан. Это ставит под угрозу столицу». Де Виссэ вышел из себя: «Бред! Перед Ланс — демонстрация. Удар направлен в сторону Амьена. Положение здесь можно восстановить, если дадите подкрепления. Пришлите танковую бригаду де Голля... Вы меня слышите?..» Снова раздалось гуденье. Женский голос, усталый и несчастный, без конца повторял: «Париж... Париж...» Наконец де Виссэ услышал: «Танковая бригада... послана... не будет...»

В комнате было нестерпимо жарко. Нагретая трубка телефона вопяла. Де Виссэ расстегнул воротник; выпил стакан теплой воды. По небритым щекам струились ручьи пота. Красные глаза вылезали из орбит: три ночи, как он не ложился.

Вошел начальник штаба:

— Генерал Горт только что передал: они начнут наступление в шесть утра.

— Вы связались с одиннадцатой дивизией?

— Генерал Випьо потерял голову. Он мне заявил, что дивизия фактически выведена из строя. При чем они должны отбиваться на левом фланге.

— Танки?

— Пехота. На автомашинах.

— Да... (Генерал покраснел, выпил еще стакан воды.) Капа!.. Но мы все-таки должны поддержать англичан. Хотя генерал Горт мог бы посоветоваться со мной, прежде чем принять решение. Где теперь штаб одиннадцатой дивизии?

— В Гранже.

— Сколько отсюда?

— Семнадцать километров. Не знаю, дослете ли, трудно в точности установить, где противник — слоеный пирог: мы, они, мы, они...

Дорога была забита. Танк застрял. Мальчишки гнали коз. Валялись манящие машины. Беженцы, по большей части бельгийцы, с ужасом глядели на развалины домов.

Постояли полчаса: спустилась покрышка, а запасной не было. К генералу подошла старая крестьянка; ее темнокоричневое морщинистое лицо походило на землю; она плакала и фартуком вытирала глаза.

— Почему солдаты уходят?.. Бросают нас...

Де Виссэ ответил:

— Успокойтесь! Я старый человек и старый солдат, я же умею ждать. Мы отсюда не уйдем... И вы не уходите...

Возле Гранже генерал крикнул шоферу: «Стоять!»

— Господин префект, куда направляетесь?

Высокий элегантно одетый человек с красной розеткой в петлице смущался; он вышел из автомобиля; уронил перчатку. В машине сидела молодая женщина, окруженная баулами и картонками: префект удирал, стремясь опередить беженцев.

— Я...

Де Виссэ зарычал:

— Я сейчас скажу вам, кто вы. Вы — трус!

Префект поднял с земли перчатку и, стараясь показаться спокойным даже равнодушным, ответил:

— Я выполняю приказания министра внутренних дел. Что касается несенного мне оскорбления, принимая во внимание ваше славное прошлое

Он не закончил — де Виссэ ударил его по щеке. Дама завопила:

— Гастон!.. (И повернувшись к генералу.) Мясник!

Де Виссэ сразу забыл о неприятной встрече: взвешивал шансы завтрашней операции. Немцам легче — единое командование... Почему генерал Г не запросил его?.. Говорят, что и бельгийцы действуют самостоятельно. Анархия!.. Но выбирать не приходится... Англичане отвлекут по меньшей мере восемь дивизий... Только бы не подвела авиация...

Он объяснял генералу Виньо план атаки: тот молчал. Де Виссэ решил подбодрить:

— Главное, не обращайте внимания на Париж: наделали в штаны. (С думали, что война — это дебаты — три речи Гитлера, шесть Даладье. Е что они наделали, сплошная глушь. «Поход» в Голландию... Немцы веколенно знали, что наше слабое место — девятая армия. А Леридо? Вельсвадебный генерал!.. Но сейчас намечается перелом. Английская авиацияпревосходно работает. Пленные подтверждают, что потери у них серьезны. В районе Арраса их танки оторвались от пехоты. Я надеюсь, что нам прикинут бригаду де Голля. Многое зависит от исхода завтрашней операции. Если вам удастся дойти до Камбер...

Виньо его прервал. Это был красивый старик с розовым девическим цветом лица и безупречно белыми усами:

— Я говорил генералу Рамиле, что без пополнения моя дивизия не способна даже к обороне. Три дня мы не видели наших самолетов. Вы говорите — их танки оторвались... Что из того? Наши орудия не пробивают брони. Вы это знаете, как и я. Вчера мы потеряли три тысячи двести человек. Солдаты деморализованы. Командиры не выполняют приказаний. Когда наступит день, с какой быстротой они продвигаются...

Де Виссэ ударил кулаком по столу; полетела на пол пенельница.

— Мы с вами не на заседании! Что это за разговоры?.. «Продвигают...» Конечно, поскольку они не встречают отпора. И вы мне говорите, что офицеры не выполняют приказаний! Ясно! — Кто им подает пример? Вы. Я вам говорю о плане атаки, а вы хнычете. Я вас отдам под суд. Стыдно — с такой биографией ведете себя, как мальчишка!

Де Виссэ повторил еще раз задания одиннадцатой дивизии и ушел. Генерал Виньо сказал своему адъютанту:

— Наступать мы не можем. А кого будут судить, это мы еще посмотрим...

Штаб одиннадцатой дивизии помещался в большой ферме. Хозяева уехали. По двору бродили куры, озабоченно высклевывая завалившиеся зерна. А среди кур стоял молоденький лейтенант в очках; он был припудрен дорожной пылью. Увидав генерала де Виссэ, он взял под козырек и очень быстро заговорил:

— Господин генерал, прикажите перейти в наступление. Иначе солдаты разбегутся... Господин генерал!..

Де Виссэ кивнул головой и отвернулся: слова лейтенанта его взволновали.

— В сорок вторую дивизию.

Повернули к Перрону. Генерал включил радио. Париж передавал фобстроты. Де Виссэ повертел стрелкой. Французская передача из Штутгарта: «Остатки голландской армии, еще оказывавшие сопротивление, вчера капитулировали. Наши части заняли город Сен-Кентен и продвигаются на широком фронте между Лиллем и Перроном. С пачала наступления мы захватили сто десять тысяч пленных, не считая голландцев, и большое количество снаряжения. По сообщениям швейцарских журналистов, в Париже лзрит паника. Многие министры уже покинули столицу. Граф Чиано в большой речи, посвященной годовщине пакта, заявил: «Италия не может дольше оставаться в стороне...»

Де Виссэ задумался. Может быть, завтра они будут в Перроне. Дело идет к развязке. Чем Вейган лучше Гамеленз? Люди разные, но установка у них та же — цепляются за прошлое, не хотят понять, что времена другие... А заправляют бездарные фигляры. Он вспомнил разговор с Тесса — «Военные должны ступешаться...» Немцы могли уже взять Париж... Они хотят уничтожить живую силу. Даст ли что-нибудь завтрашняя операция? Крутом трусы вроде Виньо. А сколько среди них предателей?..

Он повернул стрелку на «Париж». Диктор приподнятым голосом сообщал: «Сегодня Черчилль заявил: «Руководители Франции дали мне торжественное заверение — что бы ни случилось, французы будут сражаться до конца». Де Виссэ усмехнулся — кто это ему обещал?.. Может быть, Тесса? Ну да, сказал с нафосом: «Будем сражаться до конца», а сам убежал со своей дамочкой. Как этот префект... Одна правда: армия должна сражаться до конца. А они не хотят сражаться... О чем мечтают Ликар или Виньо? О капитуляции. Нужно подать пример, умереть на посту... Пусть внуки узнают, что в этот окаанный год были настоящие французы... Де Виссэ вспомнил лейтенанта в очках; что-то подступило к горлу. Для себя де Виссэ хотел одного — достойной смерти. Машинально повторил слова молитвы, как повторял их ребенком перед трудными экзаменами. Он не заметил, как они въехали в Перрон. Адъютант сказал:

— Странная история — они помещались в школе...

Спросить было некого — городок будто вымер. Наверно, бояться бомб ровок... Вывалившиеся внутренности дома мешали проехать дальше. Гибель; осмотрелся. Из ворот выглянула старуха.

— Бабушка, вы не знаете, где здесь живут военные?

Женщина показала на мерию и заплакала. Де Виссэ прошел по улицам. На полу валялись бумаги, шлемы, подсумки. Он послал арьергард на розыски, а сам решил подождать; сел на большой стол, покрытый белой клеенкой. Рассеянно поглядел: чье-то метрическое свидетельство. Сидел задумавшись: увидел свой домик в Вальянсе. Внучка, его любимица, играла с котенком. Больше он их не увидит... Осталось одно — достать умереть...

Он с трудом открыл глаза — засыпал от усталости. Перед ним стояли немцы: офицер, несколько солдат. У немецкого полковника был шрам на щеке. Поблескивал монокль. На ломаном языке он сказал, нагло оскалив зубы:

— Если не ошибаюсь, генерал де Виссэ? Честь имею засвидетельствовать вам глубокое уважение...

20

— Была измена... Смерть — недостаточное наказание за совершенную ошибку... Помните — наши солдаты умирают на поле битвы... Мы убили жим трусов и предателей!.. Если Франция может спасти только чудо, я верю в чудо!

Когда Рейно кончил, сенаторы вежливо зааплодировали. Это были опытные политики; они понимали, что кабинет скоро полетит. А Фужер лежал для депутатов плакал. Журналисты посмеивались, глядя на бородатого мечтателя, который вытирал глаза турецким фуляром.

Тесса садился в машину, когда его схватил за руку Фужер:

— Мне надо с тобой поговорить. Рейно хорошо сказал: «Была измена. Смело, откровенно. Удар бича... Теперь надо действовать...»

Все последние дни Тесса жил, как в лихорадке, переходя от беспечности к глубокому отчаянию. Известия были противоречивыми; одни говорили об удачных контратаках, другие предсказывали падение Парижа. Петэн уверял, что армии больше нет; остались отряды, не связанные друг с другом. Мюллер доказывал, что можно сопротивляться. Министры то решали покинуть Париж, то заявляли, что ничто не угрожает столице. Тесса потерял сон; ел. Он чувствовал, что заболевает. С ужасом он посмотрел на Фужера — так его не хватало! А Фужер влез в машину и сразу стал вопить:

— Нужно поднять народное ополчение!

— Поздно. (Тесса уныло высморкался.) Я не мистик — в чудеса я не верю. Вчера они заняли Аррас и Амьен, сегодня вышли к побережью. Моря окружена.

— Там сорок дивизий. Можно прорвать кольцо...

— Кто его прорвет? На бельгийцев не рассчитывай. Король Леопольд гермалофил, это все знают. Англичане сегодня отвели две дивизии от Ламы к Дюнкерку. Естественно, что Вейган не захотел встретиться с генералом Гортон. Одним словом, это дело конченное.

— Как ты можешь так рассуждать?.. Рейно только что сказал: «Смело за малодушье». Тебя первого следует расстрелять!..

Фу́же кричал; он обдал Тесса брызгами слюны: борода его подпрыгивала.

Тесса миролюбиво ответил:

— Криком не поможешь... Рейно говорил для публики. Послушал бы ты его дома... Ты честный человек, но фантазер. Я знаю, что ты меня ненавидишь. Напрасно! Когда на тебя напали в Марселе, я был искренно возмущен.

— О чем ты теперь думаешь? Я тебя умоляю — забудь про мелкую политику! Франция умирает. Подымись над склокой, над партиями!

— Фантазер! Больше того — человек прошлого. Семидесятитонные тапки. А кто против? Гражданин Фу́же. Может быть, ты уничтожишь генерала Клейста «Декларацией прав человека и гражданина»?

— Теперь не время шутить!

— Я не шучу. Я редко говорю так серьезно. Мы отжили, понимаешь? Может быть. Бретейль уцелеет. Но и он стар — ходит в церковь, молится. Граидель, Лаваль, Меже — эти выживут. Ты меня считаешь мерзавцем, хотя мы оба радикалы. Но Дюкана ты уважаешь. И Кашена. Так вот позволь тебе сказать — это герои прошлого века. В других странах девятнадцатый век умер во-время — с той войной. А у нас он засиделся. У нас вообще старики не спешат умирать. Петэну пошел девятый десяток, а ты его послушай — планы, амбиции... Так вот: прошлый век кончился. Как твой Дессер... Он, кстати, приходил ко мне... Знаешь, что он предлагает? Защищать Париж.

— И он прав. Говорили, что Мадрид не продержится и двух дней, а Мадрид держался два года. Вооружите рабочих, и вы увидите чудеса...

Тесса пожал плечами:

— Как с тобой разговаривать? Ты живешь в мире прошлого. Что же, по-твоему, семьдесят дивизий и три тысячи танков останутся перед баррикадами?.. И потом — нужно сойти с ума, чтобы дать оружие коммунистам! Конечно, ты обрадуешься. Но ты — исключение. Все радикалы завопят. И уже не говорю о социалистах. А правые?.. Пикар мне как-то сказал, что если рабочие попытаются захватить власть, он откроет фронт.

— Ты должен его арестовать. И Бретейля. Говорил Рейно об измене или не говорил?.. Я хочу, чтобы ты выполнил гражданский долг. Пойми, эти люди тебя ненавидят. Если придет к власти Бретейль, он с тобой не станет церемониться. Для него ты — радикал, масон, ставленник Народного фронта. Погляди, что они пишут...

Фу́же протянул Тесса листовку. Тесса сразу увидел свое имя; у него дрожали руки; он сказал: «Трудно читать, трясет...» Но прочитал: «Повесим на фонарях...» Подписано было: «Штаб верных».

Они подъехали к министерству. Тесса слабым голосом сказал:

— Прости, если я тебя обидел. Но мне очень тяжело. Очень...

У себя он внимательно прочел листовку. Он вдруг понял, что Фу́же прав: друзья Бретейля не простят ему ни поднятого кулака, ни дружбы с Виаром, ни заступничества за Дезис.

Он подремал с полчаса; мерещились беженцы, тапки, виселицы. Проснувшись, он сел на диван, обнял свои колени и сказал вслух: «Дело не во мне! Нужно подумать о Франции!.. Неделю тому назад он поддался панике; хотел уехать; теперь он спокойно пойдет навстречу смерти. Однако на нем ответственность, он — министр. Он должен попытаться спасти страну. Хорошо Дюкану! Этот сумасшедший думает только о себе, хочет себя разрекламировать — пошел в армию. Печальная картина — депутат в чине лей-

тенанта! И что такой Дюкан может сделать? Как будто без него мало тенантов?

Нет, здесь нужен трюк, изобретенье, необычный маневр! Мандель тает, что мы должны помириться с Москвой. Немцы давно поняли, что сия сила. А этот дурак Даладьё нас окончательно поссорил с русскими (Тесса теперь был убежден, что он выступал против помощи Маннергейга). Де Виссе говорит, что у нас мало самолетов. А у русских можно полу-тысячу бомбардировщиков — купить или обменять...

Тесса увлекся: на нем — высокая миссия. Кругом слабовольные дупавлики Рейно, тупой Даладьё. Тесса начнет смелую игру — договорит с Москвой. Тогда Италия не посмеет выступить. Да и немцы перепугаются. Во Франции произойдет перелом, народ сразу поверит в победу. Все прыт, что Тесса спас родину, как Клемансо в семнадцатом...

Он вызвал Фуже.

— Спасибо, старина, что приехал! Наш разговор мне открыл на м глаза... Мы ведь варимся в своем соку. А ты видишь вещи шире... Я сейчас изложу мой план. Мы пошлем в Москву тебя или Кота.

— В Москву?.. Зачем?

— Они тебя уважают. Но если ты не хочешь, можно остановиться в Коте.

— Я тебя спрашиваю, зачем?

— Как «зачем»? Это произведет огромное впечатление, повлияет на Италию. У нас подымется дух. Наконец, русские могут нам дать снаряже, и в первую очередь самолеты...

Фуже рассердился:

— Ты что, сошел с ума? Почему русские дадут тебе самолеты? Два сца тому назад ты кричал, что нужно уничтожить Баку...

— Ничего подобного. Я лично был против. Это упрямство Даладьё. неправильно называют «воклюдским быком», просто осел... Но зачем вы мнать прошлое?.. Сейчас мы хотим установить с Москвой дружеские о-шения. Ты можешь мне в этом помочь...

— Русские пошлют тебя к чорту и будут правы. Первый вопрос: и вы представляете? За вами пустота... Рабочих продолжают арестовыв. Сегодня в газетах: очередной процесс — восемь коммунистов. Твой «вок-ский осел» — министр иностранных дел. Французский народ может дог-риться с Москвой. Но не ты... Тебе я могу одно посоветовать — наш президенту, что ты выходишь из правительства. Нам нужен Комитет общ-венного спасения!..

И, хлопнув дверью, он ушел. Тесса начал обдумывать, что еще пред-нять? Хорошо бы обратиться к коммунистам... Какое несчастье, что Де с ним поссорилась!

Он решил обратиться к адвокату Феррона, который неоднократно защищ коммунистов.

— Я знаю, что у тебя много знакомств среди коммунистов... Не отк-передать это письмо.

— Кому?

Тесса покраснел; едва выговорил:

— Моей дочери. Это очень важно. Как можно скорей — речь идет о я ни близкого человека...

Хорошо. (И Ферронаэ, чуть усмехнувшись, добавил.) Если твои полные не будут ходить по пятам, я вручу письмо сегодня вечером... Тесса написал: «Дениз! Мне необходимо с тобой переговорить. Дело не личное, но общественное, исключительной важности. Прошу тебя прийти в девять часов утра. Повторяю, речь идет не обо мне и не о частных интересах. Обещаю, что никто не будет знать о твоём посещении. Твой нежный отец Поль Тесса».

Вечером пришлось поехать на заседание кабинета. Он рассеянно слушал, Рейно докладывал: «Вейган вернулся... Конечно, положение критическое, все же мы готовим контрнаступление. Англичане уже начали атаку. Новая дивизия подходит к Аррасу...» Тесса был занят своими мыслями. Когда заседание кончилось, он отшел в сторону Рейно.

— Что ты думаешь о сближении с Москвой?
— Видишь ли, за эти дни положение настолько обострилось, что я занят исключительно военными делами. Дипломатию я поручил Бодуэну... Тесса принял снотворное; проспал до восьми. Он еще завтракал, когда доложили, что его спрашивает какая-то дама «по личному делу». Он завопил: «Видите ее сюда!»

Он был настолько увлечен игрой, что забыл про отцовские чувства; не замечал даже, как выглядит Дениз: ему казалось, что он принимает посланницу. Дениз сухо сказала:

— Если это провокация, она не удалась — я пришла с ведома партии.
— С ведома?.. Очень хорошо! Ты знаешь, Дениз, что положение угрожающее. Мы накануне разгрома. Теперь нужно оставить все вопросы самообороны. Речь идет о спасении Франции. А нельзя спасти страну без энтузиазма. Я первый протягиваю руку коммунистам. Мы прекратим репрессии, мы должны прекратить пропаганду. Понимаешь?.. Их гражданский долг — влиять на Москву... Я думаю, что мы пошлем туда Кота. Я намечал Фурье, но он стар и педант. Конечно, это между нами... Ты должна передать мое предложение Торезу, или Дюкло, или Капелену, одним словом — вашим правилам. Если нужно, я с ними встречу, я готов на все...

— Я не думаю, чтобы кто-нибудь отнесся серьезно к вашим словам. В тюрьмах тридцать четыре тысячи коммунистов. Освободите прежде всего арестованных. И уйдите. Передайте власть народу.

— Власть не передают, это не пакет! (Тесса вспыхнул, но тотчас совладал с собой.) Мы подчиняемся конституции. Пока парламент не откажет нам в доверии, мы не можем уйти. Что касается освобождения арестованных, я конечно не возражаю. Боюсь только, что и это неосуществимо: социалисты против. Серроль вчера мне сказал, что он отказывается перевести коммунистов на политический режим. А когда я ему намекнул, что теперь необходимо национальное объединение, он ответил: «Пусть коммунисты разоружатся первые...» Видишь, какая сложная ситуация! Оправься только и жди, чтобы накинуться... Если мы освободим коммунистов, правительство падет при первом голосовании.

Дениз была измучена. Все последние дни она разговаривала с солдатами; слышала страшные рассказы о предательстве и малодушии. Человеческое горе вместе с потоками беженцев затопило Париж. А полиция продолжала хватать коммунистов. Вчера взяли хохотушку Люси. Дениз с ней работала прежде на заводе. Люси арестовали на улице. Дома остался грудной ребенок; она

кричала, требовала, чтобы заехали за ребенком. Полицейские отвечали: «Ваше дело...» Мишо был на севере, в окруженной армии. Последние дни Дениз получила в мае — до боев. И теперь первые не выдержали — она плакала.

Тесса расчувствовался, забыл про Фуже, про свои планы. Перед ним Дениз! Как она похудела! Видно, что ей плохо живется. Наверно, скрывается, каждую ночь ждет ареста... И он ласково сказал:

— Бедная девчурка!

Это привело в себя Дениз. Она изумленно поглядела на него.

— Вы никогда не поймете, отчего я плачу. Ужасно, что вы — мой отец, что мы оба говорим по-французски, что нас может убить одна бомба! Вы понимаете? Невыносимо чувствовать связь с вами...

— А я никогда не переставал чувствовать, что ты моя дочь... (Он шелся по комнате; вспомнил — надо ее уговорить.) Дениз, оставим парные раздоры! Ты должна помочь мне... Я хочу спасти Францию, и вот Францию...

— Замолчите! Прежде вы говорили «ради матери». А Франция... Франция...

Не договорила, вспомнила беженцев, солдат; слезы сжали горло. И, бо что Тесса снова увидит ее слабость, она выбежала.

Тесса в раздражении подумал — святая!.. Конечно, Люсьен — подлец, он человечней... А эта сама не живет и не хочет, чтобы другие жили. Истеричка!

Он отправился к Бодуэну: поговорить насчет миссии Бота. Бодуэн охотился уклончиво; перевел разговор на Италию — пора наконец-то пойти на уступки, отдать Джибути, может быть, кусок Туниса, нажать на англичан, пускай и они чем-нибудь поступятся, например, Мальтой. Муссолини готов разговаривать; но необходимо отправить в Рим подходящего человека, Лавина или Бретейля...

Тесса позвонил Фуже:

— Я боюсь, что ты меня плохо понял. Мы можем отправить тебя или Ивана с каким-нибудь туманным поручением... Например, переговоры о компетенции за галицийские промыслы... Или о покупке леса... А ты пошушукаешь Эффект за границей будет тот же. Причем мы не берем на себя никаких обязательств. Правым мы скажем: «У нас в Москве даже нет посла». Бретейль не сможет придаться. Тем паче, что мы начинаем серьезные переговоры с Муссолини. Англичане обещали освободить итальянские суда от контроля. Это уже победа! Ты меня слышишь?..

Ответа не последовало: Фуже в ярости швырнул трубку.

План не удался. Чтобы утешиться, Тесса поехал за город. Был чудесный день. Цвели сирень, жасмин, глицинии. Все благоухало. И Тесса умилился весна наперекор всему.

Возвращаясь, он увидел в Веспенском лесу солдат; они рыли противотанковые рвы. Тесса поздоровался с ними и бодро сказал:

— Да, Парижа им не видать! Париж будет защищаться, как лев.

Это был крохотный город, похожий на все города Пикардии: площадь, а не длинная улица с кирпичными низкими домами. Площадь украшала ра

та XVI века. На башенке был золотой лев. Рядом с ратушей находилась
поступница «Белая лошадь», два кафе и универсальный магазин.

Население состояло главным образом из рабочих велосипедного завода, рас-
положенного в двух километрах от города. Среди женщин было много искус-
ных кружевниц; они сидели у раскрытых дверей и стучали коклюшками.
Летом иногда наезжали туристы, осматривали ратушу, пили на площади пиво.
Зимой в кафе заживались рабочие, курили длинные глиняные трубки, спо-
ради о политике. До войны мэром был коммунист; четырнадцатого июля над
ратушей развевались два флага: трехцветный и красный. На стенах и теперь
можно было увидеть: «Долой фашизм!» или: «Да здравствует Народный
фронт!», а рядом с надписью неуклюже нарисованные серп и молот. Под
праздник пили можжевелевую настойку; смотрели на петушиные бои. В кино
показывали фильм «Попелуй, который убивает». Влюбленные гуляли вдоль
канала, срывали кувшинки. Город засыпал рано; в одиннадцать на улицах
не бывало ни души, только куранты ратуши мелодично вызванивали время,
а жепница в каком-нибудь из домишек вполголоса баюкала ребенка: «Я ска-
жу кутенку — не кричи спросонку!..»

Первая бомба упала на дома возле станции; убила старого кузнеца, ранила
двух женщин. Вторая разрушила ратушу. Площадь была завалена камнями.
Среди мусора валялся золотой лев. Жители убежали; из восемнадцати тысяч
осталась сотня.

Женщина принесла синий эмалированный кофейник, налила Мишо кофе
и тихо спросила:

— Уйдете?

— Мы только пришли...

— Говорят, что уйдете. Все убежали. Я осталась — у меня мать больная.
Я ей говорю — не уйдут...

Мишо улыбнулся:

— Конечно, не уйдем. Это безобразно, что делается! Люди несутся куда
глаза глядят. И никто их не останавливает. Хороши! Хотели нас в Финлян-
дию отправить... А только немцы сунулись — разбегаются. Позор! Эх, будь
у нас другие люди!.. Но вы не отчаивайтесь — мы не уйдем. Погреб у вас
есть? Тащите туда все и сидите. А мы как-нибудь справимся...

Батальонный командир Фабр получил приказ: защищать город во что бы
то ни стало. Фабра считали безобидным чудачком: он пил с раннего утра апе-
ритивы и рассуждал о красоте кактусов. Но за последние дни он показал
себя храбрым и находчивым. От Камбрэ батальон отошел с боем; два раза
переходил в контратаки; отбили у немцев двенадцать солдат, оставших при
переходе. Когда впервые напали пикирующие самолеты, Фабр выхватил у сол-
дата винтовку, стал стрелять. Это всех успокоило; не было паники. Один
бомбардировщик подбили. Однако за восемь дней батальон потерял треть
состава; и, услышав приказ, Фабр смутился: хорошо им говорить «во что бы
то ни стало!» Как они удержатся, если немцы брсьят гапки?..

Фабр знал, что солдаты не чают души в Мишо. Когда полковник Керье
с перепаугу хотел расформировать две роты, Фабр воспротивился. И «бунт»
в Гавре замяли. Принимая какое-либо решение, Фабр спрашивал Мишо: «Что
об этом думает господин Дон-Кихот?» Так поступил он и теперь. Мишо от-
ветил:

— Надо удержаться.

Мишо не знал директив, он давно потерял связь с Парижем, пужно решать самому... И Мишо не колебался, нет, коммунисты не трусы! Мы жем, как мы умеем сражаться. Теперь дело не в Рейно, не в Тесса, не в ладе, теперь идет бой за Францию.

Враги повсюду. Одни протягивают паручники, другие кидают бомбы. шли гитлеровцы: палачи Тельмана, люди, распявшие Испанию, рыцари ти. А позади — те же фашисты, друзья Гитлера, Бретейль, Грандель, П

Мирной, беспечной Франции больше нет. Страну отдали по милость в вот и здесь — развалины, слезы женщин. «Неужели вы нас бросите?..» глядел на обломки здания. Когда-то профессор Мале назвал эту ратушу « чужичкой Возрождения». На уцелевшей стене Мишо разобрал: «Хлеб, свобода». Встал тридцать шестой год, забастовка, флаги, песни...

В несчастьи Мишо с новой силой полюбил свою страну. И все меш в этом чувстве: горы Савойи, где он был мальчиком, с их звонкими пото и яркими лугами, Париж, его Париж, «Париж — моя деревня», город с домов и улыбок, город, где умер Жано, где живет Клеманс, Париж и Де Он знал, что защищает маленькую, хрупкую женщину с синими гла похожими на альпийские цветы. Машинально повторял: «Франция... Де

Весь день рыли ямы; таскали мешки с землей, прикрыли противотанк орудия, пулеметы. Вечером Фабр связался с штабом дивизии. Сказали: всюду тесним противника. Подкрепление пришло. Если отойдете, подста под удар второй батальон».

Мишо заглянул на завод; там поставили пулеметы. Завод накануне бардировала авиация. В сборочном огромная воронка просвечивала воле утром прошел сильный дождь. Из воды торчали части машин. В другом он увидел уцелевшую фрезерку и умилился: будто встретил подругу де Он любил материал, инструменты; оживлял их, корид, баловал. Вот его лодость!.. Он задумался: что же случилось с людьми?.. Все хотят раб ласки, счастья. Но море разыгралось... Нужно доплыть! Не ему, его нав убьют, другим. Останутся Пьер, Легре, старик Дюшен. Останутся дети, Де Построят большие заводы. Как Магнитогорск (он видел фотографии в а нале). Вчера они шли полем. Хлеб пропадет: вытончут. Да и убирать б некому... А весной снова посеют. Жизнь победит. Но теперь трудно...

Мишо пошел к заставе. Товарищи, стряхивая с себя сон, уныло рассу ли: «Как удержаться?.. Триста человек... А у них танк...» Мишо подбо рассказывал про бои в Испании:

— Бывало и тридцать. А у них батальон. Танки... Мы их ручными натами — ничего другого не было... Мальчик один, Пепе, он восемь та подбил.

— Танки там были другие. У этих вот броня!..

— Можно и эти... Только люди нужны — как там, железные.

— Там вы знали, за что деретесь. Я сам хотел записаться... А за что здесь гибнем? Защищать кого? Тесса?

Мишо ответил не сразу: сам мучился, чувствовал, какая на нем от ственность; но ответил уверенно:

— Нет... С этими мы еще считаемся! А здесь — наша земля. В женщины?.. Мужья на фронте, как мы. Нельзя уйти! Коммунисты должны давать пример. И потом, скажи откровенно, разве это легко отдать?.. Я с дня фрезерку видел...

Он не договорил: раздался грохот. Первые снаряды опередили рассвет. Еще видны были на бледном небе маленькие расплывчатые звезды. Разрывы показались особенно страшными: все думали, что начнется с солнцем... Мишо почувствовал холод, подумал — роса; но холод шел изнутри. Он ощупал пулемет и сразу успокоился.

Четверть часа спустя наступила пауза. Спокойно поднялось солнце; завершали полевые птицы; вода стала розовой. Солдаты молчали. Мишо думал о Дешиз. Как в Испании, он чувствовал тепло ее плеча, соль на губах; слышал запах хвои. «Милая ты моя!» — так говорил про себя. Вот и конец!.. Конечно, шутить нельзя — это большое, серьезное; но не страшно; только грустно, что не увидит больше Деняз...

Танки подошли к каналу. Все закричало; казалось, даже земля кричит. Оглянувшись, Мишо увидел Фабра; тот разводил руками.

— Ленту давай!..

И снова пауза.

— Сейчас начнут. Они теперь расположение знают...

— Руки коротки. (Мишо смеется.) Я их в Испании видел — любят, когда бегают. А когда так — этого фашисты не любят...

— Мишо, неужели удержимся?

— И еще как!

Около девяти часов немцы вторично начали атаку. Снаряды крошили жалостливые домики. В трехстах метрах от Мишо стоял сгоревший танк.

— Налево от картофельного поля...

Это были немецкие мотоциклисты. Их остановили. Тогда снова двинулись танки. Фабр вскрикнул: танки давили раненых.

— Сволочи! Звери! Своих!..

Снаряд убил ротного командира. Сержант не выдержал, забрался в погреб. К Мишо подполз Фабр:

— Никого не слушай!.. Бей!..

Сколько прошло с того времени — несколько минут или час? Грохот. Мишо трясет левой рукой: кровь.

— Ползи сюда!..

Но Мишо не уходит. Он и не слышит.

— Ленту давай!.. Ну, боши, получайте!..

В полдень высокое торжественное солнце стояло над тихим миром: ни выстрела, ни крика. Даже раненые замолкли, как будто их придушила тишина. Шумом раненых положили на грузовики. Мишо перевязали руку; он отказался уехать. Хоронили мертвых. Пили теплую воду; она пахла жестью. Всеми овладело изнеможение, как после тяжелой болезни; хотели улыбнуться и не могли; постепенно доходила до сознания простая и диковинная вещь — они отстояли город.

Фабр подошел к Мишо, бормочет:

— Молодец, Дон-Кихот! Ты кем был в Испании?

— Лейтенантом.

— Полковник тебя за это хотел посадить. А я... Я сегодня произвел бы тебя в генералы, будь моя воля. Ты, говорят, коммунист? Смешная история!.. Вот вы какие!..

Фабр вытер глаза и приложился к фляжке с ромом.

— Попробую с штабом связаться. Надо их порадовать...

Он услышал тот же равнодушный голос. Вчера ему сказали: «Держитесь

во что бы то ни стало». Сегодня выслушали и ответили: «С тем оставьте город». Он крикнул: «Почему?..» — «Перегруппировка...» И бросив трубку, выругался:

— Генерал?.. Кишка он, а не генерал!..

Мишо говорит товарищам:

— Изменники! Сдают страну...

Все поняли, знают, молчат.

Прощай, фрезерка! Прощай, золотой лев рагуши! Прощай, милая жена — у нее синий кофейник, больная мать и загравленные сумасшедшие глаза! Мишо утристо шагает по пыльной дороге: это длинная дорога. И дорога отступления. Сегодня в полдень, среди зноя и тишины, ему показалась победа... И глаза у нее были, как у женщины с кофейником... цай, мечта!..

22

Вечером Париж казался глухим лесом; погасили даже синие лампочки. И хожих останавливали: проверяли документы. Говорили о шпионах, о шпиютистах. На улице Шерш-Миди схватили хромого хозяина молочной; у него, будто он подавал сигналы самолетам. Клялись, что в Париже сорок тысяч переодетых немецких солдат. Мандель приказал арестовать трех «чуждых»; у них нашли итальянские адреса и плап Парижа с обозначением нитных орудий. Бретейль негодовал: «Арестовывают честных французов!» следующее утро «верных» освободили. Жена Бретейля плакала: «Онв при сюда!..» Бретейль отвечал: «Молись! Кто знает, может быть, маршал Им спасет Францию...»

На улицах показались беженцы. Растерянные, они бродили возле вокза. Они глядели на парижан пустыми, невнящими глазами. Шум живого гола не доходил до них. Напрасно шоферы гудели, ругались — беженцы не слышали, как будто в их ушах засели другие страшные голоса.

Измученные женщины садились на тротуар; прохожие окружали их, глядели, спрашивали: откуда? Война представлялась парижанам бесконечно далекой: газеты писали о битвах за Полярным кругом. Только беженцы вносили беспокойство: они бормотали: «Немцы... убивают... Еле выбрались И полиция отгоняла любопытных — зачем слушать страшные небылицы?

Люди поосторожней уезжали к родственникам в провинцию. Другие продолжали работать, торговать, развлекаться. Печать обсуждала: нужно ли открывать кабаре, закрытые в первые дни тревоги? Старики успокаивали молодых: «Отгонят, как в четырнадцатом...»

Виар не верил ни в гений Петэна, ни в линию Вейгана, ни в чудо. Был занят упаковкой своей коллекции. В квартире с раннего утра раздавался стук молотков. Приходили и уходили рабочие. Только судьба как всегда занимала теперь Виара. С печалью провожал он каждое полотно, уходившее в темпота ящика. Потом равнодушно просматривал газеты. Он понимал, все проиграно, и ему было скучно досматривать эпилог.

Б скуке примешивалась злоба. В глазах Виара, обычно меланхолически притивливых, теперь вспыхивали злые огоньки. Ему не дали спокойно закончить трудную жизнь!.. Он не знал, кого винить, и ненавидел всех: немцев и Даладе, Тесса и коммунистов, англичан и бездарных генералов.

Проходя мимо заколоченных ящиков, он думал о будущем. Что станет с его домиком в Авалоне? Видел беседку, обвитую глициниями, игру солнышка

пятах на ярко-рыжем песке. Париж пропал. Но вдруг немцы пойдут дальше?.. Нет, этого не может быть! Сдадут Париж, выпустят на три дня немцев — придется удовлетворить их прусское честолюбие, а потом подпишут мир. В копеечном счете Эльзас-Лотарингия — мяч, его перебрасывают. На тридцать или на сорок лет Страсбург станет немецким. Зато будет мир. По тревоге не унималась. А что если Черчилль заставит Рейно воевать и после падения Парижа? Мы теперь английский доминион. Дойдя до этого, Виар смилал и злобно глядел на своего лакея, на рабочих — что им?.. Работают, орут, веселятся...

Увидав Тесса, он повеселел: его обрадовало, что Тесса измучен, небрит. Значит, и Тесса плохо!.. Что же, пусть расхлебывает!

Тесса начал с сенсации:

— Когда мы ввели в кабинет маршала Петэна, мы думали, что этим разрешим все спорные вопросы. Но положение с каждым днем усложняется. Я должен тебе сообщить страшную новость: бельгийский король капитулировал. (Тесса впился глазами в Виара; тот равнодушно протирает стеклышки пенсне.) Он даже не предупредил генерала Бланшара. Положение армии трагично. Ты понимаешь, какая это низость? Его отца Альберта называли «корблем-рыцарем», а Леопольд войдет в историю как олицетворение коварства.

Виар спокойно ответил:

— Король по-своему прав. Что же ему оставалось делать? При известных обстоятельствах капитуляция — акт героизма.

— А ты подумал, какие условия нам продиктует Гитлер, если и мы пролим этот «героизм»? Он может потребовать Эльзас. Он может даже оккупировать Лилль.

— Надо было думать раньше. Я не хочу быть придиричвым. Но ты ничего не сделал, чтобы предотвратить разгром. Вы сдали без боя все позиции. Помеение было подготовлено еще в Мюнхене. А ты тогда входил в кабинет.

— Который ты, кстати сказать, поддерживал. И потом, если говорить о причинах разгрома, следует вспомнить забастовки в тридцать шестом, сорокачасовую неделю... Кто разрушил промышленность? А Испания?.. Блюм восставил против нас Муссолини. Вы озлобили Франко, а потом помогли Франко победить. Трудно придумать что-нибудь бессмысленней!..

Тесса кричал: сказались волнения последних двух недель. Виар говорил стрывисто; глухой голос походил на лай. Долго они обвиняли друг друга; вспоминали парламентские интриги, необдуманные декларации, голосования. Тесса опомнился первый:

— Напрасно мы ругаемся! Это все первы... А время страшное, нужно плотиться. Я пришел предложить тебе войти в кабинет. Рейно готовит сюрприз. Министерский кризис произвел бы плохое впечатление за границей, поэтому мы решили сделать все по-семейному. Прежде всего шужко выкинуть Лазадь. Этот осел чуть было не погубил Францию. Намечены и другие перемены. Уйдет Сарро. Приглашают Бодуэна, Пруво. Это деловые люди. А ты нам дорог как совесть нации. И потом ты — порука, что с нами рабочий класс.

Виар насмешливо улыбнулся: его считают простачком? Войти в правительство накануне капитуляции! Ведь это значит скомпрометировать себя, затерять пятьдесят лет борьбы за идеалы. Зачем? Чтобы Тесса сказал: «Виар тоже подписал...» Нет, на это он не пойдет!

— Благодарю тебя и Рейно. Я тронут, очень тронут. Но в кабинет пойду. Моя партия уже представлена в правительстве. Никто не посмеет зать, что социалисты уклоняются от ответственности. А меня правые не посят. Да и в Англии предпочтут кого-нибудь помоложе. Я буду только ластом.

Тесса спорил, уговаривал:

— Огюст, ты не можешь отказаться! Мы на краю пропасти. Гибнет, что нам дорого, — Франция, парламентская система, идеи, которые мы тали с молоком матери...

Тесса растрогался от своих слов; вспомнил смерть Амали, недавнюю встречу с Дениз, беженцев, карканье Петэна, который на все отвечает: «Слуком поздно...» В его голосе послышались слезы. Виар почувствовал облеивше. Он, однако, не удовлетворился этим, хотел добить Тесса.

— О каких идеях ты говоришь? У нас разные мировоззрения. Конеч твои идеи потерпели банкротство, поскольку ты пеплялся за экономический либерализм. А я иду в ногу с веком. Что несет Гитлер? Социализм. Конечно несколько искаженный, я сказал бы — спитый на немецкий вкус. Но если мы возьмем национал-социализм и дополним его моралью Сен-Симона, Прюна, наших синдикалистов, мы получим нечто реальное и в то же время глубоко французское...

Тесса перестал слушать: спор о доктринах его не прельщал. Он вдруг затя беспорядок в кабинете: сундуки, ящики.

— Ты уезжаешь?

Виар смутился.

— Да. То есть лично я остаюсь. Я выпью чашу до дна. Но я отправляю картины. Я не вправе рисковать моей коллекцией. Здесь ведь собраны лучшие шипы французского духа. Государственные системы могут гибнуть, но нельзя допустить, чтобы от дурацкой бомбы погибли шедевры искусства.

Виар проводил гостя до передней. Прощаясь, Тесса вдруг обиделся и сказал:

— Я вот действительно остаюсь в Париже. Что бы мне ни грозило!.. меня нет коллекций. И я должен думать о Франции...

23

Меже не поддавался панике; он продолжал работать, как обычно; только ночью принимал веронал, чтобы не проснуться от грохота зениток. Его холодное лицо (он походил скорее на немца или на шведа, нежели на уроженца Лю) сохраняло улыбку. Это был здоровый, красивый мужчина, заботившийся своей внешности. Чтобы не потолстеть, он играл в теннис. В его пышной квартире царил торжественная тишина. В кабинете не было ни карт ни безделушек. Напротив письменного стола стоял бронзовый бюст Наполеона. В библиотечном шкафу несколько справочников лежали на пустых полках. Меже не любил читать. Зато он ценил музыку; особенно его трогал Бах; говорил: «Это заменяет мне религию».

Он вырастил двух детей. Сын недавно окончил инженерное училище. Чтобы избежать кривотолков, Меже отправил его в армию, в штаб Леридо. Дочь вышла замуж за крупного финансиста, в короткий срок скупившего все лучшие земельные участки; жила она в Швейцарии.

Меже знал шесть языков, много ездил; повсюду он чувствовал себя дома. Он говорил, что ему одинаково нравится и курица с бамбуком в шапхайсе...

Десторане, и фрукты Калифорнии, и алжирский плов «кускус». Он не интересовался техникой; доверял инженерам. По внимательно следил за мировыми ценами на сырье, за насыщенностью того или иного рынка. Дела он делал повсюду; был заинтересован и в химической промышленности Германии, и в норвежском азоте, и в платине Чако. Дессера он считал невеждой, алетантом: «Такой мог выдвинуться только в послевоенные годы, среди распада». Внешность Дессера, его простонародные повадки и небрежность костюма заставляли Меже брезгливо улыбаться.

Закат Дессера несколько утешил Меже: в событиях есть своя логика! А времена тяжелые... Конечно, дела идут хорошо, но что будет дальше? Истощенные воюющих сторон не предвещает ничего отрадного. В случае поражения предстает смута, может быть, революция; в случае победы выдвинутся люди вроде Дессера, калифы на час. Меже гордился своим происхождением: его дел владел двумя третями железнодорожной сети, а прадед, банкир, был описан Бальзаком.

Война казалась Меже пережитком далеких времен. К патриотическим тирадам он относился с иронией. Конечно, пасмешку он умел скрывать, чтобы не обидеть других; так, он никогда не вышучивал своей жены, верявшей в лурские чудеса; он пожимал плечами — средневековье, но давал ей деньги, которые она тратила на поддержание различных частвен. Меже считал, что война была законной, когда нации жили замкнутой жизнью. Но теперь интересы народов переплелись. Американцы не могут жить без английского каучука. Пемнам нужна нефть; они зависят от Детердинга или от большевиков. Французы зависят от всех... К чему же воевать? Если бы Европой правили не безумцы, но деловые люди, вроде Меже, можно было бы договориться.

С первых дней войны Меже не верил в победу союзников; сомневался он и в немецкой победе; говорил себе — на этом выиграет третий. Он пытался остановить машину, ездил в Мадрид, разговаривал с немцами. Зимой ему казалось, что рассудок возьмет верх, но события развернулись иначе. Ушел Чемберлен. Затравили Бонне. И вот настал май...

Пока не поздно, нужно одуматься, спасти то, что еще можно спасти. Франция проиграла войну. Когда-то эти слова потрясли бы всех: для французов Франция была вселенной. А теперь... Конечно, Гитлеру приходится считаться с настроением немцев: они встают за Версаль. Но Гитлер — умница. И потом все это — вопрос чувств для слезливых особ. Деруеды, слава богу, вывелись! Франция задолго до войны потеряла свое место. Плаксы поревут и успокоятся. А страна залечит свои раны...

И когда генерал Пикар, залыхаясь, сказал: «По то, что вы предлагаете, — капитуляция» — Меже ответил: «Не будем бояться слов. Я предлагаю единственно целесообразное...»

Тогда произошло невероятное: в чопорном кабинете возле бюста Наполеона генерал заплакал. Понятно, если плачут мидинетки... Но Пикар не ребенок. Он знал, на что мы идем. Это друг Бретеяля. Он сам много раз говорил: «Нас разобьют...» Почему же он испугался слова «капитуляция»?

— Я повторяю: это единственный выход. Судьба северной армии предопределена. Бельгийцы вышли из игры. Англичане еще разыгрывают неприступных левиц. Но когда пемпы полетят на Лондон, добродетель кончится... Нам выгодней опередить англичан хотя бы в сепаратном мире. Если мы будем продолжать войну, Гитлер займет Париж, итальянцы — Марсель. А в Лионе будет

Коммуна. Что важнее сохранить: старые границы или цивилизацию? Еще недели — и выступят коммунисты...

Все эти месяцы Ликар метался; по десять раз в день менял идеи; то кричал: «Пас побьют, и правильно — покончат с позорной системой», то, вспоминая о славе французского оружия, мечтал: «А вдруг победим?...» Глядя на него, он уважал, не чувствовал к нему никакой неприязни и немецких эмигранты презрительно называли «перебежчиками». Когда началось наступление, Ликар растерялся. Он отдавал приказы и тотчас отменял их, кричал, что надо сохранять хладнокровие, но сам смертельно боялся парашютистов: что нападут на штаб?... Он запутался в политической игре. Обо всем спрашивал Бретейля, тот говорил: «Постарайтесь задержать противника хотя бы на сутки... Мы сбросим Рейно и договоримся с немцами...» Ликар отдавал патетические приказы: «Солдаты, защищайте каждую пядь!», «Ни шагу назад!» Немцы за день продвигались на тридцать километров. Ликар кричал Бретейлю: «Мы не можем держаться!..» И Бретейль спокойно отвечал: «Я не думаю, что вы удержитесь».

Однако никто до сегодняшнего дня не говорил Ликару о капитуляции. А Меже ему просто поднес: «Мы должны последовать примеру Бельгии». И Ликар не выдержал — заплакал. Несколько успокоившись, он пробормотал: — Они не оставят нам армии...

— Я понимаю, что вам тяжело. Но надо сохранять присутствие духа. В тридцать шестом я думал, что все кончено. Мои заводы были захвачены забастовщиками. И все же я продолжал работать. Армию нам оставят, может быть, небольшую. Вы будете воспитывать молодых офицеров. Ваши знания не пропадут. У вас боевое прошлое. Вас ценит маршал. Теперь вы можете спасти Париж. Я говорю не о сопротивлении... Конечно, среди министров ищут трезвые люди. Вчера де Монзи начал переговоры. Но Рей закусил удила... И потом нельзя забывать о роли Мандела. Это злой генерал Франции. Он хочет защищать Париж. А это означает разрушение столицы, невиданную резню. Вы пользуетесь большим авторитетом, вы должны заявить правительству, что с военной точки зрения защита Парижа — утопия. Это вы окажете великую услугу Франции.

Ликар вспомнил яркое июльское солнце, кулаки возле Триумфальной арки, красные флаги...

— Хорошо. Я выполню свой долг. Мы попытаемся задержать противника. Но если они прорвут линию Вейгаана, я выскажусь за отход от Парижа. Гораздо лучше передать противнику в полном порядке, с полицией на постах — сохранить Париж для детей, для внуков.

24

Охрана военных заводов была поручена эльзасцу Вайсу — его пригласил Грандель. Вайс действовал энергично; он предложил префекту послать на заводы агентов: переодетые полицейские должны были бороться с саботажем. Сыщики ничего не понимали в производстве; они раздражали рабочих своими замечаниями, окриками, угрозами.

Особенно вызывающе вели себя полицейские на авиазаводе Меже. Они арестовывали работницу, которая, обозлившись, крикнула: «Молодые!.. Пошли бы лучше воевать!.. Немцы в Бовэ... Разве вы не видите, что вы мешаете работать?» В протоколе было сказано, что работница пыталась повредить станок

Был душный, предгрозовый день. Белый свет слепил; люди затыкались. На заводе Меже гудели взволнованные рабочие: немцы подходят к Парижу! Солдаты говорят, что нет самолетов. Богачи удирают. А кто будет расхлебывать?

В обеденный перерыв рабочие собрались на пустыре позади завода. Срези шлака цвели курослепы. Рабочие говорили о Гитлере, о шпиках, о близкой развязке.

Душой подпольной коммунистической организации был молодой слесарь Клод. На заводе он работал с января, но сразу стал своим.

Клода на военную службу не взяли: у него был туберкулез в острой форме. Блеск глаз можно было принять за душевное напряжение — Клод и впрямь горел; но громкое отрывистое дыхание выдавало болезнь.

Это был мечтатель, который по ночам глотал книги — Толстого и Флобера, Шолохова и Мальро. Лет пять тому назад он часто ходил в Дом культуры. Познакомился там с Люсьеном. Как-то они разговорились. Люсьен твердил о «вечной буре». Клод ему робко ответил: «Я вас уважаю, вы все знаете. Но этого мало... По-моему, поэт должен быть честным человеком. Правда?..» Люсьен подумал: мешанин! Клода полюбил Вайян; спрашивал: «Ты ведь пишешь стихи? Чувствую, что пишешь...» Клод молчал. Он вправду писал, но стыдился признаться — стихи выходили странными; сам не понимал, почему так пишет. Начинал с описания забастовки, но вдруг показывался горячий папоротник в сыром лесу или корабельные снасти. Говорил себе: баловство!

Два года тому назад он попытался пробраться в Испанию; его задержали на границе и вернули в Париж. Он тогда работал на заводе «Сэп». Легре говорил: «Ты наш главный агитатор». Клод умел убеждать людей, хотя казался нерешительным, бесконечно скромным. Разговаривая, он никогда не настаивал; казалось, он спрашивает собеседника, как быть. В его манере говорить, в неожиданных паузах, в мучительных поисках слов было что-то зетское, глубоко искреннее. И ему верили.

В начале войны Клода арестовали; он просидел четыре месяца. Выпустили его после врачебного осмотра. Он знал, что не получит работы, по ему повезло — на заводе Меже набирали токарей. В конторе посмотрели бумаги: «Клод Дюваль» и записали — мало ли Дювалей!.. Он быстро сколотил подпольную группу.

Рабочие обступили Клода — что он скажет?..

— Чем Рейно лучше Даладе? — так начал Клод. — Предадут они нас...

Он закашлялся. Один из рабочих сказал:

— В газетах пишут, будто они хотят защищаться. Пишут, что солдаты не должны больше отступать. А возле Парижа, я сам видел, роют рвы...

— Если хотят защищаться, мы будем работать... Как дьяволы будем работать. Правда? Меже все равно — он и с Рейно заработает и с Гитлером. А для меня эти самолеты — другое... Можно город спасти от бомб. Можно спасти Францию... Я с солдатами говорил, они спрашивают: «Где же наша авиация?..» Немцы беженцев расстреливают, а у нас нет истребителей. Мы должны помочь солдатам. Только пусть они уберут шпиков. С этими подлечками нельзя работать. Правда?

Решили послать делегацию: рабочие завода заявляют о своей готовности повысить продукцию и настаивают на уходе полицейских из цехов. Вайс поглядел на Клода и вежливо улыбнулся:

— Благодарю. Патриотизм парижских рабочих мне хорошо известен. Каждый лишний самолет приближает час победы. Что касается «переодетых лицейских», как вы изводили выразиться, они посланы в цеха с единственной целью — выловить переодетых коммунистов. Надеюсь, вы меня поняли.

Голубые глаза Вайса столкнулись с глазами Клода. Клод отвернулся.

Когда ушли делегаты завода Меже, пришли другие: все крупные заводы заявляли о своей готовности увеличить рабочий день и требовали положить конец выходкам полиции.

Вайс поехал к Меже: хотел предупредить об изъятии ста четырнадцати рабочих. Взглянув равнодушно на список, Меже сказал:

— Специалисты... Впрочем, теперь это не имеет значения. Скажите, как вы предполагаете провести эвакуацию?

— Рабочих придется выпроводить. Чем меньше их будет в период междуларствия, тем лучше.

— Конечно. Но я не хотел бы, чтобы вы эвакуировали оборудование. Это хлопотно и по существу дела бесполезно.

Вайс улыбнулся:

— Очень приятно, господин Меже, что вы не поддались папке. Мне приходится все время сталкиваться с людьми, окончательно потерявшими голову. Будьте спокойны — оборудования мы не тронем.

Клода успели предупредить. Ворота были заперты. Товарищи помогли ему перелезть через высокий забор. Он услышал свистки; успел добежать до лачуги. Там жили старьевщики. Среди груды тряпья сидела старуха. Она вскрикнула: «Парашютист!..» Клод тихо сказал: «Молчи. Я француз, рабочий...» И женщина его спрятала. Грозы все не было. Клод задыхался в крохотной каморке среди ветоши и пыли. Пужно предупредить товарищей... Он выглянул. Никого... Добрался до кафе «Отец Южень» — там собирались товарищи.

Кафе состояло из двух комнат. В первой была цинковая стойка; туда заходили случайные посетители, пили пиво, беседовали с хозяином — «отпом Юженем». Это был добродушный толстяк в жилете без пиджака, с черными густыми усами. Он обожал двух людей: свою жепу, усатую толстуху, и Мориса Тореза. С гордостью говорил: «В тридцать седьмом на велодроме я после митинга подошел к Морису, и он пожал мне руку...» Отец Южень знал, что в задней комнате собираются коммунисты; никого туда не пускал; говорил: «Биллиард занят...» А вокруг биллиардного стола, в ажиотаже схватывая кий, представители районов обсуждали партийные директивы.

Когда Клод вошел, он застал Жюля с завода «Гном». Потом подошли другие. Все говорили об арестах: полиция схватила семьсот рабочих.

Пришла Дениз, рассказала о процессе четырех:

— Приговорили к расстрелу за саботаж. Младшему восемнадцать лет... Их защищал Ферронэ. Только что я его видела. Он говорит — явная провокация. На суде выяснилось, что подстроили... Ферронэ подозревает Вайса.

— Страшный человек, — сказал Клод. — Когда мы у него были, он поглядывал на меня. Догадался, кто я. И я догадался, кто он... Что делается, Дениз!.. Гитлеровские шпионы у власти.

Ей хотелось его поддержать; не знала, как. Шепнула:

— По народ...

Он не понял, что она хотела сказать, но не переспросил.

Дениз ушла, потом прибежала назад.

— Клод, я тебе команду пашла. Там никто не тронет...

Тишина и жариволзали в полутемное кафе. Все приюжкли. Далекие раскзгы зениток приняли за гром; образовались. Потом завьли сирены. Никто не двинулся с места; сидели, измученные, на узком клеенчатом диване; думали о развязке — неужели придут немцы?..

Полчаса спустя хлынул ливень, шумный, оглушающий. Клод выглянул па улицу — подыптать. В Париж как будто воцкли леса Мелона и Сеп-Жлу; яркой казалась зелень платанов; пахло деревней. Подошла Дениз:

— Клод, когда будет Франция...

И снова не договорила. Южепь принес пива. Спросил Дениз:

— Что Мишо пишет?

— Давно нет писем. Он на севере...

Южепь вздохнул. Потом выругался:

— Чорт побери! Они там воюют, умирают. А что здесь делается? Хороших людей хватают. И кто?.. Немецкие шпионы! Будь Морис министром, не видать бы немцам Парижа!..

Поздно вечером Вайс попал к Гранделю; доложил о событиях дня:

— В общем все кончилось благополучно. Я думаю, что теперь мы очистили заводы от самых беспокойных элементов. Конечно, чем скорее мы начнем эвакуацию, тем лучше. Хорошо, что процесс прошел гладко. Это па них подействует, как холодный душ.

— Если только они не добьются отмены приговора... Феррона сегодня был у Лебрена. Тот выслушал *и, конечно, заплакал. Как говорит Бретейль, это самый плаксивый президент Третьей республики. По в общем он держится прилично...

— То есть?..

— Я говорю, что Лебрен делает то, что надо, — он ровно ничего не делает, разве что плачет.

Оба засмеялись.

Оставшись один, Грандель развязал галстук, потянулся — устал. По дела идут как нельзя лучше... Разве он мог подумать, что его ожидает? Он попал к Кильману случайно — от проигрыша, от мыслей о самоубийстве. Он думал: это ошибка, паление, темное пятно. А это было началом успеха. Конечно, он не сразу вышел на верную дорогу. Пришлось много пережить, узнать обиды, унижение. Тесса, мелкий взяточник Тесса, глядел на него, как порялочная дама на уличную девку. Ничего, он еще с ними рассчитается!.. Когда немцы возьмут Париж, Грандель станет первым... Все перед ним начнут лебезить... В игре самое главное почувствовать, какой номер выйдет. Он поставил па правильный номер. Теперь остается выдержать последние четверть часа. Потом — власть, почет, признание... Он сможет смотреть всем в глаза. Кильмап? Марки? Вздор! Субъективные мотивы никого не касаются. А объективно он спасет Францию, он добьется смягчения условий, сделает возможным мирное существование миллионов. Вот настоящий патриотизм! Это вам не истерика Дюкана.

Ему захотелось кого-нибудь унизить, показать свое превосходство. Он прошел в спальню. Па широкой кровати лежала Муш. Ее скосила давняя болезнь. Грандель удивленно подумал: неужели я мог ее обнимать?.. Она казалась ему полумертвой. От запаха лекарств его тошнило.

— Три года тому назад ты мне изволила изменять. Я тогда ничего не сказал. Зачем? Ты могла бы подумать, что я ревную... Но теперь мы можем поговорить откровенно. Надеюсь, что теперь ты перестала думать о любовни-

как. Тебе пора подумать о добром боженъке... Птак, вы предпочли мне мого негодая. Он, между прочим, еще хуже своего папаша. Сударыня, вы очевидно, пленили кудри и благородные жесты. А ваш Ромео оказался ворской, альфонсом. Вы тогда думали, что я — неулачник, темная личност шпион. Просчитались, принцесса! Я единственный человек, который еще может спасти Францию...

Мух лежала, как прежде, не двигаясь; голова свисала с подушки. крикнул:

— Почему принцесса молчит? Говори, дрянь!..

Он увидел на белых губах пузырьки — такие бывают у поворожденны брезгливо поморщился и ушел.

25

Под вечер проглянуло солнце, и молочный пар над морем стал бледноораз жевым. Дюны походили на карту луны. Как волосы, чуть приподымали струи песка. Сухие ползучие травы, покрывавшие кое-где темя песчаных гд казались окаменелостями. А рядом пенилось море — отлив только начинал. Видны были водяные взрывы: от снарядов вода кипела. Несмотря на грох батарей, весь этот мир был прозрачным, неживым.

Люсьену хотелось разодрать туман, слухть дюны, впустить море. Он ш между дюнами. Где-то рядом — английские пулеметчики, по где, он не знае Патроны он расстрелял. Одна граната — это все, что у него осталось от бе покойной, взбалмошной жизни... Он глядит на гранату с умилением: так мож но дорожить последним глотком воды.

Вот уже одиннадцать дней, как идут бон. Ни разу он не взглянул на ка ту. Море — значит конец!.. Товарищи звали его: там, за клубами туман английские суда, жизнь. Он не захотел уйти; день провел с англичанам потом отбилс. Теперь он один среди проклятого песка.

С первого дня боев Люсьен искал смерти, искал настойчиво, навязчив шел под пулеметный огонь, полз с гранатой на танки; отстреливался на че даке бельгийской фермы — хотел задержать немецкий патруль. А смерт будто нарочно, его обходила.

Он не читал газет; как-то развернул газетный лист — в нем были заве; путы помидоры, — прочитал: «Нам поможет мотомехализированная Жанн д'Арк» — и бросил; даже не выругался. Вокруг него товарищи кричали: «И: мена!», ругали одни — немецев, другие — англичая, третья — французски генералов. Он молчал или неестественно громко пел:

Вот вам кузов, вот матрац!
В ухе муха. Бомба бац!..

Сдались бельгийцы? Чорт с ними! В победу Люсьен не верил: помнил, ка послал Бретейлю секретные бумаги; знал, на что годен его папаша или генерал Пикар. Вся банда с Гитлером. Значит, крышка. К смерти он тянулс от своего прошлого: он коснулся дна и хотел выплыть. А для солдата прт данной и разбитой армии не было другого выхода, кроме безрассудной отваги. Опасность очинчала Люсьена от папок Бретейля, от долларов, от молодости отмеченной жалким паясничеством.

За все одиннадцать дней его потряс один эпизод. Он встретился с актером Жантейлем. Кто в Париже не знал Жантейля? Это был баловень судьбы, человек с небольшим талантом, всех веселивший, красавец, жуир, проматывавший свои заработки, будто жизнь — зеленый луг ломберного стола, сглатывавший приданое девушек и сбережения вдов грациозно, как птичка клюет зернышки. Жантейль оказался танкистом. Восемь французских танков, дойдя до расположения противника, остановились: нехватило горючего. Танки отстреливались до вечера. На утро подоспела помощь. Пять танков сгорели. Жантейль вышел живым. Он как будто почерпел; его спрашивали — он молчал. И Люсьен, поглядев на него, вспомнил Апри: несколько минут могут изменить человека!..

Мир для Люсьена хорошел; люди становились милыми. Много раз он выручал товарищей: делал это просто, не задумываясь. Он обрадовался, увидев море — значит, Альфред спасется!.. А что ему Альфред? Археолог, жук-могильщик, дурачок, который верит в справедливость... Нет, говорил он себе, не в этом дело, Альфред — хороший человек. Никогда прежде не могли притти Люсьену в голову такие простые слова; он ценил людей за остроумие, за блеск, за талант. А теперь говорил: «Хороший человек...» И вдруг краснел: вспоминал глаза Жаннет возле аптеки, слезы растерзанной Мух или огромную кровать в спальне Дженни, похожую на золоченый катафалк.

Небольшие отряды, оставшиеся на берегу, задерживали противника. Это был последний день эвакуации. Среди дюн шли мелкие стычки: ползли, достигали друг друга, били гранатами, пулей, штыком. И дрожали, пронизанные солнцем, опаловые столбы тумана.

Люсьен поднялся на вершущку песчаного холма; лег. Отсюда он видел мокрый песок. Вдалеке ползли полураздетые люди; кидались в воду. Многих постигали пули. Подымалась вода, будто выплескивалась огромная рыба. А дальше били фонтаны — от снарядов. Только отчаянная храбрость спасала людей. И другие — еще смелее, еще отчаяннее — на последней гряде дюн ружейным огнем встречали противника. Показались немецкие самолеты; закидали бомбами берег, воду. Начало смеркаться; море стало грязным, холодным.

Люсьен увидел шлем среди сухой травы: внизу ползли немцы. Не помня себя, Люсьен вскочил, вскрикнул, бросил гранату. Вскрикнули дюны. Эхо прокатилось; его покрыл грохот батарей. Тогда один из немцев побежал навстречу Люсьену. Бежал и Люсьен, завязая в песке. Они упали друг на друга, будто обнялись.

Потом Люсьен не помнил, как он справился с немцем; помнил только, что трудно было его отодрать — рука впицалась в шею. Рука была тонкой и сильной, с пабухшими жилами. Люсьен смутно подумал: заусеницы не срззат... А на лицо он не поглядел. К чорту!

Вот и нет последней гранаты... Люсьен побежал по холодному песку — море тоже отступило. Кажется, не добежать... Потом кинулся в воду, поплыл. Он не спасался; он спешил к пулям, к снарядам. Рот был мучительно открыт от напряжения. А рыжие волосы просвечивали, как огонь.

Смерть снова увернулась: он доплыл до английского катера. Ему дали штаны, фляжку с виски. Он выпил и выругался — сон кончился. Англичанин с детской улыбкой, коверкая французские слова, сказал:

— А теперь надо победить...

Люсьен кивнул головой; про себя он добавил: надо жить, это легче, легче и глзелей...

Сосежки удивленно шептались: не могли понять спокойствия Аньес. Она восхищалась: «Ну и характер!» Другие злословили: «Наплевать ей на жа...» Она исправляла ошибки в тетрадках, рисовала листья и тычиночки, аккуратно убирала квартиру, вязала штанишки Дуду. Казалось, ничто изменилось в ее жизни с того дня, когда принесли желтый казенный папье-маше. Ей выдали шестьсот франков (столько полагалось за убитого кормильца). Им сказали: «Распишитесь». Не скрипнуло перо; и глаза у Аньес были сухи. Дуду спрашивал, где отец. Она отвечала: «Скоро приедет». Утром она пошла к старухе Мелани; та присматривала за мальчиком. И Мелани, глядя на Дуду, часто всхлищивала. Он спрашивал: «Почему плачешь?» Она отвечала: «Болят зубы». Аньес никогда не плакала. Прежде только Пьер догадывался о душевной силе, которая жила в ней, говорил: «Подойдет...» Горе и одиночество изменили даже ее внешность: добрые блестящие глаза стали жесткими; прежде она сутулчилась, теперь держалась прямо. Кумушки сплетничали: «Цветет! Увидите — скоро найдет нового мужа...»

Аньес не плакала и по ночам. Она лежала с раскрытыми глазами, шептала, мечтая о сне; хотела понять случившееся и не могла. За что умер Пьер? Эта мысль не давала ей покоя. Она восстанавливала в памяти их редкие, горячие споры. Пьер увлекался политикой, верил в революцию, переживал как свое горе, падение каждого испанского городка. Она с ним не соглашалась, но чувствовала, что он горит, и часто ему завидовала. Когда он уезжал в Барселону, волновалась, как помешанная. Ждала звонка, говорила себе: «Могут убить... А теперь он расстался с ней без слов, без надежды; шел, и осужденный. На вокзале сказал: «Это не наша война...» И вот его убили на чужой войне. О чем он думал в последние минуты? Об Аньес, о Дуду? Или о другой войне, «настоящей»? Напрасно Аньес хотела с ним поговорить, понять, услышать, где правда. Вставала, шла к кровати Дуду, долго слушала дыхание ребенка. Что если и Дуду убьют?.. Это все, что осталось от той жизни, от той весны...

А утром она приходила бодрая в класс; и никто не догадывался, чем были ее ночи.

Выдержка была врожденной; ее завещали Аньес поколения, привыкшие к суровому труду, к борьбе за кусок хлеба, к потере близких, поколения, ходившие на дома парижских предместий, которые впитали в себя дым уличных боев. Отец когда-то рассказывал, что на войне он все время работал, латал штаны, мастерил зажигалки, чинил рамы в крестьянских домах, убирал сено; усмехаясь, он добавлял: «Вот и выжил...» Так теперь жила Аньес.

На улицах показались беженцы. Увидев автомобиль с простреленным кузовом, из которого высовывались дети, Аньес вздрогнула. Она не подумала ни о конце Пьера, ни о судьбе, которая, может быть, ждет Дуду, но все же всколыхнулась; эта истерзанная машина была продолжением ее ночей.

Снова обклеивали оконные стекла тонкими полосками бумаги. Аньес придумала сложный узор: окно будто покрылось ипеом: розы, звезды, пальмы. Дуду спросил: «Что это?» Она ответила: «Самолеты» и тотчас поправила: «Это сад...» Пришли в голову юношеские стихи Пьера — он ей как-то читал

Перед смертью человеку снятся палпы,
Вышивает шалости зима...

Шли дни; беженцев становилось все больше и больше. Показались жители Милля, ткачи Валансьена, горняки Ланса, крестьяне Пикардии. Школу, где работала Аньес, предоставили беженцам. И Аньес с жаром отдалась новому делу. Она переехала в школу с Дуду, ухаживала за больными, добывала еду и лекарство, стирала. На ее руках оказалась большая семья. Она должна была утешать, выслушивала долгие сбивчивые рассказы. Женщина из рабочего поселка Фурми твердила: «В семь часов... А я знала, что они прiletят». Она не хотела расстаться с детской салфеткой, покрытой бурой кровью, говорила: «Он ел овсянку. Звери!..» Бельгийка, жена шахтера, рассказала Аньес, что потеряла в пути свою пятилетнюю дочь. Старик из Рубе искал невестку и внуков. Аньес спрашивала: «Почему ушли?» Одни отвечали: «Страшно! Они низко летают. Рядом с нами попало...» Другие говорили: «Под бошами жить? Нет, мы ученые. В ту войну мы четыре года под ними жили. В Париже не знают, а мы знаем. Они тогда в Рубе заложников расстреляли. А у нас привели Франца и Мениля: «Ройте себе могилу». И убили. Детей не жалели, проклятые...» Некоторые признавались: «Видим, что все бегут, вот и пошли...» Одна работница ругалась: «Пришел Берже. У нас все знали, что он фашист. Кричит: «Скорей удирайте! Убьют!» А сам остался — немцев встречать. Предатели!»

Беженцы часто менялись. Отправляли эшелоны на юг; приезжали новые. Только старик Рике засиделся: хворал, едва добрался до Парижа. Он рассказывал Аньес:

— Старуха моя давно умерла. А сына взяли на войну, не знаю, жив ли. Я один жил. Пришли соседи, говорят: «Боши идут. Уезжаем». Кролики у меня были хорошие. Оставил им кроликов. А собака со мной пошла, замечательная собака. Ее Фолет зовут. Двенадцать лет у меня, я к ней привык. В Компьене нас выкинули из поезда. Пошли пешком. Боши кидали бомбы прямо в нас. Я их с той войны знаю... Разбежались все... Гляжу, нет Фолет...

И Аньес много раз видела, как старик, забывшись, чмокал губами, звал Фолет.

Был хороший летний день, когда на Париж налетели бомбардировщики. Все небо гудело. Тряслись стекла. Дуду кричал: «Бум-бум!..» Аньес чистила картошку; на минуту она отложила нож и снова взялась за работу. Потом прибежали, говорят: «Две тысячи убитых...» Аньес, перепугавшись, схватила за руки Дуду — могли его убить! И застыдилась: «Чего же я теперь боюсь?..»

Вечером она проходила по набережной. У развалин большого дома толпились люди, разглядывали, ругались, шутили. Кто-то угрюмо сказал: «Так... аккуратная работа...» Жизнь как будто распалась на составные части: камни, железо, диски, полосы. Аньес наступила на книгу — кожаный переплет, чь-то инициалы... На уцелевшей стене висел портрет: женщина в подвенечном платье. Вдруг Аньес увидела детскую кровать с сеткой — кровать повисла на решетке балкона. И Аньес, сама не своя, побежала домой. А рядом с развалинами люди смеялись на террасах кафе, и голубели, как небо, сотни сифонов.

В ту ночь Аннес снова видела Шьера: попяла — он ни о чем не думало было больно, холодно, пусто. Хотела его согреть и не могла; металась, бредила. До рассвета кричали зенитки. А Дуду что-то лепетал во сне: «Сны, детские слова».

27

Тесса проснулся бодрый. Он весело сказал Жолио:

— Они разобьют себе лоб о линию Вейгана. Вы можете написать гигантская битва еще только начинается...

— Написать легко... Дело не в этом... Вы будете надо мной смеяться; я никогда не скрывал, что я — человек суеверный. Немцев пакликали, вам слово! Сколько раз все повторяли: «Они придут!.. Придут!..» Вот и пришли.

— Бабские разговоры! Начнем с того, что они не пришли. Бои происх... а Сомме...

— Может быть. Я там не был... По одно я твердо знаю: вчера они пули бомбы на Марсель. Вы понимаете, что это значит?.. Марсель на др конце Франции. Кто мог подумать, что они посмеют?.. Теперь все конч Можете быть уверены — итальянцы выступят не сегодня—завтра. А Ве снял войска с итальянской границы. Зачем нам эта дурацкая Сомма?..

Тесса махнул рукой — успокойтесь! Рассеянно спросил:

— Вы слушали итальянское радио?

— Час тому назад. Молчат. То есть передавали статью о помпей живописи. Это плохой признак.

Тесса засмеялся:

— О живописи? Для Виара... Кстати могу вам сообщить, что наш «лестный борец» сложил чемоданы. Наверно, уедет. До свиданья! Зайдите мне вечером, попозднее — я смогу вам сообщить нечто утешительное.

Говоря это, Тесса думал о частичной реорганизации кабинета. Он на насвистывать арию из «Риголетто». Расстрелял его Пикар; пришел непрош ный. Поглядев на него, Тесса сразу понял: дела плохи. Пикар сказал, немцы форсировали Сомму. Их танковые части продвигаются к Руану. решится в течение двух-трех дней.

— Только сумасшедшие могут говорить всерьез об обороне Парижа.

Тесса кивнул головой. Его лицо стало печальным и торжественным: с ким лицом он присутствовал на похоронах министров или сенаторов. Мо: он пожал руку Пикару. А когда генерал ушел, сказал себе. «Роквые п пути! Мы говорили, суетились, надеялись, и вот мы присутствуем при р визке!..» Ему захотелось с кем-нибудь поделиться этой мыслью, но он вс мнил, что нельзя подымать папику.

Приехав на заседание совета министров, он сразу забыл о судьбе Франц Кабинет, наконец-то, реорганизовали. Некоторые назначения Тесса пав удачными. Хорошо, что иностранную политику доверили Бодуэну. Друга Те Пруво назначили министром информации. Зато Тесса огорчил выбор Дельбоса это подвох, все знают, что Дельбос — приятель Фуже... Еще больше воз: тило его назначение де Голля товарищем военного министра. Безумие! Пос вить на такой пост авантюриста!..

Занятый своими мыслями, Тесса плохо слушал — говорили о положес на фронте. Потом он вспомнил слова Пикара и спросил Рейно:

— Па что ты, собственно говор, падеешься?

Рейно ответил, что поступают подкрепления с линии Мажино, с итальянской дивизии. Англичане обещают прислать несколько канадских дивизий. Вчера я обратился к Рузвельту с просьбой о помощи.

Тесса в досаде поморщился:

— Меня интересует, что ты собираешься делать, когда немцы подойдут Парижу?

Рейно сказал, что правительство переседет в Тур, если нужно будет — Бордо.

— А потом?

— Если обстоятельства принудят — в Алжир. У нас флот, колонии...

Тесса замолк: зачем спорить с сумасшедшим?.. Это не правительство, это клуб самоубийц. Только Бретейль может спасти Тесса... Но Бретейль не спасет... Тесса вспомнил листовку «верных» и закрыл глаза — ему стало страшно!..

Он все-таки поехал к Бретейлю: лучше смерть, чем такое томление. Если Бретейль от него отступится, нужно договориться с Фуже. Или уехать в Америку...

Бретейль сидел неподвижно за письменным столом, прямой, надменный; казалось, что он позирует.

Утром он пережил тяжелую сцену: жена плакала, говорила: «Немцы возьмут Париж. Изверг, ты этого хотел!..» Упреки политических врагов не трогали Бретейля: понятно, что Дюкан или Фуже хотят свалить вину на других! Как будто Бретейль не предупреждал, что война против Германии — преступление!.. Но что он мог ответить жене, которая, вспоминая сына, кричала: «Ты его убил! Ты всех убьешь!»

Глядя на карту, Бретейль задумался. Капитуляция, мир... А что дальше?.. Поймут ли вчерашние враги, что Франция не Албания, да и не Чехия? Могут же понять: это люди другой крови, другого склада. Тогда — конец. Лотарингия, его Лотарингия отойдет к Германии! Потомки будут проклинять Бретейля. Для них шут Дюкан станет героем.

Много лет Бретейль жил, не заглядывая вперед: он повиновался одному чувству — ненависти к Народному фронту. Победы Гитлера, Муссолини, Франко казались ему его победами. Он радовался, что в Праге нет больше Бенеша. Еще недавно, узнав о решении датского правительства, он удовлетворенно смехнулся: социал-демократы снова легли на спину!..

Почему же он вдруг растерялся? Это нервы. Нужно совладать с собой... Теперь Бретейль придет к власти. Он разгонит парламент. Он создаст порядок. Этот порядок придется оплатить унижением, горем, слезами... И все же новая Франция, вдова в трауре, нищая монашенка, будет прекрасней насмешницы Марианны!

Когда пришел Тесса, Бретейль уже не помнил ни упреков жены, ни своего галодушия; был холоден, невозмутим. А Тесса вопил:

— Они сошли с ума! Макака предлагает переехать на Мадагаскар — ему ахотелось в девственные леса... А немцы подходят к Руану. Мы должны то-то предпринять! Остались буквально минуты...

— Я тебя предупредил...

— То есть как?.. Кто мне посоветовал остаться в кабинете? Ты. А теперь ты умываешь руки? (Тесса жестикуляровал подпрыгивая.) Я знаю, что твои верные настроены против меня... Но это основано на недоразумении. Ты

должен им объяснить... Я и в Палату прошел, опираясь на тебя. Нельзя сать друзей в критические минуты!..

— Ты напрасно волнуешься. Я хотел сказать, что я предупреждал о бессмысленности сопротивления. А национальные круги тебя очень ценят. В этом доме ты свой. Успокойся! Мы должны обсудить положение, намеченный состав правительства...

— Кабинет сегодня реорганизован.

— Это заплатата на заплате. Я говорю о новом правительстве. Через несколько дней встанет вопрос о мирных переговорах. Нельзя допустить, чтобы страна осталась без твердой власти. Этим могут воспользоваться коммунисты. Маршал обеспечит преемственность власти. Кроме того, это прекрасное имя «герой Вердена». Можно будет сделать все в полчаса...

— А Рейно?

— Он удерет. Или мы его отправим в Америку — послом. Значит, ставь его во главе. Разумеется, Ливаль. Я. Возьмем кой-кого из прежних.

— По-моему, нужно оставить Бодуэна.

— Правильно. Его любят итальянцы. Потом Пруво — это представит промышленников. Меже считает его очень способным... Я включил в список и тебя.

Тесса не мог скрыть удовлетворения, но для приличия стал возражать.

— Я слишком стар. Лучше взять кого-нибудь из молодых...

— Нет, ты будешь очень полезен. Не нужно, чтобы страна приняла семь кабинетов за переворот. Тормозы — великая вещь. А к тебе все привыкло. Если хочешь, для среднего француза ты — гарантия, что ничего не изменится. В такое тяжелое время самое важное успокоить страну.

Тесса сиял. Мюшенник Фуже все придумал! А листовки — это глупая провокация. Бретейль понимает, что он — честный француз... Но, забыв про недавние волнения, Тесса принялся обсуждать программу нового правительства.

— Если мы заявим в министерской декларации, что готовы начать мирные переговоры, большинство обеспечено. Я только боюсь, что немцы поставят чересчур тяжелые условия. От таких успехов может закружиться голова. Хорошо бы их урезонить. Ты знаешь, в твоём списке недостает одного имени. Конечно, то, что я предлагаю, — смелый шаг, многие сочтут его рискованным. Но теперь надо быть терпимым...

— Ты говоришь о Виаре?

— О Виаре? (Тесса удивленно поглядел на Бретейля.) Это ружья! Старая клыча! Он, кстати, наверно, удрал. Нет, я думал о Гранделе. Мы с тобой старые друзья и можем говорить откровенно. Ты, конечно, помнишь историю с документом...

Бретейль в раздражении ударил линейкой по столу.

— Я уже тебе говорил, что это — фальшивка. Неужели ты сейчас можешь думать о таких пошлостях?

— Ты меня не понял. Я это сказал не для того, чтобы его очернить. Напротив... Но у Гранделя, бесспорно, много друзей в Берлине... Теперь так человек пезаменим...

Бретейль ответил сухо, официально:

— Я нахожу твои догадки неуместными. Конечно, Гранделя знают за границей — он поватор, человек с эрудицией. Он будет очень полезен нашему правительству. Но кого-нибудь нужно оставить в Париже... Нельзя, чтобы столица осталась без крупного политического деятеля. Лаваль и я должны

...деловать за Рейно, чтобы принять власть. Тебя я не прошу остаться. Ты
нужнее — с твоим знанием парламентских кругов... Кроме того, я не
хочу подвергать тебя такому испытанию: французам нелегко увидеть чужих
... в Париже... Наконец, насколько я знаю, немцы тебя не очень-то жа-
уют. Им трудно разобраться в наших тонкостях. Для них ты — ставленник
народного фронта, человек с поднятым кулаком...

Тесса оценил. Они долго молчали. В соседней комнате плакала жена Бре-
тейля. И, прислушиваясь к плачу, Бретейль мучительно морщился. Наконец
Тесса тихо спросил:

— По-твоему, они скоро придут?

— Вопрос дней, может быть, часов...

Тесса ушел от Бретейля растерянный. Его больше не радовало место в по-
вом кабинете. Мир казался ему непонятным и неприязненным. Вдруг Рейно
сказает, что он договорился с Бретейлем?.. Мандель может пойти на все:
арестовать, расстрелять... Для них он — изменник. А для немцев он чуть ли
не «красный». Какая гнусная вещь политика! Счастливые солдаты — они по
крайней мере знают, где враг. А у него враги повсюду...

Тесса съезжился. Секретарь сказал:

— Я назначил прием на четверг.

Тесса подумал — несчастные люди, они не знают, что в четверг здесь будут
немцы. Никто ничего не знает... Он решил выйти погулять; может быть, на
всегдашнем воздухе пройдет эта тошнота...

Черный город был невыносим, полный криков, гудков, непонятных звуков.
В подворотнях толпились люди. Тесса услышал:

— Говорят, Гамелен застрелился...

— Рейно удрал в Америку...

— Они-то удерут. А нам расхлебывать...

— Я немцев не боюсь. Мне что — я человек малепький. Меня и немцы
не тронут. А бомб я боюсь...

— Немцы — сволочь. Мне отец рассказывал — они в пятнадцатом дядю
Бака живым закопали...

— А Тесса уже снюхался с Гитлером...

Голоса замолкли. Тесса стоял в темноте, прислонившись к фонарю. Сердце
билось. Ему показалось, что по улице идут солдаты. Он закрыл глаза, слер-
зался, чтобы не крикнуть. Что за шаг?.. Но это были крупные капли дож-
я, падавшие на навес кафе.

Никогда в жизни Тесса не испытывал такого страха. Он едва добежал до
ворот министерства. Как ребенок, он обрадовался яркому свету в кабинете.

Тогда загрохотали зенитки. Тесса подбежал к окну и сейчас же отбежал.
Немцы подходят к Парижу. Для немцев он «красный»... А рабочие говорят,
то он снюхался с Гитлером... Все против него. Его приставят к стенке. Или
арестуют. Что за прохот?.. Наверно, бомба упала рядом... Метят прямо в
министерство... По пятьсот кило... Потом нельзя узнать, чей труш... Нужно
что-то сделать, спастись!..

Тесса метался по комнате, не зная, на что решиться; садился и снова
скакивал. Его знобило. Наконец он позвонил:

— Приготовьте машину. И баки... Я послу за город — в ставку.

Когда Жолио в половине двенадцатого пришел за утешительными новостя-
ми, ему сказали: «Господин министр уехал в ставку». Жолио не стал пере-
прашивать. Он понесся домой:

— мари, укладывайся! Мы сейчас же сдем... Этот подлец уже удра, собака!.. Утром он мне заговаривал зубы... Когда-то говорили: «Крысы уходят с корабля». Ничего подобного — удирают капитаны. А крысу броси! По крысе не дура... Скорей, деточка, скорей!..

28

Все последние недели Жаннет казалась озабоченной, рассеянной. На деле она ни о чем не думала, ничем не интересовалась. Ее дни напоминая позу забытые тяжело больного. Пустота, которую она почувствовала после рывка с Дессером, была плотной, душной, непроницаемой.

Жаннет продолжала работать в студии. Кругом говорили о военных действиях, вырывали друг у друга последние выпуски газет. Жаннет не принималась к разговорам. Как всегда, обманчиво значительным голосом продолжала расхваливать пилулы или ликеры, а потом повторяла перед микрофоном высокие, никому не нужные слова: море, тишина, ветер. Она перестала отличать стихи от рекламы. Да и то, что говорили до нее, казалось ей рекламой какой-то страшной фирмы: «Потоплено регистровых брутто-тонн... Замечены масляные пятна...»

В воскресенье она бродила до вечера, стараясь забыться среди шумной суеты. Был чудесный день; и парижане, забыв о мрачных слухах, зашли в Булонский лес, играли в теннис, гребли, на тенистых террасах кафе пили зеленую мятную настойку или золотистый оранжад. Малыши лепили из пластилина замысловатые пирожные. Жаннет увидела нарядного дрозда; он прихоразывался клювом. Она уныло сказала: «Дрозд» — и птица улетела. В одной из темных аллей Жаннет обогнала парочку: солдат и девушка в розовом платье веснушчатая, доверчивая. У солдата было по-детски важное лицо, черные усышки. Он держал в руке каску. Девушка плакала. Он говорил: «Все кончилось хорошо, увидишь...» — и Жаннет позавидовала: какое это счастье — так расстаться! Ведь она осталась без надежды, без слез, даже без грусти.

В понедельник Жаннет просидела все утро дома с закрытыми ставнями, не хотелось видеть света. А выйдя днем на улицу, она обомлела — Париж нельзя было узнать. Магазины и кафе были закрыты; на дверях белели желтые сточки, дрожащей рукой было выведено: «Закрыто». Возле некоторых домов суетились люди, забивали щитами окна, выносили чемоданы, узлы, нескладные сложенные пакеты. Трудно было перейти улицу: непрерывной пелью двигались автомобили; на кузовах лежали тюфяки; из машин выглядывали испуганные, заплаканные лица.

Еще вчера парижане удивленно спрашивали беженцев: «Почему не поехали?.. А линия Вейгана?..» И вот двинулись парижане; они неслись к вокзалам; взбирались на крыши грузовиков; умоляли шоферов: «Спасите!..» И род пустел с каждым часом — продырявленный мешок, из которого сыплется мука.

Перед министерством пенсий стояли грузовики: вывозили зачем-то мебель, столы, шкафы, конторки. Старая женщина глухо, как граммофонная пластинка, повторяла: «Возьмите и меня! Возьмите и меня!» Жаннет в ужасе спросила:

— Господи, да что ж это?..

Старуха тупо на нее поглядывала:

— А вы не знаете? Немцы в Руале.

Она уронила кошелку; оттуда все посыпалось: моток шерсти, полотенец, свечи, апельсины. Старуха заплакала. Заплакала и Жаннет. Надо что-то делать! Сейчас они придут, будут бросать бомбы, стрелять... Жаннет заматывалась. И вот с этой минуты ее не стало: еще одна щепка неслась по смутным, отчаявшимся улицам.

Вдруг Жаннет остановилась — куда ей ехать?.. Встал бездушный Лион, старческий оскал отца. Потом она вспомнила Флери, синюю листву виноградных лоз, жаркий день, тишину — только мухи жужжат... И Жаннет захотелось жить, сильно, как никогда. Жизнь, бывшая к ней такой немилостивой, покажется лакомой. Уехать!

Она добралась до Лионского вокзала. Еще издали она увидела широкую улицу, забитую толпой. К площади пельзя было подойти. Цепи полицейских едва сдерживали народ.

— Сволочи! Сами убежали, а нас оставили!..

— Изменники!..

— Мы-то в мышеловке....

Полицейские неуверенно отвечали, что вечером будут поезда. Толпа не рдела. К обеду люди проголодались, обессилели; стали искать, где еще открыты лавочки; примостившись на тротуарах, закусывали. Выглядело это, как огромный табор. Старый рабочий, аккуратно отрезав ломоть хлеба и несколько кружков колбасы, сунул еду Жаннет. Она хотела поблагодарить, но ничего не могла вымолвить, только пошевелила губами; и есть она не могла; ей казалось, что у нее жар.

Ночь наступила раньше обычного: черный туман покрыл город. Говорили, что это горит Руан. Кто-то пытался успокоить людей: «Это — дымовая завеса...» Женщины, обезумев, кричали в темноте. Жаннет задыхалась. А утром, чуть рассвело, новые толпы заполнили квартал. Но поездов не было.

Жаннет побрела по улице, дошла до набережной. Теперь ее изумленные невидящие глаза никого не поражали — такие глаза были у всех. Прохожих останавливали, спрашивали, где достать чемодан или ручную тележку; делились новостями: «Они в Мант...», «В Шантии...», «На Елисейских полях парашютисты...», «Поезда уходит с вокзала Аустерлиц...», «Пост, не уходят...», «Продали, протали!..»

Девушка жадно ела рогалик и плакала. Проехал генерал: старичок поглядел на него и тонким голоском крикнул: «Доигрался!» А в переулке ревела девочка, прижимая к себе огромную безголовую куклу.

На углу улицы Сен-Жак была открыта булочная. Жаннет услышала запах свежего хлеба и будто очнулась — ей снова захотелось жить. Она стала лихорадочно думать: что делать? Побежала в студию. Ворота были заперты: даже сторож уехал. Тогда она вспомнила про Марешала. Когда она побежала к нему, он записывал в чемодан книги, термос и негрятянского божка; божок не влезал, высовываясь, хитро улыбался.

Марешаль бормотал:

— Последняя новость — итальянцы объявили войну. Понимаешь, ждали до сегодняшнего дня... Шакалы! А правительство убежало... Вот тебе и «до Победного конца»!.. Машин сколько хочешь. Мы купили Volkswagen. Грандэ ценит бензин. Если достанет, возьмем и тебя.

Она обрадовалась:

— В Флери, хорошо!

Безопасна не достали. Грандэ пришел на рассвете, весь серый.

— Шарль вчера уехал и вернулся пешком. Бензина нет, черт бы ни брал! Вот если бы достать лошадь! Это самое верное... А на Пер-Лашез не вили орудия, я сам видел. Солдаты куда-то уходят. Ничего нельзя поделать. Говорят, будто Америка объявила войну. Не верю...

Маршалль кричал:

— Ни газет, ни радио — все удрали! Ты понимаешь — бросили Па Отдыхавшись, он сказал Жаннет:

— Придется пешком...

На минуту Жаннет оживилась — что-то проснулось ребяческое: уй Флери пешком!.. Она побежала к себе:

— Другие туфли падену, в этих не пойти.

Оживление быстро прошло. Страшная суета улицы, где гудели автомобили, где люди толкались, кричали, плакали, навела на нее тоску. Куда бежать? и зачем? Ей всюду будет плохо...

Хозяйка гостиницы встретила ее как близкого человека:

— Вот хорошо, что не уехали! Ведь никого не осталось. Папика, ступай глядеть! Почему они убегают, скажите мне на милость? В четырнадцать немцы были в Мо. И тогда удирали. А они не вошли. Молочница сказала, что сегодня привезут сорок дивизий. Значит, отгонят...

Жаннет молча кивала головой. Она просидела, не двигаясь, час, может быть два. Солнце теперь нагревало маленькую комнату хозяйки, служивши конторкой гостиницы. На камине играл котенок, он хотел поймать солнечный зайчик. Жаннет поглядела на него и вскочила — только бы жить!

Она побежала к Маршаллю; на двери была записка: «Жаннет, я жду тебя до четырех возле метро Денфер-Рошере». Жаннет в страхе поглядела на часы. Три. Значит, успеет... Зачем-то она купила в случайно открытом газине одеколон. Приказчик долго заворачивал бутылочку, а она молила: «Скорее!..»

Как случилось, что она спутала станцию? До пяти прождала она возле метро Алезия. Потом вынула из сумки записку, и все завертелось перед ней. А у Денфер-Рошере никого не было. Она побежала на почту — перто. Да и все заперто... Телефон она нашла только у себя в гостинице. Она позвонила Дессеру. Теперь не до чувств. Он ее вывезет. Никто не отступит. Вытащив записную книжку, она звонила по всем номерам, даже не думываясь, кому звонит. Радавались монотонные гудки. И в ужасе Жаннет сказала: «Никого!..»

А хозяйка успела повидаться с шурином; он ей сказал: «Никаких новостей. В городе остались только полицейские и пожарные. Генерал поехал. Шантти к немцам...» С севера доносилась канонада. Услышав, как Жаннет сказала: «Никого», — хозяйка всплеснула руками и начала суматошиться собираться.

Жаннет поднялась к себе. Она долго стояла у окна. По длинной улице шли и шли люди. Некоторые толкали ручные тележки; там лежал скамеечка, иногда на тележке сидела старуха или таякала собачонка. Все ставни были закрыты наглухо. И Жаннет снова сказала: «Никого!..»

Вот человек, обезумев, тащит на спине кресло. Мальчик несет деревянную лошадь — не захотел оставить. Старушка с птичьей клеткой. Человек пешком с портфелем и с кошкой; кошка выбивается, орет. Везут в тачке

Женщина несет на руках двух мальчюк. Еще мчатся последние велосипедисты. До чего страшно в пустом городе!..

И Жаннет сбежала вниз. Хозяйки уже не было: она ушла, бросив все; не предупредила Жаннет, даже не заперла своей комнаты. Жаннет пошла по середине мостовой. Пахло гарью; трудно было дышать — это горели нефтезаводы. Потом пошел дождь, от гари он был черным. По лицу Жаннет текли черные слезы. И, ни о чем не думая, полчняясь толпе, с широко раскрытыми глазами, она оставляла зачумленный город.

25

Все утро Аньес искала газету. В некоторых еще открытых киосках лежали старые еженедельники; потом закрыли киоски. Говорили, что газет больше не будет, но под вечер Аньес услышала крик газетчика, вырвала из его рук лист. На первой странице она увидела фотографию — набережная, женщина бьет собаку, и подпись: «Париж остается Парижем». Аньес рассердилась: ей всунули старую газету! Пет, дата — 10 июня... Побежала в школу — там радио. Передавали молебен; американский посол Буллит поднес статую Жанны д'Арк красные розы; с резким англо-саксонским акцентом он воскликнул: «Спаси их, Жанна!..» Потом раздались звуки тапго:

Ойле, ловеласы,
Зачем вам ананасы?

И наконец диктор, отчеканивая слоги, сказал: «Наши доблестные альпийские стрелки продвигаются к востоку от Нарвика...»

Рике в тревоге спрашивал:

— Что передают?

— Ничего. Наверно, ждут донесений. Скажут завтра.

Но на утро радио молчало. И Аньес охватило отчаянье. Первой мыслью было — уехать. Добраться в Дакс, к отцу. Туда немпы никогда не войдут...

Она прошла по пустым комнатам — тряпки, жестянки из-под консервов. Еще вчера здесь жили беженцы. Только Рике остался; стоял: «Не могу с места сдвинуться...» Он не спросил Аньес, что она собирается делать; понимал, что уйдет. Но все-таки жадно следил за каждым ее движением: а вдруг не уйдет? Больше всего он боялся остаться один.

— Все ушли, — сказал он. — А что в городе?

— Уходят.

И, помолчав, Аньес добавила:

— Я не уйду.

Он хотел улыбнуться, но лицо скосила конвульсия. А она, призвав к себе Дуду, думала: почему она решила остаться? Может быть, пожалела Рике? Но у нее Дуду... Нужно спасти мальчика. Конечно, в пути легко потерять. Вот бельгийка потеряла дочь. А здесь будут бомбить. Опять — две тысячи убитых... Еще страшней. Почему же она не уходит?.. Это было вспышкой гордости. Час тому назад она растерялась, услышав у приемника вместо слов ровный пустой шум. Ей казалось постыдным это общее бегство. Она обрела волю, подобие действительности — остаться в брошенном всеми Париже.

Прибежала Мелани, уговаривала ехать с ней:

— Нас рабочие возьмут. У них четыре грузовика. Все-таки там свои...

Аньес ответила, что решила остаться. Мелани рассердилась — это правда, что говорили, — Аньес бесчувственная, ей все равно, кто убила мужа. Остаться с немцами!.. Она сказала:

— Дело ваше.

Накормив Рике, Аньес вышла на улицу. Люди еще шли. Как ей хотелось уйти с другими! Она угрюмо повторяла: нельзя. На стене мэрии висел хотный листок. Наверху значилось: «Французская республика. Свобода. венство. Братство». Аньес прочитала: «Париж объявлен открытым городом. Военный губернатор генерал Денц». Рядом стоял старичок в соломенной шляпе. Аньес спросила:

— Что это значит «открытый город»?

Старичок пожал плечами:

— Не знаю. Может быть, что не крепость. Или по просьбе папы, в всяком случае, сударыня, невесело...

Подождал рабочий, прочитал и крикнул:

— Сволочи, сторговались!..

Один его глаз плакал, другой, фарфоровый, равнодушно глядел на Аньес Толстый усатый полнейший, ухмыляясь, рассказывал:

— Нас оставили — для порядка. Открытый город — это чтобы не убивали. Теперь скоро мир подпишут.

А люди уходили. Аньес глядела на них с завистью — когда идешь, мой не думать.

Вечером она пыталась успокоить Рике:

— Напечатано «открытый город». Значит, не будут стрелять и бомбы будут кидать.

— Я бомб не боюсь. Когда мы шли, они все время кидали. Я боюсь, они придут.

Она отвернулась; впервые за все время она заплакала; поняла, что, к Рике, боится одного — придут!.. До этой минуты она оставалась вне событий; думала — не все ли равно?.. Такие же люди, только одеты по-другому. И вдруг схватило за сердце: неужели придут?.. Немцы в Париже!.. Она повторила эти слова, и слезы текли, текли.

Она выбежала: не могла сидеть на месте. По крутой улице спускались солдаты, грязные, усталые. Они тоскливо поглядывали на забитые окна домов; едва шли; торопились выбраться из города. Аньес дала одному хлеба шоколада. Он поглядел на нее и тихо сказал:

— Спасибо. Прощайте.

Не могла она забыть его глаз. И почему он сказал такое непривычное: «Прощайте»?

Вернувшись домой, она кинулась к радио. Из Тулузы передавали речь Рейно, он говорил, что обратился к Рузвельту с последним призывом; голос его едва доходил. Потом епископ призывал к покаянию — «Это божья кара... Смутный рокот. И вдруг близко, как в соседней комнате: «Радиостанция «Национальное пробуждение». Славайте! Мы организовали тайные отряды. В Арле шестнадцатый отряд расстрелял всех масонов и марксистов. В Гренобле сорок седьмой отряд...»

Рике спросил:

— Прикрой! Не могу я их слышать!..

Аньес не легла; ночь она просидела у черного окна; слушала гул моторов раскаты орудий; томилась над Парижем, как над покойником. А утром вышла

Дуду — может быть, раздобудет молока для мальчика и Рике. Пет, все завки заперты. Да и людей не видно. Вот только женщина толкает тележку с детьми. Значит, еще уходят...

Из-за угла выбежал солдат; чем-то он ей напомнил Пьера — смуглый, большие белки глаз.

— Как пройти к Шорт д'Орлеан? Скорей!..

Она показала дорогу и спросила:

— Где они?

Солдат махнул рукой и побежал. Аньес пошла дальше. Закрыты все ставни. Ни души. Часы на площади показывают три — остановилась. И тихо-тихо...

Потом раздалось гуденье. Самолеты летели очень низко; были видны черные кресты на крыльях. Аньес подумала: сейчас бросят бомбу. И удивилась своему спокойствию — убьют Дуду, а ей все равно. Значит, она сошла с ума, ничего больше не понимает...

Они дошли до бульвара, и вдруг Аньес остановилась: навстречу шли немцы. В открытом автомобиле сидели солдаты с винтовками. И Аньес, ни о чем не думая, закрыла рукой глаза Дуду — только чтобы он не видел! Она ничего не соображала; не хотела смотреть и жадно вглядывалась в чужие лица. А в голове вертелось одно: вошли! вошли!

Шла кавалерия. Лошади остановились; мостовая заблестела от лошадиной мочи. Аньес разобрала на мешке с мукой надпись: «Лилль». Проехал в машине офицер; у него был шрам на щеке; он презрительно улыбался. В глазу посвечивал монокль. Другой держал фотографический аппарат, снимал. Кажется, снял ее... Пало уйти, а ноги не идут... И снова солдаты... Что-то едят... Молоденькие... Почему столько в очках?.. Близорукие, как она... Нет, чужие... И как это страшно!.. Вошли!.. Вошли!..

Аньес стояла у ворот. Оттуда выглянула старая женщина в черной наколке, увидела немцев, заплакала и нырнула назад. Пробежали две проститутки, сильно нарумяненные; они смеялись и махали офицеру платочками.

Вдруг Дуду весело сказал:

— Мама, сколько солдат! А папа придет?

Аньес крикнула:

— Молчи! Это немцы!

Она испугалась своего голоса. А Дуду заплакал. Она схватила его руку и втиснула в узкую улицу — скорей бы добраться домой!..

Полуденное солнце было нестерпимым, и на солнце гнили отбросы. Возле каждого дома стоял мусорный ящик; его вынесли три дня тому назад, когда в городе еще были люди. У ворот школы лежала туша. Сладковатый запах гнилого мяса окутывал улицу. Поджав хвосты, бродили брошенные собаки; они грустно обнюхивали мостовую, потом подымали морды к небу и выли.

В коридоре Аньес увидела Рике. Он лежал плшмя; руки сжимали косяк приоткрытой двери; из зававшего рта высовывался язык. Дуду спрашивал:

— Что с дядей?

Аньес молчала. А с улицы доносились бравурные звуки марша.

Андре застрял. Когда он сообразил, что немцы подходят к Парижу, не было ни поездов, ни машины. А пешком уйти он не мог: с трудом волочил больную ногу. Дом, где он жил, опустел. Два дня Андре слушал военную

музыку и топот солдатских шагов. Еды не было, но он не чувствовал голода. Он не пытался понять, что приключилось; лежал на диване, как срубленное дерево; иногда забывался. Никогда прежде ему не снилось столько сна. В этих снах все путалось: он лежал у пулемета, среди яблонь, отец подавал лепту; потом вдруг — свадьба, Нивель разносит сидр, а Жаннет говорит: «Меня обвенчали...» Но с кем?.. И, просыпаясь, Андре недоуменно оглядывал тусклую мастерскую. Он — в Париже. И в Париже — немцы...

Внизу горлашили солдаты. Он их не видел; не подходил к окну. Говорил себе: «Как глупо, что меня не убили!..»

На третий день постучали в дверь. Андре встал, постарался выпрямиться. Кто теперь может прийти? Да только они... И он ощерился. Но в дверь стоял Лорье с черной повязкой на глазу.

— Значит, и ты остался? — спросил Андре.

— Все давал — деньги, часы. Один шофер взять, потом раздумал. А меня мать-старуха, куда я с ней пойду?.. Андре, ты понимаешь, что случилось?

— Пет. И не хочу понимать.

— Мы какой-то холмик защищали. А они? Они Париж бросили...

Андре молчал.

— Ты здесь один живешь?

— Один. Я при них еще не выходил. А нужно выйти — табака больше в Париже. На улице Шерш-Миди не было ни души. Табачная лавка оказалась закрытой. Андре вдруг оставался: до чего красиво!.. Город будто очистили. Там же он видел эти старые улицы только на рассвете; но теперь был полдень с ярким светом, с короткими тенями. И тишина... Должно быть, так проходят туристы по улицам Помпей. Туристы. А они — жители. Он сказал Лорье: «Мы жители Помпей» и уныло засмеялся.

Вот здесь были сыры, а там трубки. Антиквар Боло сдувал пыль с фарфоровых пастушек. Жозефина готовила рагу. Что это?.. Он прежде не замечал на фасаде уольного дома пеликана, который кормит своей кровью птенца. Пеликану пятьсот лет, пеликан видел и не то... А может быть, и не видел кормил птенцов, не смотрел...

Лорье рассказывал:

— Мать плачет — что ты будешь делать с твоей гитарой?.. Делать действительно нечего. Разве что играть на немецких свадьбах...

Он хотел развеселить Андре, попробовал улыбнуться. Его лицо с одним гасшим глазом походило на дом после бомбардировки, и Андре отвернулся.

Они стояли возле булочной. Андре вдруг почувствовал голод. Они вошли. Это была нарядная булочная, обслуживавшая посольства и особняки. Сидела Жермена. Владелица, женщина лет пятидесяти, розовая от румян, с пыльным бюстом, говорила покупательнице:

— Все уверяли, что придут дикари. А они очень вежливые. И за плату платят...

— Моя хозяйка говорит, что они наведут порядок, научат наших рабочих работать. И хорошо сделают!..

Андре жевал плюшку; с мякишем во рту он сказал:

— Хорошая у вас хозяйка!

Кассирша ему шепнула:

— Это — экономка госпожи Меже. Вы как будете платить — франками или марками?

Андре усмехнулся:

— Марок еще нет — не заработал. Я ведь не господин Меже...

Кассирша не поняла насмешки, деловито сказала:

— Говорят, будто эти марки — ненастоящие. В Германии они не ходят. Но я думаю, что это вздор. Они ведь порядочные люди и не станут раслаиваться фальшивыми деньгами...

Андре хлопнул по плечу Лорье:

— Слыхал? Госпожа Меже... Наш Фрегенэ уже тогда все понял... Я застрелился. Ему теперь хорошо. А что мы с тобой будем делать?..

Он шел по улице, где знал каждый дом, каждый фонарь, но в этом городе он был чужестранцем.

Плюшка придала ему аппетит. Они зашли в ресторан. За всеми столиками сидели немцы. Они ели жадно, быстро поглощали огромные блюда, пили перемешку пиво и шампанское. Здесь чувствовалось веселье победителей, не в флагах, не в фанфарах, но в этой отрывке наконец-то наевшихся сласть людей. Яичницу из десяти яиц! По курице на человека! Пять бутылок шампанского! Новенькие марки хрустели в руках хозяина, услужливого и сладкого, с бегаящими глазами.

Андре и Лорье старались не глядеть на соседей, ели молча, сосредоточенно, будто выполняли тяжелую работу.

Вдруг Лорье отодвинул тарелку, побледнел.

— Что с тобой?

— Видишь?..

Он показал на большое зеркало, поверх которого было написано: «Здесь вреям не подают». Андре пробурчал:

— Что же, декорируют в честь новых хозяев...

— Да, но я... (Лорье едва говорил от волнения.) Я ведь еврей... Пикогда прежде я об этом не думал...

Андре встал, не доев, расплатился. Подбежал хозяин, угодливо спросил:

— Хорошо ли вы пообедали, сударь?

Андре поглядел на него с отвращением:

— Зачем вы повесили эту пакость?

Тот зашептал:

— Ничего не поделаешь... Мы должны считаться со вкусами наших клиентов. Не подумайте, что я... Это — для них...

Тогда Лорье, глядя на него чересчур блестящим глазом, крикнул:

— А это для кого? Для них или для вас?

Он показал на другой глаз, прикрытый повязкой.

(Они пошли назад; шли молча. О чем тут говорить? На холме, у пулемета. Они были свободными, они могли убежать, могли выбрать между жизнью и смертью. А теперь нужно подчиняться. Переставить часы на берлинское время — вот на стене приказ. Переставить мысли, чувства. А потом?.. Играть на немецких свадьбах? Взять кисти и писать рубенсовские пиры берлинских бухгалтеров?.. Молчи, Андре, больше нет ни красок, ни туманностей, ни Каннет!..)

На скамейке сидел подвыпивший бродяга. У него были лукавые глаза. Рядом стояла пустая бутылка. Пьянчужка бормотал:

— Мир?.. Дайте мне гербовой бумаги, я подпишу... А почему мне не подписать?.. У меня горло пересохло, мне пить хочется...

По улице Шерри-Миди теперь маршировали молодые солдаты; глаза у были очень светлые и пустые. Они громко пели; серые столетние дома пали непонятную песню. Один солдат остановился, поглядел на улицу, кую, как шель, и засмеялся:

— Грязный город! А еще Париж... Это город для негров...

Он запягал дальше. Андре сказал:

— А мы еще гадали, что будем делать. Очень просто — будем чист Париж: он теперь не для негров... И не для французов...

Молодые прошли; за ними плелись сорокалетние; эти казались устал и грустными. Может быть, они вспоминали ту войну — победы, а после гром, голод, унижение.

Возле дома, где жил Андре, стояла молочница с двумя детшками. глядела на немцев и плакала; сквозь слезы поздоровалась с Андре, сказа

— Вы только подумайте!.. Не могу привыкнуть...

К ней подошел один из солдат, немолодой, изможденный, стал что-то ворить, видимо, утешал. Она не понимала слов. Тогда солдат вынул фуражку: он был снят одетый по-воскресному, в шляпе, украшенной перьями; рядом стояли четверо детей. Боясь, что она не поняла его, он пошаривал на пальцах: четверо... Он гладил детей, но они испуганно прятались за мать. Молочница поблагодарила, даже заставила себя улыбнуться. А когда солдат отошел, она сказала Андре:

— Самое ужасное, что мне на минуту стало жалко его... Теперь не надо жалеть... Теперь нужно...

Нельзя было ее понять — слезы прерывали слова.

Медленно, с трудом подымался Андре по винтовой лестнице.

— Вот и наша высота! Давай курить. А что делать, я не знаю. В ту ночь шестом я что-то понимал. Или казалось, что понимаю... У меня (приятель Пьер. Его убили возле Страсбурга. Пет, и Пьер не понимал, погорячился — верил. Тогда был народ. Люди говорили, спорили, смеялись. А теперь мы с тобой одни.. Если бы ты знал, как я запутался! Да и запутались... Не знаю, право, можно ли жить?.. А в Париже немцы...

Лорье не отвечал. Они долго сидели друг против друга; молча курили. Только пение доносилось, громкое, переходившее в крик.

31

Жаннет шла, не останавливаясь, до рассвета. В темноте раздавались плач детей, далекие выстрелы. Утром Жаннет вместе с другими упала вытоптанную траву. Она проспала несколько часов и вскочила от грохота. Вдали она увидела облако пыли. Люди лежали плашмя, будто хотели врать в землю. Потом мимо Жаннет пронесли девочку; у нее был распорот живот. Жаннет прошла еще двенадцать километров. Больше не было сил; горло; мучил голод. В деревушке, куда они пришли, жителей не было; убежали. Люди стояли перед закрытой лавкой. Кто-то крикнул:

— Да чего тут!.. У меня дети второй день не ели...

Лавку разгромили. Летели бутылки, жестянки. Старуха вся вымазалась вареньем. Рабочий дал Жаннет коробку консервов и бисквиты. Жаннет была отстать от людей, с которыми шла раньше, даже не от людей — от льняных примет: от косм старухи, от матроски мальчишка, от тачки, с железным на ней чайником. Она побежала вдогонку и на ходу жевала.

В другой деревне еще было несколько крестьян. У двери одного дома стояла пара — муж и жена. Жаннет попросила стакан воды. Женщина в злобе сказала:

— Это вам не Париж! Мне в колоде брать... Дайте франк...

Муж удивленно на нее посмотрел, точно прежде не видел, и крикнул:

— Стерва!

Потом все загудело. Люди заметались, попадали на землю. Жаннет обдало едкой пылью. Когда она пошла дальше, долго слышался истошный крик женщины — убили ее мужа.

Встречали солдат; они стояли возле дороги. Беженцы спрашивали: где немцы? Будут ли защищать левый берег Дуары? Солдаты ругались:

— Дерьмо! Кто их знает?.. Полковник уехал. Говорят, немцы на левом берегу. Тогда нам крышка... Очень просто — Даладе за это пять миллионов получил. Разыграно, как по нотам... Ах, подлецы, убить их мало!..

Один, крохотный, с огромным бинтом вокруг головы, подбежал к Жаннет и стал кричать:

— За Испанию — раз! За чехов — два! А кому платить? Я плачу. Они Бордо уехали. Ты мне скажи, сколько человек может терпеть?

Жаннет посмотрела на него и беззвучно ответила:

— Много.

Ночью беженцы приютились в пещере. Пахло ладаном и сухими цветами. Рядом с Жаннет мать бережно кормила грудью ребенка. Старуха возле алтаря стонала; к утру она притихла. Когда сквозь цветные стекла пробилась малиновые лучи, она лежала неподвижно, острый нос глядел в купол; уснула или умерла — никто не знал.

Жаннет, спя, дремала. В полусне проносились обрывки воспоминаний; чаще всего она видела июльскую ночь, когда шла по узкой улице с Андре, голубого слона карусели, фонарь и попелуй под широким каштаном.

Все зашевелились и, кричтя, двинулись дальше. Только старуха осталась в залитой солнцем белой церквушке.

Около полудня с холма Жаннет увидела Дуару — блеснула вода. И Жаннет подумала: значит, спаслась! Как всем, ей казалось, что стоит перейти Дуару, и на том берегу — жизнь.

Кругом валялись сожженные или брошенные машины. Деревья были расщеплены. Висели порванные провода. Жаннет наткнулась на труп лошади; торчали большие желтые зубы; лошадь как будто улыбалась. В стороне от дороги лежала раненая женщина; возле нее сидела другая, закрыв лицо рукой. Город Жиев был разрушен. Среди мусора валялись кастрюли, книги, солдатские подсумки. На случайно уцелевшей стене висел яркий плакат: «Замки Дуары — жемчужина Франции».

Жаннет с трудом пробиралась между развалин. Солнце было горячим. Трупный запах шел от камней — под ними лежали мертвые. Иногда торчала голова, высовывались ноги в дамских туфлях, старческие руки. Жаннет шла, как лунатик; ничего не видела, но шла к реке.

Вдруг она остановилась, вскрикнула: мост был взорван. Она села на камень и стала ждать смерти, как несколько дней тому назад ждала поезда, туго и напряженно, ничего не видя, не думая ни о чем. И когда налетели немецкие самолеты, обдав пулеметным огнем дорогу, возле которой лежали взмученные беженцы, Жаннет не двинулась с места. Она, наверно, осталась

бы до утра на этом камне, если бы к ней не подошли другие. В несчастьи родилась участливость: делились едой, помогали нести ране даже привели старухе отставшую собачонку. Какие-то люди сказали Жан

— Внизу лодки.

Жаннет пошла за ними.

На том берегу она рассмеялась; ей хотелось сказать деревьям: вот живая!..

Она начала подыматься на холм. Она едва жила. Ее окликнули:

— Жаннет!

Не сразу она узнала в грязном, обросшем щетиной солдате Люсьена. Тряс ее руки и смеялся. Четыре года они не видались. Только раз Люсьен ее увидел в фойе театра и постарался пройти незамеченным. Теперь он радости смеялся: ведь какое это счастье встретить Жаннет в такое время напасть на нее среди десятков тысяч! Он чувствовал, что никогда не переставал ее любить. Все, что было потом, — игра в заговор, Дженни, дню только длинный дурной сон. Вот она говорит, он слышит ее голос!

Жаннет спрашивала:

— Люсьен!.. Что же это случилось? Это такое горе! Знаешь, па там в гу... Женщин, детей... Сейчас мальчика убили... Я ничего не понимаю! Люсьен усмехнулся:

— На одной этой дороге тысяч двадцать беженцев погибло. И сколько таких дорог!.. Я на северо видел... Мы идем, а впереди беженцы — не пройти... Перед беженцами немцы... Ты не понимаешь? Они этого хотели завели армию в западню и удрали. Хотели, чтобы нас расколотили, вот и мой папаша в том числе... Сколько раз он говорил: «Немцы и то лучше! Вот тебе и «лучше»!

Он грустно погладил руку Жаннет.

— Тебе надо идти — они будут бомбить. Видишь, сколько солдат... А перов? Три. Остальные удрали. Говорят, что мы будем защищать этот х... Не вернется... Все время так — окопаемся, ждем, потом приказ — отступ! А они бомбят... Иди, Жаннет!

— Люсьен, как же ты здесь останешься?

— Я?.. Я был в Люнкерке... Может, лучше, если убьют...

— А я боюсь. Мне, Люсьен, жить хочется...

Она крепко его поцеловала и пошла дальше. На верхушке холма она появилась. Солнце, заходя, было очень большим и красным. Отсюда не было видно разрушений, и жизнь представлялась мирной, полной зелени и свежести. Широкая, но мелкая Луара лениво освещивала вдаль. Песчаные рова были покрыты кустарником. Возле Жаннет два дерева стояли валялись как часовые на постах; темные листья вырисовывались на небе. Те деревья что были подальше, казались синими. В некошеную траву ныряли ласточки. Далеко басом лаяла собака. Беленький домик, наверно, бронзовый хозяев манил к себе — приют мира!.. Жаннет подумала — до чего хорошо! Вынула из сумки бисквит. Ее охватила простая радость жизни.

Тогда снова послышалось знакомое гуденье. Она послушно упала на траву. Как это делали прежде другие, она старалась стать плоской, незаметной, зарываться в траву. А трава изумительно пахла — детством Жаннет, первым ее веснами. Сердце билось. Шум нарастал. Она еще успела подумать: здесь, наверно, растет мята, ведь это мятой пахнет...

Агония длилась недолго. Платье и трава вокруг были в крови. Лицо у Каплет было спокойное. Поднялся ветер; он приподымал ее длинные вьющиеся волосы. А большие сонные глаза удивленно глядели на первые, еще звездные звезды.

Тесса завтракала в ресторане «Золотой каплун» с испанским послом. Разговор предстоял тяжелый, но тонкость бордоской кухни и прославленный выверб ресторана смягчали горечь положения.

Тесса пережил ужасную неделю. В Тур он приехал за два дня до своих товарищей по кабинету; только благодаря этому он получил приличное помещение. А потом министры метались, как бездомные бродяги... Город бомбардировали. Рейно знал одно: писал телеграммы Рузвельту. Тесса острит: «Наш премьер превратился в специального корреспондента «Юнайтед пресс». Беспорядок был такой, что одна из телеграмм Рузвельту провалялась ночь на телеграфе. А немцы продвигались каждый день на пятьдесят километров. Дороги были забыты беженцами.

Тесса старался почаще встречаться с Бретейлем, но тот был угрюм, малообщителен; говорил, что жена заболела нервным расстройством. Немудрено! Тесса не понимает, как это он не заболел? Только Лаваль снял; его белый залгук казался убором молодожена. Но Лаваль не обращал на Тесса внимания. Что касается министров, они носились бессмысленно из замка, где жил Рейно, в город, искали пропавшие чемоданы и отмахивались от секретарей, приставивших с глухими расспросами: «Когда мы уезжаем?»

На заседании кабинета Тесса предложил начать мирные переговоры. Рейно прервал. «А наши обязательства?.. Пужно подождать, что ответит Рузвельт...» Мандель пристально взглянул на Тесса, и Тесса отвернулся. Этот человек на все способен! Для него Тесса — предатель. Даже дети знают, что когда Мандель решил кого-нибудь погубить, можно писать некролог... Страшное лицо — ни кровинки!.. Инквизитор!..

Помощь пришла неожиданно: генерал Пикар потребовал, чтобы его допустили на совещание — чрезвычайно важное известие. Обычно спокойный, Пикар был страшен. Он шамкал, и Тесса вдруг увидел, что у Пикара нет зубов. Как он мог потерять челюсть?.. Тесса не сразу понял, что говорит генерал. А тот повторял: «Да, да, коммунистический переворот!.. Чернь саждают Елисейский дворец... Возникли большие пожары...»

Тесса в ужасе закрыл глаза. Он не боялся ни бомб, ни снарядов. Он даже ругнул себя к мысли, что может попасть в плен. Это ужасно, но немцы — культурные люди, они не станут обращаться с министром, как с преступником. Только коммунисты пугали Тесса. После разговора с Дениз он понял, что красные его ненавидят. Если они захватят власть, ему не миновать пули. Потом какое несчастье для Франции!.. Когда немцы войдут в Париж, это будет днем национального траура. По все-таки немцы лучше коммунистов. Немцы подымут над Елисейским дворцом свой флаг, но дворца они не тронут. Коммунисты все сожгут, как в семьдесят первом. Уже начали жечь... Это апатники, звери!

Мандель связался с Парижем и полчаса спустя заявил: «В Париже полный порядок». Пикар попробовал спорить, но потом с самодовольной улыбкой сказал: «Конечно! Генерал Дениз мой друг. Это один из лучших полководцев.

Он отдал полиции приказ стрелять по провокаторам, которые вздумают звать противнику вооруженное сопротивление».

Тесса повторял: «Пора уезжать из Тура!» Прошли еще сутки. Немцы ва продвинулись на пятьдесят километров. Это был отвратительный день четырнадцатое июля. Он всегда думал, что четырнадцать для него фатальное число... Четырнадцатого умерла Амали. Тесса сидел в парикмахерской, ему сказали, что немцы взяли Париж. Он был подготовлен к событию, все же не выдержал и воскликнул: «Какое горе!..» А парикмахер закрыл: «Уходите! Я не могу работать!..» Наверно, парикмахер был коммунист.

Вечером Тесса уехал в Бордо.

Это было позавчера, но ему кажется — сто лет назад. Сколько он пережил! Он перестал различать дни. Немцы продолжают наступать; они дошли до Луары. Хорошо тем, кто остался в Париже — для них все кончено!.. А здесь нужно что-то делать, решать. Черчилль шантажирует. Говорят, что в Бордо приехал де Голль. Кто знает, не связан ли он с коммунистами?.. Здесь много торговых рабочих; префект сказал: «Опасный элемент». Пужно прогнать Рейно, а Лебрен все еще колеблется. Сидит и плачет... Слезы не по сезону. Теперь нужна твердая рука!

Бретейль поручил Тесса переговорить с испанским послом: Берлин должен сообщить условия. Бретейль добавил, что от этого разговора многое зависит. Тесса был горд своей миссией и в то же время подавлен. Он старался расположить к себе испанца. Когда посол начал хвалить бордоское вино, Тесса дипломатично возразил: «Я пробовал вашу «Риоху», она не уступает нашим лучшим сортам». Вздыхнув, он сказал:

— Мой сын был консулом в Саламанке во время вашей национальной эпопеи. Он дружил со многими фаalangистами, активно помогал генералу Франко.

— Где теперь ваш сын?

Тесса ответил не сразу. Он покраснел — до чего жарко в ресторане!..

— Погиб. Его убили коммунисты.

После каплуна на вертеле Тесса наконец-то заговорил о деле: каковы условия Берлина? Испанец сначала отвечал туманно: не стоит останавливаться на деталях; должно быть взаимное понимание; победители не хотят унижить Францию. Когда он перешел к тому, что назвал «детальями», Тесса почувствовал в спине холод:

— Но это невозможно!..

— Конечно, в некоторых пунктах мыслимы изменения. Как я вам говорил, самое существенное — установить контакт. Многое зависит от судьбы вашего военного флота... Берлин сомневается, сможет ли маршал, придя к власти, заставить всех подчиниться его приказам. В частности, немцев беспокоят некоторые нездоровые настроения в Марокко и в Сирии...

— Это недоразумение. Во Франции нет человека более авторитетного, нежели герой Вердена...

— Тем лучше... Вы правы, арманьяк здесь волшебный!..

После завтрака Тесса поспешил к Бретейлю.

— Немцы сошли с ума! Условия неслыханные, скажу прямо — недостойные! Боюсь, что Рейно прав — придется улететь на Мадагаскар...

Увидев, что Бретейль не изумлен немецкими требованиями, Тесса успокоился:

— Конечно, нужно смотреть на вещи грезво... В общем, это не так страшно

как мне показалось на первый взгляд. Я думаю только, что не стоит сейчас оглашать условия: сначала подпишем, потом напечатаем. Иначе этим воспользуются коммунисты. Или де Голль. Кстати, он в Бордо Интересно, что он здесь делает?.. Да, нам предстоит пережить несколько тяжелых дней. А потом все войдет в норму...

Вечером Рейно подал в отставку. Тесса сердечно поздравил Петэна:

— Ваш ореол победителя...

Старческим, глухим голосом маршал ответил:

— Благодарствую.

Поздно ночью Тесса продиктовал Жюлио состав нового правительства: толстяк уже успел выпустить в Бордо крохотное издание «La vue нувель». Тесса сказал:

— Конечно, министерский кризис прошел не по этикету. Но у маршала был готовый список... Декларацию не удастся огласить в Палате. Ничего не поделаешь — мы теперь на положении беженцев...

Жюлио спросил:

— Каковы условия немцев?

— Этого я не могу сообщить — государственная тайна. Скажу одно — условия вполне совместимы с нашим достоинством. На другие условия маршал никогда не пошел бы...

Жюлио недоверчиво прищурил один глаз:

— Достоинство вещь растяжимая. Меня интересует, пустят сюда немцев или нет? Я наконец-то нашел плохонькую типографию. И потом, нельзя жить в автомобиле!..

— Вы можете здесь обосноваться — Бордо станет второй столицей.

Часы тянулись, как месяцы. Немцы медлили с ответом; продвигались вперед. Дважды в день Тесса подчеркивал на карте города, захваченные противником: Орлеан, Шербург, Ренн, Лион, Бельфор. На четвертый день он приказал убрать карту. В унынии он сказал Поммарэ: «Скажи мне лучше, какие города у нас еще остались?»

Шотан вдруг заявил Тессе:

— Они хотят нас добить. Условия таковы что пол ними не подпишется ни один француз. — Усмехаясь, он добавил: — Разве, что твой Грандель, но он остался в Париже...

Тесса обиделся:

— С каких пор Грандель «мой»? И я вовсе не настаиваю на капитуляции. Я хотел почетного мира, это естественно. Если нужно, мы уедем. В Алжир. Может быть, для начала в Перпиньян — оттуда легко выбраться — через Порт-Вандр.

И Тесса начал думать о сопротивлении. Долго разглядывал карту: беседовал с генералом Леридо; обратился по радио к стране:

— Солдаты и моряки! Перемирие не подписано. Борьба продолжается. Рука об руку с союзниками защищайте нашу честь на суше, на море и в воздухе!..

Вечером он вышел погулять — у него болела голова, он хотел проветриться. Возле порта его узнали грузчики, стали кричать:

— Хорошо бы изменников выкупать!.. Или на фонарь!..

Тесса увидел такси — это было спасением. Несмотря на духоту, она нял стекла: ему казалось, что его преследуют. Он поехал к Бретейлю:

— Шотан опять интригует. Хочет, чтобы мы переехали в Перпиньян потом в Африку. Это проделки Черчилля. Шотан всегда был падок на деу Вспомни только дело Ставицкого... Я считаю, что нужно принять немец условия. Мы катимся к революции, к анархии!

Немцы все еще медлили с ответом. Они наступали на Бордо.

Рано утром Тесса проснулся от грохота: бомбардировщики летали над городом. Час спустя Тесса доложили: «Семьсот жертв...» Пришлось ехать в госпиталь. Зрелище раненых детей и запах эфира доконали Те Он визжал: «Мы посылаем телеграммы, а они отвечают нам бомбами!» бежал мэр Бордо Маркэ, требовал, чтобы правительство уехало — нужно сти город!.. Началась паника. Весь день Тесса провел у испанского па Вечером он гордо сказал Жолио:

— Можете успокоить население. Немцы обещали маршалу не тро город.

На следующий день он раскаялся: зачем он говорил с Жолио? В Би кинулись отовсюду толпы обезумевших беженцев. Нельзя было проехать улице. В булочных не было хлеба. Люди спали на площадях. А к гор все неслись и неслись люди. Тесса вызвал префекта:

— Никого не впускайте в город, не то мы погибнем. Оставьте полиг ских с автоматами. На армию нельзя положиться — солдаты разложат они пропустят кого угодно: беженцев, немцев, коммунистов.

Когда Тесса сообщили, что город Тур сопротивляется, он вышел из с сумасшедшие! Зачем озлоблять Гитлера?.. И правительство, по предлож Тесса, объявило все города Франции «открытыми».

Тесса снова выступил по радио. Его голос дрожал от волнения:

— Мы надеемся, что наши противники проявят благородство. Франц ский народ всегда был реалистом. Мы умеем глядеть правде в глаза. Е нам придется вложить меч в ножны, мы скажем — дух непобедим! Но, у в настоящий момент танки сильнее духа!..

Он сидел измученный; по лицу струился пот. Вдруг вошел Вайс. Те удивился — почему впускают без доклада?.. Забывают, что он — мшис что Бордо теперь — столица!

Вайс протянул бумажку:

— Подпишите.

— Что это?

Вайс объяснил: многие летчики хотят улететь в Англию; необходимо в препятствовать; сделать бензин негодным.

— Но это не мое ведомство... Обратитесь к генерату...

Вайс зло усмехнулся:

— Генерал, когда нужно, неуловим. А дело срочное. Я вам советую, быть формалистом. Названия министерств никого больше не интересуют. А каждый ускользнувший самолет вы будете отвечать перед немцами. Вы не понимаете?

Тесса хотел крикнуть: «Наглец! Шпион!» Но он не крикнул; растеряв он поглядел на Вайса; потом вынул ручку, прищурил глаза и подпис Вайс вежливо поблагодарил.

Тур держался. Защитники города дважды уничтожали понтоны. С удивлением поглядывали немцы на серый островок домов, перед которым посвечивала Луара. Через Тур шла дорога в Нуатье и дальше на юг. Неожиданная заминка нервировала наступавшую армию. Один из немецких генералов, любивший похвастать своей начитанностью, говорил офицерам: «Что вы хотите — эти лягушатники защищают родину Бальзака...»

Как случилось, что Тур не был объявлен открытым городом? Говорили, будто мэр призвал население к обороне, и тогда солдаты, пристыженные отвагой кителей, решили не отступать. Говорили, будто первые атаки были отбиты ранеными, находившимися в местном лазарете. Легенды рождались в погребах, где среди бочек луарского вина прятались жители; батальоны становились дивизиями. Рассказывали о каких-то таинственных снарядах, уничтожающих немецкие танки. Никто не понял, почему Тур еще держится. Видно, даже в дни паники находятся смелые люди и смелые города... Защищали Тур два батальона; к ним присоединились сотни раненых и некоторое количество добровольцев — пожилых людей, проработавших прошлую войну, или подростков, не призванных в армию.

Среди защитников находился депутат парламента, лейтенант Дюкан. Солдаты называли его «дедушкой» — он сильно постарел за этот год. Все, чем он жил, оказалось вымышленным, Дюкан не был слеп; он видел свою ошибку: но втайне он надеялся, что кровь самоотверженных людей воскресит старую, знакомую ему по книгам Францию. Оборона Тура была для него последней милостью судьбы.

Тридцать пять лет тому назад Дюкан пошел на литературный вечер. Он тогда был некрасивым подростком с большими оттопыренными ушами, мечтавшим о карьере летчика. Поэт Шарль Пегги читал стихи:

Блаженны погибшие в правом бою
За четыре угла родимой земли!

Пегги убили в первый день битвы, которая потом была названа Мариской. Он не знал, что эта битва закончится победой; он умер, видя разгром, панику, бегство; умер, защищая Париж. И Франция победила. Теперь Дюкан часто повторял любимые строки. Стихи Пегги поддерживали его в минуты отчаяния. Он старался не думать о том, что происходит в Бордо. Измученный, много ночей не спавший, среди грохота снарядов и криков раненых, Дюкан еще верил в победу: оборона небольшого города была для него битвой за Францию.

Немецкие батареи, расположенные на правом берегу Луары, старательно уничтожали Тур. Им помогали бомбардировщики. Тяжелые бомбы сносили старые дома с лепными фасадами, с колоннами, с башнями. У защитников не было продовольствия, не было перевязочных средств, не было снарядов. Французские орудия замолкли; только пулеметный огонь задерживал противника.

К концу второго дня выпала короткая передышка. В одном из домов, выкопавших на набережную, Дюкан и сержант Майо ужинали — солдаты принесли им хлеб и огрызок колбасы. Они громко жевали; в непривычной тишине этот звук был уютным. В комнате было темно — окна завалили мешками с песком. Мебель напоминала о прошлой жизни; буфет, а на нем флаги-

совые чашки с розовыми петушками. На полу валялись гильзы, пустые
стяжки, обрывки писем. В соседней комнате отдыхали солдаты.

Кто-то включил радио. Из Бордо передавали речь Тесса. Министр по
правительству говорил о танках и о «бессмертной душе». Дюкан крикнул
— Заткни глотку, подлец!

Солдаты рассмеялись:

— Он дедушке есть не дает.

Радио выключили. А сержант Майо, с седой щетиной на лице, с красными, воспаленными глазами, вдруг сказал Дюкану:

— Почему вы им помогали?.. В тридцать шестом. Вы честный человек.
Кажется, мы отсюда не выкарабкаемся. Я хочу понять...

— Понять?.. Дюкан усмехнулся. — Я сам ничего не понимаю. Белое
оказалось черным, черное — белым. Вот мы и ослепли. Или наоборот —
то начали видеть, не знаю. Есть честные люди — де Голль... Англичане
сдадутся. А наша судьба...

Он махнул рукой. Майо сказал:

— В ту войну я был на севере, в Аррасе. Гэрод буквально стерли с
земли. Теперь, в начале войны, я снова попал в Аррас. Смешно? Гляжу
за двадцать лет люди отстроили город. Там было спокойно — тыл. Бельгия
Никто не думал... И вот снова... Когда мы отходили от Арраса, ничего
оставалось — мусор, труха... Будут снова отстраивать. Чепуха! Разве можно
так жить? Что-то нужно изменить, и всерьез...

— Вы коммунист?

— Нет. Я был учителем. Голосовал против вас, за Народный фронт. Не
политикой не занимался. А теперь я дошел до отчаяния. Вчера капитан Грэм
мне сказал: «Вы плохой француз». Неужели все так и останется?

Дюкан крикнул:

— Если мы выживем, я первый скажу — нет!.. Но теперь не время..
Скажите, неужели вы не будете... (заикаясь, он едва выговорил) защищать
город?

Ответил грохот снаряда — пауза кончилась.

Третий день решил все; немцы ворвались в Тур Горела библиотека. Они
шли на узких улицах между набережной и бульварами. Солнце, пробиваясь
свезом дым, было грязно-розовым; пахло гарью.

Дюкан стоял возле чердачного оконца. Перед ним были черепичные крыши,
длинная извилистая улица. Стреляет он неплсх... Когда-то в маленьком го-
рошке, где вырос Дюкан, на тронцу открывалась ярмарка. Дюкан не умел
ухаживать за девушками, заикался, стыдился своего урошства. Он расцветал
у тира; все стояли, охали: «Ну и стреляет!..» Это было тщеславие подростка.
Теперь это последняя надежда. Он себя дешево не продаст!..

Вдалеке он заметил немцев; они шли гуськом, прижавшись к серой стене.
Улицу пересекала баррикада: бочки, выброшенная из домов мебель, тюфляк.

Вдруг Дюкан увидел французского солдата. Это сержант Майо... Что он де-
лает? Сумасшедший!.. Майо бросился навстречу немцам, потом остановился,
кинул гранату. Три немца остались на мостовой, остальные убежали. Дюкан
не помня себя, ревел:

— Здорово, сержант! Здорово!..

Майо стоял не двигаясь, будто окаменел. Раздался залп; он вскинул руки
и упал.

Слова показались немцы. Дюкан стрелял без промаха. Немцы не выдержали, побежали назад к набережной.

Дюкан вытер рукавом мокрый лоб, схватил фляжку — его давно мучила жажда. Он не подумал, что немцы могут подойти с соседней улицы — по крышам. Он увидел перед собой рослого рыжего солдата. Они долго боролись. Дюкану удалось повалить немца.

Была минута тишины. Жужжал залетевший в комнату шмель. Дюкан подобрал винтовку, прицелился — по крышам ползти немцы. Он еще два раза выстрелил. Успел подумать: это девятый!.. Потом зашатался и упал — шумно, как дерево.

34

Тесса лежал на кушетке в изнеможении. Мухи не давали ему покоя, садились на нос, на темя, щекотали уши. Он не мог двинуться; мечтал уснуть, но сон не шел. Он чувствовал длину каждой минуты. А когда-то незаметно пролетали дни, месяцы... В ужасе Тесса подумал: где теперь Дениз? Ее схватили немцы. А Полет, наверно, погибла. Не то она разыскала бы его — министра легко разыскать. Все говорят, что на дорогах — трупы беженцев... Да и Люсьен вряд ли уцелел. это — сорви-голова, такие гибнут первыми...

Что будет дальше? Даваль улыбается. Маркэ горд бордоскими винами. Бретейль коротко отвечает: «Обойдется». И ни единого проблеска... Немцы продолжают наступать; заняли Брест, Лион. Они в Ла Рошеле, а это возле Бордо... Парламентёры уехали; среди них Шикар. Но кто знает, что им скажут?.. Может быть, немцы нарочно тянут? В стране неспокойно. Пюммарэ говорит, что в Марселе коммунисты кричат на всех площадях... Да и здесь препротивное настроение. (Тесса вспомнил свою встречу с рабочими, громко вздохнул.) Де Голль открыто призывает к неповиновению: «Уничтожайте самолеты, боеприпасы; чтобы они не достались врагу!..» Конечно, Вайс — нахал, но он прав: за самолеты придется отвечать... Некоторые радикалы собираются удрать в Африку. Это не так глупо... Тесса предлагали место на пароходе «Массилья». Он готов был согласиться. Но Бретейль сказал: «Пассажиров «Массилья» мы приставим к стенке». И Тесса поспешно воскликнул: «Правильно! В такие минуты не покидают родину!..»

Раздался телефонный звонок: Тесса вызывали на заседание.

Увидав, что Лебрен сморкается, Тесса понял — новости невеселые!.. Бретейль монотонно, как поминальную молитву, прочитал немецкие условия, переданные по проводу генералом Пикаром. Тесса возмущенно крикнул:

— Позорные условия!

Бретейль сухо посмотрел на него:

— Не следует забывать, что мы разбиты.

— Я понимаю... — Тесса кивал головой. — Прямо я за то, чтобы под-
писать...

Полуживой от усталости, он подошел к микрофону, откашлялся и бодро, как в былые годы, начал речь, обращенную «к нации»:

— Не будем падать духом! Условия перемирия, подписанные нашими делегатами, тяжелы, но не позорны. Это — почетные условия. Вся моя жизнь тому порукой!..

А после, выпив стакан минеральной воды, слабым голосом сказал Бретейлю:

— Только смотри, чтобы не напечатал!.. До того, как солдаты съедут оружие... Зачем играть с огнем?.. Среди них достаточно горячих голо...

В Бордо возвратился Пикар. Тесса тотчас поехал к нему — его разблудило любопытство:

— Как все было? Я говорю об атмосфере...

Генерал поглядел на него тусклыми, пустыми глазами:

— Мне стыдно за мой мундир.

— Но все же?.. Меня интересуют детали.

— Детали? Пожалуйста. Пас отвели в палатку. Там стоял стол, на котором графин с водой, чернильница, перья. Офицер сказал: «Мы вас приняли великодушно, не правда ли?» — и показал на графин. Потом он обратился к своим коллегам и сказал: «Я не маршал Фох...»

— Но он? Как держался он?

— Он похож на какого-то актера кино. Бегал, суетился, речь у него — у него хриплый голос. Он стоял на поляне и ногой топтал траву, хотел показать: топчу французскую землю. Вот и все. А об остальном я расскажу даже себе — слишком стыдно...

Прошло еще три дня. Тесса много работал. Повседневные заботы отвлекли его от раздумий. Приходилось заниматься всем: принимать журналы и проверять полицейские кордоны, следить за подвозом муки и убаживать папского посла. А тут еще подоспела реорганизация кабинета: ввели новых министров.

Парламентёры теперь направились в Рим. Все ждали развязки. Но продолжали бомбить города. Жюлио каркал:

— Я никому больше не верю... Вы увидите, что они придут в Бордо...

Наконец условия перемирия были преданы гласности. Бретейль предложил устроить «день национального траура». Тесса рассмеялся:

— У него одна мысль — как бы помолиться. Любит ладан...

Решили отслужить торжественную панихиду. На богослужении присутствовали Петэн и все министры. Тесса надел черный галстук, как на похороны. Возле собора несколько человек прокричали: «Да здравствует и шал!» Тесса обиделся: опять выделяют премьеру!..

Во время панихиды он скучал; лезли в голову дурацкие мысли. В полет не погибла, а сошлась с кем-нибудь?.. Виар, наверно, радуется. Он не вошел в кабинет, потом скажет: «У меня руки чистые, я не подписывал...» Через два дня придется снова переезжать... Ох, как глупо вышло! А у Гитлера маленькие усики, как у Чаплина. Жарко!..

Когда Тесса выходил из собора, к нему подошел пожилой человек бледной наружности, с ленточной в петлице. Тесса вежливо спросил:

— Что вам угодно, сударь?

Вместо ответа, незнакомец ударил его по лицу. Тесса схватился за щеку и, еще ничего не соображая, крикнул:

— Но почему?

Обидчик, глядя на него темными, злыми глазами, ответил:

— У меня два сына погибли...

Он не говорил — его увели полицейские. Собралась толпа. Старая женщина в трауре плакала. Кто-то хихикнул: «Съездили по морде...» Тесса спешно сел в машину.

Он еще не оправился от потрясения, когда прибежал Жюлио:

— Вы меня снова подвели. Оказывается, они занимают поговору Бор-
го. Я не понимаю, как вы не отдали им Марселя?..

Напрасно Тесса пытался его успокоить; говорил, что в Клермон-Ферране
красные типографии, что газета там расцветет — он ей устроит суб-
сидию. Толстяк вопил:

— Нужна мне ваша помощь! Грош ей цена... Можно быть лакеем у гос-
пои. но по лакеем у лакеев! Лучше в Марселе продавать ракушки...

Жюлио еще долго бундовал; потом ползая в гостиницу, где его ждала
Мари; он не сразу пришел в себя: выпил целый сифон; наконец сказал:

— Тесса едет в Клермон-Ферран. Четвертая столица. Потом будет пятая...
Но с меня хватит! Точка. Все равно Францией правят немцы. А тогда луч-
ше вернуться в Париж. Там по крайней мере у нас квартира.

— Но что ты будешь делать в Париже?

— То, что делал. «Ла вуа нувель». Как будто немцам не нужны газеты!
А кто в меня кинет камнем? Тесса? Ему только что дали по морде, щека
припухла. Хоть какое-нибудь удовлетворение...

Несколько дней спустя правительство выехало в Клермон-Ферран. Тесса
положил документы в поместительный портфель, проверил замки чемоданов.
Потом он выглянул в окно и отскочил: по улице маршировали немцы. На-
рядный лейтенант спсихозительно оглядывал редких прохожих. Тесса оби-
делся: не могли подождать до вечера... Все-таки неудобно — суверенное пра-
вительство, и рядом — оккупанты... Что подумают за границей? Он спустил
бархатные шторы, точно хотел отгородить себя от немцев.

Секретарь сказал, что машина будет через час — исправляют мотор. Тес-
са прилег перед дорогой. Золотые пятна солнца, пробиваясь между шторами,
прыгали по стене. Вдруг он увидел глаза своего обличика, жесткие, метал-
лические глаза. Что с ним сделали?.. Нужно понять чувства отца... Дениз...
Люсьен...

И Тесса позвонил префекту.

— Я обращусь к вам с просьбой. На меня было совершенно сегодня на-
падение. Благодарю вас, хорошо... Я прошу вас освободить этого человека.
Он сказал мне, что его сыновья погибли на фронте. Вы отец семейства, вы
понимаете, какое это горе!.. Можно потерять голову... У меня тоже двое де-
тей... Да, да, погибли...

Тесса едва договорил: его душили слезы. Пришел секретарь:

— Машина подана.

Тесса привел себя в порядок. Через несколько минут в машине сидел че-
ловек, который понимает, что он облечен доверием нации.

35

Правительство обосновалось в Клермон-Ферране, потому что окрестности
этого города изобилуют минеральными источниками: кругом расположено
много курортов с комфортабельными гостиницами. Лаваль остановился в
Клермон-Ферране; другие министры облюбовали кто Виши, кто Мондор, кто
Бурбуль. Тесса считал наиболее пристойным Руайя — здесь задержали комна-
ты для президента республики.

Большая кондитерская «Маркиза де Севиньи» была переполнена. На ули-
це толпились люди, ожидая, когда освободится столик. Прельщая беженцев
столько густой шоколад, которым славился Руайя, сколько общество, —

после пережитых ужасов приятно было встретить знакомых, очититься своему кругу. Казалось, сюда перебрались все кафе Елисейских полей: «Ронд-пуань», и «Мариньи», и бар «Карльтоп», и бывшая резиденция Люсьена «Фукет'с».

Госпожа Монтиньи, задыхаясь от жары и горя, рассказывала:

— Мне пришлось за неделю до катастрофы вернуться в Париж — заболел ангиной. А потом мы еле выбрались. Это была ужасная поездка. Возле Невера мы оставили наш «кадиллак» — не было бензина. Пас до Виши какой-то мошенник. Но я надеюсь, что машина цела...

Модный драматург за другим столиком жаловался:

— Шестнадцатого должна была быть премьера... А десятого все кончилось... Теперь неизвестно, когда откроется театральный сезон...

Биржевик кричал своему собеседнику, глухому, с аппаратом возле уха:

— Не имея курсов Нью-Йорка, трудно сказать что-нибудь определенное. Но я не продавал бы... Как только все уляжется, эти бумаги пойдут в гору.

Дессер, до которого доходили рассказы, сетования, пророчества, мучительно усмехался. Они еще не поняли, что случилось; думают — через неделю или через месяц возобновится прежняя жизнь.

Почему Дессер пришел сюда? Он не любил фешенебельных заведений, шампанского предпочитал вино. А теперь щебет растерянных и растерзанных и причитания мужей с запыхавшимися саквояжами, лай японских собачек и лай терьеров, вздохи («у меня пропал чемодан в Мулене»), восторги («я швейцару три тысячи и получил комнату»), вся суэта встревоженного светского полусвета были ему вдвойне противны. Но он хотел докопаться себя. Увидев как Тесса зашел в кондитерскую, Дессер остановил машину.

Он слушал щебет и задыхался. Вся низость тут, вся грязь! Перед его глазами еще была кровь. Он проехал по дороге, которую звали «Лазурной» — она велет из Парижа в Ниццу. Прежле по ней неслись спортсмены, дамы в коротких штанишках, снобы, любители юга или рулетки. По этой дороге двинулись беженцы. Над ними низко кружили немцы: усмехаясь, давали очередь... Дессер видел братские могилы. Он видел тысячи бездомных. Парижские автобусы стали домами; в них ютились счастливицы. Голодные бедняки бродили по полям, искали свеклу или репу. Кричали, как помешанные женщины: они звали пропавших детей. Вместо городов были развалины. Мычали педофильные, обезумевшие коровы. Пахло гарью, трупами.

Вспомнив «Лазурную дорогу», Дессер закрыл глаза. Он очнулся от смерти Тесса:

— И ты тут? Мир действительно тесен! Пережить все, что мы пережили, и встретиться у «Маркизы де Севиньи»!

Дессер молчал. Тесса не унимался:

— Ты плохо выглядишь. Пехорошо, Жюль, нужно взять себя в руки. Я лично ожидал худшего. А все обошлось... Ты знаешь, наши дурачки Мантель и компания — хотели удрать в Африку. Но мы их не пустили. В такие минуты должно быть единство нации... Теперь скоро все кончится. Немцы пойдут на Лондон. Дело двух-трех месяцев... Мы вышли из игры — это наш плюс. Что ты собираешься делать? Ты можешь нам помочь — теперь начнется экономическое восстановление. Почему ты смеешься? Я говорю вполне серьезно...

Дессер больше не смеялся; он сказал задумчиво:

— Это хорошо, что ты ничего не понимаешь... Ней шоколад и не дурачок

Ведь ты — клоп. Не сердись на меня, по ты — старый, почтенный клоп. И ты жил в старом, почтенном доме. Теперь дом сгорел. А клоп еще жив. Но сколько ему осталось?.. Мне тебя жаль — вот такого, как ты есть...

— Пожалей лучше себя! Меня нечего жалеть! — Тесса кричал от обиды. — Я не Фуже! Я человек новых концепций... Это ты цеплялся за прошлое: Народный фронт, либерализм, Америка... Мы очистим страну от гнили... Я подготавливаю текст новой конституции. Мы возьмем у Гитлера самое ценное — идею сотрудничества классов, иерархию, дисциплину, и прибавим наши традиции, культ семьи, французское благоразумие, а тогда...

Дессер не слушал; он задумчиво повторял:

— Бедный старый клоп...

Тесса ушел. Дессер еще сидел. Он больше не прислушивался к разговорам, не разглядывал соседей. Наконец он поднялся, неуверенной походкой прошел к двери. Кто-то громко сказал:

— И Дессер здесь!.. Значит, всё в порядке...

Он не обернулся; может быть, не расслышал. Он снова видел Париж, окутанный черным туманом, беженцев с тележками, горы мусора. Это та Франция, которую он хотел отстоять, спасти, Франция его детства, рыболовов, китайских фонариков, «Кафе де коммерс»... Когда-то он показал Пьеру на сдвинувшиеся окна тихой, заброшенной улицы — ели суи, готовили уроки, вязали набрюшники, ревновали, целовались. Больше ничего нет: черные окна, как выколотые глаза, расщепленные бомбами стены, а на площади Конкорд — лемпы... Нужно подумать, сделать выводы. Он хотел спасти... И кормил клопа, сотни клопов... Любил скромные кабачки и миллионы... Всё было ложью! Поэтому и Жаннет терзалась... Да, за всю свою долгую жизнь он полюбил одну женщину, взбалмошную, никчемную, добрую. Что с Жаннет?.. Может быть, она бродит рядом, ищет ночлега? Или погибла на дороге? Или осталась там — стоит у длинного окна, смотрит? По старенькой улице маршируют солдаты, серо-зеленые... Он ей не может помочь. Он всех топил.

Давно исчезли гостиницы, магазины, автомобили. Потянуло свежестью настбщ. Темнозеленая трава радовала глаза, измученные рябью жизни. Дессер правил, не задумываясь, куда едет. Зачем-то повернул направо; дорога шла в гору. Прохладно... И до чего хорошо! Он остановил машину, вышел. Местность была пустынной; впервые за долгое время Дессер оказался один. Он с нежностью глядел на луга; цветы желтые, розовые, лиловые. Вот эти, кажется, называли «львиным зевом»... Какое детское имя!.. А дальше — темносиние горы; на них облака — это овцы.

Воздух был настолько чистым, что Дессер стоял и дышал изумленный. Все последнее время ему казалось, что он задыхается. А здесь сердце часто билось; стучало в висках; уши наполнял глухой гул.

Он подумал о Бернаре; это был его давний друг. Бернара знали все как опытного хирурга. Вчера Дессеру рассказали, что он застрелился. У него было лицо ибсеновского пастора — сухое и суровое. Но он любил жить, копался под окном и написал на листке из блокнота: «Не могу. Умираю».

Когда-то смерть пугала Дессера — необычностью, непонятностью. Теперь он подумал о конце Бернара как о мудром, но житейском деле. Он вдруг понял, что смерть входит в жизнь; и смерть перестала его страшить.

Он прошел по лужайке до дерева; смешно шагал — не хотел цу цветы. Дерево напоминало ему Флерп, встречи с Жаннет.

Увидим вместе мы корабль забвенья
И елисейские поля...

Вот они, поля забвенья, Элизиум!..

Со стороны это было ликвинное зрелище — старый человек, тучный, неповоротливый, в длинном пальто, шагал по лужайке, размахивал ручкой, бормотал: «Зерно... любовь... холод...» Но кругом никого не было. Там на горе пастухи разводили костер; до них еще не добрались ни хрипы, ни агония беженцев; они жили прошлым покоем.

Солнце зашло за гору. И смерть сразу приблизилась; она была ледяным туманом. Туман этот жил, дрожал, передвигался, как овцы. Дессер рассел, улыбнулся, вынул из брючного кармана большой револьвер и жадно губами прильнул к дулу, как в зной, погибая от жажды, к горлышку фляги.

Эхо повторило выстрел. Пастухи насторожились: вот и к ним подбирается злая война...

36

Стоял копен июня, по луга Лимузена были ярко-зелеными, как в мае. Но сами Люсьен глядел на зелень: она успокаивала. Потом он вставал с земли и шел дальше. Он не знал, куда он идет; давно бы залег под большим ясенем и забылся: подымал его голод. Он как-то усмехнулся: последнее живое существо!.. Он ел морковь, свеклу. Иногда встречный солдат, грязный и нечистый, как Люсьен, делился с ним хлебом. Иногда в деревне давали миску горячего молока, и теплый запах хлеба — прежде Люсьена от него мутно казался чудом, остатком былой молодости, запахом жизни.

Люсьен вырезал себе палку. Еще неделю тому назад он числился солдатом восьмидесят седьмого линейного полка. Но армии больше не было. Люсьен считал себя бродягой. В одной деревушке он услышал по радио сообщение отца, объявившего о перемирии. Старуха, стоявшая рядом с Люсьеном, сказала: «Кончили? Ну и хорошо», — и погнала дальше свинью, розовую, как «живописца». Солдаты выругались; а Люсьен, изумленный вслушивался в темный голос: да, это голос отца... Встало далекое детство. Отец говорит над кроватью больного Люсьена: «Амали, кошечка, не отчаивайся! Наука всемогуща. Теперь Тесса говорит: «Душа бессмертна...» А Жаннет хотела жить. Люсьен много видел таких: хотели жить. У немецких летчиков должны быть чертски крепкие нервы — в упор расстреливают женщин, детишек... Значит, отец получил индульгенцию от Бретейля. Может получить «железный крест» от Гитлера... Люсьен протяжно зевнул. Даст кто-нибудь молока или нет? Но до него мимо этой деревушки уже прошли тысячи солдат. Крестьяне испуганно заперли двери домов, а старуха, которую он догнал, закрыла руками розовую радужную свинью, завизжала: «Ничего у меня нет, ничего!..»

В этот вечер Люсьен был особенно голоден. Он пригрозил винтовкой старухе. Та перестала визжать, но еще крепче сжала в руке веревку, к которой была привязана свинья, и зашептала: «Не дам!..» И Люсьен сплюнул. «Возни много», — он думал не о старухе — о свинье.

Он пошел дальше. Непоздалеку от дороги стояла ферма. Ставни были закрыты наглухо. Крестьяне боялись ночью выглянуть. Только, не умолкая, лаяли собаки. Люсьен кричал: «Хлеба дайте, негодяи!» Никто не отвечал.

Любаки сходили с ума. Люсьен постоял и пошел в сторону, к маленькой лавочке. Он попил теплую воду, которая пахла тифой, — и лег под навесом. Он проснулся от женского голоса: «Солдат!.. А, солдат!..» Над ним стояла девушка. Она надела мужское пальто поверх рубашки. Ночь была лунная, и Люсьен внимательно оглядел крестьянку. Он даже подумал: хорошенькая... Большие глаза и вздернутый нос придавали ей веселость, хотя ей было перевалю; она испуганно повторяла: «Солдат! Спишь, солдат?..» Она принесла Люсьону большой хлеб и кусок сала.

— Я ждала, пока хозяйка уснет... Сало она оставила, а другое у нее в лавочке... Я тебя видела, когда ты на дворе стоял... Хозяин не злой, только ного вас ходит; он говорит: «Сами с голоду сдохнем»... Я вышла — вижу, вы к речке пошел. Как они легли, я взяла и бегом...

Он ничего не ответил, вытащил нож и стал сосредоточенно есть. Девушка попрежнему стояла пая ним. Он долго ел — насытился, но не хотелось кошачья. Еще мутный от усталости и сна, он спросил:

— Дочка?

— Служанка...

Наконец-то он кончил есть, вытер нож о землю и молча взглянул на девушку. Он поймал на себе ее восторженный взгляд, удивился, — думал, что должен теперь всех пугать. Он оброс жесткой рыжей щетиной. А зеленые глаза светились. Шинель пропахла пылью и потом. Он показал рукой: садись. Девушка села. Она оказалась на голову ниже Люсьена. Он спокойно и как-то задумчиво обнял левой рукой ее шею, бережно запрокинул голову и поцеловал. Ему казалось, что он пьет воду. А она его горячо и часто целовала и потом, когда они лежали на траве, говорила: «Солдат!.. А, солдат!..».

Начало светать. Девушка засуетилась: «Хозяйка проснется». Он спросил:

— Как тебя звать?

— Прелис Жанна.

И Люсьен взволновался. осторожно погладил ее красную шершавую руку, пошевелил губами — хотел сказать что-то ласковое, но не вышло, наконец, он выговорил:

— Жаннет...

— А тебя?

— Люсьен.

— А дальше?

— Люсьен Дюваль.

Он стяхнул с шинели землю и, не оглядываясь, пошел к дороге. Ночь у речки была непонятной милостью судьбы, сном осужденного. Теперь он проснулся. Дюваль, Дюран, Прелис — все, что угодно, только не Тесса! Его могли бы пытать, он не признался бы... Конечно, стоит сказать, что он сын Тесса, его сразу накормят, оденут, отвезут на машине в Виши. Только лучше убить старуху, ту со свиньей...

Навстречу шел незнакомый солдат, тоже с палочкой. Поглядели друг на друга, помигнули. Солдат пошутил:

— Маршал-то потерял свою армию...

— Как булавку...

И пошли в разные стороны — начинался новый день, нужно было искать пропитание.

А маршалу Петэну было не до армии. Накануне он произнес большую речь, обращенную к французской нации. Он не хотел никого обманывать;

ворчливо он повторял: «Не надейтесь на государство. Государство вам не даст. Надейтесь на ваших детей. Воспитайте их в духе религии и сного начала. Они вас поддержат...» Услыхав речь маршала, Тесса снзагрустил: его никто не поддержит — ни забулдыга Люсьен, ни гоДениз... Но несколько минут спустя он насмешливо шептал Лавалю:

— В восемьдесят пять лет это логично, тем паче, что его кормят неа государство...

О солдатах никто не помнил: министры были заняты размещением кощих чиновников, посылкой в Париж делегации во главе с Бретейлем, соелением новой конституции, сдачей немцам военного материала, борьбой:тв сторонников де Голля. Армия распалась сама собой. Поездов не бУроженцы неопкупированной зоны брели по дорогам на юг. Парижане:жители севера превратились в бродяг. Крестьяне умоляли жандармов за:твить их от солдат.

Люсьен взобрался на гору. Весь день он пролежал на лужайке, пе хлось двигаться. Был нежаркий день, солнце то и дело пряталось за круглыпухлыми облаками. А облака неслись на восток к двум серым башням се:него города. Движение облаков увлекало Люсьена. Он ничего точно:вспомнил, не старался восстановить картин прошлого, но в самом ходе об:ков было ощущение времени. Люсьен как бы заново переживал свою пелд:ную, но шумную жизнь. Все сливалось в одно: смерть Анри, глаза Жанн:когда она стояла возле аптеки, море за дюнами и легкий туман над дв):башнями. Поэтому, когда солнце зашло и в быстрых сумерках пропали об:ка, ему показалось, что жизнь кончена. Он даже поехился — не то от:лода, не то от страха. Никогда прежде смерть его не пугала. Почему он:пугался в этот сырой вечер на горке, под тусклыми туманными звездами:Он сам удивился и вдруг крикнул: «Жрать!» Ну да, он сегодня ничего:ел... Нужно отправиться на поиски хлеба.

Он нырнул в долину. Среди деревьев дрожал огонек малярского квадрат:го окна. Люсьен постучал, крикнул: «Хлеба солдату!» Никто не ответ:Это был дом старика Серже, самодура, который заморил свою жену за:что она ходила на исповедь, силача, гнувшего в руке медные су, медве:засевшего в берлоге. Серже жил один с молотой, вечно испуганной сд:жанкой, которая, когда хозяин начинал ее бранить, неизменно икала. Старш:сын Серже давно уехал в Канаду, а младший жил в соседней деревне у т:стя; с месяц тому назад его призвали, хотя раньше он был освобожден:военной службы, как левша. Судьба привела Люсьена к домику Серже.

Люсьен колотил в дверь: «Давай хлеба!» Из другого окна доносили:запах капусты и лука: служанка варила суп. Этот запах бесил Люсьена. В нем проснулась ярость. Светящееся окно молчало, и это было невыносим. Пусть обругают, прогонят, но как они смеют молчать?.. За кого, черт побери:он воевал?..

Люсьен прилип к стеклу. За тюлем занавески мелькнуло лицо старика:и Люсьену это лицо напомнило Бретейля. Серже не походил на лидера «всд:ных»; сходство только почудилось возбешенному Люсьену, и он, отбежав о:домика, завопил:

— Открой, сволочь! Стрелять буду!

Он и впрямь хотел выстрелить в светлое отвратительное пятно окна. Но:тогда раздался выстрел, и Люсьен, описав ногой полукруг, будто он танцует:свалился.

Он упал молча. Закричал же он — Серже, страшно закричал. Будь кру-
го жильё. сбежались бы люди; но домик стоял в пустынной долине, и
робко эхо ответило: «А-а-ай». Да на кухне, полуживая от страха, якала
служанка.

Серже отбросил охотничье ружье, с которым он когда-то ходил на кабана,
побежал к Люсьену. Он ещё застал короткую агонию. Смерть наступила
мгновенно. Туманная луна заливала зеленью щеки Люсьена; глаза
стели, как у кошки, а волосы казались ярко-огненными, будто они горели.
В эту минуту Люсьен походил на красавца-разбойника с лубочной картины;
и кровь в шинели — Серже принес фонарь — казалась свежей жирной
краской.

Серже поставил фонарь на землю, сел рядом; так просидел он до полно-
чи: хотел было закурить, даже вынул кисет, но забыл. Сидел он непо-
движно; только чуть тряслась его большая голова с космами седых нерасче-
санных волос.

Вышла служанка; она робко подошла к мертвому, вскрикнула: «краси-
вый!» — и тотчас ее снова стала душить икота. Серже огрызнулся: «Мол-
чи». Она хотела уйти, он приказал: «Стой». Потом он встал и чужим, бес-
чувственным голосом сказал:

— Бандаиты!.. А кто он? Солдат... Француз...

И здесь-то служанка вся побелела от ужаса: хозяин, вдруг упав на мерт-
веца, завопил:

— Пьеро!.. Сыночек!..

Утром составили протокол. Серже расписался, сказал: «Ведите». Но у
жандармов и без того было много хлопот. Бригадир ответил: «Разберут. Если
нужно будет, вызовут». Обыскали Люсьена, но бумаг не нашли; и в прото-
коле поставили: «Неизвестный, одетый в солдатскую форму». Вдруг служан-
ка закричала: «Папла!..» Она показала бригадиру бумажку, которую нащу-
пала в маленьком карманчике рубашки. Бригадир развернул лист: на нем
старательно прописью были выведены три слова: «Франция. Жаннет. Дер-
мо». И бригадир сплюнул:

— Бандиты!

37

Дениз спряталась у Клеманс: старуха только потому и осталась в Париже.
До горбатой улицы не доходили ни барабанный бой, ни песни. Тишина ка-
залась невыносимой. Дениз много раз пыталась выйти. Клеманс ее отгова-
ривала:

— Погоди!.. Пусто. Сразу заметят...

Клеманс каждое утро выходила с кульком: приносила хлеб, овощи, иногда
ябло. С наслаждением она готовила обед; ей казалось, что она балует Жано...

Клеманс рассказывала:

— Девилль приехали, и Руссо с женой. Говорят, что многих возвращают.
Девилль плакал, спрашивал меня: «Как коммунисты?..» Я ему ответила:
«Коммунисты — в подполье. Не так-то легко узнать... Но не такие они, что-
бы слаться...» Что я могу сказать? А им этого мало. Они говорят: «На что
нам теперь надеяться?..» Под немцами никто не хочет жить. Ты возьми
колбасу, колбаса хорошая. Масла нет. Скоро ничего не будет. Немцы все
вывозят. Марок у них сколько угодно: печатают и раздают солдатам. Я ви-
дела, как денщики выносили — ящики!.. Все хватают — кофе, чулки, бо-

тинки. Ты ешь лучше! Кто знает... Скоро голод будет. А тебе пужно м сям. Девильль правильно сказал: «Теперь па них вся належа...»

Когда пачалась паника, Дениз сказали: «Ты останешься, будешь рабо в Париже. Связь поддерживай через Гастона». Накануне прихода немцев Де пошла по указанному адресу. Дверь открыла заплаканная женщина, сказа «Гастона забрали. А я уйду пешком...» Дениз обошла всех товарищей: за лоченные дома. Уехали? Или прячутся?

Самым страшным казалось ей бездействие. Время шло медленно; но она готова была сломать стенные часы — тикают, тикают... А в руке нике каплет вода — капля за каплей...

Что с Мишо? Она умрет и не узнает, что он жив, не услышит «и как»! Они могли быть вместе, могли быть счастливы. Теперь ничего не дет — ни встречи, ни жизни. В Париже — немцы. Нужно по много раз вторять эти слова, чтобы поверить. А Мишо нет. Может быть, его уби Или взяли в плен... Как это страшно — попасть в их руки живьем!.. О брали в плен целые армии...

Длинной казалась июньская ночь, и в полусне до одурения Дениз пов яряла: «Мишо!.. Мишо!..»

Вдруг она вспомнила. Клод ей сказал, что его оставят в Париже. Нуж найти Клода. Дениз помнила адрес: она нашла ему комнату после майск тревоги. Может быть, он там?..

Клеманс ее обняла, будто снаряжала в далекую дорогу.

— Ты губы поярче покрась — они таких не трогают...

Нужно было пересечь центр города. Увидав первого немца, Дениз попят лась, чуть было не побежала. Какая прогивная морда! А на рукаве — св стика... Но нельзя быть такой нервной. Теперь придется все скрывать, прятать... Она пошла дальше; думала об одном: найдет Клода, начнут ботать...

Вот и Бульвары... Дениз старалась не глядеть; по все же глядела. На те расах больших кафе сидели немецкие офицеры с проститутками. Женщи были одеты, как на пляже — босые, в сандалиях, ногти выкрашены в р биновый цвет. Смеялись, пили шампанское, чокались. В витринах были вы ставлены словари, путеводители по Парижу на немецком языке. Торговц предлагали солдатам сувениры — крохотные изображения Эйфелево башни, брошки, открытки с видами, непристойные фотографии. Войко пл торговля. Переводили фразки на марки. Газетчики выкрикивали: «Матэн» «Виктуар»!

Дениз купила газету, развернула: «Наши приветливые гости, бесспорно оценили тонкость парижской кухни...» И объявление: «Кончил два факульт ета. Говорю по-немецки. Ищу место официанта...» Она отбросила листок.

Подозрительная, смутная жизнь личинок, могильных жуков шла в захва ченном, пустом городе. Продавались картины, рубашки, улыбки, остатки че сти. С гадливостью Дениз сиранивала себя: и это — Париж?..

Она дошла до левого берега; долго пробиралась по пустым улицам: улиц без людей казались куда длиннее.

Заколдованный город! В окнах брошенных магазинов привычные вещи галстуки, игрушки, бокалы с леденцами. Зонтик, как старик, прислонилс к заколоченной двери — зонтик забыли. На балконе засохшая герань. Клет ка, а в ней мертвая птица. Спящая красавица, — подумала Дениз; встал картинка из детской книги.

Пышные фасады, статуи Возрождения, колонны Людовиков — грежу она. Не замечала: толпа затираала камни. А теперь камни справляли победу над людьми.

На бульваре Пор-Рояль горбун разглядывал куну деревьев. Прошел слепой, бгуча палкой. Проковылял хромой подросток. Все калеки, все уроды повывезли из щелей; они не смогли уйти и заселяли город.

Цвели липы. Пахло глухой дачей. Метались испугнутые птицы — они не могли привыкнуть к гулу моторов: с утра до ночи над завоеванным городом кружили немецкие самолеты; они летали низко, казалось, сейчас срежут крыши.

Пусто... И вдруг — люди! По мостовой шли беженцы; несли на руках замученных сонных детей. Неделию тому назад они покидали город. Тогда на их лицах были ужас и надежда; они спрашивали, какой дорогой пройти, ругали изменников, мечтали прорваться к жизни. А теперь они плелись, как мячи на бойню. Они столько повидали за эти дни! Лежали под пулеметным огнем, громили поезда, плакали перед отравленными колодцами. Многие потеряли близких, и все потеряли надежду. Уходя, они не знали, что Париж окружен. Дойдя до Шартра, до Орлеана, до Жиена, они увидели немцев. Их остановили, погнали назад. Они возвращались в родной город, как пойманный беглец в острог. И мать, озираясь в испуге на немцев, шептала раскрявавшемуся ребенку: «Тише!..»

Дениз увидела на стене плакат: немецкий солдат держит ребенка; ему доверчиво улыбается женщина; подписано: «Вот покровитель французского населения!» А рядом обрывки старой театральной афиши: «Одеон... Премьера... «Укрощение строптивой»... Глаза немца были синими и блестящими. Эта глаза теперь отовсюду глядели на Дениз. Она отворачивалась, глаза показывались снова; она перешла на другую сторону — та же ярко-синяя эмаль. И, не выдержав, Дениз вскрикнула — глаза, отделившись от стены, шли навстречу. Она не сразу поняла, что это живой человек. А лейтенант игриво потчмокал губами.

Дениз вышла на авеню де Гобелен. На самом пришеке стояла очередь — двадцать или тридцать женщин. Потом заматались платки, космы, кошелки: — Солдат ищут!..

Женщины кинулись к соседнему дому, и на асфальт пролилось синеватое, жидкое молоко. Полицейские вывели из ворот юношу. На нем были солдатские штаны, синяя рабочая блуза. Кто-то крикнул:

— Мать пропустите!

Старуха (Дениз в первую минуту показало, что это — Блемане) подошла к солдату, крепко его обняла. Он шепнул:

— Прощай, мама!

Его втокнули в фургон. Мать, оглядев смущенных полицейских, сурово сказала:

— Вот, значит, на кого вы работаете!..

И снова синие эмалевые глаза — шьют коньяк, едят колбасы, гогочут!..

Дениз свернула за угол. Это был нищий квартал за площадью Итали. Дома будто раздетые — грязь, уродство; их больше не скрашивают ни шум толпы, ни пестрые витрины. На скамейке старички играют в карты. Женщины стоят в подворотнях, готовые исчезнуть, как только покажутся солдаты. Но немцы сюда не заходят.

Дениз позвонила. Никого... Кто знает?.. В последние часы люди уходили

против воли, подчиняясь ритму шагов, безумному желанию других — рваться, уйти. И потом Клод могли арестовать — немцы заходят в дом Дениз прислушалась — ни шороха...

А Клод — рука на задвижке — томительно думал: вот и пришла! открывал — еще минута свободы...

— Ты!..

Они долго ничего не могли вымолвить. Наконец, Клод сказал:

— Дожили!.. Я все-таки не думал, что придется это увидеть... Ты же маешь — немцы в Париже!..

Дениз поглядела на него — серые щеки, а глаза блестят... Нехорошо! чальная комната — на столе ломтик хлеба, тетрадь со стихами и книга «Как закалялась сталь».

— Надо что-то делать, — сказала Дениз. — У тебя есть связь?

— Нет. Из наших остался только Жюльен. Но как его найти? Я думаю, что он придет... А по улицам он не станет ходить — теперь каждый человек заметен. Они ищут... Бьянн вдаром остался — он с ними работает.

— Надо что-то делать, Клод! Беженцы возвращаются, и первое, о чем спрашивают, — как коммунисты?.. Цельзя ждать. Преступно!

— Гектограф есть. Чернила, бумага — все осталось. Только ни к чему. Разве мы с тобой знаем, о чем теперь писать?

Он мучительно закашлялся. Дениз молчала. Она поняла бессмысленно затеи: конечно, Клод — хороший товарищ, смелый, готов на все. Но она знает... как она. А связаться не с кем...

Она сидела, сторбившись, у окна. Перед ней была мертвая улица. И в то внезапно она вспомнила все. По этой улице проходила демонстрация. Дениз увидела красные шали на балконах, услышала пение. На деревьях, в воробьи, кричали мальчишки. Женщины подымали кулаки. Все пестро звучало, вибрировало. Впереди колонны шагал Мишо. Дениз выпрямила Мишо, ты здесь? Он не ответил. Он шагал и глядел прямо перед собой. Очень высокий и веселый. Через окопы шагал, через немцев — Мишо знает, не ошибется, не отстанет. Как она могла подумать, что Мишо убил Мишо не могут убить. Мишо идет.

Смутно улыбаясь, Дениз шевелила губами.

— Клод, дай бумагу.

Ему показалось, что она пишет стихи; он отошел на цыпочках в угол. А Дениз искала слова, — чувствовала — они рядом, и не могла их найти. Сама встала фраза, которую она повторяла из бульварах: «И это Париж!» И слова понеслись, обгоняя одно другое: «Кольбель революции... Город Коммуны... Сердце Франции...»

Ей казалось, что она слышит голоса солдат, которые бродят всеми беженными. Голоса пленных — они на дорогах бьют камень, над ними издеваются гитлеровцы. Голоса беженцев — длинные, страшные дороги, а люди бродят бродят... Говорил французский парод. И дальше — другие... И маленькая женщина, одна, в пустом городе слышала плач, тишину, слова гнева и надежды. Она писала, не останавливаясь, будто ей кто-то диктует.

Клод прочитал и тихонько вытер глаза; испачкал лицо — рука была лиловых чернилах.

— Дениз, как ты такое написала?..

— Гимне!

Она услышала тяжелые шаги патруля. Потом громкоговоритель, установленный на машине, выкрикнул:

— Заходите в дома! Время! Заходите в дома! Время!

38

Национальное собрание, созванное маршалом Петэном, должно было засесть в Виши. Для торжества приготовили залу казино. Здесь Монтиньи еще недавно играл в покер, а Жозефина, стараясь забыть чары Люсьена, танцевала танго с пресс-атташе Венецуалы.

Батастрофа застала в Виши несколько тысяч курортников, лечивших на водах свою печень. Зимой в некоторых гостиницах устроили военные госпитали. Теперь раненые в халатах и больные уныло глядели на пеструю толпу. Виши нельзя было узнать. Сюда съехались не только сенаторы и депутаты, но весь цвет Парижа: промышленники, спекулянты, крупные чиновники, журналисты, кокотки. На каждом шагу слышалось: «Ах, это вы, граф!..», «Эге, Жюль, и ты прорвался!..», «По где же наша пышка?..»

Все волповались: сегодня — большой день, гвоздь этого необычного сезона — сеанс Национального собрания. Лаваль хотел обойтись без перемоний, но Брегейль любил ритуал; решили похоронить Третью республику с помпой. Тесса долго готовился к этому событию. Как всегда, он оставался оптимистом: оправившись от дорожных волнений, он чувствовал себя здоровым, и ему хотелось жить. Он подолгу доказывал себе, что затея маршала ему паку: из избранного он станет назначенным; это спокойней. Все же в глубине души Тесса был обеспокоен; невольно вспоминал слова Дессера: «Бедный старый клоп». Конечно, Дессер рехнулся, но есть в его обидных словах доля правды: Тесса использовали; его громким именем прикрылись другие; теперь его хотят оттеснить; кто поручится, что завтра его не выкинут? Для правых он радикал. В Бордо ему все улыбались, а здесь Лаваль прошел мимо, едва поздоровался. Когда лимонад готов, с выжатым лимоном не церемонятся.

Тесса готов был заплакать: все его обижает. Разве он не помог Лавалю? то ухаживал за поганым испанцем, когда нужно было договориться с немцами? Кто доказывал, что компьенские условия вполне приемлемы? Бороткая пих память!.. Да и свои его не поняли. Гордячка Дениз... Как он ее любил, как баловал! Теперь немцы ей отрежут голову. Страшно подумать!.. Гиглер е шутит. Поэтому и победил... Что будет с Дениз?.. Тесса дважды высморкался: слезы шли в нос. Потом он вспомнил огненную шевелюру Люсьена и угливо съежился. Люсьен обязательно замарает имя Тесса. Это у него наследственное, он в дядю Виктора. Только Виктор отделался четырьмя годами, а Люсьена страшная хватка — врожденный преступник. Но, может быть, Люсьена убили?.. Кончится род Тесса... Да и Франция кончится... Тесса ахнул рукой. Вдруг его лицо стало злым: подлая Полет, наверно, поет свои песенки перед немцами; и ей нет дела до национального траура, лишь бы омоложе и побойчей...

А час спустя Тесса преобразился: достаточно было пустяка — позвонил Ретейль, спросил: «Как самочувствие?» Тесса понял, что он еще пужен. Правда, он отказался выступить на заседании с разоблачением масонов; зато он произнесет короткую, но яркую речь. Ему удалось установить, что в «Юмани-

те» были напечатаны объявления мебельной фабрики. владельцем ко является эльзасский еврей. Тесса сможет воскликнуть: «Золотые незр цепи связывали еврейский капитал с коммунистами. Так родилась пре ная война...»

В последнюю минуту Бретейль отвел Тесса в сторону: «Лучше будет, ты не выступишь». Тесса обиженно заморгал. Бретейль объяснил: в такта. Первые страны обнажены, приходится считаться с галеркой. Выт старое: Ставицкого, Народный фронт... Тесса согласился, но снова по пел: он хочет жить, а под ним трясется земля.

Слегка его утешил Грандель (он приехал накануне из Парижа); у Тесса в фойе казино, Грандель подбежал, был мил, рассказывал о столи

— В первое время было маловато народу, но теперь город мало-по наполняется. Хотят даже открыть оперу... В общем немцы навели пор Держатся они хорошо, не скажешь, что это завоеватели, скорей онекуны

Подожли депутаты; молча слушали Гранделя. Один сенатор сказал: «Он Пельзя было понять, восхищен ли он рассказом Гранделя, или негодует.

Бержери крепко пожал руку Тесса:

— Хорошо, что ты здесь — на посту. Я был убежден, что ты не остав Францию в трудную минуту.

Тесса в знак благодарности чуть наклонил свою птичью головку. На ром носу сверкали мелкие капельки пота. Слова Бержери его растрог все-таки некоторые понимают, что Тесса принял на себя тяжкий крест. Р легко подписать позорное перемирие и прятти сюда, чтобы участвовать в а видации своего прошлого?

— Служу Франции, — ответил он. — Кстати, Блюм здесь, даже Ф Интересено, что они будут делать при голосовании? Особенно Фуже... Это шутка лечь на скамью и высечь себя. Ха! А придется... Не посмеет же голосовать «против». Жалко, что нет Дюкана. Этот поджигатель войны...

— Где он?

— Кажется, в армии.

Грандель вставил:

— Наверно, первым сдался в плен. Знаю я этих «непримиримых»...

— А где Виар?

— Никто не знает. После нашего отъезда из Тура он пропал.

— Я слышал, что он удрал в Лиссабон через Испанию.

— Неужели испанцы его пропустили?

— Анекдот: Виар просит у генерала Франко визу...

— Говорят, что испанцы поставили на границе пулеметы. А всех, переходит границу, загоняют в лагерь.

Тесса усмехнулся. Что такое история? Кадриль: вперед-назад, кавалеры пляют дам... Виара испанцы, наверно, посадили в лагерь. Легко себе пр ставить его негодование: пенсне прыгает на носу... А картины? Неужели оставил в Авалоне свои картины?

— Во всякой трагедии есть нечто смешное. Меня забавляет судьба Виар Как он должен был перепугаться, чтобы бросить свою коллекцию! Вы вид его физиономию?..

Сзади раздался обиженный голос:

— Если не видите, можете увидеть. Я нахожу, Поль, твою иронию уместной.

Тесса обомлел:

— Это ты, Огюст? По откуда?..

— Из Авалона. Почему тебя так удивляет мое присутствие? Я, как всегда на посту. — И Внар стал доказывать, что он — горячий сторонник нового порядка. — Поражение нас вылечит. Мы должны взять пример с победителей. Почему Гитлер в Париже? Потому, что он дерзал. Маршал Петэн позвал себя поватором. Ему пошел девятый десяток, но он дерзает. Я первый его приветствую...

Здесь даже Грандель смутился. А Тесса про себя вздохнул: «Лисица! Этот перехитрит всех...»

Наконец председатель потряс звоночком. Тесса не прислушивался к ораторам. Легко теперь говорить Лавалю... Почему он молчал в сентябре? А Внар срывает анлодиементы... Блюм злятся. Блюм, конечно, будет голосовать «против»: его песенка все равно спета.

Во время перерыва депутаты окружили Гранделя; все перед ним заискивали. Грандель небрежно отвечал: «Хорошо, я поговорю о вашем деле с Абет-пом...» Тесса вспомнил бумажку, выкраденную Люсьеном; поморщился. Все же обидно, что мелкий шпион стал спасителем Франции...

После перерыва выступил Бретейль; говорил о безнравственности, о «великом искуплении», поносил англичан и под конец, вытянув вперед руку, торжественно заявил: «Победители показали себя великодушными». Тесса зевнул: старый лицемер! Его Лотарингию, между прочим, отдали немцам... Ба-таган! И притом скучный...

Вдруг все оживилось: на трибуну поднялся Фуже. Он сразу зарычал:

— Когда враги отечества и малодушные заносят свою руку...

Договорить ему не дали. Началось голосование. Полчаса спустя председатель объявил: «За — пятьсот шестьдесят девять. Против — восемьдесят».

Тесса чувствовал непонятную усталость, как будто он произнес очень длинную речь. В саду дамы кричали: «Да здравствует Лаваль!» Тесса даже не позавидовал. У него болела голова. Он уныло побрел к гостинице.

Судьба над ним сжалилась: в салоне он увидел прехорошенькую незнакомку с высокой грудью и ярким, как киноварь, ртом. Она напомнила ему По-лет. Он оживился, подошел к незнакомке и только тогда заметил, что у нее в глазах слезы.

Плачущие женщины всегда казались Тесса особенно привлекательными. Он взволнованно заговорил о страданиях Франции. Она кивала головой. Он скромно вставил: «Я, — как министр...» Непознакомка улыбнулась. Она рассказала о своих мигарствах: потеряла в Невере чемодан; старушка-мать осталась в Париже; здесь она искала своего дядю, который служит в министерстве коммерции. Но он, видимо, остался в Клермон-Ферране. Она не знает, что ей делать, — у нее в сумке только сто франков.

Тесса ее утешил, да и сам утешился. За ужином он был весел, остроумен. Они пили шампанское — сначала «за вечную Францию», потом «за вечную любовь».

Ночью он весело сказал:

— Ты никогда не угадаешь, куколка, сколько мне лет.

— Пятьдесят?

Он засмеялся и погрозил ей пальцем:

— Нет, куколка! В любви мне восемнадцать. А для публики?.. Во всяком случае маршал мог бы быть моим отцом.

Он вдруг вспомнил все события исторического дня: жесткий взгляд Вейля, хитрость Виара, бороду Фуже, отвратительную цифру 80. Нашли восемьдесят чистоплюев! Эти обязательно напишут в мемуарах, что они протестовали против «капитуляции». В представлении потомства скучный день будет выглядеть как государственный переворот. А Тесса во время сессии мучила изжога: он напрасно ел барашка по-индийски... До сих пор ему нежарко, и голова болит. Может быть, от шампанского?.. Тесса приподнялся, поглядел на сонную «куколку», и слезы подступили к горлу.

— Ты знаешь, что сегодня было в казино?

— Портье мне сказал, — какое-то важное заседание...

— Харакири. Ты не понимаешь? Сейчас объясню. Собрались депутаты, сенаторы. Выступал Лаваль... У него, куколка, всегда белый галстук... А потом... Потом мы покончили жизнь самоубийством. Ты не веришь? Честное слово! Объявили себя мертвыми и заплотировали. Пятьсот шестьдесят девять групп. Восемьдесят нахалов. Вот и все. Теперь рядом с тобой призрак Тесса, его тень. — Он икнул и виновато добавил: — Не нужно было мне пить столько шампанского. Впрочем, теперь все равно: акт о смерти составлен.

Женщине хотелось спать; она все же пересилила сон и вежливо сказала:

— Зачем огорчаться? Когда немцы уберутся из Парижа, мы заживем по-прежнему. Ты сам говорил, что ты молод душой Ты... — Она зевнула в рукавицу и проптала: — Ты — настоящий любовник.

Тесса покачал головой:

— Нет. Это все было... А теперь?.. Я люблю ясность, логику. Я тебе скажу откровенно, кто я. Клоп. Старый клоп в щели.

Он встал и нетвердой походкой пошел к умывальнику.

Фуже вышел из казино сильно возбужденный. Он размахивал руками, что-то бормотал: разговаривал с невидимыми слушателями. Презренные трусы похоронили республику. За что умирали герои Вальми? За что дрались «нуалу» Вердена? Позор, граждане, позор! Весь мир брезгливо отвернется от Франции, которая лижет Гитлеру сапоги.

Конечно, Фуже протестовал. Но ему не дали сказать правду. Он идет в гостиницу. Сейчас — обед. Официант принесет суп. Потом Фуже должен спать. Мирный быт после всего происшедшего казался несносным. Фуже ждал мученичества, свиста бомб, гильотины. А эти сидят на террасах кафе и пьют вермут...

Всю ночь он шагал по комнате; не думал ни о Мари-Луиз, ни о сыновьях; задыхался от возмущения. Он попал в Кобленц. Да, Виши — это Кобленц. И кто во главе изменников? Если бы Лаваль... Все знают, что Лаваль — предательская тварь, жадный оверньяк с физиономией конокрада. Да и Тесса его не удивил. Тесса — потаскуха, лишь бы его кормили... Но во главе предателей — солдат республики, старый маршал. Опозорена навек армия. Опозорены и седины. Кому теперь верить? Все заплевано, протрачено, пропито — на террасах кафе: и слава, и простая порядочность.

Завтра будут кричать: «Да здравствуют спасители Франции, великодушные боши!» Будут пресмыкаться перед пруссаками. Пожалуй, Геринга объявят Жанной д'Арк. И не смешно — отвратительно.

Кому говорил это Фуже? Бабочкам на обоях? Мутному отображению в длинном зеркале? Рассвету?

В девять часов утра постучали. На полицейских были люстриновые штаны и жакеты. Один сказал:

— Предписание об обыске.

Фуже усмехнулся:

— Покажите. А почему оно не по-немецки? Учитесь немецкому языку, господа! Довольно переводов! Я люблю оригиналы. Впрочем, не смущайтесь. Вы ведь не защищали Вердена. (Фуже расчесал бороду, надел шляпу.) Я готов... И да здравствует республика!

На площадке лестницы он увидел Тесса, который успел пообриться и позавтракать. Тесса спешил на заседание совета адвокатов. Увидав арестованного, он отвернулся. Лицо у Тесса было строгое, торжественное, как на похоронах. А Фуже шел вниз и ругался: «Дерьмо, господа, дерьмо!..»

39

Генерал Леридо, еще будучи в Париже, говорил: «Когда война проиграна, продолжать войну бессмысленно, скажу больше — безграмотно, вот что».

Бретейль хотел включить Леридо в состав делегации, которая должна была подписать перемирие. Леридо слег: у него сделался припадок печени. Он думал: повезло! Оставить для истории свое имя на таком прискорбном документе!..

При реорганизации правительства генерала Леридо назначили заместителем министра вооружений. Министерство разместилось в небольшом курорте Бурбуль. Узнав, что в Бурбуле лечат астматиков, Леридо огорчился: он надеялся попасть в Виши и запясться там своей печенью. Астмой он не страдал; но все же каждое утро направлялся в ингаляторий; говорил: «Война кончена, начинается восстановительный период. Лечение никогда не повредит».

Он выписал супругу и, увидев ее сирепевый капот, просиял. Жили они в гостинице, но она сразу внесла в неудобный номер нечто домашнее: вязанье, электрический уют, разговоры о дороговизне. Леридо был счастлив. Его только смущала ответственность работы: он должен был сдавать немцам вошное имущество согласно тексту перемирия; вздыхал: «Я раньше думал, что трудно вооружаться. Нет, Софи, куда труднее разоружаться».

Он считал, что в его обязанности входит скрывать от немцев все, что может быть от них скрыто. С ним работал полковник Моро, и Леридо говорил полковнику: «Мы должны уже теперь готовиться к 1960 году. Да, да! Ведь немцы сразу после поражения начали готовиться к реваншу. Это — закон природы...» Леридо радовался, как ребенок, когда ему удалось скрыть от немцев тридцать зениток. А Моро снисходительно улыбался: «Вы напрасно стараетесь. Луна не воюет против солнца...»

Утром, вернувшись из ингалятория, Леридо пил кофе. Постучали. Генерал думал — адъютант или официант, крикнул: «Войдите!» Вошел Вайс.

Бывший радикал из Кольмара стал теперь закадычным другом Лавая и членом смешанной франко-немецкой комиссии.

Генерал был еще в халате для ингалятория и походил на карнавальную куклу. Вайс, не выдержав, улыбнулся. Леридо почувствовал неловкость: генерал должен импонировать.

— Мы живем на бивуаке... А мой адъютант неопытен.

— Пожалуйста, генерал... Простите ранний визит. У меня к вам срочное дело...

Четверть часа спустя генерал вышел к Вайсу в полной форме с медальончиками на груди. Вайс его спросил в упор:

— Скажите, генерал, ведь в Монпелье было сорок два средних танка, вы сдали шестнадцать?..

Леридо кивнул головой, с удовлетворением ответил:

— Разумеется. Немцы указали шестнадцать.

— А наша подпись?

— Мне кажется, господин Вайс, что мы выполним наш долг перед отечеством, если начнем...

Вайс прервал его:

— При чем тут громкие слова? Шестнадцать — это шестнадцать. А сорок два — это сорок два. Какие у вас могут быть резоны, чтобы утаить двадцать шесть танков?

— То есть как? (Леридо теперь кричал.) Я выполнил мой долг. Я позволю, чтобы со мной говорили, как с мальчишкой. Я, сударь, французский солдат, вот что!..

Он приподнялся, и ему показалось, что, несмотря на свой низкий рост он смотрит на Вайса свысока. А Вайс пожал плечами:

— Первичаче, генерал. Это вам не битва, это серьезное дело. Я и прошу вашего начальничка разъяснить вам, что такое арифметика...

С этим Вайс вышел из комнаты. Леридо долго не мог опомниться. Он ждал Софи:

— Я не понимаю, почему мы должны поднести вчерашнему противнику двадцать шесть танков? Приезжает француз, друг Лаваля, человек, пользующийся доверием Бретейля, и говорит со мной, как будто он — немецкий офицер. Это ненормально, вот что!..

На следующий день Леридо отправился к генералу Пикару; заготовил доклад — политики вроде Вайса вмешиваются в военные дела. Это против указаниям маршала.

Но Пикар, сухо поздоровавшись, сказал:

— Вы, кажется, поверили болтовне де Голля? Напрасно! Не позднее середины августа немцы будут в Лондоне. Вы — молодой человек. У вас есть опыт. Ваше боевое прошлое вас обязывает. Вы не можете пойти с немцами.

Леридо растерялся, он едва выговорил:

— Я этого не заслужил...

Пикар понял, что он погорячился. Расстались они друзьями. А вернувшись в Бурбуль, Леридо начал наводить порядок; кричал: «Вы отвечаете майор, за станковые пулеметы... Это не булавки, вот что!.. Мы должны показать нашему бывшему противнику, что мы выполняем принятые обязательства даже в мелочах. До последней пуговицы, капитан! Вы меня поняли?..»

После ужина он завел политический разговор с Моро:

— Авантюрист де Голль прогадал, я это предвидел. Немцы собрали на побережье основательный кулак. Вы скажете — пролив? Чепуха! В Нарвике они опрокинули все представления о десантных операциях. Через месяц Гитлер будет в Лондоне, это — азбука... Я нахожу линию Лаваля правильной. Конечно, мы, военные, не должны вмешиваться в политику. Но теперь мы имеем дело не с парламентскими интригами, а с судьбой Франции. Я вам скажу откровенно — победа Германии нам выгодна. Мы сможем

Видное место в новой Европе наряду с Италией. Когда Гитлер покончит с Англией, останется Россия. Конечно, Красная Армия — это не сила. Но пространство, мой друг, пространство... Я убежден, что Гитлеру придется прибегнуть к нашей помощи. Мы сможем выторговать некоторые уступки. Генерал Пикар считает, что, получив Киев, Гитлер отдаст Лилль. Теперь представьте на минуту, что побеждает Англия. Это катастрофа. Черчилль никогда не простит нам сепаратного перемирия. А де Голль связан с темными элементами. Меня не удивит, если он вступит в переговоры с коммунистами. Да, да, от этих людей можно ожидать всего! Я лично предпочитаю немцев — это бывшие противники, но это честные люди. Может быть, Пейрутон или вчерашние депутаты колеблются. Для меня выбор сделан. Мы действительно должны помогать немцам, не формально, но от всего сердца, вот что! Ваше мнение, полковник?

Моро лениво ответил:

— Я вам уже говорил, что луна светит отраженным светом. Трудно спорить против фактов. Конечно, если немцев побьют, с нами не станут церемониться. Я тоже думаю, что лучше жить даже в Бурбуль, чем висеть на дереве.

Несколько дней спустя генерал Леридо устроил маленький пикник; с Софи и с полковником поехал к горному озеру. Они добрались в машине до деревни, оттуда по тропинке прошли до озера. Пейзаж несколько озадачил Леридо: серые камни были нагромождены как бы в преднамеренном беспорядке. Суровость этого зрелища не смягчалась ни деревом, ни цветами. Только кой-где меж камнями рос жесткий колючий кустарник, серый, как и все вокруг. Серой была вода. Леридо подумал: мир после капитуляции. Вспомнил почему-то зеленый лес в Арденнах, девочку без ног...

Они взяли с собой холодный завтрак. Моро поднес супруге генерала коробку с глазированными капитанами: «Местная специальность». Рассудительная Софи вздохнула: сумасшедший — в такое время потратить восемьдесят франков на конфеты!..

Показалось солнце. Озеро стало розовым. Леридо успокоился, даже разнежился:

— Природа — это абсолютное равновесие чувств...

Софи напевала арию Миньоны. Моро поглядывал на нее нежно и насмешливо: будешь, курочка, моей... А Леридо дремал: воздух был, как крепкий настой, веселил и расслаблял.

Услышав взволнованный голос адъютанта, Леридо не сразу опомнился. А когда пришел в себя, закричал:

— Кто вам позволил?.. Сегодня воскресенье... Как-никак мы не на фронте!..

— Господин генерал, случилось несчастье...

Виновником происшествия, омрачившего воскресный отдых генерала, был капрал двести восемьдесят седьмого линейного полка, в прошлом рабочий завода «Сэн», Легре.

До мая Легре просидел в концлагере возле Бриансона. Заключение заставляло таскать камни на гору. Зачем — этого никто не знал. Возле дороги на пустынном перевале возвышались груды камней. Легре не возмущался, не спорил с солдатами, сторожившими заключенных. Что-то в нем оборвалось. Он замолк; глаза стали скучными и пустыми; лицо обросло седой жесткой бородой.

В мае солдат неожиданно освободили; полковник произнес перед ним речь, несколько раз повторил: «Франция больна». Освобожденных отпустили на итальянскую границу. Легре даже вернули нашивку капрала. Он принял перемену в своей судьбе как малоинтересное событие. Но, прочитав, что немцы вошли в Бельгию, очнувшись, стал походить на прежнего Легре агитатора и бойца. По-другому он теперь сжимал винтовку и только сдал, что его полк не отправляют на север.

Он хотел попасть на фронт; но в успех боя не верил. Всю эту зиму в лагере он думал об одном: ослепили Францию, заговорили, одурачили, большой страны сделали Монако! И эта обида так пришибла его, что он не верил в воскресение. Недолго пришлось ему гадать: месяц спустя Францию напали итальянцы. Полк Легре стоял возле малого Сен-Берна; Легре защищал ДОТ.

Четыре дня итальянцы вели ураганный огонь, но защитники держали. Настал день передышки. Принесли горячую пищу. Газет не было. Лейтенант, приехавший из Шамбери, рассказывал, что немцы заняли Париж. И кто не знает, где французское правительство.

Солдаты загудели:

— Может, и нет его...

— Наверно, фашисты захватили власть — Лаваль, Дорио, вся банда.

— Значит, нам умирать за Лавала? Не хочу!

Легре вспылал:

— Трусись? За Лавала никто не хочет умирать. Только откуда ты знаешь, что теперь правительство Лавала? Говорят? Мало что говорят... Лаваль не станет воевать. Он у Муссолини свой человек... Не знаем мы, куда там. (Легре показал на запад.) Но вот кто перед нами — это мы хорошо знаем. Здесь не может быть ошибки. Как хотите, а я фашистов не пушу.

На минуту зажглись его пустые глаза: горем и злобой.

Товарищи поддержали Легре. На следующее утро итальянцы предложили сдаться. Французы ответили отказом. Они продержались еще пять дней, отрезанные от мира.

Легре, как во сне, услышал: «Перемирие подписано...» И тогда он выругался: «Вот теперь Лаваль!..» Они вышли и увидели рядом с французским полковником двух итальянцев. Кто-то пробормотал: «Макаронщики...» Легре снова потух. Он молчал.

Его батальон случайно не распался. Стояли они в Клермон-Ферране. Возле города был большой арсенал с боеприпасами. Смутно, как свет сквозь воду, доходили слова до сознания Легре. Он слышал, как майор сказал лейтенанту Брезье: «В среду сдаем немцам».

Была горячая ночь после дождя, не освежившего мир. Легре стоял на часах. Он думал о Жюзе. Она ему ни разу не написала. Может быть, и писала, но не доходили письма. А теперь и почты нет. Поезда не ходят. Все распалось, как жизнь Легре. Где Мишо? Где партия? Может быть, рядом: в сердце соседа. Может быть, далеко... Все случилось, как они предсказывали: пришли гитлеровцы, нашли здесь друзей, подручных, лакеев. Даже страшно, до чего точно об этом писали в «Юма» два года тому назад. А сколько горя! Разорили страну. Немцы все вывозят: станки, сахар, башмаки. Иленных они не выпускают. Что если Мишо попал в их руки?.. Теперь они пойдут на англ-

дичан. А потом?.. Потом на русских. Крысы. голодные крысы! Неужели все-
му погибнуть: труду, героизму, да и простой человеческой жизни?..

Так началась ночь: с длинных унылых мыслей. Не первой ночью томле-
нии была она для Легре. Днем он пытался говорить: спрашивал глу-
хим, надтреснутым голосом, глядел пустыми глазами. Люди отмалчивались:
все были потрясены случившимся, пришиблены; искали родных; искали
хлеба; никто не задумывался над трагедией — ее пере-
живали.

Но когда раздвинул деревья рассвет, в голове Легре созрело решение. Оно
пришло помимо него; не было ни взвешено, ни проверено. Его диктовало
сердце. Оно было выводом из всех этих сумасшедших недель, из ненужной
защиты ДОТа, из жалоб беженцев, из рассказов бродивших вокруг города
бездомных и голодных солдат, из наглых, но трусливых слов майора:
«В среду сдадим». Нет, они не сдадут, и те не получат!

Легре отослал трех солдат в город. Лейтенант Брезье спал у себя. Кругом
не было ни души. Легре погиб один, погиб просто, скромно, искренно, как
жил. Взрыв потряс все окрест. Взлетели птицы с деревьев. На кирпичном
заводе, — в трех километрах от арсенала, зазвенели стекла.

Когда генералу Леридо доложили о происшедшем, он закрыл рукой лицо.
Взрыв показался ему большей катастрофой, чем поражение Франции. Ведь
за взрыв взыщут с него... Немцы никогда не поверят, что это — акт зло-
умышленника. А Пикар свалит все на Леридо.

Леридо вдруг вспомнил озеро, серое и неприятное, камни, камни. Он ска-
зал Софи:

— Все взорвали. Все разбомбили. Даже природу. Даже сердце...

40

Жюлио устроился: «Ла вуа нувель» начала выходить в Париже. Из Ви-
ши шли франки, от немцев Жюлио получал марки. Но толстяк жаловался,
что немец Зибург из посольства скуп и дурно пахнет: «Посадите его в од-
ну клетку с хорьком, хорек и тот задохнется...»

Генерал фон Шаумберг благоволил к Жюлио: ему нравились легкомыслен-
но и пестрое оперение марсельца. А Жюлио померк, погрузнел; даже розовая
рубашка его не красила. Он редко шутил, стал малообщительным. Возвращаясь
из редакции, садился на кровать, не раздевался, молчал. Если жена спраши-
вала: «Что с тобой?» качал головой: ничего.

Вчера пришел в редакцию Бретейль. Жюлио не стал читать статью, над-
писал: «В набор», а Бретейлю сказал: «Так плохо, что скоро начну ма-
литься». Жюлио не придумывал больше сенсационных заголовков — к чему
стараться? Газету все равно никто не читает — парижане брезгают, а у
немцев свои газеты. Часто Жюлио получал статьи, неуклюжо переведенные
с немецкого; он заменял слово «мы» другим — «немцы»: «Ла вуа нувель»
должна была выглядеть французским органом. За это Жюлио платят. А
Бретейль?.. Наверно, и Бретейлю платят. Да и кому теперь нужен Бре-
тейль? Странно вспомнить: шестое февраля, «верные», речи в Палате...
Все это было прежде. Тогда была Франция... А теперь в редакции сидит
обер-лейтенант Франке с глазами розовыми, как у белого кролика, акку-
ратный и злой.

— Бретейль приехал, — сказал Жюлио жене. — Скоро все покажутся Лаваль, и Тесса.

Жена вздохнула:

— Легче от этого не станет. Я сегодня обегала весь город — нет мы. Вообще ничего нет. Все вывезли.

— Исно. А уехать некуда. В Марселе то же самое. Эти крысы съели Европу, как головку сыра. Бретейль рассказал, что Дессер застрелил где-то в Оверни... Вот тебе героический акт — вместо Марны и Верде Смешно! Ты знаешь, что мне пришло в голову? Вдруг... (Жюлио закрывает окно и перешел на шопот). Вдруг их все-таки побьют? Ты представляешь себе, какой невероятный скандал! В один вечер разойдутся пять миллионов экстренного выпуска. А Бретейля повесят...

— Что ты болтаешь? Если англичане победят, тебя тоже убьют.

Жюлио весело закивал головой:

— Обязательно! Но все-таки это здорово... Как их будут резать, боги мой!.. Ради этого стоит повисеть на фонаре...

Жюлио направился в редакцию. Но дороге решил выпить аперитив («они еще не все вылакали»); выбрал маленькое кафе на боковой улице: сюда наверно, не заходят немцы.

Молодая служанка с припухшими от слез глазами подала стакан «пшис». Жюлио вынул газету. Он не читал, он и не думал ни о чем; тем он часто погружался в такое оцепенение: ему казалось, что он куда плывет. Захрипела дверь. Вошел немецкий офицер с тяжелой челюстью и мутными глазами. Он вежливо поздоровался. Никто ему не ответил. Служанка принесла кружку пива. Немец предложил ей присесть. Она молча отказалась. Он выпил вторую кружку и снова обратился к девушке:

— Красотка, нельзя быть такой молчаливой. Почему вы ничего не говорите?..

Она закрыла лицо подносом и ответила:

— Сударь, я — француженка.

Офицер рассердился; он встал и уже в двери крикнул:

— Поглядите на себя в зеркало! Ваша мамаша спала с негром...

Служанка долго всхлипывала:

— Почему у нас не было танков?

Жюлио сказал:

— Танки были. У Тесса... А плакать нечего. Слезами вы их не уничтожите. Это крысы. Их нужно убивать. Я этим не занимаюсь. Нет, я от вас получаю денежки. Как все... А что мне делать? Даже Марселя нет. Вообще ничего не осталось — только боши и тоска. Перестаньте плакать, как ребенок! Получите лучше — два «пастис». Все может хорошо кончиться — буду на фонаре, а вы будете танцевать с каким-нибудь марсельцем. У нас в Марселе чертовски танцуют...

Бретейль пробовал доказывать, взывал к справедливости, к логике. Нерал фон Шаумберг был непроницаем, глядел на Бретейля голубыми круглыми глазами, пускал облака едкого сигарного дыма и время от времени глухо повторял: «Нет. Нет». Можно было подумать, что из всех у него осталось только это.

Генерал фон Шаумберг считал, что с французами нельзя разговаривать всерьез. Ему понравился Жюльно. Он угостил ужином актрисе мюзик-холла: говорил: «Франция — это прекрасный курорт, а Париж — чудесный кафешантан». Бретейль был для генерала «серьезным французом», то есть дураком.

Бретейль растерялся уже в Бордо, когда услышал немецкие требования. Он думал играть в покер, скрывать карты, хитрить; вместо этого на него крикнули. Особенно его удивило немецкое требование прекратить все радиопередачи. Он пожал плечами: «Они хотят, чтобы Франция онемела». И все же в Бордо Бретейль еще сохранял надежду. Гитлер любит показную сторону, ему нужен позор Комьбена; прежде смыли кровью кровь, он хочет слезами смыть слезы; но вот пройдет праздничный угар, замолкнут немецкие колокола, догорят костры, зажженные на дорогах Германии в честь победы, тогда-то можно будет разговаривать. Французы разбили, но Франция была и будет великой державой. У нее колониальный флот. А у Гитлера на руках Англия. Ему придется за нами ухаживать.

Петец отправил Бретейля в Париж: нужно разрешить ряд срочных дел. В свободной зоне голодают миллионы бездомных. А немцы не хотят впускать в оккупированную зону беженцев. Пленных заставляют выполнять тяжелую работу. Раненых держат под открытым небом.

Обо всем этом Бретейль сказал генералу. Тот внимательно слушал, а когда Бретейль спрашивал: «Вы со мной согласны?» — равнодушно отвечал: «Нет».

Бретейль упомянул, что в Лотарингии оккупационные власти снимают шпески на французском языке; генерал слегка оживился, сказал:

— В Лотарингии нет оккупационных властей, это часть Германии.

Бретейль не выдержал; впервые он позволил себе отойти от тона дипломата:

— Я — лотарингец...

Фон Шаумберг осторожно скинул пепел сигары в пепельницу и промолчал. Бретейль вернулся к вопросу о беженцах. Генерал, скучая, чистил ногти и зевал. Наконец он решил прекратить ненужную беседу:

— Я не могу входить в рассмотрение деталей...

— Для нас это не детали. Это жизнь или смерть миллионов французов. Взгляд германских властей мешает сотрудничеству между двумя народами. Я падеюсь...

— Нет.

Бретейль встал. Сухой, высокий, он походил на немецкого офицера, и фон Шаумберг почувствовал некоторую неловкость, захотел объясниться:

— Жалею, что не смог вас ничем порадовать. Мы стоим на разных точках зрения. Вы рассуждаете как дипломат. А я прежде всего военный. Для меня Франция — побежденная страна. Конечно, мы можем быть великодушными. Но в ваших пожеланиях я не нашел ничего достойного участия. (Генерал поглядел на Бретейля и раздраженно добавил): — Нет, сэр, нет!

Только на улице Бретейль онемел. Штаб фон Шаумберга помещался в фешенебельной гостинице на площади Конкорд. Бретейль обвел глазами просторную пустую площадь. Повсюду немецкие флаги, прохожих нет. На набережной маршируют немецкие солдаты: раз-два, раз-два. Серо-зеленые... В другом все голубое: небо, Сена, дома.

Бретейль вспомнил и поморщился: «Хам!..» Да, эти чувствуют, что победили. Они напились победой, десять лет не протрезвятся. «Нет. Нет! Зачем говорить с таким человеком о сотрудничестве? Его не сумели повалить на колени. Теперь он заставит нас ползать на брюхе.

Бретейль повернул на улицу Рояль; шел задумавшись; не слышал, его окликнул часовой. Немец подбежал и выругался: «На мостовую, рый дурак!» Бретейль послушно сошел с тротуара, потом остановился, начал смеяться. Смеялся он очень редко, и его самого напугал скрипящий смех. Все смешно — что согнали с тротуара, что убил когда-то Грине, Лотарингия — провинция Германии, что генерал невпопад отвечал: «Н. Особенно смешно, что нет больше Франции. Есть Париж — улицы, д. вывески, есть престарелый маршал, есть сорок миллионов горель. А Франции нет. Вот где бы сказать, как фон Шаумберг: «Нет! Нет!»

А что есть?.. Бретейль испугался своего вопроса. В подворотне на углу улице он чмокал губами: повторял слова знакомой с детства молитвы. Молитва не утешала; слова скользили, ничего не оставляя после себя.

Проходя мимо Сен-Огюстен, Бретейль зашел в церковь. Там было прохладно и спокойно: ни беженцев, ни немцев. Возле ризницы Бретейль видел знакомого священника. Аббат его благословил. Бретейль спросил: «Здоровье?»

— Трудно... Я оставался все это время в Париже. Мы видели столько горя... Молю господу, чтобы он простил слепым нашим правителям. Они оставили народ... А эти... У этих нет совести.

Бретейль закрыл глаза. Аббат не мог догадаться, как он его взволновал.

— Я не того хотел, видит бог... Но теперь поздно оправдываться. Мой сын воскреснет. Во плоти... А я нет. То есть хочу сказать, что меня уже нет. Меня, вероятно, никогда и не было — того, что по образу и подобию...

Аббат подумал: еще один. События мутили разум, и аббату приходилось каждый день выслушивать несвязные, бредовые исповеди.

Бретейль вышел из церкви. Шагал заводной манекен, высокий, костлявый человек в черной шляпе, вожак «верных», неоднократно посылавший людей на бесславную гибель и живший надеждой на загробную встречу с сыном лотарингцем без Лотарингии. Все в прошлом — уж нет ни «верных», ни верных пи горсточки французской земли. А по улицам бродят пруссаки, горлают, разворачивают пакеты — колбасы, ботинки, чулки, куклы, подарки невестам разговены Германии, запасы про черный день — тело Франции и ее крепость. Бретейль шепчет: «Причастились».

Осипшая женщина кричит: «Ла вуа нувель!» Последний выпуск!» Можете купить газету... Бретейль развернул лист, прочитал: «Принципы сотрудничества торжествуют...» Эту статью он продиктовал вчера — до визита к фон Шаумбергу... Впрочем, завтра он напишет: «Принципы сотрудничества восторжествовали...» Беженцам хорошо на дорогах, пленным чудесно в плену. Франция пежится под немецким сапогом. Жолио — редактор. А Бретейль пишет...

Так он проходил до того часа, когда громкоговорители завопили: «Заходите в дома! Время!»

В своей нежилой квартире, глядя на раскиданные по диванам платки, фрачные жидетки, ленты, Бретейль громко зевал. Потом он решил работать. На листе бумаги поставил крестик, зачем-то написал: «Томление человеческого духа». Отложил перо и снова прошел по комнатам, остановился пер

детским стульчиком, постоял — без мыслей, без молитвы — и снова сел к столу.

Он быстро писал:

«Его превосходительству господину генералу фон Шаумбергу. Ввиду усиления подрывной деятельности сторонников Англии и де Голля, считаю необходимым, чтобы германское командование сделало жест, способный внести умиротворение — хотя бы выпустило в Париж многодетных матерей.»

Со своей стороны, я готов работать совместно с вами для уничтожения английских агентов, коммунистов и приверженцев де Голля. Я представляю комендантуре список дурных французов...»

Он долго писал. На стене неподвижно стояла тень — длинная и острая, как от шеста.

42

В те дни парижане сидели по домам: не могли привыкнуть к немецким солдатам на улицах. Аньес утром шла в лавку. Длинная очередь была молчаливой; люди старались ни о чем не думать. Поиски кило картошки или бутылки молока отвлекали. Если и говорили, то о пропавших без вести близких; у одной исчез муж, у другой сын.

Как-то старичок в очереди вздохнул:

— А Франция?..

Никто не ответил, но все подумали: тоже пропала...

Как вещицы на столике покойника, памятники Парижа доводили до слез. Поэты сжимали немые лиры. Маршалы мчались на мертвых конях. Бронзовые ораторы говорили с голубями. Люди вспоминали: возле статуи Дантона я поджидал Мадлен...

Не хотелось продолжать эту иллюзорную жизнь; и все же люди жили, стояли в очередях, варили бобы, писали письма. Надписывали старые адреса, уже не существующие. А почты не было. Одинокий город слышал только непонятные песни немецких солдат да птичий гомон в тенистых скверах.

Был сквер и неподалеку от школы, где жила Аньес: несколько чинар. Под широким деревом Дуду жадно хватал ручонками золотой теплый песок. Спасение Аньес было рядом — смуглый мальчик, порывистый и нетерпеливый, как Пьер.

Вначале Аньес хотела выбраться из Парижа: манил ее Дакс, где жил отец. Услышав, что немцы и в Даксе, Аньес насупилась. Что-то в ней дрогнуло, закрылась последняя лазейка; сказала себе: значит, жить с ними!..

Она продавала старьевщику платья, книги, безделки: этим жила. Ее существование, тупое и сонное, походило на зимнюю спячку зверя. Так жила не только Аньес. Так жил Париж; о нем в те дни говорили повсюду, издевались над ним или его жалели. А Париж ничего не чувствовал, как больной на операционном столе, не способный уже сбросить маску с хлороформом.

В душный вечер, уложив Дуду, Аньес села возле окошка. Время шло мимо. Ее вывел из полусна легкий стук. Кто может прийти в этот час? Только они... Никогда она не думала про немцев иначе: «они»... Зачем они пришли?..

Аньес отчетливо подумала: «Если смерть, я к ней не готова».

Открыв дверь, она увидела трех подростков.

— Они за нами гонятся...

Аньес провела их в пустой необустроенный зал. Старший объяснил:

— Я — солдат, артиллерист. Это мой брат, его товарищ.. Мы из Бреста. Дошли спокойно, только вот здесь, у метро, нас остановили. Мы — бежали. Звонили, стучали, никто не открывал, наверно, все уехали...

Внизу раздался настойчивый стук. Аньес заметалась: что делать? Вспомнила: в кладовой — ящики. Она быстро втокнула туда юншей; надела поверх тряпье, оставшееся после беженцев. Потом зачем-то схватила руки сонного Дуду и побежала к двери.

Вошли два немца, один француз.

— Кто здесь проживает?

— Я. И мой сын. Ему четыре года.

— Больше никого?

— Смотрите...

Француз вошел в первую комнату, заглянул в стеновой шкаф, почему-то взял книжку, лежавшую на столе. Один из немцев вежливо сказал:

— Простите, сударыня. Это ошибка.

Когда они ушли, Аньес уложила раскапризничавшегося Дуду; потом пошла в кладовку. Младший (его звали Жак) вылез первый; смеялся:

— Я чихнуть боялся... А там пыли, пыли!..

— Надо вас накормить, — сказала Аньес.

На счастье, остался в котелке суп, немного хлеба, салат. Солдат признался: «Со вчерашнего вечера ничего не ели...»

— Теперь спите.

— Нет. Мы часок подождем, чтобы они уснокоились, и двинемся. Нам только до Шартра... Там у нас человек — вывезет...

— Но куда вы поедете из Шартра? Они всюду...

Переглянулись: глазами спрашивали друг у друга — нужно ли отвечать? Солдат сказал:

— Нельзя говорить. По вы — француженка, поймете. В Лондон, к генералу... сражаться.

Аньес наивно ответила:

— Сражаться? Но ведь перемирие подписано...

Жак, возмущенный, крикнул:

— Кем? Предателями!

— Типе, — прыгнул солдат. Обратился к Аньес: — Война не кончена. Я был в Дюнкерке... Брат и Жак еще не призывались. Но теперь все честные люди должны сражаться... Что они сделали с Францией!.. В Бовэ... Нет, не хочу рассказывать... Нет, война еще не кончена. Генерал де Голль зовет все. Мы слушаем радио... Из Шартра нужно пробраться в Бретань. А там легко рыбки довезут. Главное, выбраться из Парижа... Я достал пиджак, плащ — но видите...

На нем были солдатские штаны. Аньес засуегилась: «Сейчас». Среди хама, брошенного беженцами, нашлись и брюки. Солдат примерил — все рад, смеялись: немного коротки, но сойдет...

Аньес вдруг сказала:

— У меня мужа убили на фронте. Зачем победа?.. (Ей показалось, что она спорит с Пьером; на минуту вспыхнула.) Важно другое: что на душе. А люди думают о границах, о карте...

— Мы думаем именно о душе! — закричал Жак. (И снова солдат прыгнул. Типе!) Да, да, о душе! Разве Франция — это на карте? Это вот здесь. Если ее не будет, я не смогу жить. А мне восемнадцать лет, я хочу жить!

хочу... Погибнем? Кто-то спасется. У вас — сып... Это и есть Франция. Разве не так?..

Она покачала головой: слова ее не убедили. Но, расставаясь с тремя юношами, она крепко поцеловала каждого, и на глазах у нее были слезы.

Потом она села возле Дуду, все плакала, плакала. Продолжалось это несколько минут; она-то думала, что прошло много времени. Вдруг вскрикнула, выгнулась к окну: два выстрела, и близко... Закричал проснувшись Дуду. С грохотом поддалась дверь. В комнату вбежали немецкие солдаты.

Аньес увидела французского полицейского, того, кто приходил прежде. Француз кричал: «Вот она!..» Немецкий офицер что-то сказал. Аньес схватила два солдата. Офицер говорил французам: «Как вы их прозевали?..» Плакал Дуду. Аньес потащила к машине. Ей выворачивали руки — она не чувствовала ни страха, ни боли. Пропеслось в голове: «А Дуду?..» Тогда она слабо вскрикнула. Немец сказал: «Это вам не любовные объятия...»

Ночь была особенно теплой. Аньес показалось: лес (за деревья она приняла дома). Потом ее провели по длинному коридору. Нашло кожей, калустой, мочой. Ее втокнули в пустую комнату. Это не тюрьма, подумала Аньес. Но что здесь было раньше?.. На полу пятно от чернил. Может быть, школа?.. Показалось смуглое лицо Пьера. Он заглядывал через плечо в никольную тетрадку и целовал, целовал... Какая яркая лампочка — у самого потолка! Она села на пол возле стены. Вспомнила: Дуду один... Ее охватило отчаяние, тихое и плотное, как обморок. Вдруг она вздрогнула: прочитала на стенке слова, напаранные гвоздем или булавкой: «Прощай, мама! Прощай, Франция! Робер». Почему Аньес захотелось принести: «Прощай, Дуду»? Почему это казалось ей облегчением? По гвоздика не было. Она посмотрела на свои коротко обстриженные ногти и заплакала. Потом подумала: они говорили, что прозевали. Значит, те спаслись. Пройдут к своему генералу... Как — милый... Из всех событий ее жизни сейчас это было самым важным: спаслись.

Ее повели на допрос. Немецкий офицер отослал переводчика: он хорошо говорил по-французски; зачем-то сказал Аньес: «Я два года провел в Гренобле. Красивый город». Был любезен, старался успокоить Аньес: «За вашим сыном ухаживают»; уговаривал: «Скажите, кто эти люди, и мы вас отпущу». Молчание Аньес его раздражило:

— Сударыня, у меня нет времени. Вы молчите? Следовательно, вы — английская шпионка.

Она кивнула головой:

— Да. — Ее глаза стали мягкими, нежными — такими они были в Вельвилле, под чердачным оконцем, когда Пьер смущался и бушевал. Она тихо продолжала: — Да. Шпионка. Зачем вы пришли к нам? Теперь все против вас. Даже дети. Я вам не скажу, кто эти люди. Слава богу, вы их не поймали. Это главное. А меня можете убить. Я не шутка — я даже стрелять не умею...

Она почувствовала, что теперь готова к смерти. Это чувство приподняло, веселило. Еще недавно она спорила с тремя юношами. Теперь ей хотелось повторять без конца их речи, здесь, перед этим розовым, опрятным офицером. Какой у него пробор...

Немец нервно отодвинул чернильницу:

— Довольно ломаться! Вы здесь не для деклараций, вы даете показания. Извольте отвечать! Вы знаете этих людей?

- Знаю.
- Кто они?
- Французы.

Офицер вышел из себя. Обычно корректный, год тому назад в Свиномюле пленявший дам хорошими манерами, он подбежал к Аньес и ударил ее в лицо. Она не крикнула; машинально поднесла руку ко рту и удивилась: кровь... Она была сейчас вне присущих человеку чувств, не испытывала боли, не возмущалась грубостью нарядного, надушенного офицера. Как будто ее напоили. Было это самоотрешением, подъемом; люблю, повторяла она, Дуду люблю, и Пьера, и отца, и Жака, и Робера, и тех, что в последний день Парижа спускались по горбатой улице, усталые, несчастные. Один сказал: «Прощайте...» Пет, здравствуй, милый!.. Вот мы и вместе!.. С Пьером... с Парижем...

Это она говорила на скамье в коридоре. Ее отвели к полковнику. У него был шрам на щеке, а рыбы глаза стояли. Полковник предложил Аньес сесть, сказал:

— Я хочу вас спасти. Скажите, кто эти люди? Неужели вам не жалко вашего сынишку? Я вам это говорю как отец — у меня две дочери...

Аньес изумленно на него поглядела; он вывел ее из другого мира. Ответила она глухо, как будто разговаривала сама с собой:

— Жаль сына?.. Пет... Я сегодня все поняла... Если один умирает, он кого-то спасет, обязательно спасет... Народ... Мой народ... (Она вспоминала, что ее допрашивают, встала, обычно сутулая, выпрямилась и заговорила чужим голосом.) Вы — отец? Цепрвада! Да вы знаете, кто вы? Бош! Бош!

Полковник позвал часового: «Уведите».

— А вам, сударыня, конец...

Глядя мимо него, она ответила:

— Не Франции... И не конец... Конца нет...

43

Дениз не кинулась к нему, не обняла его, ничего не сказала; она только не сводила с него потемневших глаз, и не то страх был в них, не то восторг.

Мишо улыбался; потом ему стало не по себе:

— Что с тобой, Дениз?

Он так мечтал об этой встрече! Девять дней тому назад он ударил часового камнем по голове. Камень был горячим от солнца. Короткая тень немца пропала. Мишо пролежал до ночи в овраге.

Одежду ему дала старая женщина; предложила остаться у нее до утра.

Он глядел на белую стену. А женщина перешивала пуговицы: поджав был ее покойного мужа, директора «Католического нагронажа Сен-Жюста». Мишо спрашивал: что в газетах? Она отвечала: газет теперь не читает, газеты стали немецкими. Стучали стенные часы. Паузы были длинными. Он сие они не думали. Изредка разговаривали, и странным был их разговор.

— ...Его Легре зовут. Тоже коммунист...

— ...Я живу на другой земле. Я верующая. А Гитлер...

— ...Ленавижу!..

— ...Потому я вас пустила. Они расклеили в Сен-Жюсте приказ: за помощь пленным — расстрел.

— ...Меня вели. Отложили на день. Утро было, птицы...

...Мне пятьдесят восемь. Это — близко от смерти, но это еще жизнь
перепуталось... Муж думал, что мы погибнем от вас. Я тоже так дума-
ла... Может быть, это было правдой — вчера... А теперь... Я получала
«Ордр». Дюкан писал, что коммунисты — патриоты...

— Дюкан понял поздно...

— ...А вы... все опоздали... И пришли они... Я думаю сейчас — где прав-
да — не на один год, постоянная?..

Ее мутные глаза остановились на гипсе распятия. Сквозь щель окна за-
горел рассвет. Перед Мишо была Дениз, горячая и живая. Он помял кепку,
проснулся.

И вот Дениз рядом. Но она не смеется. Он ее поцеловал — у нее холод-
ные губы.

— Дениз, что с тобой? Видишь, я ушел, спасся...

Она расплакалась, как ребенок, шумными слезами. Мишо успокаивал:

— Спасся... Не плачь, Дениз!..

Сквозь слезы она говорила:

— Мишо, ты меня поцеловал, и мне стало так страшно... Я не верю, что
я живая... Ты не понимаешь?.. Я не умею сказать... Мне кажется, что мы все
умерли... А живем для вида: немцы приказали...

Он не сразу ответил: не хотел признаться, что и сам не раз это чув-
ствовал после Арраса... Говорил себе: нельзя быть малодушным. Его поддер-
живал образ Дениз; он почему-то думал, что Дениз его встретит улыбкой,
теплой руки, жизнью; растерялся от ее отчаяния; молча глядя руку.

Это было в маленькой мастерской лудильщика, возле Порт де Версаль.
Здесь Дениз и Клод печатали листовки. До той минуты, когда она увидела
Мишо, Дениз была спокойной: говорила Клоду о борьбе, о силе, о победе.
Сейчас они были одни.

— Не плачь, Дениз...

Пришел Клод. Он не заметил Мишо, запыхавшись, радостно бормотал:

— Шрифт завтра будет. Понимаешь?.. — И вдруг крикнул: — Мишо! Ты?..
Теперь мы спасены, Дениз, мы спасены. Понимаешь?

Для Клода появление Мишо было победой, торжеством их дела. И его
радость вернула силы Мишо. Он понял, как его ждали; начал стыдить себя
(Дениз думала, что стыдит ее.)

— Будем работать. Это замечательно, что Клод с нами. Клод, замечатель-
но, что ты нашел шрифт. Будем печатать листовки...

Дениз вздохнула:

— Самое большее пятьсот...

— Для начала и это хорошо. Приходится начинать сначала. «Юма» пе-
чатала полмиллиона. А нас все-таки побили... Нужно пережить это время.
Сейчас все честные люди растеряны. А мерзавцы торжествуют. Я сегодня
видел листок Дорио. До чего он гордый! Можно подумать, что это он взял
Париж. Нужно все пережить. И главное — фашизм. Да ты понимаешь, что
это значит — пережить фашизм? Об этом будут писать, как об эре, тысячи
книг напишут. Через сто лет... А мы за нашу жизнь переживем и победим.
И еще как, Дениз!

Дениз схватила его за руки:

— Мишо!

Перед ней был прежний Мишо. Значит, и она живая. И жив Париж. И
можно это пережить, можно победить...

Блод сказал:

— У них большая сила. Каждую ночь проходят... Теперь они с-
идут — к морю. Хотят Англию взять.

Мишо усмехнулся:

— Хотят. Только неизвестно, возьмут ли. Разве они Париж взяли? Ц-
ним в рот свалился. А Черчилль все-таки не Иетэн... Я тебе не говорю;
у них мало сил. Сколько я танков видал!.. И порядок, все по-немецки,
сорвутся они, обязательно сорвутся. Может быть, в Англии, может быть
другом месте, не знаю, но сорвутся. Мы сильнее.

Дениз приподняла брови:

— Как сильнее?..

— Считай. Англия. То есть флот, авиация и парод. Америка. Завоев-
ные страны. Все народы. Норвегия, Голландия, Дания, Бельгия, Фран-
Польша, Чехословакия — семь, я на пальцах считал. Армии нет, но в
тоже сила. А в самой Германии, думаешь, нет наших? Есть. Погоди!.. А
ная сила — Россия.

— У них пакт, — вздохнул Блод.

— Ну и что? Гитлер обязательно нападет. Разве он может вынести,
такое государство существует? Это даже ребенок поймет... Здесь-то руссе
ему покажут. Мы увидим, Дениз, Красную Армию, обязательно увидим!

— Скажи — «и еще как!» (Дениз смеялась.)

— Скажу — и еще как!

Блод ушел за бумагой. Он шел и думал о словах Мишо. Если Мишо
ворит — это правда.

Блод улыбался — на грязной, заброшенной уличке полумертвого Пари-
глядел на немецких солдат и улыбался: он их не видел, он видел друг
крохотную красную звездочку среди белесого тумана. Худой, измучен
обострившейся болезнью и лишениями, он сиял, как ребенок. Ц, вынув
кармана кусочек мела, оглянулся, написал на серой глухой стене: «Гит-
начал. Сталин когчит» — и подмигнул дрозду — черному на сизом асфаль-

А в мастерской было тихо. Обнявшись, молчали Мишо и Дениз. Пот
высвободившись, Дениз сказала:

— Ты не знаешь, что стало с Парижем!.. Вчера я видела, как нем
ударил рабочего револьвером по голове... Тот свалился, а немец да
не обернулся... Жемье обвинили в том, что он слушает лондонское ра-
Его пытали два дня. Немецкий офицер сказал Мари: «У вашего папы п-
жак в крови. Принесите новый». Она принесла, офицер взял пиджак, ун-
а вернувшись, говорит: «Вы еще здесь? Чего вы ждете? Ваш отец уже
английском раю». Мишо, это — люди?..

— Нет. Фашисты. Я тоже видел... Ребенка... Нет, не буду рассказывать
Но счастье будет, Дениз, большое счастье! Неужели не веришь? Ты пой-
мы победим. Это совсем просто, как то, что день после ночи или весна пос-
зимы. Иначе и не может быть. Иначе не бывает. Какне у нас чудесные
люди! Душу отдать готовы. А кто у них? Грабители. Или выродки. Обяз-
тельно победим! И тогда будет счастье. Как о нем стосковались люди
О большом и простом счастье. Самом простом: жить, дышать, не болеть
шагов, не слушать сирен, нянчить детей, любить, вот как мы с тобой.
Будет счастье...

Она ответила торжественно, как аминь:

— Будет.

В то жаркое утро Андре долго отсиживался у себя на вышке: он боялся города. Вчера он узнал, что Лорье избили; кричали: «Жид»; сорвали мертвого глаза черную повязку.

Андре в ярости бегал ночью по мастерской: зачем был тот холм, та дружба? Его оставили, а Лорье куда-то увезли. Одним глазом он смотрит на этот страшный город. Город-предатель...

Зачем Андре вышел из своего убежища, зачем шагает по ненавистным улицам?

И снова красота любимого города вопреки всему овладела им. Париж опозоренный был все еще прекрасен. Сжимались кулаки, а глаза невольно любовались. Дымчатые дома острова Сен-Луи, таинственная, как Лета, вода Сены, бледное, едва намеченное небо — все это соблазняло и успокаивало: мы видели и не то, мы были, мы будем, мы — это Лютеция, корабль, город Париж.

Он пошел к Шатле. Дивился — все еще не мог привыкнуть к тишине. Исчезли автомобили; люди не смеялись, разговаривали вполголоса. А под аркадами улицы Риволи раздавался сухой четкий стук: немецкие солдаты шли в магазины или в рестораны, как на параде, отбивая шаг. Женщины были бледнее прежнего, то ли они перестали румяниться, то ли захирели. Все хотели взглянуть серее, ничтожней, неприметней. Андре подумал: как насекомые... Тело без души, архитектура, кости Парижа, не Париж, другой и чужой город.

И вдруг он вздрогнул от рева труб. Он не заметил, как дошел до площади Опера. На широких ступенях театра сидели немецкие музыканты, серо-зеленые, они дули в трубы. Было в немецком марше нечто оскорбительно убогое, родственное топоту под аркадами: жизнь отбивала такт солдатским шагом. Вокруг на террасах кафе вежились немецкие офицеры, окруженные нестрыми девушками. А небо было все тем же — высокое небо Парижа.

Андре прислонился к стене. Ему казалось, что он напряженно старается понять происходящее. На самом деле он не мог думать; на него снова нашло оцепенение. Несвязно мелькали отдельные картины: монокль в глазу офицера. Фонтан — нимфа с иessantим кувшином, высокая трава на дорожках Тюильри — не стригут, и холм, тот холм...

Его вывела из себя девочка: продавала вечернюю газету. Он брезгливо отмахнулся. Она шепнула, как заговорщик:

— Я знаю... У меня сестренка...

Он дал ей монету и случайно увидел на листе дату; не выдержал — улыбнулся: четырнадцатое июля... Может быть, поэтому немцы дули в трубы?.. И никто не помнит, что сегодня — праздник. Стоят в очереди за молоком. Нугливо прячутся в подворотнях.

Париж взял Бастилию...

Он увидел ночь, карусель с голубым слоном, каштан, фонарики. Где теперь Жаншет?.. Неужели и она бродит по этому проклятому городу, не узнает знакомые дома, вместо друзей встречает серо-зеленых?.. Или уехала, спаслась?.. Но куда можно уехать от такого горя, где спастись?.. «Обманутой дано мне умереть». Тогда это были слова рекламы. Никто не хотел понять, что ночью кричит одинокая женщина, что с ней кричит Франция, мертвая, в дорожной пыли, в крови...

Он говорил это себе, уже взобравшись в свою мастерскую, стоя у окна. Улица Шерш-Миди... По ней идут немецкие солдаты. Жозефина сегодня сидит в зале: «Открою ресторан — нужно жить...» Она поглядела на Андре унизко, по, как будто он ее оскорбил своим молчанием. Да, она будет варить суп для немцев. Сапожник будет им набивать подметки. Цветочница умрет. Идет другая и протянет букетик тому, с моноклем... Улица, как Париж: в кому не дано выйти из этого круга; нет, выход есть: можно повеситься в этом крюке.

И Андре больше не мог отвести глаз от черного значка на серой стене. Он застеснялся, услышав, что стучат в дверь: как будто его накрыли на чем-то недозволенном; и, только подойдя к двери, подумал: кто это может быть? Если они... и не додумал.

В мастерскую вошел немец. Увидев серо-зеленую шинель, Андре улыбнулся: — В общем так лучше... Можете меня вести — вешей с собой я возьму...

— Вы меня не узнали?.. Я жил у госпожи Коад. Мне очень понравились ваши пейзажи. Мы с вами познакомились в кафе «Курающаяся собака»...

Немец хотел обязательно поздороваться, но Андре не подал руки.

— Помню. Вы занимались рыбами. Это называется... Забыл слово.

— Ихтиолог.

— Да, кажется, так. И вы мне сказали, что Париж будет уничтожен. Наверно, вы занимались у нас не рыбами, а шпионажем. Знали все тайны берлинского двора. Ну что, вы довольны? Париж вы, правда, не уничтожили. Нужно вам где-нибудь стоять, вот и выбрали городок. (Андре подошел вплотную к немцу.) Вы думаете, что вы взяли Париж? Глупости, сударь, ваша больная фантазия! Париж ушел. Вы скажете, что возвращаются. Ну, отрицаю. Жозефина ресторан открыла. Возвращаются люди, а не Париж. Париж не вернется. Его сейчас нет. Нигде. И довольно разговоров! Ведите меня...

— Куда?

— Ну знаю. Вам видней. В комендатуру, к стенке, в яму, чорт вас побери!..

Немец молчал. Андре продолжал ругаться. Наконец немец сказал:

— Зачем обижать?..

— Вас нельзя обидеть. У вас танки — раз, бомбардировщики — два, пулеметы — три, автоматы — четыре и ваша тупая голова — пять. А что у меня? Вот этот крик... Ведите меня или я вас задушу.

— Мне некуда вас вести. Я даже не знаю, зачем я к вам пришел... Очевидно, вспомнил, и потянуло. Сегодня лейтенант мне сказал, что я плохой немец. Странно... Может быть, завтра меня расстреляют.

— Вот как... — В голосе Андре не было ни удивления, ни сочувствия. Он, раздосадованный, пожал плечами: он ждал смерть, а вместо нее оказался ихтиолог с переживаниями. — Что же вам не нравится? Харчи? Или боитесь, что вас скушают ваши рыбы в Ламанше?

— Не умею объяснить. Что мне не нравится? Мои соотечественники в Париже. Мне не нравится, что я — у вас... Вот в этой шинели...

— Угу! Вы вель эстет. Печельные тона и прочее. А вы понимаете, сударь, что я — француз?

— Понимаю. Это и мешает мне говорить. Я думал, что мы люди одной культуры. А между нами ров. Не знаю, чем его можно заполнить...

— И я не знаю. — Голос Андре стал мягче. — Должно быть, кровью...
Без крови здесь не обойдется...

— Разве ее мало?..

— Много. Но не та... А теперь уходите.

— Я знаю, что должен уйти. Все это очень неуместно. Мой визит глуп. Я вам задам сейчас дурацкий вопрос... Почему-то меня это мучило... Относится к грамматике. Эта улица называется Шерш-Миди, то есть «ищу полдень»... Почему?

— Так звали когда-то нахлебников, они искали, где бы пообедать задарма. Вроде вашего Гитлера. А имя хорошее. Ищу полдень... Только улица не искала... Здесь здорово спали, ставни закрыты, перины. Улица искала почь... И вот пришли ваши...

— Вы думаете, мне легко? Нельзя жить, как мы живем. нас все ненавидят. Я шел вчера по улице Монж. навстречу шла женщина. Увидела меня и шарахнулась — как от смерти. Я лично никого не убивал, но это не имеет значения. Я мог бы сказать: виноват Гитлер. Это самое легкое... Но это неправда: виноват и я. Нужно сделать выводы... Постараюсь. До свиданья.

— Прощайте. Может быть, завтра вы окажетесь хорошим человеком, но тогда я вас не увижу. Теперь честность приходится доказывать кровью, вот какое подлое время! И ничего нельзя понять... Зачем вы пришли сюда? Вздор! Будь вы коммунист — дело другое. Эти могут что-то сделать. У нас они чуть было не победили. А теперь — Тесса и ваш лейтенант... Но что вы будете делать? Вы — один в поле. Впрочем, и я один. А вместе из нас двое, вместе мы ноль. Между нами жизнь. Если вы хороший человек, вы меня не осудите за то, что я вас плохо принял... Вы были немцем из Любека. Чудак. Пили кальвадос... А теперь вы серо-зеленый... Все дело в Париже...

Немец ушел, и Андре как-то сразу забыл о нем — будто никто не приходил. Прошелся несколько раз по мастерской. Голубые сумерки ввалились в окно. Пейзаж висел против окна, и Андре, остановившись, глядел: карусель, каштан, фонарик, тень вдаль. Это было тоже четырнадцатое июля. Жаннет тогда еще улыбалась. Париж еще танцевал, ходил с флагами, надеялся... В другой жизни... А написано хорошо. Это его лучшая работа. Это и есть Париж. Париж остался. Сожгут музеи, уничтожат картины — все равно Париж останется.

Андре улыбался. отошел к окну. Улица Шерш-Миди. Закрыты наглухо ставни, а на фасаде, как всегда, черные переплеты. В чердачном окне мертвый цветок. Бродят голодные коты, плачет цветочница, кричит новорожденный. Улица «Ищу полдень»... А полдень я найду, обязательно найду — свет и праздник в небе — мед, маки, лазурь. — Париж днем...

Он не слышал, как, надрываясь, кричал громкоговоритель: «Заходите в дома. Время! Время!»

Август 1940 — июль 1941 г.

Конец

ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ

ЦИКЛ СТИХОВ

1. ПАРТБИЛЕТ

Его пашли в почи на поле боя.
Раскаты грома глухо улеглись.
Лишь редкой молнией голубую
вдали огни сигнальные рвались.
Полк наступал. За рощицей

недальней
в ночную мглу ряды бойцов ушли.
Мы молча шли долиною печальной,
где наши братья в битве полегли.
Боец лежал как будто на привале,
но нам тревогой стиснуло сердца.
Склонились мы и партбилет
подняли,
лежавший возле сердца у бойца.

Мы дальше шли. Ни слова меж
собою.

И лишь когда зарозовел рассвет,
в степной тиши, уже привыкшей
к бою,
мы молча разглядели партбилет.
Насквозь пробитый пулею лихою,
загородивши сердце, сколько мог,
он как свидетель гибели героя
ворвался в мир моих ночных тревог.
И долго я молчал над ним,

пробитым
горячей виноградной свинца,
над книжечкою, что в бою
открытом
лежала возле сердца у бойца.

И я за ней увидел в жарком спл
и в майском нетерпении своем
волной певучей в солнечном
простор
все то, что в мире жизнью мы
зовем

Боец, порывом движимый единым,
жил молодым и умер молодым.
И, словно мать над преданным ей
сыном,
склонилась тихо родина над ним
На зов ее, ее подвластный воле,
он от беды не отвернул лица.
Так мы нашли бойца в туманном
поле
и партбилет на сердце у бойца.

Товарищ мой! И мы на поле боя,
быть может, встретим свой
последний час.

Встает рассвет за далью голубую,
дымок сражений обвеивает нас.
Встает рассвет, холодный, мутно-
ватый.

За рощицей стрекочет пулемет.
И по пути бессмертья и расплаты
Лавиною полки идут вперед.
Всегда вперед идти в бою открыто
Мы поклялись сражаться до конца
над партбилетом, пулею пробитым,
что был в бою на сердце у бойца.

Перевод с украинского
М. АЛИГЕР

А если я в сраженьи упаду
на мерзлую седую борозду,
раскинув руки, точно для
объятия,
и мимо, не успев сказать
«прости»,
на запад, не замешкавшись в
пути,

пройдут мои товарищи и братья
и только родина, склонясь ко мне,
сорвав ремни, найдет на сердце
сидя
тот, не сгоревший ни в каком
огне
комочек земли горячей, Украина!

Перевод с украинско
М. АЛИГ

3. ПУТЬ

Я помню сердцем город за
Днестром,
где плыл по небу месяц, как
царем,
где шелестели в яворах сады,
где осенью кленовый лист кружил,
где и мои впечатаны следы, —
тот милый край, где я любил и
жил.
Где этот город? Нет его. Над ним
холодный сумрак, тишина и дым.

Я проезжал тем городом в ночи.
Ни огонька в окнах, ни свечи.
И был лишь слышен рев
грузовика,
да месяц из-за тучи выплывал.
Всю славу, что сулили мне века,
я б за огни в том городе отдал.
Полузакрытых фар сырая муть...
Какой холодный и тревожный
путь!

Какой холодный и тревожный миг!
Какую боль внезапно я постиг!
Еще лежат над водами мосты,
еще блестят песчинки под луной,
но это сон, и ты уже не ты,
и мир лежит вокруг тебя иной.
Все изменилось: запахи, цвета,
и ты не тот, и жизнь твоя не та.

Не так давно я в этих был
местах.
Весна бродила в молодых полях.
А нынче кто бредет по степи той?

Кто спит у этих выбитых дорог!
О чем поют столбы над головой!
И кто вчера о том подумать мог!
Прянула проза, гремит недобрый
грем
над всем твоим покоем и добром.

Отвечу я ударом на удар.
Я слышу рев покинутых отар.
Из милых сел вдоль черных
смятых нив
выходят люди, без дорог, вперед
И ветер ночи, пламя подхватив,
павлиний хвост пожара развернет
Над степью поднимается туман.
В леса уходит хмурый партизан.

Товарищ давний мой, пойдем,
пойдем!
Вернемся мы в родной наш край,
в наш дом.
И будет снова в окнах свет

зажжен,
и мы пойдем на зов родных огней,
и мы опять обнимем наших жен,
пускай родят нам новых сыновей.
Для них одних нам суждено
пройти
почных боев железные пути.

Мне суждено пройти сквозь эту
ночь
и холод этой правды превозмочь,
затем что я мужчина и солдат.
Пора, пора! Пробыл великий час.

Кто взял винтовку, не свернул
назад,
кто на плечо надел противогаз,
пусть знает тот, пусть твердо
верит тот:
дождной горя к счастью он идет,
товарищ давний мой, пойдем,
пойдем!

Вернемся мы в родной наш край,
в наш дом.
Когда не я, то, может, ты придешь
и дверь мою решишься отпереть,
мои огни в моем доме зажжешь
и песнь мою осмелишься допеть.
Так пой и знай, что я нашел в бою
и славу, и любовь, и честь свою.

*Перевод с украинского
М. АЛИГЕР*

4. РАЗВЕДЧИК

Не зашуршит ковыль густой,
сучок не треснет под ногой,
не просквозит туман.
И в дождь, и в темь, и при
звездах,
бесшумно крадучись в кустах,
в руке зажав наган,
с гранатой верною сам-друг
разведчик полем, через луг
ползет во вражий стан.

Он переходит речку в брод,
след вражий ищет, и найдет,
и снова в ночь нырнул.
Мотоциклисты у реки,
везут солдат грузовики,
и танков рев и гул.
А он уже среди села,
густа, слепа ночная мгла,
но штык вблизи блеснул.

Он видит: в темноте ночной
стоит фашистский часовой —
склонилась тень на тын.

Он слышит: тишину на миг
взорвал предсмертный женский
крик.

Шаги... и гарь руин.
И снова тьма и тишина,
и сон у каждого окна,
лишь он не спит один.

Ползет... Удар по голове —
и часовой лежит в траве.
и в штаб проходит он.
Шесть офицеров у стены
снят, видят золотые сны,
и каждый осужден.
И смерть у ложа их стоит
и неусыпно сторожит
последний краткий сон.

Разведчик вышел за порог.
Увидел все, и все сберег
он в памяти своей.
Он выползает из села,
его теплом объемлет мгла,
а тень еще черней.
Их планы он унес с собой,
они решат грядущий бой, —
дойти бы лишь скорей!
Ползи, разведчик, меж кустов,
через болото, через ров,
засады не страшись!

Ползи, разведчик, знаешь сам,
зачем идешь, что надо нам, —
в пути поторопись!
Ползи, разведчик, сквозь камыш.
сквозь темный лес, обратно лишь
с удачей возвратись!

*Перевод с украинского
А. ГЛОБЫ*

5. ПАРТИЗАНСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

За окном метелица
Встала до небес.
Тропка полем стелется
К партизанам в лес.

Петухом глубокая
Полночь пропоет.
Люли, яснокая,
Батько к нам придет!

Под метелью зыбкою
Бездорожный путь.
Над твоею зыбкою
Сядет отдохнуть.

Налетит буранами
Снежный листопад.
Скажут — партизанами
Мост над речкой снят.

Рыкнет ночь зверюгою,
Выбежит в луга.
Балкою, яругою
Будут гнать врага.

Лугом и долиною
Побежал туман.
Зацветет калиною
Ночка партизан.

Петухом глубокая
Полночь пропоет.
Люли, яснокая,
Батько к нам придет!

Тропка полем стелется
К партизанам в лес.
Звездная хуртелица
Встала до небес.

*Перевод с украинского
А. ГЛОБЫ*

ПАВЕЛ НИЛИН
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

П о в е с т ь

...На наших глазах умирали
товарищи,
По-русски рубаху рванув
на груди.

К. С и м о н о в

Поздно вечером 16 октября 1941 года Митя Попов узнал, что его, наконец, отправляют на фронт. Он попросил разрешения на три часа отлучиться из казармы и рано утром пошел попрощаться с бабушкой, вдовоем с которой они прожили все эти пятнадцать лет в маленькой комнатке в Звопарском переулке.

Был шестой час утра. На улицах Москвы по-осеннему еще было темно, холодновато и влажно. И по темному небу еще бродили голубые лучи прожекторов, всю ночь охранявшие московское небо.

Митя шел по Арбату и все время поглядывал на небо, где лучи то скрещивались, то расходились, то снова скрещивались. Они торопливо искали того-то. Наконец нашли.

Митя остановился на углу Пикитского бульвара.

В голубых лучах возникла чуть заметная, молочного цвета, точка. И сейчас же загремели, застучали зенитки, озаряя темное небо огненными пятнами разрывов.

Но голоса сирены в это утро не было слышно.

Впрочем, теперь уж и заунывный голос сирен, извещавший о воздушной тревоге, не сильно волновал большинство москвичей. Привыкли. Ко всему можно привыкнуть...

Митя Попов, минуты две посмотрев на небо, медленно побрел через площадь.

И тут его чуть не сшиб огромный грузовик,

Доверху заваленный узлами и пабитый пассажирами грузовик стремительно продвигался по улицам Москвы.

Митя сердито проводил его глазами и перешел на тротуар, по которому необычно для раннего часа спешили по-особенному озабоченные пешеходы.

Москва, казалось, и не засыпала в эту ночь, взволнованная тревожными сведениями с фронта. По радио еще вчера объявили, что положение наших войск ухудшилось, что немец прорвал линию нашей обороны и озверело двинулся к Москве.

Митя вернулся на трамвайную остановку и, схватившись за поручни тронувшегося трамвая, повис, как и десяток пассажиров, на подножке.

Через минуту, однако, он стал пробираться в вагон.

В трамвае в это утро, несмотря на тесноту, несмотря на страшную давку никто все-таки не сорвался. Никто не советовал соседу пересеть в та- ежыи он такой важный. Никто не осуждал соседку за то, что она намазала губы и покрасилась, как свишня. Все, будто сговорившись, молчали. И в трамвае стояла необычная, невыразимо-грустная тишина.

Большое горе обрушилось на плечи народа и разом притушило все домашние ссоры. Надо было думать о главном. Надо было во что бы то стало остановить немца. Во что бы то ни стало. Или...

У Трубной площади Митя, зажатый со всех сторон пассажирами, с трудом выпрямил свое крупное тело, протиснулся на переднюю площадку и вышел из вагона. Пошел по Пеглинной. Потом свернул налево, в Звонарский переулок.

Из узкого, горбатого переулка с горы скатился, грохоча, навстречу тяжелый грузовик с домашним скарбом.

Митя вошел в подъезд, где в глубине над лестницей горела синяя, бесшумная лампочка и лежали мешки и мешочки с песком. Песком в Москве тушили зажигательные бомбы. Все напоминало о войне. Митя просунул в скважину ключ, открыл входную дверь и, удивленный тишиной после уличного грохота, вступил в полутемный и длинный коридор.

В пустышном этом коридоре лет еще десять или двенадцать назад он по утрам скакал верхом на палке, воображая себя неустрашимым наездником и мешая спать соседу-бухгалтеру, утверждавшему в гневе, что из мальчишек этого, вот посмотрите, обязательно вырастет разбойник-конокрад или, в худшем случае, ломовой извозчик. И в этот час, когда Митя Попов, не став ни извозчиком, ни конокрадом, шел по темному коридору, бухгалтер, наверно так же спал, как и пятнадцать лет назад в этот час. А Митя пришел и шатается. Кто знает, может быть, он идет по этому коридору последний раз.

Выключатель был у самых дверей комнаты. Митя нащупал его впотемках над столом заглясь маленькая лампочка.

Бабушка сейчас же проснулась. Увидев Митю, она поспешно выпростала ноги из-под одеяла и, как была в байковом капоте, заторопилась, забегая как мышь.

— Не бегай, бабушка, — хмуро попросил Митя. — Я все равно чай пить не буду. Я пришел попрощаться.

— Уезжаешь, значит? — вздохнула бабушка. — Птенчик ты мой ясный!

Бабушка заглянула снизу вверх в серые его глаза:

— А далеко уезжаешь-то, Митенька?

— Обыкновенно, на войну. Куда все...

— Ну, где там все, — возразила бабушка и сразу затараторила: — Вон из седьмой-то квартиры жильцы все целиком уезжают, полным семейством в Ташкент. И из пятой жилецка тоже уезжает.

— Ну, это меня не касается, — опять хмуро сказал Митя. Он недолго стоял посреди маленькой комнаты, высокий, даже выше, чем был, как показалось бабушке, и невеселый.

Потом он снял со стриженной головы пилотку, сбросил на сундук шинель, выдвинув нижний ящик шкафа, принялся рыться в нем.

Бабушка все-таки побежала на кухню, поставила чайник на плитку и

вспрыснул в комнату, присела на корточки около внука, стоявшего перед бабушкой на коленях.

— Значит, Митенька, тебе и ружье дадут?

— Ну, а как же, раз я минометчик?

— Кто?

— Минометчик.

— А, — сказала бабушка удовлетворенно. — Значит, при кухне будешь ходить?

— Зачем при кухне? — вдруг обиделся Митя. — Я же тебе объясняю: минометчик. Значит, я буду у миномета.

— А, — опять сказала бабушка. — Ну, это тоже ничего. Лишь бы в тепле. Непонятно, почему ей казалось, что у миномета будет обязательно тепло.

Митя не стал разочаровывать ее, хотя уже довольно хорошо представлял себе, как будет тепло у миномета.

Бабушка устала сидеть на корточках. Она отошла от внука и принялась доставлять на столе посуду. Потом опять спросила:

— А правда, Митя, говорят, будто ихний главный, этот самый... Гитлер, то ли... уж больно добровольцев не любит? Он их, говорят, в первую очередь казнит. Не любит...

— А я его люблю? — сердито спросил Митя. И, продолжая рыгаться в ика-у, посоветовал: — Ты, бабушка, в политику не лезь...

— Я не лезу, — сказала бабушка. — Я только к слову говорю. Вдруг... какое может случиться. Вдруг, не дай бог, он тебя поймает. Скажут, дозволец...

— Я тебе, бабушка, русским языком говорю: ты в политику не лезь, — опять попросил Митя.

— Да я не лезу, — сказала бабушка. — По ведь я тоже не каменная. И собаке и той свое дитя жалко. А я ведь тебе родная бабушка.

И негромко заплакнула.

Митя вдруг встал, выпрямился, даже покраснел:

— Чего ж ты мне советуешь? Убежать, скрыться?

— Боже тебя упаси, — испугалась бабушка. — Мы, слава богу, русские люди. Куда же мы из своей земли бежать-то будем? Я только к слову говорю, многие уезжают. Говорят, он прямо железными танками на нас идет. сила у него громадная. И солдат много, и оружия разного.

Митя помолчал, походил по комнате. Потом спросил мягко:

— Желаеть, бабушка, я тебя тоже эвакуирую?

— Ну, уж куда мне, — сказала бабушка. — Я и молодая-то была не эвакуировалась. А теперь-то уж, на старости лет...

После этого они молча пили чай. Было слышно, как в кухне в раковине зашуршала вода, в коридоре шлепал туфлями, отхаркивался бухгалтер.

Мите вспомнилось почему-то детство и как спал он вот на этом коротеньком сундучке, где сейчас лежит его шинель.

Как его, маленького, трехлетнего, после смерти отца привезли сюда, к бабушке, он уже не помнил. Но как спал на этом сундучке, он еще не забыл.

Потом он вырос и спал на полу. А когда он кончил учиться и стал работать, купили вот этот диван. И он спал на диване.

Удобно ему было спать. Около дивана — лампочка. Прикрасишь ее ночью чистой и читаешь всю ночь, а под утро, чуть вздремнешь, бабушка тянет за щею: «Митя, Митя же, Митька! Опоздаешь...»

П И бывало жалко бабушке Митю. По Митя выпрыгнет из-под одеяла, жит в трусах на кухню, обольет себя холодной водой и через минутку, лый, натягивает штаны и жует ломоть батона, схваченный со стола, бабушка достает из шкафа чашки.

— Ух ты, птенчик мой, голодный, — говорила бабушка, торопясь с чаем. Птичка ты моя, утренняя, веселая.

Был он уже рослый, сильный, мог, как куклу, взять бабушку на ру. Но для бабушки, в бабушкиной ласковой памяти, он навсегда остался маленьким и тшедушным, как пятнадцать лет назад, когда приняла она его из р. чужой, сердобольной тетки и впервые, тепленького, прижала к сердцу.

Говорили, будто девушка у него есть, будто видели его с ней в Пар культуры и отдыха. Даже смеялись соседки: «Погоди, вот он тебе еще дет своих приведет. И жену». Бабушка смеялась со всеми, а про себя чистос. дечно думала: «Брешут. Рано еще мальчику».

А сейчас вот этот мальчик едет на войну.

— Митя, — сказала бабушка, доливая в чайник кипятку. — Это как обстригли-то тебя? Сам просился или велели? Волосы-то какие были бы. тые. Не жалко тебе?

— А чего жалеть, — сказал Митя.

— И правда, — сказала бабушка, всхлипнув. И вдруг по-настоящему плакала.

В дверь постучал бухгалтер.

— Имейте в виду, — чуть приоткрыв дверь, сказал он, — управдом пре. упредил, что, в случае чего, все должны идти в бомбубежище. Без всякого исключения.

— Покогда мне ходить, — сказала бабушка, вытирая слезы. — Я вон в ка на войну провожаю.

Бухгалтер пошире приоткрыл дверь и, наконец, вошел в комнату, в шл папках, в нижней рубашке, с подтяжкам, болтающимися, как раздвоенный хвост.

— А-а, Дмитрий Васильевич...

Впервые он назвал Митю Дмитрием Васильевичем. И лицо бухгалте стало торжественным. Он протянул Мите руку, Митя встал.

— На фронт едете? — спросил бухгалтер, потому что больше пока неч. было спросить.

— Добровольцем пошел, — сказала бабушка, и в голосе ее на этот прозвучала гордость. Она вытирала полотенцем слезы.

Бухгалтер, будто увидев впервые, внимательно осмотрел Митю. И все, димо, понравилось ему в этом молодом человеке. И глаза, светлосерые, уш. мые, и плечи, обещающие еще стать богатырскими, и грудь, широкая, вы. пуклая.

— Да, — сказал бухгалтер, вздохнув. — Лучших своих детей посыла. родина. Лучших своих детей...

Он замолчал на минутку. Потом вдруг обнял Митю и сказал потрясенн.

— Ну, давайте простимся, Дмитрий Васильевич. Не поминайте лихо если я вам когда-нибудь что-нибудь сказал. Или подумал...

И в стариковских глазах его блеснули слезы. Не вытирая их и не скрыва. он еще, непонятно зачем, сказал:

— Стыдно мне перед вами, Дмитрий Васильевич. И того, что я стар. хрыч такой. И того, что я бомб ихних боюсь. И за всю свою жизнь стыдн.

Митя стоял растерянный.

Бухгалтер еще раз пожал ему руку и вышел из комнаты так же, как вошел, внезапно, оставив после себя непонятную и тяжкую тоску, впервые встревожившую душу молодого человека.

Бабушка тихонько плакала на кухне.

Митя взглянул на часы и стал собираться. Он засунул в карманы шинели три пары носков, вынутых из шкафа, шесть носовых платков, бритву в бумажке. Потом осмотрел комнату, чего бы ему надо было еще взять.

Увидел на стене гитару, снял ее с гвоздя, положил па колени и неожиданно для себя заиграл цыганский романс.

В романсе были странные, смешные и все-таки грустные слова:

...Ты ушел, и твои плечики
Ушли в ночную мглу...

Митя пропел их негромко, и ему показалось, что это какая-то девушка поет про него, ушедшего на войну. Может, это Надя Хмелева поет. Интересно, где она сейчас, Надя Хмелева?

Бабушка вернулась из кухни, уже наплакавшись всласть, и опять деловатая, как ни в чем не бывало.

— Чего бы тебе, Митя, с собой взять?

— Да я уже взял. Ничего мне больше не надо. У меня все есть.

— Хоть бы конфетки и вон сушки взял.

— Да на что они мне? — несердито сказал Митя.

— Ну как же все-таки, даже без конфеток, — сказала бабушка и стала завязывать конфеты и сушки в пестрый узелок. — Отца твоего я вот так же собирала в четырнадцатом году, — вспомнила она. — Он не женатый тогда был. Красавец, как вот ты. Представительный. В конном полку служил...

Бабушка много раз описывала внуку его отца, которого мальчик помнил только по фотографии.

Война изломала его отца. Мать Мити, вышедшая за калеку из жалости, вскоре оставила его. И где она теперь, его мать, никто не знает. Может быть, тоже умерла, как и отец.

Митя повесил гитару на гвоздь. «И отца я им тоже припомню, — вдруг зло, и со зла прикусив губу, подумал он про немцев. — Убью, сколько смогу, потом видно будет. Не мы первые начинали». Но, повернувшись к бабушке, он сказал совсем другое:

— Я прошу тебя, бабушка, гляди за гитарой. Будут тут соседские девчонки просить, ни под каким видом не давай. Они ее расстроят. — И вдруг так же зло, как в мыслях, добавил: — А то я за гитару могу голову оторвать.

— И мне? — обиженно спросила бабушка.

— Про тебя нет разговору, — ответил все еще злой Митя. Внутри у него все кипело. Не мог же он объяснять бабушке, кому он хотел бы оторвать голову.

Гитару он снова снял с гвоздя. Расстелил на столе две газеты и аккуратно завернул в них гитару:

— Приеду, опять сыграю.

Бережно повесил гитару на гвоздь. Надел шинель и, держа в руках пилотку, сказал:

— А ты, бабушка, не беспокойся. Будешь за меня полную зарплату и часть. Кормись, как раньше. Ничего для себя не жалея.

— Для чего мне зарплата, — сказала бабушка. — Я в таком случае работать пойду. Говорят, теперь старух берут vareжки красноармейцам зать. Что я, выболела, что ли?

Митя наклонился, обнял бабушку и троекратно крепко ее поцеловал.

Бабушка не плакала больше. Глаза у нее были сухие и как будто слезы. Она смотрела на Митю прямо. Но говорила, не пряча сердитых и очень грустно и очень ласково:

— Ты меня, Мителька, прости па добром слове. Я тебе никогда ни худого не присоветовала. И сейчас говорю... Уж раз поехал ты на вой поезжай. И помни одно. Я няньчила тебя, Митя. Ты слабенький был, совсем хворал. Я выняньчила тебя, вызволила от смерти. И видишь ты, как слава богу, вымахал. Власть учила тебя на свой счет, пособие давали. дорогой цены человек, Митя. Помни это, — подчеркнула она с внезапной яростью. — И уж если полетит в тебя пуля, не бойся. Бей их, дьяволов-вососов, в хвост и в гриву, чтобы только шкурка ихняя поганая ключьями них летела... — И добавила как по секрету: — Сила в тебе, Митя, против немцев должна быть громадная. Ты один можешь десять задавить. Помни это, Митя. Ты хорошей русской крови человек.

Бабушка вышла провожать его в переулочек, где попрежнему катились горы грузовики, наполненные узлами. И в переулочке бабушка еще сказала:

— Помни, Митя. Чтобы никакого сраму нам не было. Чтобы в случае чего сам товарищ Сталин мог сказать, вот, мол, глядите, какого нам солдат красноармейца старуха Попова представила. Хоть, мол, он и не призывает еще...

Митя улыбнулся. Бабушка тоже улыбнулась. И они поцеловались еще раз. Митя, вдруг повеселевший, пошел вниз по переулочку.

По Неглинной мчались грузовики.

День был пасмурный, осенний и по-осеннему — грустный.

По Митя Попов, шагая по улице, вспомнил другой день, один из последних дней золотой осени, когда он поговору с друзьями записался в добровольцы. Они шли тогда по улице в пиджаках, в легких летних сандалиях, злые вые заводские парни-одногодки, одинаково обиженные, что их не взяли в регулярную армию, потому что еще не подошел их год. Они шли по улице гордо вступать в добровольцы.

А теперь он шел по улице один. Про некоторых ребят было слышно, они уехали раньше него на фронт. Про других ничего не слышно. Непонятно например, где сейчас Петька Шелконогов, Сережка Князев или Аркаша Вятин. Говорили, будто Аркашу Девятина убили. «Вранье, наверно, — думал Митя. — Не может быть!»

Митя не хотел поверить, что убили лучшего его друга Аркашу Девятина. И, шагая по улице, он вспоминал его, живого, веселого, шедшего с ним рядом в тот последний день золотой осени, знойный день, когда они записались в добровольцы. Под ногами был еще, кажется, горячий асфальт.

Митя шел теперь по холодному асфальту. Шел рассеянный, погруженный в воспоминания. Медленно шел среди торопящейся куда-то толпы.

Однако в казарму он явился в точно назначенное ему время.

В казарме был в этот час только один Воистинов. Не молодой уже человек, бывший каменщик и верхолаз, он сидел сейчас в большом светлом зале около своей койки и, прилаживая тесемки к вещевому мешку, мурлыкал какую-то песенку.

Лицо у него было темнокоричневое, сухое, как на иконах старинного письма, но освещенное добрыми, детскими глазами.

Увидев Митю, он заулыбался:

— Ну, как там, сынок, дела? Чего слышно в Москве?

— Уезжают, — сказал Митя. И присел около Воистинова на сапожничью пизенькую скамеечку. — Все время идут грузовики...

— Ну, это правильно, — умиротворенно сказал Воистинов. — Детшек мало вывезти...

— Да не только детшки, — сказал Митя. — И взрослые тоже уезжают. С учреждениями...

— И это правильно, — подтвердил Воистинов. — Для чего нам падо, чтобы он у нас невоенный народ покосил? Пусть, кто сейчас тут до крайности не палобен, уедет. А кто потребуется, того призовут...

— Тебя же, дядя Костя, не призвали. Ты же сам добровольцем пошел, — напомнил Митя.

— Мало что я, — сказал Воистинов. — Меня с другими равнять нельзя. У меня есть свои соображения жизни. Я, например, не люблю, когда за меня воюют. Попятно?

— Не все, — сказал, улыбаясь, Митя.

— А всё понять, милый мой, невозможно, — вздохнул Воистинов. — Все, наверно, и слон не понимает, хотя, гляди, у него башка какая, а турки на нем верхом ездют в жарких странах...

Шуткой Воистинов прикрывался всякий раз, когда у него допытывались, зачем он почти на старости лет пошел в добровольцы.

— Да я и не старый, — говорил он, и глаза его насмешливо искрились. — Давай поборемся.

И он вдруг распрямлял свое тело, гибкое, как у молодого, и вытягивал длинные, сильные руки с тяжелыми, как клещи, кистями.

Человек этот постоянно удивлял Митю. Был он не похож на кругих людей и лицом, и манерой говорить, и повадками, и хитрепой, иногда светившейся в его наивных детских глазах. И фамилия у него была какая-то странная — Воистинов. И он гордился своей фамилией:

— Нашей фамилии даже в московской телефонной книге нету. Уж каких, каких там фамилий нет. А нашей нету... Из Сибири восходит наша фамилия. Прадед наш из Сибири. Мы, Воистиновы, все скрозь, — каменщики и верхолазы, изначальные. Сколько перьев в России мы облагодетельствовали колокольнями...

И опять невинно и насмешливо улыбался.

Митя как-то спросил:

— А семейство у тебя есть, дядя Костя?

— А как же, — сказал Воистинов. — Что я склопец, что ли, или святой Угодник? Ты для чего это спрашиваешь?

— Просто так, — сказал Митя. — Я думал, может, у тебя семейства нету.

— Нет, семейство у меня есть. Шесть дочерей, два сына. Оба каменщики. Оба воюют сейчас. Один лейтенант.

— Вот тебе бы сейчас к сыгу и устроиться, — сказал Митя. — лейтенант.

— А зачем мне свой? — спросил Воистинов. — Мне и так не плохо, своих детей еще под начальством не был. Я пока не хвораю. Я сам же

В казарме было много людей. Были тут и молодые, как Митя, и пожилые, как Воистинов. Было два инженера, один повар, четыре бухгалтера, библиотекарь, семь маляров, три слесаря, четыре учителя, один дворник, два официанта, два водителя троллейбуса, два кузнеца, три художника, парикмахер, восемь электромонтеров. Были два писателя и один немой профессор.

Все они имели свои гнезда, свои квартиры, свою работу. У многих — И все это они добровольно оставили, чтобы в час наивысшей опасности оружием защищать Москву.

Инженер Кателин, например, всей семьей вступил в добровольческий отряд. Сам он стал пулеметчиком. Дочка Вера — санитаркой. Два сына Иван и Жора — стрелками. Жена Евгения Васильевна стала медсестрой.

Ведь они тоже могли, в крайнем случае, уехать куда-нибудь в Актюбск или в Бухару или в Новосибирск. Но не уехали. А почему?

Митя Попов несколько не удивлялся, что сам он пошел в добровольцы. Ему было интересно, почему другие, разные, непохожие на него, тоже пошли. У всех, наверно, свои причины. Или одна общая.

И еще волновало молодого человека, что кто-то уезжает из Москвы. Не в сторону фронта, а совсем в другую сторону. А вдруг пока они, добровольцы будут там воевать, тут, пожалуй, разведется вся Москва. Позади у них останутся только голые здания, стынущие в осеннем холоде. Большие голые здания.

Пропрошавшись с бабушкой, молодой человек пришел в казарму, взволнованный всем увиденным и услышанным. И неожиданная пустота огромного зала, где жили они, добровольцы, тоже встревожила его.

Он присел около Воистинова и не сразу выложил ему все сомнения. Исполнительно, тихонько стал допытываться, что думает удивительный этот человек обо всем, что волнует сейчас, может быть, не одного Митю?

Воистинов слушал его и, как всегда, невинно и насмешливо улыбался.

— Милый мой, — наконец, сказал он, укрепив тесемки и бросив в угол вещевой мешок, — ты ж так завязнуть можешь, как муха в меду. Увидишь грузовики с вещами идут и уж испугался. Уезжает, мол, вся Москва. Да разве может вся Москва уехать? Миллионы народу. Уезжает, во-первых, кто это по делу полагается. А кто уезжает потому, что посылают, здесь он будет бесполезен. Битва такая во всем свете. Разве тут укроешься, убежишь в случае чего? Сегодня убежал, а завтра? А послезавтра? Уж если Россия дрогнет, бежать уж тут некуда... Напрасно бежать...

Воистинов встал, проиhsяся по залу, как бы ниша подходящего дела для своих и чужих рук своим. Увидел на двух кроватях помятые одеяла, они висели на них, будто он староста тут. Потом подошел к Мите и сказал почти шепотом:

— А Россия не дрогнет. Это я могу тебе в точности сообщить. Я уже третью войну еду. Ведь у нас, у русских, как бывает? Ударь меня раз, я, может, даже оробею немножко. Ну, конечно, дам сдачи. И мы немцев все равно лупили с первого разу. Ударь второй, — я начну сердиться и уж стану как следует. Немцам ведь во втором разу здорово понало и под Одессу

сей и под Киевом. А если уж в третий раз ударить, и я кровь, не дай бог, себе увижу, — тут уж я ничего не прощу, тут уж я кому угодно в горло прызусь. Или он меня добьет, или я его. Обязательно. У нас такой характер, у русских. И на войне кто был, знает. Вот сейчас, как я считаю, немец нас уж по третьему разу ударил. Москву грозитя у нас забрать. И гляди. Как весь народ оцетинился. Ты на грузовики с вещами не гляди. Ты на бабы гляди, которые уж плакать перестают. Злость им слезы сушит. И вчера в госпитале у знакомого был. Так бабы там в очереди стоят, кровь свою сдают. И обижаются, кричат, у кого не принимают. Говорят, нас, как баб, на фронт не берут, так мы хоть тут помогать будем. И помогают. Окопы рыют вместе с мужиками. И вчера рыли, и сегодня, и завтра будут рыть. А ты говоришь, уезжают!.. Нет, брат. Мы сейчас стали много злее. Поняли, что сами себе хозяева. Понастроили-то мы теперь сколько всего. Бедствовали-то сколько лет из-за чего? Чтобы немцу все отдать? Нет...

Вонистов, сердитый, опять ходил по залу, привычно ища работу. Поднял с полу две бумажки, бросил их в ящик в углу.

Митя смотрел на него, уже по-другому взволнованный, и ждал, что он еще скажет. И Вонистов сказал на этот раз не сердито, а неожиданно мягко и даже ласково:

— Нет, Митрий, ты еще не медведь. Ты еще медвежонок только. У тебя хвату настоящего еще нету. Вот, скажем, пушка. Обыкновенная вещь. Она стреляет. А ее ведь раньше сделать надо, снаряд к ней приготовить. А раз человек пушки делает, значит, он воюет. Он хоть за Урал уедет, он все равно там пушки будет делать. А ты говоришь, не в ту сторону уезжают. А ты думаешь, все в одну сторону должны ехать? А кто продовольствие, одежду для нас с тобой будет готовить? Или опять же ружья? Другое дело, что стрелять из пушки должен особо крепкий, здоровый человек. Тут специально народ призывают, доктора осматривают. А кого не призвали, тот может про себя напомнить, чтобы не забыли, если он в себе особую крепость чувствует. Вот, скажем, мы...

Мите было приятно, что его назвали тем, в ком есть «особая крепость». Он уже совсем успокоился. И только все время хотел спросить: а куда народ ушел из казармы, если сказали, что сегодня они, наконец, едут на фронт?

Вонистов без вопроса ответил:

— Попрошаться пошли. — И кивнул на пустые койки. — Ведь не к тебе ий пить едем. На войну. Там еще всякое будет. И поранить могут, и убить. Некоторые, может, и не вернутся вовсе. А как же. Попрошаться пошли...

Вонистов подошел к широкому окну, облокотился на подоконник и долго задумчиво смотрел на улицу, на небольшую квадратную площадь. Потом сказал, вдруг почти с восторгом:

— Ух, сколько еще всяких делов будет. Дух даже захватывает. Битва-то, битва-то какая идет. Во всем свете. И на земле, и на море, и в облаках. Пришлось бы такое, с пелугу можно помереть. А так в натуре, когда сам участвуешь, — ничего. И убьют — ничего. И поранят — ничего. Русскому человеку все это — ничего. Большая, Митька, у нас страна, Россия. Под названием Советский Союз...

Вонистов подошел к своей тумбочке, выскреб из коробки остатки табаку, свернул папироску.

— А табаку, — сказал он, — почему-те не дают. Вторую неделю без табаку живем. Неужели ж у нас в Советской России табаку нету? Не может быть...

Митя теперь смотрел в окно. Через площадь в его сторону шел бравый солдат. Он узнал инженера Кателина. Инженер шел твердо, как на ученье, чуть сутулившись: за плечами у него — вещевой мешок. Потом из-за угла вышел парикмахер Алтухов.

— А ты чего ж, дядя Боря, не сходишь проститься? — спросил Митя.

— Я вчера попросился, — сказал Воистиннов. — А сегодня уж не пойду. Для чего? И себя расстраивать, и старушонку тревожить. Дочери-то замуж вышла. Им что. А старушонке меня жалко. Все-таки двадцать семь лет вместе жили...

Постепенно казарма наполнялась народом.

Инженер Кателин сидел на своей койке и старался втиснуть в вещевой мешок две толстые книги.

Повар Михлюдов молча наблюдал со своей койки за его работой. Наконец не выдержал, спросил:

— Да на что они вам, книжки-то эти, Степан Степанович? Неужели же вы их на войну повезете?

— Повезу, — сказал инженер.

— Странное дело, — сказал повар, лежа на спине и закинув руки на спинку. — Люди даже чемоданы целые бросают, а вы сейчас поглядите. А вы книжки собираете.

— Разные люди бывают, — сказал инженер Кателин. Он вынул большую кружку из мешка и вместо нее засунул книжки. Кружку стал привязывать к мешку сверху.

Митя подошел к ним.

Инженер Кателин, не обращая больше внимания на повара, сказал Мите:

— Ну, молодой человек, значит, едем?

— Вы уж попросились? — спросил Митя.

— Уже, — весело сказал инженер. — Жена слет со мной в одну сторону, а дочка и сыновья уже уехали на Юго-западный. Дочка очень жалела, что нельзя с собой кошку взять. У нас хорошая кошка Аксинья. Пришлось вместе с ключами передать управдому. Дали ему сорок рублей кошке на харчи.

Повар Михлюдов опять сказал:

— Тут, может, людям-то скоро жрать будет нечего, а они кошку съедят...

Но инженер даже не взглянул на него.

Митя, однако, сказал повару:

— Быстро панике поддаешься, Егор Сергееч. С чего это ты взял, что жрать нечего?

— Да я не говорю, что нечего, — оправдывался повар. — Я говорю, может так быть, раз война...

— Ну, этот тоже захворал, — презрительно взглянув на повара, сказал Воистиннов. И осердился:

— Мальчику какому-нибудь, скажем, простительно. А тебе-то как стыдно слюни распускать, толстый ты боров? Чего ты, где наслушался? Как это жрать нечего?

Повар хотел ответить, даже спустил ноги с кровати. Но в это время шел политрук Баклапов. Началась беседа.

Политрук говорил о чрезвычайной опасности, которая угрожает сейчас Москве. О том, что немцы численно и количеством техники превосходят и в Под Москвой идут тяжелые бои.

Нового, конечно, в этих словах ничего не было. Об этом писалось в газетах. И газеты уже были прочитаны.

Новым было то, что политрук говорил на этот раз, как бы советуясь с бойцами.

Бойцы через несколько часов пойдут в большое, решающее сражение. Политрук тоже с ними пойдет. Так вот давайте подумаем вместе, не забыл ли кто чего-нибудь, все ли у всех в порядке, нет ли каких просьб, нет ли каких-нибудь пожеланий. Потом об этом думать будет поздно. Думать надо сейчас.

Минуту все молчали. Потом бывший повар Михлюдов спросил:

— А насчет чего подумать-то, товарищ политрук?

— Ну, мало ли насчет чего, — сказал политрук. — Может, есть у кого какие-нибудь вопросы, сомнения. Давайте разрешим. Потом поздно будет...

— А какие сомнения могут быть? — сказал Михлюдов. — Все ясно. Воевать едем. Правильное дело.

— Вострый мужик, — кивнув на него, насмешливо заметил Воиштинов. Мите, но так, что Михлюдов услышал.

— Не вострее тебя, — ответил повар.

— Ну, что ж насчет жратвы-то не спросишь политрука? — напомнил повару Воиштинов. — Все беспоконья, хватит ли тебе...

Михлюдов зверовато посмотрел на него. Он крепко невзлюбил Воиштинова; первого же дня, как встретились они. Воиштинов раздражал Михлюдова и благообразной рассудительностью своей, и том, что он в жизни как будто всем был доволен, и даже странной своей фамилией — Воиштинов.

— Ну уж ты, непорочный, закройся, — посоветовал ему Михлюдов. — Тебе бы в церкви кадило подавать, а не на войну ездить...

— Тебе бы с бабой на печке сидеть, да про жратву думать, — сказал Воиштинов. — Но я ведь ничего не говорю.

Михлюдов очень пожалел, что, в минуту плохого настроения заговорив о том, что, может быть, скоро будет жрать ничего, дал этому человеку такой возглас против себя. Воиштинов теперь и в самом деле будет считать его легким паникером. И, может, другие тоже будут так считать.

Михлюдов вдруг ни с того, ни с сего, но желая как-нибудь защитить себя, сказал Воиштинову:

— Это не ты меня сюда позвал. Я сам пришел. И сам на войну еду...

По тут все «сами ехали на войну». Поэтому заявление Михлюдова не имело успеха. А политрук, говоривший с другими, только сейчас заметил назревающую ссору и сказал им обоим, как мальчишкам:

— Уж это, по-моему, лишнее — ссориться в такую минуту.

Минута была действительно неподходящая. И Михлюдов, и Воиштинов вспомнили об этом в одно время. И замолчали.

А вскоре незлопамятный Михлюдов вынул из мешка банку консервов и сказал Воиштинову:

— Она у меня в мешок не лезет. Может, спрячешь ее к себе? Ведь вместе едем...

Воиштинову, тутто набившему свой мешок, было некуда спрятать банку, но он все-таки взял ее и положил в карман шинели.

Уже смеркалось, когда добровольцы разместились в грузовиках и грузовики тронулись по шоссе в сторону фронта.

Шоссе было мокрое после дождя и тускло поблескивало в тумане. Нежный туман стелился по шоссе. А над шоссе шумели самолеты.

Митя Попов сидел в грузовике между Воиштиновым и инженером Бакшем. Михлюдов поместился впереди. Он все время смотрел на небо, стараясь угадать, чьи это самолеты шумят над его головой — наши или чужие.

— Наши, — наконец, по каким-то неслучайным в сумерках признакам угадал он и повернулся к последнему ряду, где сидел Воиштинов с Катей и Митей. — Наши, говорю, самолеты-то. Охраняют нас...

— А как же, — как всегда невинно и насмешливо сказал Воиштинов. Вдруг немец на нас бомбу бросит. Все-таки неприятно...

— Небось не бросит, — сказал Михлюдов.

Остальные молчали. Грузовики медленно продвигались по шоссе. Впереди них, похоже, прохотали танки. Или, может быть, шла артиллерия.

Люди напряженно вглядывались вперед, где сгущались сумерки и густел туман. По душевно они все еще неразрывно были связаны с тем, что валося позади.

Позади оставалась Москва. Оставался Кремль, Красная площадь, мавзолей Ленина. Оставались чистые, чуть забрызганные дождем, широкие новые тротуары, шуршали троллейбусы, высекая голубую искру на проводах, громыхая и позвякивали трамваи.

Нет, позади оставались не голые здания, как думал еще сегодня Митя Попов. Москва и в эти часы, применившись к новым условиям, жила же полно, так же многообразно, как всегда.

В затемненных, замаскированных кинотеатрах показывали новые картины. Шли веселые комедии «Свинарка и пастух», «Антон Иванович сердит». И снова шла «Большая жизнь».

Митя Попов очень жалел, что не успел посмотреть их. Может, больше не придется увидеть. А говорили, что это хорошие картины. Очень жаль. Ведь когда он вернется, будут идти другие картины.

Митя был уверен, что он вернется. И Москва будет так же стоять, так же стояла. И в кино будут показывать новые картины. Ну, а если не вернется...

Митя не хотел об этом думать. Он продолжал вспоминать Москву.

В Москве в этот час в театрах не начинали спектакли, а уже заканчивали, потому что в сумерки начиналась воздушная тревога.

Митя в такое время обычно стоял на крыше семиэтажного дома, где жила, и, укрытый козырьком чердака, ждал, когда посыплются на крышу зажигательные бомбы.

Он тогда работал на заводе и только мечтал поехать на войну. А сейчас вот он уже едет. На заводе, наверно, вспоминают его.

На заводе этом, где недавно еще делали детали для сельскохозяйственных машин, сейчас точат стаканы для снарядов. И в этот час, когда грузовики в сумерках продвигаются по шоссе, на заводе точат стаканы...

А ноги все-таки мерзнут. Холодно. Митя постучал ногами по дну грузовика. Вдохнул. Воиштинов снял со своего сиденья кусок войлока, бросил его под ноги:

— На-ка. Теплее будет. А вообще портянки наматываешь неправильно. Потому и забнут.

Но Воиштинов был не совсем прав. На шоссе и в самом деле становилось холодно. И все больше сгущался влажный туман.

Где-то впереди, в тумане, произошла задержка. Навстречу грузовикам везли в автобусах раненых. Потом проехали в повозках уезжающие из Москвы. Грузовики остановились.

Пользуясь остановкой, многие бойцы спрыгнули с грузовиков, чтобы размять ноги. И сейчас же около них появилась тетка в рыжей сборчатой шубенке и в добротной шали.

Из-под шали она вдруг начала доставать еще теплые печеные яйца и принялась раздавать их бойцам.

— Сколько платить-то, мамаша?

— Да ничего не надо, ребята.

— Ты чего думаешь, у нас денег нету, что ли? Мы же не бедные.

— Да на что мне ваши деньги, ребята. У меня свой племянник, Пушкарев Михайла, туда уехал. Может, встретите его там. Да войне, так передайте, пожалуйста, что, мол, тетка, скажите, тетя Вера, никуда, мол, выезжать не собирается. Адрес, мол, у пей прежний. Пусть не беспокоится. Мы тут окопы строим, скажите...

Увидев Митю Попова, она ухватила его за рукав и ему тоже сунула в руки теплое яичко.

— Ну, прямо вылитый, как мой племянник Пушкарев Михайла, — сказала она, заглядывая ему в глаза. — Может, встретитесь. И рост одинаковый...

Бойцы влезли в грузовики. Митя тоже полез, сконфуженный вниманием тетки.

Чужая тетка перекрестила его и товарищей и сказала:

— Вы, конечно, неверующие. Может, комсомольцы. Но я божественная, как говорится, от старого режима. И вас все равно благословляю. Действуйте, ребята, с богом. Бейте его, прода.

И грузовики пошли дальше.

Но километров через шесть опять случилась остановка. Опять навстречу грузовикам везли раненых, а некоторые, легко раненные, шли пешком за повозками.

На этот раз среди бойцов появились три старика, и особенно был замечен худенький. Кажется, чуть подвылывший старик с мешком, объяснявший, что он идет куда-то по делам общественного питания. Он угощал всех семечками и очень обижался, что бойцы отказываются от семечек.

— Хотя правильно, — наконец согласился старик, — вы военные. На что вам семечки. А я-то угощаю так, от простоты души. Мне же семечек не жалко.

Около этой группы задержалось несколько легко раненных, идущих за повозками. Старик и с ними вступил в беседу и их стал угощать семечками. Особенно его интересовало: а как же немцы воюют?

— Сперва они пробьют дыру, — говорил он, не то утверждая, не то спрашивая. — Верно? Потом они пускают в эту дыру все войско свое. Верно? И тут же делают петлю, чтобы окружить нас. Правильно?

Получив подтверждение, он сказал, что и в первую войну немцы точно так действовали. Потом русские поняли их маневр и гвоздили их, как хотели.

— Главное — привыкнуть, приловчиться, — говорил старик и, бросив свой мешок на землю, как бы показывая руками, как надо приловчиться. — Немцы, они всегда на испуг берут. Это первая их профессия — на испуг. А как их шарахнешь раз, они, глядишь, совсем другие. И вы, ребята, не бойтесь. Против нас у них кишка все-таки слабая. Ну-к что ж, что

города взяли? Пазад отыдем. И к ним придем. Я вам не глупости к Я, Михеев Егор Егорыч. Меня здесь все знают. Я на двух войнах У меня ноги пету.

И тут все впервые увидели, что у старика действительно только нога, а вместо другой — деревяжка. Он суетился и все объяснял бойцам можно лучше бить немцев.

— А сейчас-то под мухой находисься? — укоризненно спросил Войнов. — Видать, что под мухой...

— Ну-к что ж, — сказал старик. — Я что пьяный, что трезвый, — скажу. А мне не пить сейчас нельзя. У меня душа болит. Вы воп едете, тут остаюся. А я бы сам поехал, ежели б мне ноги мои позволяли. Я показал на деле. У меня за ту войну четыре георгия имеются. Вот, вы обратно поедете, заезжайте в гости. Я тут нахожусь. Деревня Мухино. И тут все знают. Могу представить все четыре. В сундуке лежат.

Митя Понов впервые был недоволен Воиновым. Зачем он обидел старика сказав, что тот под мухой, если сразу видно, что старик настоящий, хоть подвыпивший. Видно, что старик действительно волнуется и боится, как они, военные, молодые парни, в случае чего не струсили перед ним И Мите несколько не казалось странным, что этот глубоко мирный старик смешино подпрыгивая, как бы учил бойцов искусству боя, и советовал, и поклонился.

А когда грузовики пошли дальше, он остался один на шоссе и все бормотал, размахивая шапкой:

— Он вам петлю будет делать, а вы ему две делайте. И не бойтесь. И тут как он не может...

Над шоссе все время шумели самолеты. Потом в небе послышался глухой треск, будто разорвали исполкинский кусок полотна. И, закинув головы, бойцы увидели над собой огненные жилки трассирующих пуль.

Над шоссе начался воздушный бой.

— Па нас бы не упали, — сказал кто-то, неразличимый сейчас во тьме И этот возглас разбудил задремавшего было Михлюдова.

Михлюдов посмотрел на небо, ничего не увидел и только услышал дробный все нарастающий пулеметный стук.

— Часто шьют, — сказал он почти восторженно. И добавил: — Попоня, только, чьи — наши или ихние. — Но все-таки предположил и успокоился. Наверно, наши.

Успокоился он, конечно, не совсем. Было страшно все-таки: а вдруг какая-нибудь шальная убьет еще по дороге? И томилась эта мысль необстрелянных бойцов и обессиливала сердце. Поэтому все и молчали. Никому ведь не охота помирать вот так за здорово живешь, без надобности и без толку...

Грузовики теперь долго шли не останавливаясь. Им надо было спешить, а шли на войну. Но война сама все приближалась и приближалась к ним. Было слышно, как стреляли не только над ними, но и впереди, где-то совсем близко, в тумале.

Из тумана попрежнему навстречу грузовикам вывозили в автобусах раненых. И пенком шли раненые. И просто пешеходы, беженцы шли...

Грузовики снова остановились: впереди случился какой-то затор. «Может бомба упала на шоссе», — предположил кто-то. Но как бы там ни было бойцы опять прыгнули с грузовиков.

У Мити Понова, несмотря на войлочный коврик, сильно зазябли ноги. Об

сплывал около грузовика и думал: «Скорей бы приехать. Я бы хоть пробыл».

Но грузовики не двигались. И снова около бойпов стали собираться слышные прохожие и жители ближайших деревень. Может, военные расскажут мне-нибудь новости про войну. Ну, как все-таки, пройдет сюда немец или нет? Уходить нам или оставаться?

А молодой паренек в лаптях и мехнотой шапке, которому пока все, должно быть, было ясно, спрашивал, не хотят ли военные закурить? Он угощает. По у всех был табак и даже папирсы.

— Где ж ты вчера-то был? — весело спросил Воистинов. — Я вчера бы у тебя обязательно закурил. А сегодня мы табаком богатые. Спасибо, дорогой.

— А то пожалуйста, — сказал паренек. — У меня табаку много. Я его дяде в Москву несу.

— А сам-то ты откуда? — спросил Воистинов.

— Я-то? Я из Орла. Я тут у тетки в деревне был. А вообще-то я из Орла.

— Из Орла? — сказал бывший повар Михлюдов, желая принять участие в каком-нибудь разговоре. — Как же это вы Орел-то сдали?

— Да, — вздохнул паренек, — сдали. Я ведь еще когда добровольцем хотел пойти. Меня в Орле тогда не взяли. Говорят, год не подходит. А теперь я в Москву иду. У меня теперь год подходит. Я служить буду.

— В лаптях идешь? Сапог-то нету? — сочувственно спросил Воистинов.

Но паренек обиделся.

— У меня две пары, — гордо сказал он. — Я даже один валетки в Красную Армию сдал. Подарил. А другие у меня в Москве. У дяди. И еще одни есть, не очень важные, но ничего. Я их падепу и явлюсь...

— А сейчас в лаптях ходишь, — напомнил Михлюдов.

— Для чего ж обувь напрасно бить, — солидно ответил паренек. — Вот в Красную Армию пойду и обуюсь. Мне еще там сапоги дадут, раз я военный буду. Я же не большой писколько.

Митя Попов стоял тут же и молча наблюдал паренька. Паренек этот был моложе его, может быть, всего месяцев на пять. Но Митя уже ехал на войну.

Впереди все оглушительнее грохотали пушки. Разгоралась ожесточенная артиллерийская дуэль. И даже отсюда, с шоссе, были видны вспышки ракет и зарево недалеких пожаров.

Очень близко шел упорный и жаркий бой.

Но для паренька, стоявшего тут на шоссе, война по-настоящему еще не началась. Он еще только мечтал стать военным и завистливо смотрел на военные грузовики, уходившие к фронту, в сторону пожаров и взрывов и хлесткого огня ракет.

Зарево пожаров становилось все ярче.

Инженер Кателин, все время пытавшийся уснуть и, наконец, несмотря на грохот пушек, задремавший было, проснулся от внезапного толчка. Грузовик резко качнулся в глубокой рытвине. Оказывается, воронку от авиабомбы только что заделали и не очень ровно.

Кателин вынул из-за пазухи часы и стал смотреть на циферблат. Ничего, однако, не мог разглядеть.

— Ну-ка вы посмотрите, пожалуйста, — попросил он Митю. — У вас глаза должны быть острее.

— Восьмой час, — сказал Митя. Ивгляделся в пиферблат. — Лвалпять пуг восьмого.

— Я так и думал, — вздохнул Кателин. — Мне давно уже надо проснуться.

— Зачем? — спросил Митя.

Инженер Кателин улыбнулся:

— Я уже должен был выспаться после обеда. В половине восьмого у обыкновенно пили чай. Вся семья собиралась...

— Вон что вспомнил, — глухо сказал проснувшийся Михлюдов. — М что было. Я в это время уже спать собирался. Мне надо было рано вставать. А теперь что день, что ночь — все равно. Война...

Михлюдов опять поднял воротник и задремал.

А инженер Кателин смотрел бессонными глазами вперед, в спова сгущающуюся и гудящую темноту. Он должен был по обыкновению услышать не ранее двух часов ночи...

Вскоре грузовики, в которых сидели добровольцы, свернули с шоссе проселочную дорогу и поехали среди леса. И война, с гулом пушек, с завоном пожаров и тревожным шипением и шелестом взлетающих в небо разрывов, все время стремительно придвигавшаяся к ним; вдруг стала удаляться. Уже где-то позади приглушенно бухали пушки.

Грузовики шли теперь среди высоких сосен, плотно обступивших дорогу. должно быть, несколько не потревоженных войной.

Воздух густой, ароматный как-то сразу взбудрил людей.

Воистиннов вздохнул:

— Благодать-то какая...

И сейчас же, будто в ответ на это, раздался совсем близко страшный сильный оглушительный взрыв. И сразу за ним второй. И третий...

— О! — сказал, точно заметив кого-то знакомого, повар Михлюдов. — Вона она!

Митя Попов вгляделся в темноту, тревожно спросил:

— Кто она?

— Ну, как — кто? — сказал Михлюдов. — Война. Не слышишь, что ли? По опять наступила тишина. Было слышно даже, как потрескивают ветки в лесу. Грузовики замедлили ход. Ветки затрещали сильнее. Послышался ближний хруст.

— Медведь никак идет, — предположил Воистиннов.

И действительно, из темного леса медленно вышла какая-то мохнатая фигура. Потом вторая, третья. Патрули. Уже по-зимнему они были в тулупах. Грузовики приостановились.

Шел какой-то неясный, не громкий, по тревожный в темноте разговор. Патрули что-то объясняли командирам.

Потом грузовики опять свернули в сторону и пошли по совсем уже узкой дороге.

Грузовики покачивались, ныряли в ямы, высказывали и снова ныряли.

Моторы рычали натруженно.

Наконец грузовики выползли на широкую поляну, провинулись по ней метров на триста и остановились. Оказывается, это и есть тот пункт, куда следовало доставить добровольцев.

Их встретили уже окопавшиеся тут красноармейцы, открывали защелки на бортах грузовиков, и вновь прибывшие бойцы весело спрыгивали на осеннюю, похолодевшую траву.

Вот тут где-то за лесом и должна быть война, на которую так долго и нетерпеливо ехал с товарищами Митя Попов. Будто прошла целая неделя после того, как они выехали из Москвы.

В лесу было совершенно темно. Непонятно, куда тут идти, в какую сторону? В темноте только белеют среди сосен крупные стволы берез.

Митя Попов простоял, однако, не больше минуты в нерешительности. Все пошло куда-то, в еще большую темноту, в глубину леса. И он пошел за всеми.

Обмякшая после дождя земля чавкала под ногами.

Минут через пять он уже вползал в какую-то чуть освещенную изнутри пору. Вновь прибывших распределяли по разным землянкам. Митя Попов подал в одну землянку с Воиновым и Михлюдовым.

В землянке горела свеча, топилась крошечная печка, сложенная из кирпичей, и в углах была настлана солома. На соломе, прикрывшись шинелями, утыкались бойцы, приехавшие сюда, должно быть, давно. Около печи сушились два сапога и портянки.

Воинов, первым вступив в землянку, вежливо пожелал всем доброго здоровья и стал раздеваться, как будто он только утром ушел отсюда и сейчас вернулся к себе домой.

Митя последовал его примеру. Он снял сапоги и, пощупав сушившиеся чужие портянки, положил на их место свои.

— Слушай, — недоброжелательно сказал ему кто-то из темного угла, — ты для чего чужие портянки скидываешь?

— Они высохли, — спокойно сказал Митя.

— Мало что, — осердился тот же голос. — Я тут раньше положил.

Митя взглянул в темный угол и посоветовал:

— Ты пойди себе билет на это место купи. Будешь сушиться сколько хочешь.

— Ой, да это Митька, — сказал тот же голос обрадованно, и из темноты сейчас же вылез босой Петька Щелконогов. Он уселся на камушек около Мити. — Я тебя не узнал.

Михлюдов, медленно и хозяйственно разувавшийся, взглянул на них, и, по привычке говорить неприятное, сообщил:

— Есть такая примета. Если знакомый знакомого не узнает, быть тому знакомому или пораненным или убитым. Или же быть ему богатым, — добавил он после раздумья, сняв сапоги.

— Буду богатым, — сказал Митя.

Петька Щелконогов рассказал, что он тут уже давно. Был тут и Сережа Близев, но его убили.

— Эх, жалко, — сказал Митя. — Золотой паренек был...

— По он сам виноват, — сказал Щелконогов. — Высунулся из окопа, когда ему говорили не надо. Погорячился.

— Все равно жалко, — сказал Митя. Он хотел еще спросить, как погиб Аркаша Девятин.

Митя знал, что Аркаша был вместе с Щелконовым. Хотел спросить. Но не спросил. Было неприятно говорить об этом. «Потом узнаю», — подумал Митя. И тут же ему стало особенно жалко, что лучшего его друга больше

пет. Митя Попов приехал сюда, где был его дружок, но поздно. Пету Аркаша Девятина...

Пока Щелконогов рассказывал, пришли еще ребята, незнакомые Митя пову. По Петька Щелконогов его сейчас же познакомил. Вот это Павел билов, а это — Афонька Воробьев.

Маленький, с виду шупленький, но необыкновенно подвижный и озорной паренек этот на редкость соответствовал своей фамилии — Воробьев. Он тел в землянку, усеялся на корточки около печки и стал засыпать вопреки Митю. А Павел Трубилов только изредка перебивал его и тоже спрашивал.

Всем было интересно, как там Москва. Митя говорил, что все почти же, как было. Больше только стало заколоченных фанерой витрин. Мелочью с песком тоже стало больше. А так в общем все как было.

— А тут говорили, будто много народу из Москвы уехало. Правда? спросил Трубилов.

— Брехня, — сказал Митя и почему-то оглянулся на Вонстинова.

Но Вонстинов уже подобрал под себя солому и уснул. Около него пристраивался Михлюдов.

— Некоторые, конечно, уехали, с детьми кто, — сказал Митя. — И кто, не военный, служащий. А народ почти весь остался...

— А сегодня утром приезжал один шофер, — сказал Афоня Воробьев. Так он говорил: все, все уезжают...

— Брехня, — опять сказал Митя. И ему теперь, душевно успокоившись, искренне верилось, что он сам с утра все преувеличил. — Ну, выехали несколько грузовиков с вещами. И только. А шуму, конечно, много.

— А бомбит он Москву? — спросил Трубилов. — Сильно?

— Не очень, — сказал Митя. На этот раз совсем искренне. — Не пускают его все-таки наши. Много сбывают.

— А мы тут каждый вечер волнуемся, — сказал Афоня Воробьев. — Вон он над нами идет на Москву-то. Каждый вечер, думаем, разваливает он город, сволочь. Мы даже так думали: пусть бы он лучше нас тут бомбил, Москву бы не трогал...

— Ничего, — глухо сказал Павел Трубилов. — Скоро мы ему вотки и за Москву, и за все.

Приподнялась висячая дверь, не дверь, а плащ-палатка, служившая дверью в землянку вошел Аркаша Девятина.

Никто, однако, кроме Мити, не удивился его приходу. И откуда Митя взял что его убили? Никак нельзя было вспомнить, кто это ему сказал.

Аркаша был такой же, как всегда, такой же худой и длинный и все-таки очень красивый. В военной форме еще красивее. Вот бы его сейчас увидели девчонки из Парка культуры и отдыха. Девчонки, которые и так постоянно бегали за ним.

Парни как-то сразу притихли, когда вошел Аркаша Девятина. И Митя бы теперь понять, почему Петька Щелконогов, рассказывая обо всем, даже упомянул об Аркаше.

Парни не любили Девятина. Принято было считать, что он и трепач, выскочка, и очень много о себе думает, и задается.

Увидев Митю, Аркаша не выразил большого удивления и даже поздоровался с ним как-то сдержанно. Ну, это уж у него манера такая. Все равно Митя рад был песказанно, что встретились. Он достал из мешка сухие портянки зачем-то снова надел сапоги. Спать ему теперь не хотелось.

Позднее он вместе с Аркашей вышел из землянки.

Над притихшим лесом висело темное небо, полное крупных звезд. И звезды ярко светили. «И звезды это тоже наши русские, советские», — по-детски радостно подумал Митя. Пастроение у него было бодрое, огневое, радостное.

— А мне набрехали, что тебя пету, — сказал он Аркаше.

Десять начал красочно, не упуская подробностей, медленно рассказывать. Как он после боя заблудился в лесу и целый день и ночь бродил и чуть не попал в плен к немцам.

Аркаша уже видел немцев, участвовал в боях. И в этом было сейчас его главное превосходство перед Митей. И Аркаша, конечно, пользовался этим превосходством.

В этом темном сосновом лесу, где белые стволы берез внезапно и пугающе выступают из темноты, он ходил уверенно и как бы неохотно, но все-таки с заметным удовольствием рассказывал о своих похождениях.

Получалось по его рассказам так, будто он тут один и воюет, а все остальные только служат ему фоном, на котором заметнее его подвиги.

Для приличия ему надо было бы вспомнить, что и в добровольцы-то он записался в свое время потому, что его уговорил Митя. Но он не вспомнил. Он продолжал говорить о себе и своих успехах.

По это несколько не сердило Митю.

Митя слушал его спокойно, невольно стараясь только выбрать из его рассказа самую правду, полезную сейчас ему, вновь прибывшему и желающему сразу понять, как же она все-таки выглядит в бунях своих — война? И еще Мите хотелось понять, в каком сейчас положении фронт, правда ли, что немцы прут так, что их даже остановить трудно?

По Аркаша оять рассказывал только о себе, о своих чувствах, а немцы в его рассказах выглядели на редкость смешными и неумелыми.

Аркаша продолжал фанснить и перед Митей.

Митю это, однако, несколько не обижало. Всегда молчаливый, уверенный в себе, в своей силе и действительно сильный и независимый в решениях, он никогда не боялся, что кто-то может обидеть его, унижить или перешеголять в чем-нибудь, что дано всем или многим. Он никогда не считал себя ни хуже, ни лучше других. Он жил всегда с опущенным; что он такой же, как все, как многие. И такие же, как у всех, недостатки у него и такие же достоинства. Вы не струсите, и я не струшу. А если вы струсите, я все-таки постараюсь не струсить...

Митя знал, что он во многом сильнее Аркаши. По кое в чем Митя уступал ему. И уступки эти начались еще со школьных лет, когда они рядом сидели на одной парте.

У Аркаши по всем признакам, и главное — по отзывам учителей, было то, что называется воображением. Он любил стихи и читал их мастерски, и сам даже писал стихи. На школьных вечерах он всегда главенствовал.

Учители выделяли его, как ребенка с тонкой душевной организацией.

Он неизменно пользовался успехом у девушек, когда наступило время ухаживать за ними. И тут все преимущества были на его стороне. Ведь правда же, что Аркаша красив, умеет поговорить, умеет заинтересовать...

Митя, однако, никогда не завидовал. Он только иногда гордился, что у него такой ловкий, такой удачливый приятель. А почему Аркаша стал его приятелем — это было непонятно, может быть, и самому Мите. Просто их свела судьба. Просто они привыкли друг к другу.

И Митя привык к нему, пожалуй, больше, чем он к Мите.

В последнее время они редко встречались. Митя работал на заводе. Аркан все еще учился, чтобы стать техником. Но попросту они сохраняли старые связи, и все еще действовал школьный круг, в котором они иногда кивались.

Из этого круга были и Щелкыногов Петя, и теперь убитый Сем Князев.

Все эти парни работали на одном заводе с Митей. И с ними он говорил в одно время записаться в добровольцы. А потом уже он встретил и уговора Аркану.

Встречи их всегда носили сердечный характер. И сейчас вот, встретившись в этом темном лесу, на войне, они снова пели, что у них нет никого с кем бы можно было разговаривать обо всем откровенно и просто и рисуюсь.

Аркану, выговорив быстро все, что хотелось сказать о себе, тоже пересфасонить и рисоваться и стал расспрашивать о Москве. Они смотрели звезды и прислушивались к шорохам леса и все говорили о том, что несколько месяцев назад никто ведь из них никогда и не думал, что придется встретиться вот так в лесу, и что будет война, и что враг бурваться в наш город.

Митя сказал:

— Вот помнишь, как всегда говорили: родина, родина. На всех собраниях говорили: не пожалеем жизни для защиты родины. Пу вот. Наступило такое время. Надо не пожалеть жизни.

В землянке, когда они вернулись, сидела Надя Хмелева. Она бросилась к Мите, поцеловала его. Митя сконфузился, но обрадованно подумал: «Все тут. И даже Падька приехала». И потом уже только он подумал, что она к нему равнодушна.

Однако вскоре он понял, что думать так, пожалуй, преждевременно. Надя Хмелева работала в санбате санитаркой, приходила к ребятам, когда у них была свободная минутка, и сумела поставить себя так, что никому не казалось, будто кого-то она особо выделяет. Просто ей становилось скучно, и ей приходила к своим ребятам, и своим ребята все ей были одинаково приятны.

Она сидела около печки на камешке и говорила:

— Вам, ребята, гитару надо завести. Вот сейчас бы сыграли...

Митя вспомнил свою гитару, и как сыграл на ней в последний раз, и как подумал тогда о Наде Хмелевой.

Все, что было с ним там, в Москве, еще сегодня утром, все, о чем думал он там еще сегодня, в сумерках, — показалось ему сейчас ненужным, мелким, и несостоявшим даже воспоминаний.

Главное в его жизни будет, наверно, завтра...

В землянке догорала свеча, воткнутая в бутылку из-под нарзана. Все сидели вокруг печки. Поговорили о том, о сем. Потом опять заговорили, как всегда эти дни, о немцах.

Павел Трубилов сказал, что вчера и сегодня пришли на фронт новые наши дивизии. Говорят, будто приехали даже сибиряки и сегодня уже втыкают фашистам. А они все прут и прут.

Надя рассказала, как ей пришлось ша-днях перевязывать немца и как ей было противно, но что делать?

— Мы все-таки носы и уши ихним солдатам не отрезаем, хотя они наши

Все время мучают. Я сама видела трупы, — сказала Надя. — А мы пхичи солдат перевязываем...

Надя посидела еще минутку, попрощалась и ушла.

Петька Щелконогов полез в свой угол на солому. За ним полезли и Павел и Афоня. Все они легли рядом и оставили около себя место для Мити Попова. Но Митя хотел, чтобы с ними лег и Аркаша, и попросил их подвинуться.

Когда все уже спали, где-то совсем близко ударила пушка. Митя встал, прислушался, хотел даже надеть сапоги. Но больше никто не встал. И он снова лег и скоро уснул.

Среди ночи пошел дождь и лил все утро. Говорили, сильно размыло дорогу. Но все-таки утром приехала походная кухня.

Все пошли под дождем получать суп и кашу. И каша и суп, привезенные почему-то с утра, были очень вкусные, особенно каша. Но бывший повар Михлюдов ел ее неохотно и все ворчал.

— Ну, конечно, не такая, как у вас в «Метрополе», — сказал ему Воистинов. — У вас в «Метрополе», наверно, кашу с сахаром давали.

— Не в этом дело, — сказал Михлюдов. — Варить не умеют. Государственную крупу портют.

— Вот ты бы и пошел к ним на кухню, — посоветовал Воистинов. — Познал бы. Да на кухне и воевать веселее. Не так все-таки опасно.

Михлюдов огрызнулся. Назревал скандал. Но тут пришел Петька Щелконогов, позже всех задержавшийся у кухни, и сказал, что там сейчас провели пленных немцев. Штук сто.

Митя Попов, не лез кашу, хотел пойти посмотреть на немцев. Михлюдов тоже надел шинель. Но Воистинов сказал:

— Увидим их еще. В натуре.

В ту же минуту в землянку вошел незнакомый, сильно вымокший под дождем сержант и велел немедленно собираться.

Все еще шел дождь.

Под дождем сержант наскоро объяснил боевую задачу. Все уселись в грузовики, и грузовики сейчас же двинулись.

Дождь усиливался.

Дорогу действительно размыло. Но грузовики продвигались не останавливаясь. И Митя Попов, сидя в грузовике, тревожно думал, все ли у него в порядке, не забыл ли он чего-нибудь, и удивлялся, что команду над ними принял незнакомый ему сержант.

— Тут же разный народ, — сказал он, поместившись опять рядом с Воистиновым. — И не из нашего взвода есть. И сержант какой-то не наш.

— Ничего, — сказал Воистинов. — Значит, дело требует. Некогда разбираться.

Грузовики выбрались из леса и помчались по грунтовой дороге, подпрыгивая на ухабах.

Митя все время старался разглядеть в дожде Аркашу Девятина, ехавшего на переднем грузовике. Но разглядеть было невозможно. Бойцы все одинаково были укрыты плащ-палатками.

Очень быстро доехали до ближайшего леса, и сейчас же на ходу с грохотом отвалились борта грузовиков.

Бойцы молча прыгивали на мокрую землю и, пригнувшись, врасплох вытягивались в лес.

Митя Попов, как и все, бежал отдельно, осматриваясь по сторонам.

Впереди он видел только согнутую спину сержанта и старался держаться недалеко от него.

Вот сержант остановился, стал на одно колено. Митя тоже приготовился. Но сейчас же заметил, что сержант разговаривает с кем-то.

На земле, на опавших мокрых листьях лежал раненый красноармеец.

— Вы левее, товарищ сержант, левее берите, — быстро говорил раненый. Левее там чаща. Его из чащи бы надо выбить на трясину. Он завязнет.

Митя взял влево. И влево двинулся сержант. Около них на небольшом расстоянии друг от друга двигалось все подразделение.

Митя опять смотрел вперед и оглядывался. Он хотел увидеть Аркашу Девятина.

На минуту Аркаша мелькнул в кустах и опять скрылся.

Митя хотел даже подбежать к нему, но сейчас же раздумал. Нельзя. Он спешнее держался ближе всех к сержанту.

На земле лежал второй раненый красноармеец, третий. И недалеко от них убитый немец в сером мундире. Он лежал на спине, прислонившись к стволу, точно скатился с дерева. Митя заглянул ему в лицо. Зубы у мертвого немца были оскалены. Длинные желтые зубы.

— Где ваш командир-то? — спрашивал сержант у раненого.

— У овражка он. Вон левее-то, — говорил слабым голосом раненый. Убитый, или, может, нет. Лежит. Они у нас троих командиров положили. Кукушки эти. С деревьев бьют.

Сержант не побежал, а пополз к овражку. Митя пополз за ним. Падать и уже щелкали, пищали и повизгивали пули. На них летели срезанные ветки с деревьев.

У овражка действительно лежал лейтенант, раненный в обе ноги, плечо и голову. Девушка делала ему перевязки. Сержант наклонился к нему. Голоса были чуть слышно.

Митя ничего не понял. Он только видел, как сержант оглянулся, поискал кого-то глазами и, точно найдя, сказал Мите:

— Вы — около меня. Для связи.

— Ладно, — неуместно домашним голосом сказал Митя и сам не услышал своего голоса.

Но сержант не обратил на это внимания. Он только спросил:

— Фамилия какая?

— Попов, — сказал Митя.

— Хорошо — Попов, — запомнил его сержант. — Пикуда не уходите:

— Есть никуда не уходить, — на этот раз по-военному повторил Митя. Он хотел даже вытянуться, но нельзя было. Он только поправил винтовку и убрал у себя на правой руке, на пальцах, лишнюю кровь.

Кровь текла из рукава. «Уже, — обиженно подумал Митя. — И ни разу не выстрелил не только из миномета, но даже из винтовки. Кто же это меня

Злость, и обида, и боязнь, что придется, может быть, выйти из боя, и не повоевав, заглушили тупую боль. Митя не хотел только показывать кровь. Но винтовка, и рукав, и пола шинели были уже измазаны.

— Будем выбивать его из чащи, — сказал сержант. И каким-то не сво

Полосом подал команду: — Кузьмин, Яковлев, ваши отделения обходят про-
тивника справа. Пулеметы с вами. Четыре. Остальные со мной.

Часть людей сейчас же уползла.

Митя увидел Аркашу. Он снова мелькнул среди деревьев. Непонятно, ухо-
дил ли он или оставался здесь. «Аркадий!» — хотел крикнуть Митя. Но по-
стеснялся. Может быть, это не полагается.

Хотелось понять, что тут было на поле боя до них, почему немцы
чаще, а наши раненые почти на открытом месте? Где другие наши бой-
цы? Неужели немец перебил всех? Зачем тогда немец ушел в чащу? Сержан-
ту это, видимо, было понятно, но спрашивать, наверно, нельзя. И Митя молча
полз за сержантом, пачкая землю своей кровью. «Как из барана идет», —
думал он, продолжая ползти. Боль становилась все явственнее, острее.

Около поваленных деревьев, против темнозеленой чащи, где скопились нем-
цы и изредка постреливали, сержант остановился и залег. Митя устроился
рядом.

Вокруг них и дальше, в линейку, не близко друг к другу, лежали бойцы.
Остро запахло землей, гнилью, прошлогодним листом. Бойцы окапывались.
Митя, подражая им, лежа стал рыть землю.

Бдур кто-то толкнул его. Он оглянулся. Воишинов трогал его за окрова-
вленный рукав:

— Давай перевяжу.

Митя молча согласился. Воишинов вскрыл свой индивидуальный пакет.

— Ты шинелку скинь, — посоветовал кто-то. — А я тебя сам окопаю.

Митя увидел Михлюдова. Бывший повар поместился совсем рядом с ним и
стал выгребать из-под него мокрую землю.

Дождь, утихнувший было минут на пятнадцать, снова пошел. И точно за-
одно с дождем участились выстрелы из чащи. Немцы не хотели подпустить
к себе.

— У них патронов много, — сказал Воишинов. — Видишь, как бьют-то.
И не целятся. В белый свет, как в копейку.

Бойцы лежали молча, вглядываясь в темнозеленую чащу впереди. Из чащи
уже били и били.

Митя, скинув шинель с одного плеча, лег на спину, чтобы удобнее было
перевязывать руку.

Воишинов, не поднимаясь с земли, хлопотал над ним и говорил негромко:

— Пустяки. Шуля кожу только задела. А крови в тебе много. Пустяки,
Иптрий.

Наконец перевязка была закончена. Митя снова стал медленно переворты-
ваться на живот. И тут он заметил, как соседний боец дернулся всем телом,
буго наскочил на горячее, и начал обеими руками рвать что-то у себя на
груди, царапать грудь и вдруг вытянул руки, затах. Убили.

Митя увидел это первый раз в своей жизни. Он снова подумал почему-то
о Аркаше Девятине. И снова стал искать его глазами.

Аркаши нигде не было.

Митя лежал теперь в углублении, вырытом ему Михлюдовым. Но Михлю-
дов уже уполз куда-то. «Надо было ему хоть спасибо сказать», — подумал
Митя. И сказал Воишинову:

— Спасибо, дядя Костя.

— Это не надо говорить, — сказал Воишинов. А почему не надо — не
сказал.

Боля Митя больше не чувствовал. Он опять, как и все, смотрел в темную зеленую чащу, из которой стреляли в них. «Почему мы-то молчим? — обидно думал Митя. — Они меня ранили и вон человека убили...» И опять он подумал про Аркашу: «Надо было его тогда окликнуть. Убьют они его».

Вскоре затрещали пулеметы с двух сторон чащи. Немцы немедленно сбавили огонь спереди по лежавшим вместе с сержантом бойцам. И когда немецкий огонь совсем утих, сержант командовал:

— Пулеметы!

Пулеметы ударили прямо в чащу. Прошло минут пять или десять и опять только одна минута. Сержант поднялся, ухватился за сучья поваленных переломленных деревьев и голосом, опять непохожим на его собственный, крикнул:

— За родину, за Сталина!

Бойцы поднялись. И Митя Ценов поднялся. И Воистинов. И Пашка Трубилов, оказавшийся совсем рядом. И Михлюдов, снова появившийся откуда-то. И только Аркаши Деятина нигде не было. «Может, убили уже», — быстро и грустно подумал Митя.

И сразу забыл все.

Позднее он мог только вспомнить большого рыжего немца без шапки, которого он первого ударил штыком в грудь, желая, однако, ударить в брешь. И как немец ухватил его цепко за плечи.

Но Воистинов в тот же момент рубанул фашиста прикладом по голове, и фриц обмяк, как мешок, и упал им под ноги, удивив Митю.

Помнил Митя мягкую тушу врага, на которую он наступил ногами, стараясь достать штыком офицера, выстрелившего в Афоньку Воробьева.

Афонька вдруг упал. А Петька Шелконогов столкнулся с Митей, и Митя чуть не слиб Петьку. Под ногами у них лежал офицер, которого убили неизвестно кто.

Потом Мите хорошо запомнилось, как он испугался в бою, обнаружив, что у него пропало зрение. Будто кто-то надел ему на глаза липкую маску.

Он сорвал ее с глаз левой рукой, и это оказалась не маска, а его же собственная кровь, вдруг хлынувшая со лба. Но кто его ударил, он не заметил. Он страшно обрадовался, когда к нему вернулось зрение, и много раз еще возвращал себе зрение в бою, орудуя левой рукой.

Он пробивался все вперед и вперед. И если бы надо было драться всю ночь и весь день, и еще ночь, он дрался бы со все нарастающей силой.

После боя он вспомнил слова бабушки о том, что в нем «против немца должна быть громадная сила», и удивился этой силе, о которой раньше в такой мере не подозревал.

Помнил также Митя, как удивил его Афонька Воробьев, снова «после смерти» своей появившись в бою. По что делал Афонька, он не помнил. Он не помнил даже все, что делал сам. Помнил только, как хотел ударить прикладом по немцу, а ударил по кусту. Немец присел. И Митя чуть не свалился, когда немец толкнул его головой в живот и побежал. Кажется, Пашка Трубилов догнал немца.

Запомнилась Мите и широкая, ярко-зеленая во мху поляна, по которой увязая, немцы бежали прямо в трясины, потому что с трех сторон в них бил из пулеметов.

Удивило также Митю, что немцы оказались в отдельности мельче и слабее, чем он думал о них раньше. И что они визжат, когда им плохо. И что многие из них носят очки.

Надя Хмелева перевязывала Митю. У него оказалось шесть колотых ран, одна огнестрельная в руку и несколько царапин. Все раны были легкие, и после перевязки он почти не чувствовал боли.

Боль пришла к нему только ночью, когда он неудобно улегся, и еще утром на следующий день, когда забывшись, делал резкие движения. Он попросил разрешения не уходить из строя. Раны заживали быстро.

— Молодой ты, — завистливо и восхищению сказал ему Воистинов. — На тебе сейчас все, как на собаке, заживает. Поэтому и не бережешься. А я вот должен оглядываться.

Воистинов не получил в бою ни одной царапины, хотя дрался как все и даже лучше многих. Цепкие и тяжелые, как клещи, руки его, постоянно исполняющие работу, привыкшие поднимать камни, действовали и в бою безотказно и страшно. Он мог бы ударить кулаком и убить.

Серьезно был ранен только Михлюдов. Две пули прострочили ему плечо. Он был обижен и говорил Воистинову:

— Все равно я на кухню не пойду. Не думай. Я полежу недельку и вернусь. Вот посмотришь...

Аркаша Девятин опять пришел после боя почти через сутки. Митя беспокоился за него и хотел идти искать, но его не пустили. А когда он пришел, Митя снова радовался так, будто друг его вернулся с того света.

К счастью, у Аркаши была только опарапана щeka, и он стер себе ноги. Однако от перевязки он отказался. И даже сердился на Падю Хмелеву, когда она приставала к нему с перевязкой.

— Мне нужно только немножко покоя, — говорил он. — Я хотел бы сосредоточиться и подумать, как это было.

Надя Хмелева опять пришла к ним в землянку через два дня после боя, и они опять говорили о том, о сем и, как все эти дни, больше всего о немцах.

Пашка Трубилов и Афоня Воробьев пользовались не только сводками Информбюро. Они расспрашивали разных людей, и у них всегда были самые последние сведения о положении на всем фронте.

Они говорили теперь, что сибиряки, по слухам, здорово воткнули немцам, и немцы немного остановились. Но, наверно, опять попрут. Им холодно, и они греться собираются в Москву. Гитлер им прямо велел туда ехать на-днях. И на-днях, действительно, на шоссе, в тылу у немцев, наши партизаны остановили штабную немецкую машину, в которой ехали шесть пьяных офицеров. Партизаны их спросили, куда они едут.

— Нах Москва, — сказали немцы. — Кафе «Метрополь».

— Знают, значит, суки, извини за выражение, Надя, — сказал Петька Щелконогов. — Знают, значит, что у нас есть «Метрополь».

— Они все знают, — сообщил Афонька Воробьев. — Они, по-моему, даже знают, что и в Москву никогда не войдут. Уж так просто, на испуг берут...

— Ну, а партизаны что?

— Ну, а партизаны, как полагается, взяли их за это место, извини за выражение, Надя, и на тот свет. А куда же?!

— А на-днях они тут листовки бросали, — опять сказал Трубилов. — Листовка и к ней — конфетка или же кусок колбасы и белая булка. Сдавайтесь, мол, будем кормить вас конфетами. Самим, сволочам, жрать нечего, а тоже — сулят. Я вчера пленных видел, так они просто трясутся, когда на хлеб смотрят. Говорят, пять дней не ели...

Где-то опять загремели пушки. Афонька прислушался и сказал:

— Нашп.

Надя Хмелева сказала:

— Хотите, ребята, я могу вам погадать. У кого какая линия жизни.

Все по очереди стали протягивать ей свои ладони. Она придвигала к ним свечку и каждому говорила его судьбу.

Аркаше, чью очень красивую руку она долго держала в своей, было сказано:

— О-о, ты, Аркаша, наверно, до ста лет проживешь. У тебя прямо чересчур длинная линия...

— А у меня? — спросил Афонька.

Надя развернула его заскорузлую ладонь.

— Все равно ведь правду не скажешь. — усомнился он. — Знаю я вас, ворожеек. Не скажешь?

— Почему? — обиделась девушка, разглядывая его ладонь. — Я бы сказала, но у тебя рука-то какая...

Афонька взглянул на свою руку и сказал:

— Действительно.

И сконфузился.

Надя предложила погадать и Вонстинову. Но он сказал, что и так знает еще лет сорок проживет.

А Мите Попову очень хотелось узнать о себе, но он почему-то стеснялся.

— Я в ворожбу не верю, — сказал он.

Хотя было очень соблазнительно узнать, какая у него линия жизни.

Надя так и ушла, не погадав ему.

«Жалко, что не погадала», — думал он и на следующий день. И, даже много позднее вспомнив, снова пожалел.

После первого боя он дня через три уже хотел снять перевязки, но не разрешили. Участвовал, еще перевязанный, в двух или трех мелких перестрелках. Но первый бой как бы укрепил его в некоторых убеждениях, сложившихся еще раньше. Он, например, был уверен теперь, что в бою все зависит от сноровки и что в следующих таких же боях его не только не убьют, но даже ранят, может быть, не столько раз, как в первом, а меньше.

Убеждение это, однако, сложилось не оттого, что война показалась ему легкой. Нет, война оказалась даже труднее и строже, чем он раньше представлял ее себе. Война оказалась страшной. Страшнее, чем он думал. И ко многому здесь он все еще не мог привыкнуть. Он не мог, например, сначала приучить себя не просыпаться по ночам, когда шел артиллерийский обстрел и когда все-таки можно и надо было спать, потому что в следующую ночь, может быть, совсем не придется уснуть.

Все спали, а он сидел на влажной соломе, раздумывая, надевать сапоги или подождать, а тревожно смотрел в темноту, где вздыхали, храпели и ворочались во сне его товарищи. Они как бы торопились выспаться за эти краткие часы и утром выглядели бодрыми, свежими. А ему по утрам хотелось спать. Но спать уже было нельзя. Надо было действовать, бодрствовать, всегда быть готовым ко всяким неожиданностям.

Ночью в землянке, на влажной, истоптанной соломе, было холодно. Печка нагревала землянку только когда топилась, потом скоро остывала, холодила, и от нее, похолодевшей, становилось еще холоднее. А топить печку можно было не всегда.

Митя Попов спал сначала не раздеваясь, не снимая даже шинели. Но Во-

Воинов, старый солдат, сказал, что лучше снимать с себя все, когда дожишься.

— Это первое дело, раздеваться, — сказал Воинов. — И вояшь на тебе тогда не поселится. И теплее тебе будет.

Митя попробовал спать, только прикрывшись шинелью. Оказалось, действительно теплее. Поги только надо получше укутать.

— Привыкнешь, — говорил, постоянно приглядываясь к нему, Воинов. И Митя сам знал, что привыкнет. Привыкли же другие. Все это пустяки, не главное. Главное — приловчиться, — говорил тогда старик на шоссе, когда они ехали сюда в грузовиках. Митя был уверен, что он скоро привыкнет, приловчится, и у него все пойдет по-хорошему. Обязательно все пойдет как надо. Уж он, будьте уверены, просто так тут не погибнет. Не такой парень..

И все-таки ему было интересно, какая же у него линия жизни? Еще интереснее ему было узнать, что думают о нем товарищи, видевшие, как он дрался тогда, в первом бою?

Но никто об этом не вспоминал.

Воинов только говорил ему:

— Нет, ты еще не медведь, Митрий. Пет. Горяч больно. А для чего горячиться? Пусть они горячатся, немцы. А ты бей их по башкам и помалкивай. И главное — гляди в оба.

И повторял:

— Гляди в оба. Во все стороны гляди и прямо

«Видно, я чего-то делал не так, — думал Митя. — И сержант тогда оставил меня для связи, а потом забыл про меня. В чем-то я, наверно, промазал...»

Митя Попов жил на войне, как работал на заводе. И там было трудно (сначала. И тут трудно. Но он тут так же, как и там, хотел сразу же добиться особой споровки, хотел понять все секреты нового для него дела. Он, никогда не мечтавший о военной карьере, вел себя так, как будто собирался стать генералом. Хотел понять сразу все, и даже то, что понимать ему пока было вовсе не обязательно.

Но разве можно точно узнать, что пригодится на войне. Инженер Кателлин читал какие-то военные книги. Митя попросил у него одну. Это были мемуары маршала Фоша. И Митя Попов решил, что лучше, чем попусту терять время у печки, прочитать эту толстую книгу. Вечера в три он ее, наверно, прочитает, если будет свободное время.

Раньше его интересовала теория резания, и он читал популярные технические книжки. Ну, а раз теперь война и он на войне, он будет читать военные книги. Все равно ведь надо учиться...

Однажды, когда он сидел вечером около печки, развернув на коленях сочинение маршала Фоша, дверь землянки приподнялась и вошел сержант, тот самый, который вел их в первый бой.

В землянке был только один Митя. Но сержант не сразу разглядел его в полутьме и спросил, будто здесь было много народу:

— А кто у вас тут, ребята, Попов?

— Я Попов, — сказал Митя.

— Я хотел с вами поговорить, — и сержант похоже немножко смутился. — Помните меня?

— Помню, — сказал Митя. — Ну как же...

Он-то помнил сержанта. А вот как сержант его не забыл? Запомнил даже фамилию — Попов.

— А мне фамилия — Антон Хромых, — сказал сержант.

И потом заговорил о деле. Он теперь будет заниматься особой разведкой в тылах противника. У него будет небольшой отрядик, человек так семь восемь, и ему разрешили самому подобрать их.

На взгляд сержанту было лет двадцать, ну от силы двадцать один год. Он, пожалуй, старше Мити года на два — на три. Но у него уже была командирская, подтянутая фигура и командирская манера говорить.

Митя вспомнил, как в бою сержант начинал подавать команду вдруг не своим, но властным и требовательным голосом. А в жизни он разговаривал просто. И просто он сказал Мите:

— Хотите, будете работать в разведке?

— Все равно, — почти равнодушно сказал Митя, чтобы никак не выдать своей радости. И как бы между прочим добавил: — Я вообще-то минометчик. Учился. Но из миномета по-настоящему еще не стрелял.

— Вот отобьем у немцев миномет, — сказал сержант, — будете стрелять из миномета.

— Хорошо, — сказал Митя.

— Тут еще из ваших ребят я хотел взять кого-нибудь, — сказал сержант. — Только фамилии их не знаю.

— У нас хорошие ребята, — сказал Митя.

Утром сержант комплектовал весь свой отрядик, в который, помимо других, вошли Трубилов, Вуробьев, Шелконогов и даже Вонстинов. Не вошли вначале в отряд только Аркаша Девятин. Но Митя спросил его:

— Ты хочешь в разведку?

— Я с удовольствием бы, — сказал Аркаша. — Ты сам знаешь, я люблю риск.

Аркашу тоже взяли.

Не прошло еще и двух недель после того, как Митя Попов приехал на войну. Но теперь иногда ему казалось, что он приехал сюда уже давно-давно, и давно был первый, памятный бой, в котором ранили его и окрестили в кучели сурового солдатского опыта.

Опыт этот, хотя и небольшой пока, оберегал его теперь и наполнял уверенностью и пробуждал законную гордость. И такую же гордость испытывали каждый день его ровесники, разведчики, бродившие вместе с ним по темным осенним лесам, но тылам врага под командой лихого сержанта, их сверстника, Антона Хромых.

Их поколение вступило в жизнь, когда ушли уже в легенду и уличные бои великой революции и отгремели выстрелы гражданской войны. Даже война с белофиннами, прошедшая совсем недавно, застала их еще на школьной скамье.

Они были еще маленькими мальчиками, когда ближайшие их предшественники, восемнадцатилетние комсомольцы, вместе с отцами и братьями их становились знаменитыми ударниками, героями гигантских Кузнецкстроев и Днепростроев, Уралмашей и Магниток.

Они тогда только мечтали о героической карьере, эти вчерашние школьники, подраставшие в героической стране. И вот теперь перед ними раскрылось поле битвы...

Задумчивые они входили на рассвете в темный лес, стоявший по нашу сторону фронта. Они возвращались усталые и счастливые после удачной раз-

заведки, чтобы завтра в сумерки снова пойти по вражеским тылам. Опасная работа возбуждала их.

Пройдут годы, десять, двадцать лет пройдет, и о них, может быть, станут вспоминать и думать так же, как они думали о людях гражданской войны. И кто-то будет завидовать им. И они сами, наверно, будут удивляться в старости тому, что было. Было давно-давно, когда они были молодыми.

Аркаша Деятин однажды на рассвете, после разведки, входя в безопасный лес, прочитал красивую строчку из старых стихов:

На заре туманной юности...

И многие парни, совсем не сентиментальные, попросили его списать им эти стихи. Даже сержант Антон Хромых, человек неразговорчивый, спросил заинтересованно, чье это сочинение. Не так уж чувствовалась усталость.

А усталыми разведчики возвращались постоянно. Приходилось много ходить, много ползать по-черепашьи на брюхе. И если приходилось долго лежать где-нибудь в укрытии, выжидая, выглядывая врага, напряжение этих ожиданий стоило многих километров пути. Один раз они чуть ли не целые сутки пролежали в холодном болоте, грея руки дыханием и мечтая хоть о какой-нибудь еде. Но вся еда была съедена еще накануне. Питаться было нечем.

Питанием в походе у них ведал главным образом Воиштинов. И поэтому они редко бедствовали. Никто так не умел разговоривать в деревнях, особенно с бабами, как Воиштинов. Никто не мог так затронуть их за сердце, собрать все нужные отряду сведения и промыслить насчет продовольствия даже в деревнях, начисто обобраных немцем.

— Приходите еще, — говорили ему, провожая его, бабы, когда он уходил из деревни. — Уж больно вы хорошо объясняете, что к чему. Приятно даже послушать...

И ему совали в мешок и мясо, и хлеб, и картошки.

— Верите, берите, — говорили ему, когда он отказывался, что очень много. — Пушай лучше свои съедят, на общее дело, чем эти вшивые дьяволы. Истомился мы все, милый человек.

Бабы утешно плакали, жалуясь ему. И сообщали все, что было им известно о расположении вражеских войск. И брались собрать новые сведения к его приходу.

Отряд ходил по тылам, высматривал, выслеживал, нарушал связь между штабами и даже нападал на штабы и штабные машины, ходившие по дорогам вражеского тыла.

Иногда случалось отряду вступать в короткие схватки с противником, принимать неравные бои. Но чаще отряд без единого выстрела делал все, что надо было ему, и невредимым возвращался в свой штаб.

В лесах еще пахло грибами, хотя первые предзимние холода уже изжелтели траву и утром она была в белом инее.

Немцы, не надолго остановленные на дальних подступах к столице, готовили новое наступление, стягивали резервы, подвозили вооружение. И тут отряд сержанта Антона Хромых мог сделать многое, разгадывая замыслы противника, разведывая его тылы. И отряд делал многое. Каждый в отряде чувствовал, что он выполняет важное и очень ответственное дело.

— А если что-нибудь случится, — говорил сержант, — вы сами понимаете, живыми мы не дадимся. Пусть и не надеются немцы...

И вот на второй или на третий день после того, как были сказаны слова, когда отряд уже был близок к своему штабу, почти на рассвете, заметила около деревни большая группа немцев, вышедшая из леса.

Сержант Антон Хромых тоже заметил немцев. И еще он заметил в шагах тридцати от себя неглубокую яму, метра, должно быть, в полтора глубины, квадратным пятном черневшую близ дороги.

Он бросился к этой яме и скомандовал:

— За мной.

Митя Шолов пополз за ним. Немцы уже открыли огонь. Успеют ли остальные разведчики добраться до окопа?

— Аркадий! — крикнул Митя.

Но вместо Аркадия приполз Афоня Воробьев. Потом Воистинов и Петя Шелестов. Позади полз Пашика Трубилов.

— Все здесь? — спросил, не оглядываясь на яму, а наблюдая за немцами, сержант.

Немцы ходили в полутьме на разрозненное стадо каких-то странных животных, осторожно крадущихся к добыче.

— Нет еще, не все, — ответил Митя, разглядывая сидевших в яме.

Где-то на дороге застряли еще четверо и среди них Аркаша Десятин.

— Аркадий! — опять крикнул Митя.

Приполз еще один боец, Алтухов. Но Аркаши не было.

— Подождите стрелять, — спокойно сказал сержант, увидев, как устрояется с пулеметом у края ямы Афанасий Воробьев. — Пусть немцы подойдут ближе.

— Есть подождать, — весело повторил Воробьев. Он явно веселился, увидев немцев. На этот раз его покинула сдержанность разведчика. Он даже не думал о том, что их, разведчиков, здесь, в этой неглубокой яме, всего семь человек, а немцев, может быть, больше сотни.

Немцы уже бежали по полю в предрассветной, сизоватой мгле. А Десятин все еще не было. Где же он?

— Аркадий! — еще раз крикнул Митя. И хотел уже выбраться из ямы, чтобы выручать дружка, когда тот, наконец, вкатился в яму.

— Я ведь не один, — сказал Аркаша. — У меня пулемет.

— Нас восемь, — сказал Митя.

Приползли еще двое — Усманов и Андронников.

— Нас десять, — сказал Митя. И, взяв у Аркаши пулемет, стал устроять его в правом углу ямы.

Немцы были уже совсем близко. Виден был офицер, бегущий впереди. Офицер кричал, как будто просил подождать его, как будто он опаздывал к поезду.

— Айн момент! Айн момент!

Были видны погоны на его шпеле. Он был совсем близко. И вот теперь он крикнул:

— Рус, сдавайте! Сдавайтесь...

— Сейчас сдадим, — успокоил его Афонька. И, озорно взглянув на сержанта, спросил: — Разрешите, товарищ сержант, на одну минутку? Я их сейчас сфотографирую, этих нахалов.

— Дуй, — просто сказал сержант.

Афонька с удовольствием выпустил в немцев длинную очередь. И офицер немедленно стал похож на птицу, которая желает улететь, но улететь не может. Он широко взмахнул руками, подпрыгнул и тяжело упал.

Около него упали десять—пятнадцать солдат. Но остальные сейчас же
залегли.

Вонстинов присел у пулемета, который приволок Аркаша Девятин.

— Ну чего, ждате будем, что ли, когда подойдут, или начнем чесать? —

спросил у сержанта Вонстинов. Он явно томился в бездействии.

Митя Попов, сожалеющий, что у разведчиков нет миномета, держал автомат.
И Павел Трубилов держал автомат. Автоматов было всего два. Остальные
держали винтовки.

— Нам не к спеху, — ответил после значительной паузы сержант. —

Можем и подождать. Пусть подходят.

И немцы действительно подошли, но только с другой стороны, со стороны
деревни.

Вонстинов перенес в их сторону свой пулемет. Он теперь терпеливо
ждал их.

— Рус, сдавайся!

— Опять одно и то же кричат, — сказал Вонстинов сокрушенно. —
До чего народ глупый. И первые какие. Уж сейчас сразу и сдавайся...

Немцы быстро приближались со стороны деревни. И на поляне тоже под-
нялись немцы.

— До сумерек, наверно, не управимся. — сказал Вонстинов, поглядев на
них. — Народу больно много.

Немцы кольцом окружили яму и опять кричали:

— Рус, сдавайся.

— Ну, я сдаюсь, — сказал смешливо Афонька Воробьев. — Я больше не
могу. Так просят, так просят. У меня терпенье кончается.

— Огонь, — командовал сержант.

И огненный вихрь ударил в немцев. Они опять залегли, оставив
на поляне и около деревни несколько трупов.

Митя Попов смотрел на опушку леса, где началось какое-то движение.
Наконец он понял: немцы разворачивают пушку.

— Товарищ сержант, — сказал Митя. — Пушку, по-моему, разворачивают.

— Миномет они разворачивают, — сказал сержант. — Два миномета.

И он посмотрел в сторону деревни, где так же было заметно движение.

— Третий миномет, — сказал сержант.

— Все-таки какое внимание они нам оказывают, — сказал Афонька Во-
робьев. — Хотя и воры и сволочи, но культурная нация. Глядите, против
десяти человек сколько народу собрали и три миномета. Я уверен, еще ми-
нутка и дальнобойную артиллерию привезут.

Он смеялся, но зубы стучали у него. Нервная дрожь была худенькое,
беспокойное тело его.

Аркаша Девятин стоял у края ямы и задумчиво смотрел в лес. В руках
у него была винтовка, из которой он два раза уже выстрелил.

— Убил кого-нибудь? — спросил его Митя. — Или не заметил?

— Не заметил, — сказал Аркаша. — Может быть, и убил.

— Надо метиться, Аркадий, — посоветовал Митя. — У нас не так уж
много патронов. Имей в виду...

Митя хотел еще что-то сказать, но заговорили немецкие минометы. Крас-
ный огонь и взрыв. Взрывы были еще далеко от ямы. Но они приближа-
лись. И под прикрытием минометов немцы снова пошли в атаку.

— Огонь!

Навстречу им из ямы снова хлынул горячий металл. Немцы ушли.
И снова пошли, потому что минометы должны были сделать свое дело.

— Огонь! — командовал Антон Хромых.

И снова били из ямы пулеметы, винтовки и автоматы. Но вдруг Усманов качнулся, поднял винтовку и, перебросив ее через голову, ушел из ямы.

Афонька Воробьев больше не шутил. Он прильнул к своему пулемету едва успевал менять диски.

Антон Хромых смотрел на небо. То ли от пальбы так быстро светает, то ли это законно наступает рассвет? Надо успеть до рассвета выслать бойца в штаб, чтобы сообщить о пиковом положении. И если весь отряд погибнет до подхода подкрепления, боец все-таки передаст в штаб важные сведения о сегодняшней разведке.

По боям могут по дороге убить. У самой ямы могут убить. Надо смело послать самого ловкого. Лучше двоих. Кого послать? Попова? Петя, Попов тут нужен.

— Шелконогов, — сказал сержант голосом официальным, непохожим на его обычный голос. — Походите в штаб. Передадите наши сведения о враге. Ну. — Сержант помедлил. — Ну, и объяснишь там, мол, так и так. — Поблизился он неожиданно просто, по-свойски. — Положение, мол, пиковое. Достаточно?

— Понятно, — сказал Шелконогов. И стал приглядываться, с какого края ему лучше выползти из ямы незамеченным.

— Ну, дуй, Петя, — сказал сержант. — Давай скорее. Светает... — и поймав его руку, пожал крепко.

— Счастливо, Петя...

— Будет сделано, товарищ сержант, — сказал Петя. И, вывинув вперед себя винтовку, пополз из ямы.

Через минуту сержант послал вслед за ним бойца Андронникова.

Андронников выполз из ямы в полной тишине.

На поле вдруг наступило минутное затишье.

И в эту минуту немцы опять закричали:

— Рус, сдавайся!

— До чего нервные, — опять сказал про немцев Воистанов. — И патронов у них, и патронов много, а нервов постоянных нету.

Очень слышалось отвратительное дребезжанье и кваканье мин.

Мины разрывались теперь почти у самого края ямы. И в шум разрывов все чаще врывался треск немецких автоматов.

Первым ранили Аркашу Девятина. Пуля попала ему в кисть правой руки.

Митя Попов сейчас же увел его на середину ямы, усадил на дно, перевязал и тревожно ощущал, нет ли еще ранений.

Ранений больше не было.

Митя вернулся на свое место.

А Аркаша остался пока сидеть на дне ямы, еще более грустный и замученный, чем в начале боя.

Вскоре отвалился от края ямы и ушел раненный в голову Трубилов.

Из ямы стреляли все реже и реже. Только Афонька Воробьев неистовствовал. Он бил и бил из своего пулемета, быстро сменяя диски.

Воистанов стрелял более спокойно и размеренно.

Но вот вздрогнул вдруг Афонька Воробьев и медленно скатился на дно.

— Попали все-таки. — сказал он еле слышно и, положив правую руку на голову, перевернулся на бок. Затих, как уснул, — милый, веселый, бесшумный Афонька Воробьев.

Сам сержант занял его место. Пулемет еще был в полной исправности. Было стрелять.

Но сильный разрыв оторвал край ямы, в том месте, где стоял пулемет Воиствова.

Земля взлетела веером.

И вместе с землей унал на дно ямы, будто сдунутый ветром, Воиствонов.

Митя Попов стал вытаскивать засыпанный землей пулемет Воиствонова.

Немцы прекратили на минуту обстрел и опять кричали:

— Рус, славайся!

Панка Трубилов, все время лежавший недвижимо на дне ямы, вдруг поднял голову из лужи собственной крови и сказал хрипло:

— Ни за что. Слышишь, Митька? Ни за что не сдаваться. Не возьмут они

Они — дерьмо. Слышишь?

— Слышу, — сказал Митя. Он продолжал вытаскивать пулемет Воиствонова прислушиваясь к стрельбе. Где-то слева, с той стороны, где проходила линия нашего фронта, послышалась частая стрельба и в стрельбу ворвался сильный шум голосов.

Может быть, Щелконогов повстречал уже наших и ведет их на выручку. Шум голосов усиливался и ожесточеннее становилась стрельба. Потом опять затихло.

Вокруг Мити вдруг зашевелилась земля. Из кучи свежей земли показалось лицо. Наконец Воиствонов высвободил из-под земли окровавленную голову и начал плевать. Он выплевывал землю и кровь вместе с землей.

— Вот, — сказал он, — Митрий. Вот за эту вот землю и воюем. — Он motion головой, как конь отбиваясь от мух, и разгребал землю вокруг себя. — За эту горькую, сладкую землю.

— Рус, славайся!

Немцы с одной стороны почти вплотную подошли к яме, и сержант полил горячей струей из пулемета:

— Это в память о лихом пулеметчике, об Афанасии Ивановиче Воробьеве.

И опять слева, с той стороны, где наш фронт, послышалась частая пулепая стрельба, и в стрельбу ворвался неясный шум голосов. Может, это в моем деле Петька Щелконогов уже ведет наших на выручку. Продержаться еще минутку. Может быть, это наши с фланга бьют немцев.

Но сию же минуту Митя понял, что ошибся. Нет. Это пока не наши. Это немцы с двух сторон ответили сержанту ураганным огнем.

Огненный ливень накрыл яму.

— Ну, теперь мы пропали, — громко сказал Аркаша Десятин и встал на колени. — Все кончено...

Митя оставил на минуту пулемет и бросился к Аркаше. Он крепко взял его за плечи и силой снова посадил на дно.

— Что ты, Аркадий? — испуганно сказал Митя.

Мите вдруг стало страшно и стыдно за него. Ведь еще не умер Павел Трубилов. Жив сержант. Воскресает Воиствонов. Может быть, еще слышит Афонька Воробьев. И, кто знает, может быть, скоро подойдут наши...

Воиствонов высвободил уже ноги и смотрел на свой пулемет.

Митя подполз к Воиствонову.

— Подожди, дядя Костя. Я сам его поставлю... Я тебя сейчас пере Митя поднял пулемет. И в этот момент почувствовал, как вдруг сердце и в груди стало горячо-горячо, и что-то горячее полилось па башкой.

Митя, не понимая, что происходит с ним, сел на землю.

Было больно. Он лег. Вытянулся. Голову положил на бугорок и стал ками разрывать гимнастерку. Было душно.

Где это так же человек разрывал себе грудь? Ах да. Вспомнил. Это в том первом бою, около чащи. Человек разрывал себе грудь перед смерт.

Значит, он умирает. Уже умирает. И в землянке так и останутся печки, за камнем, недочитанные им мемуары маршала Фоша, заверну в газету «Вечерняя Москва». Обидно...

Зачем-то бухгалтер сказал ему: «Стыдно мне перед вами, Дмитрий спятевич».

А бабушка сказала: «Мы, слава богу, русские люди. Куда же мы из ст земли бежать-то будем?»

А старик на шоссе, одноногий Михеев Егор Егорыч, кричал им они ехали на грузовиках: «Он вам петлю будет делать, а вы ему две те. И не бойтесь. Против нас он не может».

Оказывается, это все запомнилось.

И за мнилось, как бабушка маленькому ему говорила, показывая графию его отца: «Гляди-ка, Митенька. Нана то твой. Какой был красн

И плакала...

Потом вдруг сразу Митя вспомнил свою гитару. Он тут, а девчонки сские там, может быть, играют на его гитаре. «Ты ушел, и твои плеш ушли в ночную мглу».

А он даже встать не может.

Но он встанет. Полежит еще немного и встанет. И тут же вспомнил он скакал по утрам в пустынном коридоре верхом па палке. Он маленьк тогда.

А сейчас он большой и воюет. И Пашка Трубилов крикнул ему смертью: «Ни за что!» А Воиотинов сказал: «Вот за эту горькую и сла кую землю».

Митя сейчас лежит на этой земле.

Нет, он не умрет. Он сейчас встанет. Хотя ему трудно. Ну, почему так душно? Октябрь, холод, а ему душно. Надо расстегнуть гимнасте И Митя хочет расстегнуть.

Но его сейчас привлекает другое.

Аркаша встал на колени. Вот уже он стоит на ногах и размахивает р ми. И в руке у него что-то белое.

Что это такое? Ах, да! Это белый бинт, которым ему перевязал Митя. И Аркаша размахивает этим бинтом.

А наши все еще не подходят. Может быть, убили по дороге и Петь Шелконогова и Андронникова.

Мите становится еще более душно, и сердце сдавлено так, что вот оно расплющится. Боль адская, нельзя шевелиться.

Но сержант стреляет. Значит, все в порядке.

Жаль только, что сержант не видит Аркашу.

Аркаша стоит у него за спиной, высокий, выше сержанта, и размахива белым бинтом.

Нет. Митя не умер. И не может умереть. Не должен. Преодолевая боль, он садится, прислоняется спиной к стенке ямы, вынимает из-за пояса тяжелый трофейный пистолет, долго метится, вкладывая всю душу, всю жизнь, все желание жить, и наконец стреляет в голову в висок Аркаши Девятина.

Девятин медленно подгибает колени, хочет, наверное, сесть, но падает.

Мертвые могут только падать.

Воиштинов и сержант оглядываются на выстрел. Они молчат. Потом сержант опять поворачивается к пулемету.

Воиштинов смотрит на мертвого Девятина, потом на Митю. Он ничего не говорит. Он только смотрит.

Глаза у Воиштинова большие, светлые, по-детски наивные, но без обычной хитрецы. Он смотрит. И думает о чем-то.

На эту думу потрачено мгновение, но кажется оно бесконечным.

Может, он вспомнил в это мгновение, как жили эти парни. Ведь он видел, как они жили. И видел, как Надя Хмелева гадала им, у кого длиннее линия жизни.

Глупая девочка, разве главное в том, чтоб была длиннее?

Потом Воиштинов повернулся опять к своему пулемету.

А сержант Антон Хромых все стрелял и стрелял...

★

Вот об этом я и хотел написать. О парнях, которых нельзя победить, даже если они умирают. О сержанте, который все стрелял и стрелял.

Было это за Можайском, по ту сторону Можайска, около одной из затерявшихся потом в снегах деревень. Было это в тысяча девятьсот сорок первом году, глубокой осенью, на рассвете.

Ноябрь 1941 г.

ИВАН БЕЛЯКОВ

СНЕГУРОЧКА

Кривая улица выходит на опушку.
Люблю я это тихое село.
Кругом снега... И крайнюю избушку
Почти до самых окон замело.
Над белой крышей белый дым струится,
Здесь старики уже немало дней
Живут одни, им по ночам не спится—
Они расстались с внучкою своей.
Она под этой крышей расцвела,
И старики печали с ней не знали.
Красавица, как снег, она бела,
Ее не зря снегурочкой прозвали.
Но им от внучки долго писем нет,
И по ночам она все чаще снится.
И вот к ним русский школьник, их сосед,
Приходит вечером и у стола садится.
На стенке ходики стучат неутомно,
В углу белеет печь, теплом дыша.
Любуясь мальчиком, они одновременно
Письмо снегурочке диктуют несмеша.
Письмо отправят, снова ждут ответа
И вечерами, сидя за столом,
Часами целыми любят портретом —
Он в деревянной рамке за стеклом.
С письмом снегурочки, уж ровно две недели,
Портрет был прислан из далеких мест...
Под снежным деревом стоит она в шинели, —
На рукаве шинели — красный крест.

ОСИП ЧЕРНЫЙ

ПРОРЫВ

Часть подполковника Власова пробивалась лесами. Под ногами бойцов хрустели сухие ветки; повозки с трудом продвигались вперед; походная кухня то и дело паскакивала на корневища.

Линев, начальник ОСО, шел рядом с дружинницей Машей. Она несла на себе две туго набитые санитарные сумки; сумки резали ей плечо, и приходилось приподымать их, сдвигать ремни.

— Дай мне, — предложил Линеv. — Небось, большие вещи бросили, а ты гаскаешь эти бинты.

— Ничего, — сказала она, — я донесу.

— Ну давай! Залезла в подпрыгу и не выберется. Оставь себе одну сумку, что ли.

— Да я донесу, — повторила она.

Ни он, ни Маша не знали, долго ли придется еще идти. Люди шли четвертые сутки и сильно устали. Время от времени все останавливались: издали духо доносился брудийный гул; трудно различимые звуки боя долетали до леса. На лицах бойцов было суровое ожидание. Затем колонна осторожно двигалась дальше.

Район был охвачен немцами; предстояло пробиваться к своим — с трудом и, скорей всего, с жертвами.

Подполковник шел впереди. Говорил он мало, подбадривал людей; именно от него и ждали они спасения: на него смотрели с надеждой, и легче было думать, что жизнь твоя зависит от человека умного и отважного, чем от игры судьбы: он знает, что делать, пусть и распорядится.

Но цепочке передали приказ:

— Маша, иди! Тебя подполковник требует.

Она начала на ходу поправлять ремень.

— Давай сумку, — слова сказал Линеv. Но Маша убежала.

Бегала она немного тяжело, с какой-то девичьей неуклюжестью. Сапоги были чересчур велики, волосы выбивались из-под пилотки. Но в фигуре ее было что-то, пусть и нескладное, но привлекательно скромное.

При мысли, что девушка эта подвергается невзгодам войны, а сейчас, как все, попала в крутую опасность, Линеv испытывал огорчение и тяжесть.

Ничего не было удивительного в том, что опасности подвергались бойцы;

присутствие же девушки вызывало особенную жалеющую нежность. С каким-то очень незрелым, недоумением Лиев снова задумался над всем горем, которое навлек вероломный удар фашистов; в их ударе было нечто бесчеловечное, отвратительное по заносчивости и тупости.

Он наклонился и достал из-под ног обломанную ветку. Под корой ее уже не чувствовалось прежней сочности. Вот и ветка не вынесла; неужели же люди Германии за восемь лет растратили все и стали иссохшим, мертвым народом без совести?

Маша вернулась. Лейтенант Казарин, занявший было ее место, отступил на следующий ряд.

— Зачем вызывал подполковник? — спросил Лиев.

Она не знала, имеет ли право ему говорить.

— Спрашивал, все ли я подготовила, — нерешительно произнесла она.

— Прорываться будем?

— Скорей всего да... А вы хотели, чтобы я бросила перевязочный материал?

Положим, он этого не хотел, но это в конце концов было неважно. Может быть, он и неточно сказал ей.

«Пужно понятней разговаривать», — подумал Лиев и при этом почувствовал к ней охлаждение.

Маша на ходу стала рыться в сумках. Лиев покосился на нее; он протянул руку и взял у нее бинты и несколько пакетов с ватой. Она перекладывала содержимое сумок.

Вскоре колонна остановилась. С повозки стащили на землю мешки, и старшина начал раздавать паек — по сухарю и кусочку сахару. Сняли крышку с котла, повар взобрался наверх.

Бойцы, стоявшие возле, сосредоточенно наблюдали, как густо клубится над котлом пар. Никто не подходил.

— Ну? — сказал повар, — можно строиться — подноси котелки.

Как и в прошлый раз, бойцы стали отказываться; делали они это с каким-то упрямством, не объясняя.

Приставив винтовку к котлу, повар черпаком размешивал суп.

— Давай подходи! — повторял он.

Бойцы не двигались; потом они стали подталкивать более слабых. Появилась Маша и строго потребовала, чтобы те шли к котлу. Они подчинились, не глядя на нее, испытывая смущение.

— А ты как же? — вспомнили стоявшие. — Тебе полагается, ты ослабшая.

Маша ни за что не соглашалась: она говорила, что сыта уже, что она пробовала суп и что он ей не нравится. Ее заставили насильно — подсунули котелок и поднесли ко рту полную ложку. Маша жалкими глазами посмотрела на стоявших и с виноватым видом раскрыла рот. Боец Суянов с исчерченным жесткими складками лицом сурово начал ее кормить. Солнце садилось за деревьями; длинные полосы света тянулись по темной земле.

Лейтенант Казарин прилег поодаль, вытянулся и оперся на руку. Он задумчиво ворошил носком сапога листья. Подошел комвзвода.

— Теперь, лейтенант, покушать надо бы, — сказал он. — Ты и вчера не ел.

Казарин махнул рукой, не меняя позы. При этом он сжал челюсти с таким видом, как будто питал к кому-то недобрые чувства. Он смотрел, как садилось за лесом солнце; тень, лежавшая рядом, постепенно наползала на него. Удары орудий стали несколько ближе. Минуты две в лесу была тишина;

прислушивались и при этом думали, что и командиру слышна стрельба: он знает, что нужно делать и как дальше быть.

Подполковнику принесли щи. Он заглянул в котелок и, не торопясь, отвалинул его от себя.

— Все поели уже, — сказал адъютант, — очередь теперь ваша.

В ответ на эту нехитрую выдумку подполковник кивнул ему.

— Вот погрызть чего-нибудь дайте, — сказал он, — от сухариков не откажусь.

Солнце село. Небо стало темнеть и как будто отдалилось, осенний холод выступил явственней, и над землей стал стелиться туман.

Он становился все гуще; вот-вот закроет шоссе, и тогда можно будет пересечь его с меньшим риском. За этим шоссе бойцам рисовался совсем другой мир.

Идем сквозь деревья издали были видны высокие немецкие повозки. Прошла рота солдат в легких шинелишках и коротких сапогах. Они казались тусклыми, и было горько, трудно думать, что от таких вот приходится прятаться. Захватить бы всех, потрясти так, чтоб душонки вытрусить. Те, кому было видно, стояли прижавшись к деревьям. Было что-то оскорбительное в том, что они тут скрываются, а эти дрянного вида захватчики идут по шоссе.

Лейтенант Базарин тоже глядел. На лице его лежал отпечаток большой, трудно переносимой боли.

Два бойца, повернувшись в его сторону, понимающе остановили на нем взгляд. Один неуверенно сказал, — не зная, так ли выражает их общие чувства:

— Отольются кошке мышьины слезы.

Базарин, ничего не ответив, пошел в глубь леса.

Темнота, встававшая из-за деревьев, все плотнее покрывала шоссе. Туман делался все гуще и выше. Подполковник Власов приказал двигаться глубиной, — он неожиданно изменил место, откуда намечено было прорываться.

Колонна шла долго и подошла к шоссе с другой стороны. Накапливаясь ближе к опушке, люди ждали распоряжений.

Наступила напряженная тишина. Шепотом передавались последние указания.

И вдруг раздался выстрел. Он прозвучал поблизости, гулко и растаял в темноте. Слышен был хруст веток, бежало несколько человек.

Линев, сорвав с ремня свой фонарик, осветил несколько лиц. Он бежал на звук, и сердце его отбивало быструю, колкую дробь.

Выстрел так и заглох в лесу — никто не отозвался. Все ждали чего-то за ним, а продолжения не было.

Подполковник стоял у опушки.

— Нашли? — спросил он сдержанно.

Линев сказал, что никого не нашли.

— Может быть, это случайность, — заметил адъютант.

Подполковник молчал. Слышно было, как он передвигает кобуру пагана.

— Нужно дозоры выставить, — сказал он. — Проверьте шоссе; будем двигаться.

Колонна двигалась медленно, осторожно, как бы закрепляя каждый свой шаг. Всех раздражало то, что сзади поскрипывали новозки; люди зло оглядывались.

На шоссе было тихо. Лес по ту сторону вырисовывался сквозь туман! гу. стой и неясной массой.

Лишь только успели ступить на шоссе, как справа во второй раз грянул выстрел, и вслед за ним взвилась ракета.

«Все пропало!» — подумал Лиев.

Он бросился вправо, отстегивая кобуру и на бегу вытаскивая застрявшее оружие.

Он споткнулся и чуть было не упал. Его охватило чувство бессильной ярости.

— Стой! Кто тут? — послышался впереди голос.

Он узнал Казарина.

— Я! Пачосо.

— Легче, — сказал Казарин. — Держите этого сукина сына.

Лиев хотел навести на него фонарик, но во-время спохватился. Сильным ударом он выбил из рук задержанного винтовку, схватил за руку; рука того дрожала.

— Негодяй! — сказал, волнуясь, Лиев. — Ух ты, гадина!

Тот, словно обмякнув, даже не вырывался из рук Казарина и Лиева.

Они оттащили его в лес. Здесь было тихо, поблизости никого не было.

— Заколоти тебя, пулю жалко, — сказал Казарин.

Он нагнулся в поисках винтовки, и в это мгновение человек, которого он держал, вывернулся и, сделав резкий поворот, убежал.

— Стой! — в бешенстве крикнул Казарин. — Убью.

Человек ускользнул. Казарин, кинувшись вслед за ним, ударился головой о дерево и разодрал руку. Он продолжал бежать и в темноте кого-то схватил.

— Товарищ командир, — сказал схваченный, — вот он, мы его держим, он самый.

И в руки Казарина передали беглеца.

— Шпион? Говори — шпион? — повторил, задыхаясь, Казарин. Тот молчал.

— Говори!

— Товарищ командир, это немец, — сказал стоявший рядом боец. И на каком-то смешанном языке он обратился к стрелявшему:

— Дейч? Да?

Стрелявший сказал:

— Да.

Когда подполковнику доложили, он велел построить колонну и отвести ее назад.

По верхушкам деревьев прошел легкий трепет, и затем наступила глубокая тишина.

Люди возвращались усталые, с опавшей надеждой. Теперь они острее почувствовали холод ночи, сырость и осеннюю неуютность земли.

Вернувшись в лес, бойцы стали устраиваться на ночлег. Они натягивали на головы шинели и ложились по-двое, по-трое, чтобы согреть друг друга. Те, у кого оставалась махорка, курили, прикрывая ладонью огонек; другие ждали очереди, чтобы сделать затыжку.

Подполковник сидел, прислонившись к дереву и опустив голову. Ему вспоминалась землянка, свеча в консервной коробке, газеты, походная кровать в углу — уют полевой жизни, ставший теперь недоступным.

Он вздрогнул — кажется, задремал. Он обратился к сидевшему на постели адъютанту:

— Озябли?

— Нет, гимнастикой занимаюсь.

— С шоссе сведения есть?

Приходят.

— Все обошлось?

— Засада, повидимому, была в этом пункте. Хорошо, что мы отошли.

— Хорошо... так... А проверку сделали?

— Лиев проверяет.

— Хорошо, — снова сказал подполковник и, закрыв глаза, уронил голову на грудь.

Лиев, кончая обход, наткнулся на Машу. Она тоже обходила бойцов: одному дала кальпекс, другому перевязала ногу, с третьим просто посидела немного — потрогала лоб, сказала несколько добрых слов.

— Спать идёшь, — обратился к ней Лиев. — Возьми мою плащ-палатку.

Она покорно поднялась и последовала за ним. Они пробирались, осторожно обходя лежавших.

— Что же это все я? — спохватилась Маша. — Сегодня хоть вы посетите.

— Посплю. — сказал он.

Он привел ее к бугорку, окруженному деревьями; тут было как будто посуше. Маша вспомнила о простуженных бойцах и хотела пойти за ними, но Лиев ее не пустил:

— Спят ведь уже, не стоит их трогать.

Он разостлал плащ-палатку и, когда Маша легла, укутал ее сверху.

— А вы как же? — робяя, спросила она.

— А так... устроюсь.

Она хотела еще что-то сказать. Подкладывая в изголовье сумку, она долго возилась.

— Можно ведь и вам на палатке, — наконец, сказала она.

— Да нет, мне удобно.

Больше она не стала возражать.

Все поднялись рано, еще не рассеялся туман. Теперь можно было развести костры. Бойцы грели руки, сушили шинели. Отовсюду слышался кашель.

По прошло немного времени, и все приняли свой обычный вид. Люди прогнали лица сырыми листьями, подтянулись и готовы были к новому переходу.

День прошел незаметно; он быстро перевернулся за середину. Где-то вдали стреляли. Люди шли лесом и думали о земле, которую истоптал враг.

Когда стемнело, стали опять приближаться к видневшейся из-за деревьев земной ленте шоссе. И вдруг, как вчера, раздался предательский выстрел.

Лиев бросился на звук и сразу увидел бойца, державшего в руках винтовку.

— Зачем стрелял?! — крикнул Лиев.

— А нечаянно... виноват...

— Стрелял зачем?! — повторил Лиев в ярости.

Сзади к нему подбежал Казарин.

— Бери его! — сказал он. — Чего тут мишдальничать!

Глаза у стрелявшего сузились; он отпрянул от света фонарика.

— Я ошибся, — повторял он. — Рука сорвалась.

Нужно было принять решение немедленно, вернее всего — застрелить че-

ловека, но Линева на минуту охватило сомнение: действительно ли этот человек был шпионом, подававшим сигнал.

— Дай его мне, — сказал он. — Я с ним разберусь.

Казарин смотрел на задержанного испытующим взглядом.

— Возьмите вы тут, — зло произнес он... — Вы, начосо, знаете, что так ненавидеть?

— Знаю, вы меня не учите.

— Расстрелять мерзавца, вот и весь разговор!

— Не опоздаем и через полчаса.

Казарин круто повернулся и пошел.

— Вы куда? — с сожалением спросил Линева. Он еще крепче схватил стрелявшего.

— Доложу подполковнику. — И он исчез в темноте.

В это время колонна внезапно двинулась. Линева не мог здесь оставаться: не отпуская человека, он пошел тоже. Он словно чего-то ждал; быть может, Казарин сейчас вернется или кто-нибудь подоспеет.

Бойцы подошли вплотную к шоссе, уже ступили на него, как впереди боков открылась стрельба.

Линева услышал хрустенье веток, грохот повозок. Произошло замешательство.

Подполковник не дослушал Казарина: он бросился вперед и выбежал на шоссе. Все услышали его голос — сильный, надежный голос командира, привыкшего руководить людьми.

— За мной! — крикнул он. — Вперед, товарищи! Бейте гадов!

Слова самые простые — не те, какие выдумываются для освежения речи, а всем понятные слова ненависти и отваги подхватили бежавших. На шоссе выкатилась лавина бойцов. Не было ни уставших, ни отсталых: бойцы русской армии шли на врага. Не было ни окружения, ни засады: был трудный бой.

В тот момент, когда Линева побегал вместе со всеми, задержанный вырвался у него из рук. Линева выстрелил наудачу; но теперь было поздно исправлять ошибку. Теперь Линева знал наверно, что он поддался слабости: стрелял так же негодяй, как и вчера.

Он бежал с чувством жгучего стыда; ощущение было такое, как будто он залпом выпил жидкость, которая обожгла все внутри.

Ракеты взвились в нескольких местах сразу. Стрельба была густой и сильной. Бойцы бежали сквозь полосу света, им нужно было вырваться к лесу. Пригибаясь, но не отступая, они прорывались к темноте. Они проткали ее штыком, пробивали пулями.

Линева опередил всех. Он ворвался в лес, обдирая о ветки лицо; он помнил, как в руках у него оказалась винтовка. После нескольких решительных резких взмахов он вдруг наткнулся на врага. В то же мгновение тот в него выстрелил. Не чувствуя боли, Линева ударил его штыком. Опираясь на чувство боя вытеснило все его сомнения, опасения казались глупыми, — он делал простое дело войны, и оно возвращало ему достоинство и уверенность.

«Ура» атакующих прокатилось по лесу; казалось, и темнота отступает перед ним. Огонь врага делался менее густым и стойким, он потухал то в одном месте, то в другом. Немцы убегали назад, на шоссе. По шоссе в это время громыхали повозки, и немцы в страхе бежали от них.

Линев застрелил одного, другого он схватил и долго катался с ним по земле. Он дрался истопупленно, с таким чувством, точно эта схватка решала судьбу всей атаки.

Бойцы продвигались вперед. В одном месте они захватили пулеметы, в другой оружье. Близ опушки стоял броненный броневик, и его завели, направили в гущу леса. Повозки прогромыхали, прошел походный котел, и повар, стоявший на нем, продолжал стрелять в сторону шоссе.

Лес вел к своим, от него шел прямой путь к земле, не загаженной немцами. Чувство спокойствия охватывало бойцов по мере того, как они уходили все глубже.

Когда Линев пришел в себя, его удивила тишина вокруг. Неподалеку лежал мертвый фанист. Линев встал. Нужно было догонять своих.

Но тут он вспомнил голос девушки: он где-то слышал его в лесу из крайнего отдаления и тумана. Скорей всего позади, — может быть, на шоссе; нет, в лесу.

Позади был опустевший лес с мертвыми немцами. Колонна уходила вперед. Линев остановился, не зная, что делать; затем он нерешительно повернул к шоссе. Он чувствовал сильную боль в плече. Приложив к нему руку, он коснулся мокрого, набухшего и липкого сукна.

Линев ходил по лесу и время от времени звал Машу — негромко и неуверенно.

Он нашел ее где-то под деревом: Маша делала перевязку.

В первую минуту Линев ощутил такое удовлетворение и покой, как если бы это и была последняя цель его поисков; как будто можно было сесте рядом с девушкой и ни о чем больше не думать.

— Чего ж ты здесь? — начал он.

Раненый сдержанно стонал; Маша говорила ему, чтоб он повернулся, а ему было трудно менять положение.

Линев наклонился и помог бойцу. Маша перевязывала его заботливо, складно, как будто это был госпиталь, а не глухой вражеский лес.

Когда она кончила, она двинулась к другому бойцу, который лежал поблизости и терпеливо дожидался очереди.

И тут Линев обнаружил, что ей трудно ходить.

— Что с тобой? — спросил он, проникаясь почти болезненной острой нежностью. — Ранили?

— Поге больно, — сказала она.

— Ранили, Маша?

— На шоссе, наверно, — сказала она. — Я подбирала там раненых.

Линев повел ее за руку, и они дошли до лежавшего бойца.

Покамест она делала перевязку, он отчетливо представлял себе, как хрустят вперед под ногами идущих ветки, как пробираются они в темноте. Там была жизнь. Но он ни за что не ушел бы отсюда.

Раненых осталось тут человек семь или восемь. Они лежали близко друг от друга, но у Маши не было сил их собрать. Они легли кто где сумел и в время от времени подавали голос.

Линев шел на их голоса. Он привел их всех в одно место. Они сели тесно. Маша порылась в сумке и нашла какие-то леденцы, которые можно было сосать.

Глухая ночь окружала сидевших. Они дрожали от сырости и прижимались друг к другу. Они прислушивались к своей боли, но не говорили об этом.

Они сидели здесь, девять человек, и каждый из них старался придумать, что можно сделать.

Боец низким и жестким голосом сказал:

— Странное дело; вот я, например, не в силах ходить. Что же, вы из-за меня пропадать будете?

— И я не могу, — сказала Маша.

Она приподнялась и дотронулась до колена бойца, сидевшего по правую от нее руку.

— Вот и он не может.

Линев обратился к остальным:

— Вот вас пять человек... пужно вам итти, пока темно.

— Никуда не пойду, — отозвался один.

— Итти обязательно, — повторил Линев.

— Оставьте вы, товарищ, об этом разговаривать, — вмешался боец с правого края. — Не пойдем, и все тут.

Линев вправе был приказать. Он знал, что обязан сказать им: «Идите, вы еще будете нужны». Но чувство общности, объединившее всех, мешало ему это сделать: ведь и сам он ни за что не ушел бы.

— А как вы спасаться будете? — сказал он.

— А так и спасемся, — ответил крайний боец, — что перебежим немцев: сколько сумеем.

Он помолчал и затем добавил:

— Вот ее жалко — Машу.

— Почему же жалко? — заявила она с живостью. — Я буду драться, как все.

— Жить бы тебе еще, — продолжал суровый боец справа. И вдруг она узнала его:

— Суянов?! — спросила она обрадовавшись.

— Ну, Суянов... он; а то кто же?

— Ты куда ранен, Суянов? — спросила она.

— Куда полагается: в нижнюю часть.

— Ах, да, да! — сказала Маша. — Ведь я же делала перевязку.

— Без тебя мы бы подошли, — сказал Суянов.

Он говорил с каким-то будничным недружелюбием в голосе, а Маше от его слов становилось теплей. Всем стало легче, когда заговорили о Маше.

Она почувствовала себя в центре этой тесной маленькой группы, и ей захотелось сказать им какие-то очень хорошие слова.

— Мы проберемся, — убежденно заявила она. — Вот рассветет, тогда и пойдем.

— Пойдешь ты с вашей ножкой, — ответил Суянов. Он помолчал и добавил: — Разве что тебя понести...

— Куда ж вы нас понесете троих? — сказала Маша с оживлением, похожим на веселость. — Вы и сто шагов не пройдете...

— Понести можно, — сказал Суянов, словно прикидывая в уме.

Остальное Линев слушал как будто издалека. Он страшно устал, и плечо его ныло. То слова делались ближе, и ему казалось, что он продолжает все слышать, то они терялись совсем. Он ощущал привязанность к своим соседям и с размягченным сердцем думал ни о чем. Жизнь, которая будет после войны, представлялась ему душевной, яркой, очень хорошей. Он взял машинку и осторожно засунул ее к себе за шинель. Он грел ее, и ему казалось:

то теплота распространяется по всему его телу, что дерево, к которому он прислоняется, тоже согрелось и земля под шинелью греется. В этом полубытьи он не чувствовал времени.

Линева кто-то толкнул; он раскрыл глаза.

— Что такое? — спросил он.

Начинался рассвет; тут еще было темно, а впереди пробивалась полоска света.

— Что такое? — произнес снова Линева.

Его дернула за руку Маша.

— Идут, — шопотом сказала она.

Линева видны были, несмотря на то, что день еще не вполне занялся, лица товарищей. Густые ели прикрывали людей своими лапами. Сквозь ели было видно, что в лес вошли немцы.

Они шли тяжелым шагом, оглядываясь по сторонам. Суянов печально уронил винтовку, и они вздрогнули от непонятного звука.

— Стрелять будем? — сказала Маша.

Линева обратился к ней строго:

— Уходи; ползи за деревья, пока еще можно.

— Ну что ты! — сказала она, забыв, что все время говорила ему «вы».

Она начала заботливо проверять затвор.

— Патрон дослала? — спросил Линева.

— Да.

Он оглянулся на раненых и вятно, тихо сказал:

— Стрелять будете по моей команде.

Немцы подходили, но еще не видели сидевших. Они могли бы сделать еще шагов пять-шесть, прежде чем обнаружили бы их.

Лица у раненых были землистые от сырой ночи, холода и боли. Лица их были полны ожидания.

Линева как будто сидел на высоком бугре и оттуда управлял боем, а внизу ему все было видно. Группа сидевших с ним людей представлялась ему маленькой, и сердце его было полно любви к ним.

— Приготовиться, — произнес он. — После двух огонь!

Залп был дан в тот момент, когда трое немцев повернулось в сторону. Они упали. Вслед за ним раздался второй залп и третий.

— Дайте мне магазин, — сказала Маша. — У меня вышли патроны.

Немцы отскочили и из-за кустов открыли беспорядочную стрельбу. Несколько пуль ударились в дерево, и на голову сидевших упали ветки и щепки.

— Ну, давай... — сказал Суянов, не вытерпев ожидания.

Огонь велся с обеих сторон. Немцы цели не видели, но приблизительно определили ее место.

Суянов, теперь уже не дожидаясь приказа, стрелял с неторопливой деловитостью.

— Спешить не надо, — говорил он.

В ответ на дружный залп с другой стороны тоже раздался залп. Он легчее. Маша раскрыла рот, странное удивление обозначилось в ее глазах. Она успела направить их на Линева и начала падать.

— Маша, — сказал Линева. — Ты держись, Маша, сейчас станет легче.

Она не слышала. Взгляд ее стал безучастным, и лицо начало быстро бледнеть. В наступавшем дне была особенно заметна ее страшная смертная бледность.

Немцы сделали еще несколько залпов и затем стали отползать. Их при сюда восемнадцать, а теперь отползало восемь.

Они снова выстрелили, и еще одна пуля угодила Суянову в ногу. Он сделал последний выстрел, теперь уже семь человек продолжали ползти сторону шоссе.

День раскрывался, тусклый, тяжелый, осенний, отекавший от сырости. Лиев наклонился над Машей,дохнул ей в лицо. Он поднял ее руку, опустил, попробовал приподнять голову и испугался ее тяжести.

— Кончилась, — сказал Суянов.

Он глянул в ее сторону и отвернулся.

— Кончилась, — повторил он. — Закадилась ее звезда...

Он вытер глаза рукавом шинели.

По ему все еще продолжало казаться, что можно ее оживить. Он в отчаянии посмотрел в пустые глаза девушки.

— Больно, Маша? — осторожно спросил он, на что-то еще надеясь.

Так они и сидели, не меняя положения, и девушка была среди них живая.

Прошло полчаса. Рассвело совсем.

Суянов вдруг повернулся. Он посмотрел в глубину леса.

— Оттуда теперь идут, — сказал он. — Обошли...

У них не было больше патронов, но они готовы были бороться до последней минуты, пока смерть не отберет у них силу рук.

— Может, лучше залечь за деревьями? — сказал Лиев. И сам тут же отверг это: — Нет, не надо.

Не следовало оставлять находившуюся среди них девушку в одиночестве.

Они были готовы схватиться. Стрелять было нечем, но их воля оставалась такой же.

Однако из-за густых деревьев показались не те, кого приготовились встретить раненые: вышли свои. Лейтенант Казарин со взводом бойцов и двумя санитарями подходил сюда.

Чувство страшной неутолимой боли охватило Лиева, когда он понял, что вот они спасены, а Маша погибла.

— Все тут? — спросил Казарин.

Он увидел тело девушки, прикрытое шинелью до подбородка.

Казарин встал во фронт.

Взвод бойцов стоял смирно, а под деревом вокруг тела девушки сидело восемь раненых человек.

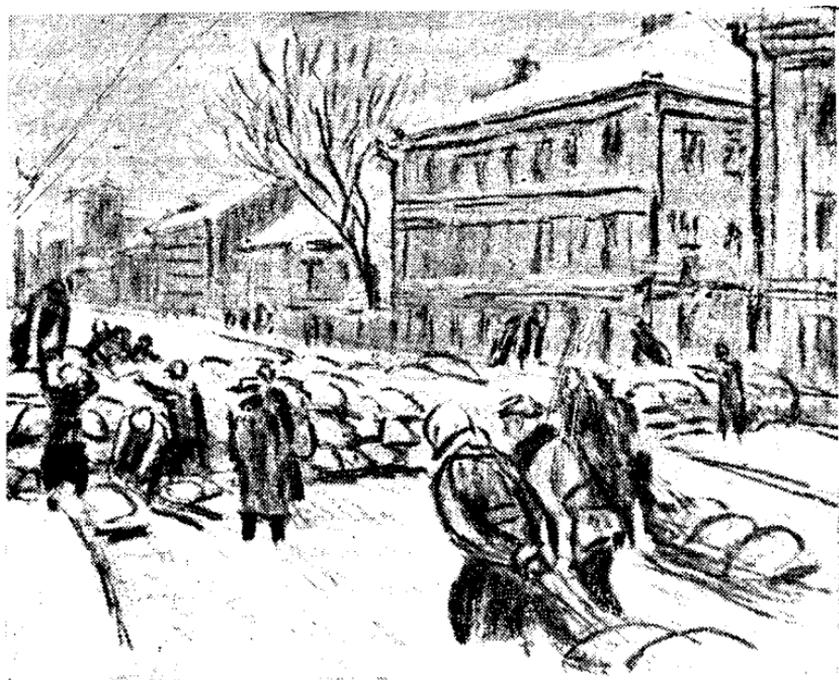


Рис. художника А. ЛАПТЕВА.

С. ГАЛКИН

МОСКВА МОЯ

Тебя в обличи любом,
Москва моя, моя родная, —
Обутую в мешки с песком,
В заплатах темноты кругом, —
Люблю тебя, мой отчий дом,
И буду славить, умирая.

Еще не замер звон стекла,
На улицах обломкам тесно,
Висит дымящаяся мгла, —
Но, темная, ты мне светла.
Сгореть бы за тебя дотла,
Москва, мой город, мой чудесный!

*Перевел с еврейского
М. ПЕТРОВЫХ*

ДЖАМБУЛ
МОСКВЕ

Москва! Сердце нашей страны!
Владычица мыслей, Москва!
Не раз у кремлевской стены
Склонялась моя голова.
Не раз на пороге весны,
Когда зеленела трава,
По праву певца-старшины
К тебе обращал я, Москва,
И голос хвалебной струны,
И полные ласки слова!..
О, полная мощи Москва!
Будь с немцами жестче, Москва!
Дави их и ночью, и днем,
Руби их, как рощи, Москва!
Мне птицы стрекочут: «Москва...»
Мно горы грохочут: «Москва...»
Гвой подвиг под Млечным путем
Мне звезды пророчат, Москва...

В Сибири, в Крыму, на Неве
Страна помогает Москве.
Наш Риддер, Чимкент и Балхаш,
Арал и его острова,
Бурильщик и угольщик наш
Тебе помогают, Москва.
Полки казахстанских сынов
Участвуют в смертном бою

За тысячи светлых домов,
За душу, столица, твою.
Мне ветер, мне поле — родня,
С пеленок в седле я живу.
Чуть свет, я сажусь на коня,
Поводья, как юноша, рву
И мчусь, стремянами звеня.
И всех узнающих меня
Москве на подмогу зову.
В Москве еще рано, светло,
Несметно проезжих число,
А здесь уже шепчет мне ночь:
«Покинь, престарелый, седло!
Ты должен ей песней помочь».
И вот заодно с темнотою
На запад я взором плыву,
Где теплится день золотой...
Колени к сырому жнитву
Джамбул преклоняет седой.
Мигает звезда в синеве,
Сверкает в речном рукаве,
Я струнную рву тетиву,
Я взором пугаю сову
И песню творю о Москве —
Москве. Для Москвы. За Москву.

*Перевел с казахского
М. ТАРЛОВСКИЙ*

СЕСАР М. АРКОНАДА

ПРИВЕТ ТЕБЕ, МОСКВА!

Я слышу плеск волны, я вижу в небе горы...

Усилада-родина, как в сердце ты жива!

Далекий, милый край: он устремляет взоры

К тебе, великая Москва.

Там сочный апельсин, зеленые оливы,

Там скалы, родники, высоких пальм листва,

Моя любовь, мой сад, душистый и красивый...

Он шлет привет тебе, Москва.

О, знай, что в день борьбы, в минуту испытанья —

Попрежнему горда и духом не мертва —

Пускай теперь в плену, но сердцем здесь Испанья.

Привет, привет тебе, Москва!

Мужайся и борись, борись, Москва родная,

За вольность милую, за прошлое свое.

За свой грядущий день... Смерть, над тобой витая,

Пусть сломит навсегда зловещее копьё.

Великая Москва, в минуту испытанья,

Когда на бой с врагом поднялся мой народ,

Ты ободряла нас:

«Салюд, салюд, Эспанья!»

Как мать, ты нас вела вперед.

Изгнаннык родины, теперь, в разгаре боя,

От имени страны, что сердцем так жива,

О, город пламенный, стяжавший лавр героя,

Я шлю привет тебе, Москва!

Перевел с испанского

Ф. КЕЛЬИН

Е. ШЕВЕЛЕВА

СЕРДЦЕ РОДИНЫ

Огнем зениток небосвод расколот,
Скрестились прожекторов лучи,
И слышно, как глубоко дышит город,
Как сердце родины в Москве стучит.

Под этими зубчатыми стенами
Мы проходили с песней молодой.
Вот улицы, раздвинутые нами,
Ладонь моста над темною водой,
Знакомый сквер, багрянцем опаленный,
Шум заводских цехов, понятный нам,
Московские рабочие районы,
Где поступь революции слышна.

Весь город ошетинился штыками.
Вот слышен гул стервятников вдали,
И чувствует москвич, как стонет камень,
Как раненая улица болит.
И, зубы сжав и гневно сдвинув брови,
Щет москвич в жестокие бои.
Дерутся до последней капли крови
Сыны Москвы, товарища мои.

Товарищ!

В бой иди за наше *Гра...*
Дышать, трудиться, приходить домой —
В широкий мир большой московской славы,
В родимый русский город, твой и мой,
За то, чтоб о Москве слагались песни....
И, что бы ни случилось впереди,
Врагам не опрокинуть Красной Пресни
И Сталинский район не победить.

Сражаться до последней капли крови!
Сырую землю превратить в гранит!
Народ, готовый на высокий подвиг,
На страже сердца родины стоит.

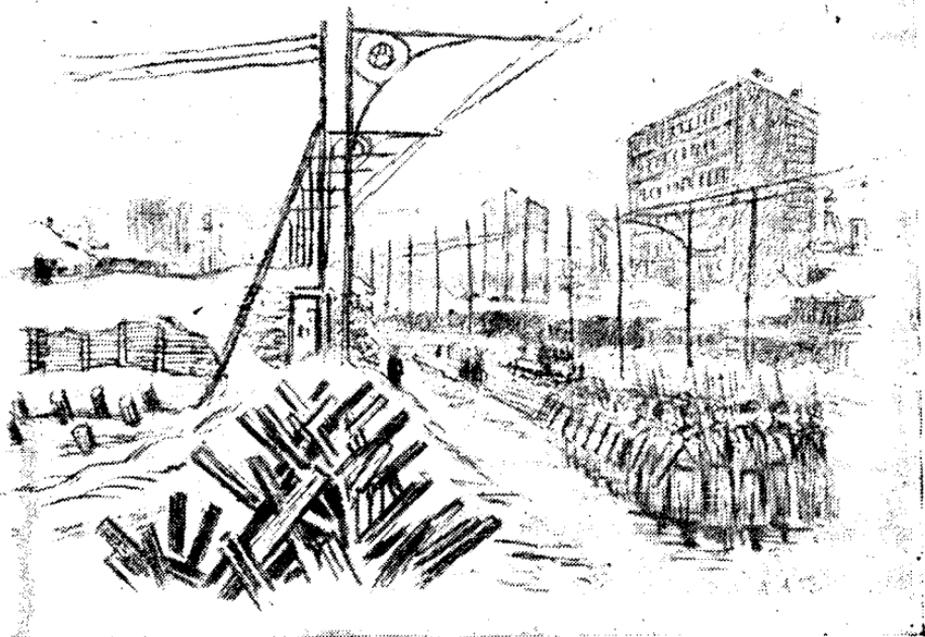


Рис. художника А. ЛАПТЕВА

В. ХОЛОДКОВСКИЙ

В ТЕ ДНИ...

«... положение на Западном направлении фронта ухудшилось. Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону...» (Вечернее сообщение Советского Информбюро от 15 октября 1941 года.)

В голосе диктора звучало сдержанное, скрытое волнение...

На площадях и уличных перекрестках, под черными грезами радиорупоров толпились озабоченные люди; кучками собирались в цехах и на заводских дворах. В квартирах взрослые унимали развозившуюся детвору: «Тихие! Дайте же послушать...»

Жадно и хмуро вслушивались москвичи в каждое слово вечерней сводки. И каждое слово ложилось на сердце темной тенью, становилось живым сгустком чувств — необычных, еще вчера незнакомых, одновременно и ясных, и противоречивых. Была тут и глухая тревога, и молчаливая ярость боли, упрямая, мужественная решимость, уверенно пробивающаяся сквозь мучительный разброд надежд, опасений, и слова томительное ожидание неизвестности.

Что будет с Москвой? Устоит ли? Выдержит ли?

В этот самый час на западе, в сотни километров от Москвы, наши отрезанные дивизии яростно пробиваются из окружения к новым оборонительным рубежам. В этот самый час по дорогам, через историческое Бородинское поле,

мимо памятников, увенчанных бронзовыми кутузовскими орлами, вер-
идет тяжелым шагом немецкая пехота, а на шоссе лязгают гусеницы фаши-
ских танков. Началась новая «Бородинская битва», битва за Москву —
этот раз еще более грандиозная, еще более кровавая и жесточесная.

Черная осенняя ночь навалилась на Москву. В густых потемках тон-
тома; шепчутся в подъездах невидимые дежурные. Изредка звонко про-
по мостовой конный милицейский патруль — и снова недобрая, черная
шина, готовая взорваться внезапно и оглушительно ревом сирен, грохот-
зенилок, воющим свистом бомб.

Так проходят часы; старая Спасская башня отсчитывает их бесстрашно
звонко: полночь... час... три...

Какие-то дальние, непонятные шумы вдруг возникают иногда там, за ши-
роким кольцом Садовых, у старых застав — будто гул невидимых го-
будто тонот идущих ратей... И чудится: гулкое эхо восьми московских сто-
летий гудит в крови великого города, тревожные, дремлющие сны роятся на
спящей Москве.

Может быть, ей снятая батыевы орды, осады Ольгерда, набег Тохтамыша.
Ей снятся черные тучи татарских стрел и кривые польские сабли. Вот за-
сверкали голубые клинки и закипела резня у Арбатских ворот, на Сретенке,
на речке Пеглинной, близ Пунечного двора. Пороховым мушкетным дымом
заволокло тесные улочки Китай-города: это сигизмундовы наемники-немцы
равнодушно, залп за залпом, расстреливают восставший московский люд...

Бьется, звенит над городом пабашный колокол: пожар! пожар!.. Уже за-
полыхало на Мясницкой, перекинулось в Зарядье, загорелось на Парской
улице и в Кремле. Пылает Москва — в который раз?! В который раз встанет
она из развалин и пепла?.. Но вот уже новый век занимается над сто-
заревом великого московского пожарника: сквозь дым и пламя мелькают ме-
вежки шапки наполеоновских гренадеров, и сам император французов, закрыв-
ши локтем лицо, спешит уйти из объятого огнем Кремля; узкой тропинкой
между каменных стен, среди моря огня с трудом пробивается Наполеон со
своей свитой к Москве-реке... «Это предвещает нам большие несчастья»,
говорит он мрачно, глядя на пылающую Москву.

Резкий визг утреннего трамвая обрывает эти предфасветные древние сны.
Стучат молотками плотники, забивая досками окна. У подъездов стоят
машины, груженные чемоданами и узлами с домашним скарбом; на вещах
сидят ребятишки, и матери заботливо кутают их в одеяла и шерстяные плат-
ки. А мимо, к вокзалам и к заставам, проносятся грузовики со станками,
ящиками, связками документов и дел... Идет эвакуация столицы.

В это утро все казалось необычным — и все же знакомым, уже пережитым
когда-то. Разве не так же в дни первой отечественной войны, 129 лет назад
тянулись по московским улицам вереницы возков и карет? Еще живы дома,
что помнят те давние дни. Вот особняк на бывшей Поварской; широким па-
лубружьем раскинулся он в глубине обширного двора. Какой москвич не знает
знаменитого «дома Ростовых», описанного в «Войне и мире»? Отсюда в дни
московского исхода выехал целый поезд подвод — не графский фарфор и
ковры везли они, а раненых русских воинов, героев Бородинского боя: та-
настояла Паташа Ростова, москвичка с горячим и щедрым сердцем.

Выехав направо вот из этих ворот, поезд Ростовых двинулся к Кудринским
свернул по Садовой. А вот где-то здесь, на пышной Калхозной площади,
Паташа увидела Швара Безухова:

— Что же вы, или в Москве остаетесь? — спросила она. И, услышав утвердительный ответ, воскликнула:

— Ах желала бы я быть мужчиной, я бы непременно осталась с вами.

Ах, как это хорошо.

В этот октябрьский день 1941 года для каждого москвича как бы прозвучал простой и глубокий вопрос Наташи Ростовской: «Что же вы, или в Москве остаетесь?»

Из Москвы или в Москву — новую, фронтовую, боевую Москву?

В этот день Москва стала фронтом — вот почему москвичи спешили укрыть от войны в безопасное место своих жен и детей. Москва стала фронтом — и потому, снявшись с насиженных гнезд, двинулись на восток, в надежный глубокий тыл, прославленные заводы столицы, которые нельзя было оставлять под возможными ударами врага.

Новый день вставал над столицей в солнечном блеске, в голубой прозрачности высокого осеннего неба.

Как всегда, привычно и знакомо стояли на перекрестках московские мильшпереры, направляя потоки машин, — только теперь за плечами у каждого появилась боевая винтовка. Как всегда, буднично и деловито звенели трамваи, шесели на подножках московские мальчишки. Как всегда, немилосердно пыжили московские дворники, вышедшие убирать улицу.

... Началась дни великой московской обороны.

Москва моя, город родной!

Как ты многолик и прекрасен! Каждый камень твой дышит историей. На фотаторах твоих теснятся столетия славы, и седая старина времен Калиты Дмитрия Донского перекликается с нашей сегодняшней, сталинской Москвой. Мшистые ступени древних соборов — и титанический фундамент Дворца Советов. Камешное кружево Кутафьиной башни — и мраморные колоннады подземных зал московского метро. Кремль — и гранитный ленинский мавзолей...

И все это отдать в linkage от крови руки фашистских громил и убийц?

Никогда. Ни за что. Никому.

... Москва стала фронтом! Суровы и строги черты ее. В ее сегодняшнем изменившемся облике раскрылась до глубины героическая душа великой древней столицы — мужественная, гордая, готовая к борьбе и подвигу.

Мы любили бодрые, звонкие песни о Москве, что часто раздавались на ее улицах, но, может быть, только сейчас, только сегодня каждый до конца знал их смысл. По-иному, по-походному звучат сегодня эти песни.

Москва моя,
Страна моя,
Ты самая
любимая,—

От молодых голоса. Отряд всеобуча проходит из Замоскворечья через Красную площадь, мимо Мясина и Пожарского, мимо кремлевской стены и гранитной скалы мавзолея. Ветер великой войны пронесится над Москвой — каждый дом становится крепостью, каждая улица — дорогой на фронт.

По всем магистралям столицы — на запад, на север, на юг — идут войска. Выносятся к заставам грузовики с автоматчиками, гремят по мостовой ору-

дья. Мчатся на полной скорости мотоциклисты. Через мосты тянутся пологие кухни и полковые тачанки. И трамваи на перекрестках терпеливо ждут, уступая путь воинским эшелонам.

Город полон военными. Они везде — на улицах, в трамваях, в театрах... Рослые, плечистые сибиряки — потомки тех героических сибирских стрелков, чьи штыковые удары ужасали немцев в дни прошлой войны. Смуглые сыны Кавказа. Киргизы и якуты, туркмены и бурят-монголы — все народы Советского Союза пришли защищать свою столицу. Ибо, как сказал узбекский поэт:

Одно у нас место, один у нас враг,
Один у нас дом и один наш очаг.

Врагу под Москвой не сносить головы,
Защитников много у нашей Москвы.

На стенах московских домов расклеено постановление Государственного Комитета Обороны. Четкая, ясная подпись:

«И. Сталин».

Вот они — эти простые, мужественные, стальные слова, которых ждала Москва. Они были нужны ей, как воздух, как хлеб, чтобы превратить надежду — в уверенность, порыв — в непоколебимость. И они прозвучали, эти слова, прозвучали в тот самый час, когда решалась судьба столицы.

Москва будет защищаться. Так сказал Сталин!

Люди толпятся на улицах, на заводских дворах, читая и перечитывая сталинский приказ. Тут же на все лады обсуждается постановление Комитета Обороны. И вечное перо журналиста едва успевает записать в блокнот обрывки этих московских разговоров и реплик, полных здоровой бодрости, горячей патриотизма, радостной и нетерпеливой готовности к действию.

Вот перед объявлением, наклеенным на заводском заборе, останавливаются двое мартемовцев:

— «Оборона столицы... — читает плечистый сталевар, сдвинув на лбу защитные синие очки, — ... поручена командующему Западным фронтом генералу армии г. Жукову...» Это какой же Жуков? Не тот ли, что на Халхинголе был?

— Он самый, — кивает его товарищ.

— Как думаешь, сумеет Москву отстоять?

— Он на тебя надеется...

— А ты не смейся! — строго говорит сталевар. — На меня положиться можно, не подкачаю¹.

Друзья идут дальше. Их смеяет группа заводской молодежи. Высокая сероглазая девушка вслух прочитывает объявление от первого до последнего слова:

— «Москва, Кремль, 19 октября 1941 года».

Помолчав, она добавляет, задумчиво, словно про себя:

— Сталин в Кремле. Сталин с нами.

Она и сама не подозревает, что сумела в немногих словах выразить ту великую общую мысль, которая объединяет в эту минуту умы и сердца москвичей.

Пройдет немного дней, и, как мы позже узнаем из газет, другая сероглазая девушка, одна из героинь незабываемой волоколамской трагедии, Жена П.

¹ Из очерка г. Рыклина («Правда»).

твская, по-своему повторяет эти слова, бесстрашно глядя в глаза фашистским палачам.

— Где Сталин? — спросит немецкий офицер, прежде чем отправить девушку на виселицу. Московская комсомолка ответит, не дрогнув:

— Сталин на своем посту.

И эти слова прозвучат как голос самой Москвы, пламенно верящей в неодолимость сталинской обороны: Ибо всегда бывало и всегда будет так: где Сталин — там и победа.

Волна митингов и собраний прокатилась в те дни по заводам и учреждениям столицы. Боевой революционной клятвой — не жалеть ни сил, ни самой жизни для защиты родного города — отвечали вождю москвичи. Их резолюции тут же претворялись в действие, в реальные дела и важные начинания: в сотни тонн сверхпрограммной продукции, в десятки рабочих отрядов и боевых заводских дружин.

В эти дни с новой силой сказались великая власть рабочих революционных традиций. В 1918—1919 годах москвичи осаждали райкомы и воскоматы, требуя немедленной отправки на фронт. Двенадцать три года назад комсомольцы на шумных своих заседаниях до хрипоты спорили — кому идти бить врагов, кому оставаться на месте. Легко ли решить такой вопрос! В 1918 году его часто приходилось решать жеребьевкой: «Постановили — так как на фронт хотят ехать и секретарь и заместитель, а кто-нибудь из двух должен остаться, то предложить им бросить жребий...»

Двенадцать три года минуло с тех пор. Московские красногвардейцы восемнадцатого года давно уже стали заслуженными ветеранами, тогдашние комсомольцы — старыми партийцами, ответственными работниками, отцами семейств. Но наступил грозный для Москвы час — и вновь поднялась вся Москва.

В два дня сформирован рабочий батальон Красной Пресни. В его рядах и седой командир рабочего отряда, дравшийся в свое время с немцами на Украине, и директор музея — участник восстания 1905 года, и девушки из Геолого-разведывательного института, и молодой историк, только что окончивший Московский университет.

Целыми семьями вступают в свой батальон трудящиеся Свердловского района. Инженер Скворцов зачислен стрелком, его жена — пулеметчицей. Оставив детей на попечение бабушки, пришли в отряд работник Радиокомитета Юрдин и его жена. Втроем — отец, мать и сын-девятниклассник — вступила в истребительный батальон семья учителя Болдано...

Ровным, походным шагом проходят по улицам столицы вооруженные москвичи. Они явились в строй не по повестке военкомата, а по призыву патристического долга, по «мобилизации сердца». Вот этот, правофланговый, еще вчера водил поезда по подземным тоннелям московского метрополитена. А его сосед слева был бухгалтером где-то в тресте. Стрелок Сидоров, он же профессор Московского университета, читал лекции. Пулеметчица Татьяна Гаврилова была народным судьей. А кашевар Павков — помощником шефа-повара в ресторане «Савой».

У каждого из них была своя простая, мирная биография. Она кончилась. Начинается другая, военная жизнь...

Доли Карабаеву восемнадцать лет. Он узбек. Приехал в Москву учиться в Гитисе. Он обожал Шекспира и мечтал, вернувшись домой, поставить «Гамлета» на своем родном языке. Сегодня будущий узбекский Гамлет без раз-

мышлений взял в руки винтовку... Кто в отряде не знает сегодня затыльного снайпера Доли Карабаева?

В 1812 году боровский житель Артем Шерстяной организовал партизанский отряд. Он дрался на реке Паре с французскими арьергардами. По привычке он влился в отряд к знаменитому Платову. Вместе с ним про всю Европу, вместе с ним вступил в Париж. Так рассказывает его прадед Митрофан Прохорович Артемов. Правнуку шестьдесят лет. Небольшого роста голубыми глазами, с седой, клинышком, бородкой. До недавнего времени инспектором охраны труда. Но со вчерашнего дня он боец истребительного батальона.

— Не мог усидеть я в такое время на месте, — говорит Митрофан Прохорович. — А возраст мой — что ж, возраст тут ни при чем. Прадеду Артему Шерстяному, пожалуй, тоже не меньше было, когда он на француза войну пошел. А у меня рука еще твердая, глаз зоркий — пригодится на фашиста моя стариковская пуля!..

В районный пункт всеобуча входит человек в черном, наглухо застегнутым демисезонном пальто и в шляпе. Строгое, уже немолодое лицо. Взгляд мательный, цепкий. На ладонях разноцветные пятна — свежие следы красок. Оказывается — художник, и притом известный, с крупным именем. Его кисти принадлежит немало портретов знатных людей нашей эпохи. Он и сейчас ежедневно берется за палитру, но его главным оружием стал сегодня штык. Он — «художник» штыкового боя, инструктор районного пункта всеобуча.

Так москвичи становятся волнами. Сегодня вы уже не угадаете, кто из них слесарь, кто бухгалтер, кто ученый, кто машинист. И любого из них вы не отличите от бойца регулярной армии.

Один за другим проходят рабочие батальоны Москвы. Идут краснопресненцы, кировцы, дзержинцы, идут трудящиеся Первомайского и Свердловского районов, калининцы и ростовцы. Город провожает их. Женщины смотрят на них с тротуаров заботливыми, теплыми взглядами. Ребята, «пристроившись» к колонне, маршируют вместе до ближнего поворота.

Бойны идут вдоль осенних мокрых бульваров. Бронзовый Пушкин, сняв шляпу, как бы приветствует это «младое, незнакомое» племя московских патриотов. И долго смотрит им вслед с гранитного пьедестала Тимирязев, оксфордский доктор и депутат Балтики.

Батальоны спешат на запад, к огненным рубежам, навстречу героически грозным, великим битвам.

После долгого ненастья над Москвой ярко светит солнце; небо, высоко и чистое, полно голубого спящего блеска.

Иду неторопливо вдоль Театрального проезда — мимо «Метрополя» с его кинорекламами, буккинистами, папиросниками; мимо Большого театра. Маскировочный наряд заслонил его классическую колоннаду, зеленым чехлом закрыта квадрига Аполлона на портике.

Улицы нынче многолюдней обычного. Ясная погода выманила москвичей из квартир — если уж не погреться так хоть пожмуриться на последнем осеннем солнце. В сквере перед театром — ни одной свободной скамейки; по дорожкам бегают детвора; садовник срезает последние лиловые астры, еще уцелевшие от утренних заморозков.

только что миновал Театральную площадь и уже перешел на другую Охотного ряда, когда там, в высоком пустынном небе, вдруг зарежотал Будто темная тень прошла над землей — молниеносно, быстрее, чем мелькнуть в мозгу еще неясная мысль: «Не паш?!» И тотчас же затонул долгий, хроматической гаммой падающий свист...
Бомба!!

Тяжко и тяжело охнула площадь. Минута выжидающей тишины, потом упрямом взорвалась топотом ног, хаосом свистков, криков, распросов.

Серое облако пыли и дыма, стоявшее над сквером, медленно расходилось, открывая вид на фронтон Большого театра.

Большой театр ранен, но жив, жив! Нет сомнения, однако, что бомбу воздушный бандит предназначал именно для этого «объекта». И он не промахнулся на этот раз.

Бомба упала в переднюю часть здания. Стена за колоннами треснула, осыпалась. В вестибюле зияет глубокая воронка. Вокруг все разворочено, изувечено, опрокинуто. Старенький капельник трясущимися руками разгребает какие-то осколки разбитых скульптур, беспрестанно повторяя: — Это не люди: Это какие-то сумасшедшие. Зачем? Какой в этом смысл?

Он старый москвич и связан с этим театром лет тридцать, может быть, полвека. Он перевидал на своем веку всех знаменитых певцов и дирижеров. Он знает и перечислит вам все премьеры за последние пятнадцать лет. Он хорошо знает, что такое искусство, культура, национальная гордость... Где же искать старику «смысл» фашистского вандализма, геббельсову логику банального хватящегося за револьвер при слове «культура»?

Бомба в Большом театре — это не военная случайность. Это программа инбалов. Это поход против русской культуры.

Второй жертвой, по замыслам фашистских асов, должен был стать Московский университет. Германское радио после налета так именно и объявило весь мир, что «Московский университет стерт с лица земли».

Прицел был взят верно. Но фашистский негодяй промахнулся, и бомба упала перед зданием университета. Взрывная волна опрокинула памятник никому Ломоносову и разрушила одну из университетских аудиторий.

Развороченный пол, изломанные в щепки кресла, скамьи, шкафы, выбитые стекла и двери — так выглядела после налета аудитория старейшего в стране университета, в котором учились Лермонтов и Грибоедов, Герцен и Огарев, Тургенев, Чехов, где некогда читали лекции Пирогов и Сеченов, Чирязев и Павлов.

С необъяснимым оголтелым упрямством охотились фашистские летчики и Всесоюзной книжной палатой. Москвичи любили этот дом, один из старейших и красивейших особняков столицы; он считался выдающимся памятником зодчества. Трудно сказать, что именно — архитектурная ли ценность здания или культурные богатства этого уникального книгохранилища привлекли к себе внимание фашистских стервятников, несомненно только, что они были целью непременно уничтожить это здание.

Они налетали на него по ночам. В первую ночь удалось затушить все зажигательные бомбы, сброшенные на Книжную палату. Но уже в следующей ночь, перед рассветом, на крышу упало сорок девять зажигательных бомб. Сорок девять очагов пожара! — с этим трудно было справиться сотрудникам Палаты. Пламя жадно пожирало сухо деревянные перекрытия

старинного особняка. Пожар угрожал уже непосредственно ценнейшим ным фондам. Тогда люди самоотверженно бросились спасать книги. Они сали их, как спасают беспомощных детей из горящего дома. А когда последняя связка книг была вынесена и укрыта, фашистский бандит, еще один заход, швырнул в освещенный пожаром дом фугаску.

Чудесное здание перестало существовать... Но почему-то даже развалины Книжной палаты продолжали бесноконть фашистов: четыре дня спустя время нового палета, немецкий бомбовоз зачем-то набросал на пещелище партию зажигательных бомб.

В те дни, говоря о бомбардировках культурных памятников. Москва «Правда» писала: «Есть ранения, которые затрагивают самую душу и вызывают не боль, а гнев, страшный гнев...»

Оскорбительной, нестерпимой казалась самая мысль о том, что презренный воздушный бандит дерзает ходить по московскому поднебесью, по самым воздушным дорогам, по которым летали когда-то великий Чкалов и бесстрашная Полина Осененко.

Московское небо!.. В те дни многие из нас, москвичей, пожалуй, еще по-настоящему увидели, разглядели его: какое оно огромное, высокое и чистое!

Оно вошло в наш быт рубиновыми кремлевскими звездами; традиционным легким праздником авиации; первомайскими воздушными парадами на Красной площади... Москва всегда ждала эту минуту: казалось, все небо заполнено шумящим полетом и клетотом стальных птиц. Десятки тысяч москвичей, прокинув головы, следили за ними с законной и радостной гордостью.

И вот опять гудят над Москвой самолеты. Но это не тот, хорошо знакомый москвичам, рокочущий, победу громкий шум моторов наших советских «ястребков». Это под покровом ночи, прячась за облаками, подкрадывается советской столице трусливый и злобный враг.

Москвичи безошибочно научились отличать врага по звуку моторов. Если не успеет отзвучать над улицами тревожная перекличка сирен и гудков, город уже на ногах. Наблюдатели — на крышах и чердаках. Добровольные пожарные на своих постах — у гидрантов и бочек с водой во дворах, у навесов, с баграми, ломami, клещами. Все на постах. Все наготове.

Вот уже опоясали горизонт зарницы далеких залпов. Ближе, все ближе. Проектор полоснул небо сияющим лезвием голубого луча, ему наперекор беспокойно двинулся другой, прощупывая небо, заглядывая за каждое облачко. Враг уже здесь, над Москвой, монотонное металлическое жужжание дает его присутствие. И вдруг два световых меча, скрестись, пригвоздили его к порозовевшему небу: вот он, разите его!

В ту же секунду ночь взрывается оглушительным грохотом. Летят к земле трансирующие пули, вычерчивая стремительный красный пунктир. Разрывы снаряды, бороздя облака вспышками коротких молний. Высоко в небе, слышная от разрывов и вселенную распыривая бомбы, мечется затравленный фашистский волк, спасая шкуру в паническом бегстве.

Уже вдогонку удирающему фашисту пошли наши истребители. Финал степ заранее: торопясь освободиться от груза, немецкий летчик сбросит бомбы где попало, на какой-нибудь деревянный флигелек в предместье просто в поле, в картошку. И вскоре сам свалится тут же неподалеку. Висит с обрубленным хвостом, настигнутый яростным тараном советского «истребителя».

Доблело ночное московское небо. Тучи разошлись, словно их разогнали ветры наших зениток. Медленно, точно большие черные рыбыны, спускаются над городом аэростаты воздушного заграждения. И знакомый голос радиопередатчика отчетливо, громко, на всю Москву, повторяет привычные слова: «Гроза воздушного нападения миновала. Отбой».

Воздушные тревоги, бомбежки, борьба с зажигательными бомбами — все это уже успело стать для москвичей бытом. Люди притерпелись, привыкли. В июле—августе женщины бледнели при звуке сирены и зажимали уши руками, когда открывала огонь ближняя батарея воздушной обороны. В ноябре даже боязливые старушки твердо усвоили пехитрую аксиому: от этой пальбы, как от небесного грома, вреда нету.

— Это не «он» палит, это наши «его» отгоняют...

«Он» — это, разумеется, враг. Так уже повелось истари: в 1812 году «он» — это был француз, Бонапарт; в 1941 году — это немец, Гитлер, фашистский налетчик. «Его» ненавидят, ругают, клянут, но перед ним не испытывают страха. О нем и о его действиях москвичи говорят в неуважительных, третирующих тонах:

— Опять «он», сволочь, у нас в переулке зажигалок пакцидал!

«Зажигалки» — так презрительно-сокращенно окрестили москвичи фашистские зажигательные бомбы. Их не боятся, их сбрасывают с крыши пинком нога, их хватают чуть ли не голыми руками и топят в бочках, как пойманных крыс. Подростки соревнуются друг с другом — кто лучше умеет шить бомбы. И даже ссорятся подчас между собой из-за бомб:

— Болька, ты чего чужую хватаешь? Не твоя, — не тронь.

Даже домашние животные приспособились к быту города, подвергающегося таким воздушным налетам. Во время бомбежек все кошки с нашего двора являлись вслед за людьми в укрытие. А английский сетер Кент научился ошибочно различать сигнал воздушной тревоги; при первом звуке сирены будил хозяйку и, теребя за рукав, тащил в бомбоубежище.

Мужество москвичей входит необходимым слагаемым в систему противовоздушной обороны столицы, как бы дополняя отвагу наших зенитчиков и героизм наших летчиков.

А бывали тяжелые, грозные дни! Вспоминается один из ноябрьских налетов. Уже с утра «Юнкеры» упрямо рвались к Москве, то налетая целыми стаями в сопровождении истребителей, то пытаясь прорваться в одиночку на большой высоте. Лишь немногим это удалось, и результаты налета оказались, по обыкновению, мизерными. Зато подмосковное небо в этот день стало ареной большой воздушной битвы.

Гремела зенитная артиллерия московской заградительной зоны; московские «истребки» яростно кидались на вражеские эшелоны, стремясь отколоть от немецких бомбардировщиков их охрану из «Мессершмиттов». А затем началась расправа. Сражение распалось на множество жарких схваток и эпизодов. Может быть, правильнее было бы сказать — на множество героических подвигов?!

Вот некоторые из них. «Хейнкелей» было четыре — лейтенант Байков был один. По у сталинских соколов — суворовская арифметика: «первого застрелил, второго забили...» Байков не только принял бой, он вынудил врагов к бою. И через несколько минут два «Хейнкеля», задымившись, камнем полетели вниз, а два других обратились в бегство.

На другом участке неба разыгралась оживленная «карусель». В «ястребков» атаковали двенадцать «Мессершмиттов». Свой последний пять «Мессершмиттов» закончили уже на земле. Это была работа лейтенантов Шигаева, Пятницкого, Мерзлякова.

В том же бою по два «Мессершмитта» пришлось на долю лейтенанта батука и Сорокина. По одному фашистскому стервятнику сбили Мирошников, Урбачев, Шевчук, орденосцы Пегода, Холодов, Кюрюбов и другие.

Короче говоря, в тот день под Москвой было сбито тридцать немецких самолетов.

Тридцать первый сбила зенитная батарея лейтенанта Ильюшина. Первый снаряд снес «Мессершмитту» мотор, второй сорвал верхнюю часть кабины. Летчик выбросился на парашюте. Парашют не раскрылся. На заснеженном пригорке, у березовой рошцы, наши бойцы нашли то немногое, что осталось от самолета и его водителя.

На фюзеляже рухнувшей машины, кроме обычных черных крестов, намалеван веер с ощеренными клыками, изготовившийся к прыжку, — славянский тотем древних германцев.

Что касается пилота, то к нему эта воинственная эмблема мало подходила. Он не был ни знаменитым асом, ни «крестоносцем». Это был просто заурядный гитлеровский молодчик, двадцатидвухлетний фельдфебель Гюнтер Мюллер, типичный, как его фамилия. В одном кармане его кителя аккуратно, рядком лежали сентиментальное письмо невесты Эмми и пачка порнографических открыток; в другом — благословение матери и заказ какой-то наглой Эрна на «русские меха и лакированные туфли размер 38». Вместо нижнего белья на Мюллере была нанята дамская трикотажная кофточка — очевидно, тоже краденая... Неужели он и впрямь воображал себя грозным, непобедимым вояком, этот гитлеровский юнец с повалками карманного воронки?

И вот он лежит на опушке березовой рошцы с расколотым на лобое черепом. Сердитый ветер швыряет в него пригоршни колючей снежной пыли, и подмосковные березки над ним с какой-то гадливостью вздрагивают ветвями, словно им хотелось бы отодвинуться подальше от этого чужого, океанского трупа.

* * *

6 ноября 1941 года...

Всегда бывало так. Еще с вечера Москва одевалась в сияющий праздничный наряд. Гирляндами пестрых огней убирала она порталы своих дворцов и общественных зданий. Жемчужными ожерельями протягивались в ночные дали цепочки уличных фонарей, двоясь и мерцаая на мокром асфальте.

На широких московских площадях в эту ночь бывало светло, как днем. Гремели радиоруноры и оркестры. Звенели песни и смех. Люди толпились вокруг грузовиков, превращенных в подвижные эстрады, веселились и танцевали на мостовой. Ярко светились окна квартир: москвичи, оживленные принарядившиеся, допоздна засиживались в гостях и шли домой неснешно парочко делая крюк, чтобы «посмотреть иллюминацию».

Утром 7-го чуть свет их уже будила веселая разноголосица оркестровых песен, мерная поступь красноармейских колонн, железный марш оружий танков и цокот конницы по асфальту.

А вслед могучему военному параду на Красной площади идет к Кремлю вся Москва: заводы и фабрики, профсоюзы и райсоветы, конторы, театры, клиники, стадионы, школы и академии, вокзалы, депо, мастерские...

У каждого московского дома плещутся алые флаги, над каждой улицей ве-
дувает, точно красные паруса, огромные кумачевые полотнища лозун-
гов и плакатов. И город в этот час кажется кораблем, плывущим под свежим
продуктивным ветром в открытое море будущего.

Так встречали мы годовщину великого Октября: десятую... восемнадцатую...
двадцать третью...

И вот опять наступил канун великого дня — иной, совсем иной, военный,
суровый канун.

Ранние осенние сумерки плотно окутали город. Не вспыхнули в этот вечер
московские улицы многоцветным огнем иллюминации — лишь голубые мечи
прожекторов вонзаются в московское небо. Не гром оркестров, а глухие вздо-
хи пушек сотрясают неподвижный воздух.

В тот вечер особенно неистовствовали наши зенитки. Казалось, все Моско-
вское включилось в эту артиллерийскую симфонию. Город окутан плотной
защитной завесой града огня, с каждой минутой все оглушительнее, все бли-
же гремит эта ожесточенная музыка.

И вдруг из темноты, озаренной вспышками залпов, раздается голос. Зна-
комый, спокойный, неторопливый. Прорвавшись сквозь гул канонады, умо-
женный тысячами уличных репродукторов, этот голос гремит над Москвой —
и его слышно одновременно на площади Маяковского и на шоссе Энтузиастов,
на Ильинке и у «Шарикоподшипника», в арбатских переулках, в Замоскво-
речье, в Марьиной роще... Его слышат Серпухов, Загорск, Тула, Казань, Ар-
хангельск и Тбилиси, Ташкент и Хабаровск. Его слышат там, на фронте,
в землянках, на кораблях Балтики, на границах Советского Союза. Он доно-
сится до городов несчастной старой Европы; его ловят радиостанции Нового
Света; к нему прислушиваются зимовщики в далекой Арктике...

Над Москвой ожесточенно грохочут зенитки. Но люди, толпящиеся на ули-
цах, перед радиорупорами, не обращают на это внимания, не уходят: сквозь
гром канонады они слушают знакомый голос.

Говорит Сталин... Мы знаем по опыту: когда говорит Сталин, ясная муд-
рость, точно ярким лучом, освещает дороги истории.

Еще не наступившие события словно толпятся у порога времени, готовые
родиться в жизнь. То, во что хотелось бы верить, становится непреложной
истиной; то, чего страстно ждешь, превращается в неминуемо близкое. Когда
говорит Сталин, история делает шаг вперед.

В тот вечер — 6 ноября 1941 года — казалось бы, не произошло ничего.
Бесспоротно решающего, — фронт попрежнему героически отбивал бешеный
нагик фашистских дивизий, перемалывая их на дальних подступах, фронт
даже продолжал медленно пятиться, — но Москва вдруг уверовала в свою близ-
кую победу так же непоколебимо, как верила до сих пор в свою непобеди-
мость. Это сделала историческая сталинская речь, произнесенная в канун
XXIV годовщины Октября.

Заключительные слова этой речи Сталин произнес очень просто, почти
«обыденно», тем спокойным, глубоко убежденным тоном, каким говорят с
другом или с собственным сыном, отечески положив ему на плечо твердую
широкую руку:

— Наше дело правое — победа будет за нами! — сказал он с едва уловимым
ударением на слове «будет». И это уверенное сталинское «будет» словно
рассеяло последнюю тень смутных опасений, и горлой, горячей радостью за-
билось сердце великого города.

С этим отеческим сталинским напутствием встретила Москва Октябрьскую годовщину.

Двадцать четвертый Октябрь! Он пришел в грозе и буре великой отечественной войны. Его облик — облик воина и героя в простреленной шинели, с оружием в руке и гневом в глазах. Это он, двадцать четвертый Октябрь, расчищает дорогу грядущим бесчисленным радостным годовщинам.

Мы встречали его, как встречают бойцы бойца. Мы встречали его там, на подступах и рубежах Москвы: в эту октябрьскую ночь жестокий бой кипел по всему фронту великой московской обороны. И вместе с Красной Армией, бок о бок с ней, защищали москвэвские люди дорогу к сердцу Советской страны.

...А когда побледила ночь и из предрассветной мглы проступили очертания великого города, москвичи увидели, что все вокруг побелело от снега. Пресыняющаяся Москва куталась в русский зимний наряд. Снежный убор всегда ей был к лицу, но это утро наполняло сердца москвичей какой-то особенной бодростью и надеждой. На фоне белоснежной Москвы особенно ярко горели красные флаги и полотнища. И по-зимнему бодро раздавался хрустящий топот шагов на улице: это шли на Красную площадь войска.

Октябрьский парад состоялся, как всегда, в точно назначенный час. Как всегда, проходила, ошетилившись штыками, славная красная пехота, и с нею вместе шагали рабочие батальоны Москвы. Лихо прошли под звуки кавалерийского марша конники. Скрежеща стальными гусеницами, двигались танки — десятки, сотни грозных боевых машин.

В это утро на трибуну мавзолея поднялся товарищ Сталин — и вся Москва, вся страна, весь советский народ снова услышал голос вождя:

«Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина».

★ ★ ★

Нигде в мире не строили так щедро, так радостно и неутомимо, как в нашей советской Москве...

Последнее мирное десятилетие неузнаваемо и прекрасно изменило лицо старого города. Площади Москвы расступались, ее улицы раздвигались и одевались в асфальт, здания становились выше, наряднее, один за другим вырастали дома-гиганты, дома-кварталы. Москва превращалась в архитектурную симфонию, в которой каждая улица, по замыслу зодчих, «звучала» как особая тема: Большая Калужская превращалась в улицу Академии; магистралью триумфальных шествий и встреч, «дорогой героев» становились улица Горького и Ленинградское шоссе.

Уже Волга пришла в Москву, уже заканчивался фундамент Дворца Советов, а преображенная Яуза готовилась к первой, со времен Петра, навигации, когда в наш счастливый и мирный дом ворвался завистливый, свиреный грабитель. Враг угрожает Москве. И мир видит другое, суровое и прекрасное лицо Москвы.

Защиты досками зеркальные окна магазинов. Мешки с песком закрыли проемы светы колоннад и полированный гранит цоколей. Площади стали военными учебными плацами, где маршируют отряды всеобуча. В аллеях парков тренируются гранатометчики и лыжники. Баррикадами, ДЗОТами, стальными «ежами» ошетинились старые московские заставы.

Москвичи уже не строят нарядные дома, не прокладывают новые улицы и площади — они строят вокруг столицы сооружения особой, оборонной «архитектуры».



На посту

Рис. художника А. ЛАПТЕВА

Для этого строительства оказались тесны границы городской черты — «строительной площадкой» стало все Подмоскowie. Никаким строительным трестам не было бы под силу поднять строительную программу этого «осенне-зимнего» сезона. Для нее попросту нехватило бы рабочих рук, если бы за дело не взялась сама Москва, вся Москва, все двадцать пять городских районов.

Граждане великого города — рабочие, педагоги, инженеры, домохозяйки, лодовые извозчики, парикмахеры, студенты — все стали землекопами, грабарями, санерами, фортификаторами, строителями огневых рубежей. Москва призвала их к великой обороне, и они взяли в руки кирпичи и лопаты,

Вот они, родные, знакомые просторы милого Подмоскowieя!

Здесь в прошлые, мирные годы мы, москвичи, жилали на даче, здесь проводили свой летний отпуск или отдыхали в старых усадьбах, превращенных в уютные санатории.

Черелески, пригорочки, овражки, голубые подмосковные дали, мохнатые ели, милые березки — где это все? На десятки километров вокруг земли изрыта глубокими противотанковыми рвами, эскарпами, блиндажами; тихие поля гневно ощерились надолбами, «ежами», колючей проволокой.

За немногие недели мирные дачные места превратились в неприступную крепость, в сложную систему фортификаций, в мощную «линию Москвы». Это был великий, подлинно всемосковский труд. Все районы столицы и делили между собой направления и участки обороны и вступили друг с другом в трудовое соревнование: Сокольники — с Бауманским районом, Кировцы — с Первомайцами, Свердловский район — с Дзержинским.

Люди работали целыми днями, выпуская лопату из рук только для того, чтобы наскоро перекусить. Люди упрямо долбили рыжую мерзлую глину. Холодный ветер рычал по голым просторам Подмоскovie, дожди сменялись снегопадом, осенняя слякоть морозами. Иногда налетал немецкий истребитель и с бреющего полета осыпал их пулеметной очередью, — москвичи, не уходя с поста, ложились на дно выкопанных ими рвов, а когда самолет улетал, вставали и опять принимались работать.

Одной из бригад не повезло: на ее участке оказался пльвун, подпочвенные воды быстро поднимались, затопляя вырытый ров.

— Не годится участок. Надо сказать — пусть другой дадут! Нельзя работать стоя в воде!.. — сказал кто-то. Ему возразили: противотанковый ров по заданию должен быть вырыт именно здесь... И, не стовариваясь между собой, вышли вперед пятеро москвичей: печник, железнодорожник, штукатуры, управдом и инженер. Они молча взяли лопаты и полезли в ров. Вода доходила им почти до колен — они продолжали копать. К ним присоединились еще двое, потом еще один, потом трое сразу — с каждым ударом лопаты росла



«...люди боролись с упрямой землей»

Рис. художника А. ЛАПТЕВА

и росла эта группа самоотверженных добровольцев. И скоро вся бригада принялась за прерванную работу. Пять дней люди боролись с упрямой землей, с пльвунном и подземными родникам — и победили. Участок был сдан «на отлично».

Иногда приезжали на работы военные специалисты-фортификаторы.

— Ну, как теперь, не пройдут фашисты? — озабоченно допытывался москвичи.

И специалисты обстоятельно объясняли им:

— Да, работа сделана неплохо. Но сами по себе эти препятствия могут только задержать врага на некоторое время, а надо его не только задержать, но и сломить, уничтожить живую силу и технику.

— А что для этого требуется? Говорите, указывайте — сделаем все, что нужно.

И тогда начался второй этап оборонительных работ.

— Вы можете сделать свои сооружения неприступными, — учили москвичей военные инженеры, — для этого нужно, чтобы противотанковые рвы и заграждения свободно простреливались во всех направлениях. А для этого необходимо заранее создать для орудий и пулеметов прочные огневые точки. Вот тогда ваша задача будет решена полностью, и бойцы Красной Армии, если им придется оборонять эти рубежи, скажут: «Спасибо, москвичи!»

Москвичи загорались новой идеей: «Так за чем же дело стало?» И они принимались строить огневые точки, ДЗОТы, площадки для пушек. А сколько неожиданной изобретательности, находчивости было при этом проявлено!

На одном из заводов нашлась старая бронированная башня — ее перетачили на оборонительный рубеж и вкопали в землю: «Помилуйте, гот-вый ДОТ! На двадцать пять шагов пуля не пробивает...»

На другом заводе оказались большие запасы сталистого чугуна; рабочие предложили отлить из него колпаки для огневых точек и снайперских гнезд. Для той же цели пошли в ход старые котлы и баки.

Люди, никогда не державшие в руках лопаты, неожиданно открывали в себе таланты заправских землекопов, выполняли двойные нормы. Девушки в комбинезонах, по локоть перепачканные в глине, обнаруживали неженскую силу и выносливость. Пожилые домохозяйки, отработав свой срок, отказывались уходить домой.

— У меня сын-танкист на фронте, — сказала одна из них. — Работая здесь, я помогаю ему... — и заявила, что остается на работах до полного окончания строительства.

На митинге, посвященном окончанию работ на одном из участков, выступила старая московская ткачиха.

— Мы работали днем и ночью, — сказала она. — Мы не боялись холода, не боялись фашистских самолетов, мы готовы работать так и впредь. Пусть убедится фашистская мразь в нашей русской, в нашей советской силе!

Так говорила одна из тех десятков тысяч патриоток, которые вместе со своими отцами, мужьями, братьями осенью 1941 года опоясали Москву кольцом неприступных рубежей. В те дни мы снова увидели во весь рост ее, героиню-москвичку. Ибо в этой армии строителей три четверти были женщины.

Кончится война и ясная радость, покой, тишина снова вернется в наше любимое Подмосковье.

Веселые ручьи, удивленно бормоча, побегут по новым руслам, по дну про-

тивотанковых рвов и канав. Зеленой травой зарастут откосы блиндажей. На месте срубленных лесов поднимется молодая поросль.

Мы снова будем ходить по этим перенаханным московской лопатой местам. И девушки на вечерней заре, возвращаясь из леса, затянут старую, лобную песню о Москве, о «самой любимой» Москве.

Потом, должно быть, придут грузовики «Металлолома»: выкапывать и увозить стальные брусья уже ненужных «ежей». Придут экскаваторы и, лязгая железными челюстями, срывают укрепления, засыпят рвы. Тракторы и катки разравнивают и утопчут землю. Придут ученые лесоводы с чертежами, с планами новых будущих рощ и лесов...

Постепенно, год за годом будет происходить «реконструкция» старого подмосковного пейзажа — классическая русская равнина с синими даями, с тихими овражками, с левитановскими белыми березами. И только случайно, уцелевшая где-нибудь в долине одинокая надолба напомнит пришельцу московскую военную осень 1941 года, незабываемые героические дни великого труда и великого мужества.

Но пока еще длится суровое, трудное время. Еще война стоит у нашего порога. За стенами родного города кружит злая, грозная вьюга...

Идет зима, русская зима!

Зима сродни нашей русской природе, как сродни она и русской душе, русскому праву. Зима — наше природное, исконное, то, что неотделимо вошло в наше детство, в наш быт, в нашу национальную культуру.

Зима — это пятая глава «Онегина». Это незабвенные страницы из толстовского «Детства и отрочества». Это чудесные мелодии Чайковского и уютна наших лучших пейзажистов...

Для русского человека зима — не только время года: это как бы лицо самой родины.

Мы помним румяные зори, встававшие еще недавно над мирными подмосковными деревнями. Домовитый дымок над крышами изб. Скрип ворот на свежем утреннем воздухе.

Но не так, совсем по-другому началась в Подмосковье зима 1941 года.

Не мирный печной дымок вьется в морозном воздухе — это дымятся развалины догорающей деревни. Не рябина — капли крови горят на снегу. Ничком лежит на улице заколотая штыками девочка, — она не хотела отнять рыжеусому немцу теплый мамкин платок... У школьного крыльца ветер раскачивает на виселицах трупы казненных. Кругом ни души. И некого даже спросить, как называлось это еще недавно цветущее колхозное село.

Здесь прошел враг. Здесь побывала армия окаянных убийц.

Немцы не надолго задержались тут, — они рвались дальше, вперед, к Москве и спасительным зимним квартирам. Их гнала вперед безысходность, их подстегивал страх: только бы закончить войну до первых морозов, только бы успеть победить Красную Армию прежде чем наступит эта грозная русская зима.

Но они не успели! Зима наступила, зима уже здесь —

Пришла, рассыпалась клоками,
Повисла на суках дубов,
Легла волнистыми коврами
Среди полей...

Не раз в истории отечества нашего зима помогала русскому народу оборонять родину от вражеских нашествий.

Но не на морозы и вьюги полагаемся мы прежде всего в нашей борьбе против врага, а на испытанную стойкость и суровое мужество советского народа.

Русская зима — только прелюдия к будущему, всесокрушающему русскому удару, который в свой час Красная Армия обрушит на обессиленного, битого, измотанного противника.

* * *

В огромном цехе было пусто и тихо. Ни людей, ни станков. Не слышно привычного ровного гула моторов и шума трансмиссий, только мышь скребется где-то в углу, за переборками цеховой кладовки. В развороченном полу лежат дыры на месте снятых станков. А сами станки в эту минуту, вероятно, уже далеко-далеко от Москвы, в безопасном тылу, «на новых квартирах». Директор по распоряжению наркомата эвакуировал завод на Урал.

Дела еще задерживали Ивана Андреевича в Москве, и директор томился ожиданием. Вид опустевшего завода навевал на него угрюмую скуку.

Он шел по цеху, из пролета в пролет, и вдруг увидел идущего ему навстречу старика Виноградова.

Виноградов, кадровый инструментальщик завода, в дни эвакуации деятельно помогал укладывать и отпирать оборудование. Но сам ехать с заводом отказался:

— Нет уж, стар я новое гнездо вить. В Москве родился — в Москве и помру, коли придет пора.

По закоренелой тридцатилетней привычке он продолжал ежедневно являться на завод, ходил по цехам — тут подметет пол, там приберет забытый инструмент, рогожу брошенную припрятает или ящик... Звали его, как и директора, Иваном Андреевичем.

Оба Ивана Андреевича, встретившись в середине третьего пролета, поздоровались.

— Ну что, все бродишь, скучаешь? — сказал директор.

— Да. Вот гляжу, товарищ директор, вон там три станка остались, — Виноградов показал рукой в дальний угол.

— Какие станки? — оживился директор.

— Два токарных, один строгальный. Старые станочки, «инвалидная команда». Инженера наши от них отказались, не взяли с собой: «Куда, говорят, эти гробы тащить. По дороге рассыплются...» А я все ж таки думаю, Иван Андреевич, что они еще пригодятся.

— Ну, ясно, — фыркнул директор. — Ты за один встанешь, я — за другой, а за третий главного инженера поставим... И будем французские ключи вытачивать. Так, что ли?

— Я всерьез говорю. Не может этого быть, — с обидой сказал старик, — не может этого быть, чтобы в нашей Москве, да в такое время, заводы пустовали, станки без дела стояли!.. Кабы я был директором, я бы на вашем месте...

— Иван Андреевич! Где вы? — донеслось издалека. К ним торопливо шел главный инженер, размахивая какой-то бумажкой. — Иван Андреевич, идите скорей! Там из наркомата и из штаба армии приехали Вас требуют. Знаете — такие новости, такие новости!..

— Мы к вам, Иван Андреевич, — встретил директора представитель наркомата. — Завод ваш эвакуирован, на новом месте дело, видимо, пока без

вам обойдется. А вам — срочное задание: организовать завод. Да, да, в городском заводе, в этих же самых цехах. Завод по изготовлению вот этой мощной новинки.

И директор увидел, что на его письменном столе лежит... небольшая лопатка. — Вот это? — удивился он. — Саперная лопатка, что ли?

— И-не совсем. То есть это и лопатка, и вместе с тем... Недурная вещьца, а?

— А станки?

— Что станки?

— У меня же осталось три старых станка, из тех, про которые говорится: «юности, как воспоминание»...

— Ну, за этим дело не станет. Поможем. Станки в Москве найдутся...

Через несколько дней огромный механический цех уже до половины был заполнен вновь установленными станками. Новые люди стояли у этих станков. По цеху раздавался успокоительный, ровный гул моторов и от трансмиссий веяло шуршащим ветерком. Завод работал, набирал темпы. Старый мастер Виноградов, сияющий, оживленно хлопотал, покрикивал, поторапливал. Он горжестествовал!

— А что я вам говорил, товарищ директор? Не может этого быть, чтобы Москва в такое время без дела сидела...

Новое, несложное по существу производство было освоено буквально за два-три дня. Через пять дней завод выдал первую партию своих изделий. Это произошло 6 ноября. Вечером, в тот самый исторический час, когда Сталин на торжественном заседании Моссовета, посвященном XXIV годовщине Октября, произносил свои памятные слова: «Больше танков, противотанковых ружей и орудий, самолетов, пушек, минометов, пулеметов, винтовок, боеприпасов», — в этот самый час первые «лопаты» И-ского завода уже находились на пути к фронту.

История эта типична для Москвы тех дней. Это только частный случай, один из множества, той всеобщей «индустриальной мобилизации», которая глубоко, до самого дна всколыхнула осенью 1941 года всю промышленную жизнь советской столицы.

Москва должна стать арсеналом Западного фронта! — только так мог быть поставлен вопрос. От решения его в значительной мере зависел успех обороны столицы. И Москва блестяще разрешила эту задачу.

Оборудование крупнейших оборонных предприятий столицы было вывезено в глубокий тыл. Но их покинутые корпуса и цехи в Москве пустовали незряго: чуть не на другой же день после эвакуации в тех же самых стенах начали возникать новые цехи, филиалы, «дочерние» предприятия, целые новые производственные отрасли.

— Рабочие раскапывали на заводских «кладбищах» ржавые, отслужившие свой век станки-инвалиды и отдельные части, давно выброшенные за ненадобностью на свалку металлического лома. Заботливо и хозяйственно чинили они их, «лечили», возвращая им силы и молодость, собирали заново целые агрегаты. Это были дни массового, стихийного «возрождения станков»: капитально отремонтированные, они снова вступали в строй, подчас показывая такую техническую прыть, какой не обладали и в счастливую пору юности.

Москва мобилизовала все силы, все неиспользованные ресурсы (а сколько их на поверку еще оказалось в столице!), свой богатый опыт и знания, все

Вой трудовые кадры и резервы. И вот тогда-то фактически родилась новая, первая индустриальная Москва, в которой каждый станок и каждая пара рабочих рук, каждая минута труда и каждая гайка поставлены на службу великому делу обороны родины и Москвы.

Разве не характерен тот факт, что даже учебно-показательные станки-экспонаты, принадлежавшие Политехническому музею и Музею труда ВЦСПС, тоже нашли себе практическое применение в эти горячие дни на одном из заводов местной промышленности. Кончится война — и они вернутся на свои станки и над каждым из них прибито дощечку с надписью: «Во время великой отечественной войны с германским фашизмом на этом станке выработались детали для боеприпасов».

Героическая трудная осень 1941 года войдет в историю индустриальной Москвы как время замечательных подвигов и удивительных, необычайных преобразований, как эпоха своеобразной «военно-промышленной» революции. В те дни московские инженеры, техники, конструкторы, рационализаторы явили удаса изобретательности и оперативности. Сколько за эти немногие недели было опрокинуто технологических «пределов» и норм! Сколько рабочей сметливости и хитрости и упрямства было проявлено для изобретения всяческих инструментов и специальных приспособлений! Московские токари, фрезеровщики, трапальщики не только заставили свои станки работать на высшей, «военной», скорости, но даже выполнять подчас новые, непредусмотренные «по плану» технологические функции и операции.

В те дни многие москвичи, заменяя у станков своих родичей и земляков, уходивших на фронт или эвакуировавшихся в тыл, приобретали в короткий срок такие навыки и специальности, которые к их прежнему роду занятий имели весьма отдаленное отношение. Прежде чем стать токарем, Александр Весняков десять лет работал экономистом. Свердловница Спиридонова была пороховиком. Старик Морозов, бывший продавец Даниловского мосторга, сегодня штампует детали гранат и делает это на 220 процентов. Сотни рабочих еще недавно занимались домашним хозяйством. Подростки учились в школах. Старик отдыхал на пенсии.

Меняли специальности люди, меняли специальности и целые предприятия. Для фронта, для победы работала вся московская промышленность вплоть до мелких кустарных мастерских и скромных промысловых артелей. До войны так называемые «шутники» насмешливо называли подобные предприятия артелью «Напрасный труд». В дни московской обороны эти артели взяли реванш — они заставили уважать себя. Ни одна, даже самая захудалая заводская фабрика не захотела остаться в стороне от великого патриотического подъема, охватившего московскую промышленность.

Чем ближе к Москве подвигалась огненная линия фронта, тем напряженнее, тем неутомимее работала оборонная промышленность столицы, этот огромный всемосковский арсенал; тем больше патриотической силы духа, самоотверженности, подлинного трудового героизма выказывали москвичи.

Туда, на фронт, где кипит непрекращающаяся вот уже много недель великая битва за Москву, уходят из московских железнодорожных депо вновь построенные железнодорожниками бронепоезда, и те же люди, что строили их, едут эти поезда в первый бой и стоят у орудий и пулеметов.

Туда, на фронт, возвращаются с московских авторемонтных заводов отремонтированные танки и броневики. Туда, на фронт, насыщая его боевой тех-

никой, бесконечной чередой идут машины с московскими боеприпасами. СРК
сковским оружием.

Уже подходит к концу ноябрь, с каждым днем все ожесточеннее, из последних сил рвутся к Москве фашистские полчища. Но все чаще холодная тошнота отрезвления леденит сердца германских солдат, оборванных, вшивых, голых, замерзающих — и тогда они пишут домой родным письма, полные трагической оторопи и мрачных предчувствий... Сентиментальные письма обреченных убийц:

«Многие из нас никогда не увидят больше родины...»

«Мы шагаем по трупам тех, кто пал впереди, а завтра мы сами станем трупам и нас также раздавят орудия и гусеницы...»

«До Москвы осталось очень немного. И все-таки мне кажется, что мы бесконечно далеки от нее...»

Маящая и недосыгаемая, ненавистная и желанная — такой маячит Москва перед воспаленными глазами гитлеровских ландскнехтов. С каждым днем все больше возрастает героическое сопротивление Красной Армии и сила ее могучих ответных ударов. Это рабочая, индустриальная Москва подпирает фронт всей оборонной мощью своей промышленности, несокрушимой крепостью своих оборонительных рубежей, неисчерпаемой энергией своего труда и мужественной верой в неизбежную, близкую победу.

Уже подходит к концу ноябрь — в близится решающий час великой подмосковной битвы.

* * *

16 ноября немецко-фашистское командование, сосредоточив на Западном фронте 51-ю дивизию, бросило их в новое — последнее — наступление на Москву. Приказ Гитлера был ясен: любой ценой взять «большевицкую столицу — Москву».

Ни чудовищные жертвы, ни яростное сопротивление Красной Армии не останавливают врага. Он упорно стремится выполнить намеченный план генерального наступления: ценой любых жертв занять на севере Глин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров; на юге — Тулу, Каширу, Рязань, Коломну; затем одновременный натиск с трех сторон, окружение Москвы и — конец войны! Так думал, так обещал, так возвестил на весь мир «непобедимый» Гитлер.

Кое-что из этой авантюрной стратегии немцам удалось осуществить. На севере они дошли до Яхромы, на юге вплотную приблизились к Туле и Кашире. Уже германское командование хвастливо заявляло, что в хороший бинокль видна Москва. Уже на окраинах столицы в ипные дни слышны раскаты дальних боевых орудий.

Москва даже в эти черные дни ни на минуту не сомневается в том, что враг будет остановлен, отбит, отброшен. Москва непоколебимо верит в прозорливую мудрость Сталина, в неисчерпаемую силу советского народа, в высокую и светлую судьбу нашей великой родины.

Ни близость фронта, ни тревоги ночных часов, ни лишения и опасности военной обстановки не нарушают нормального пульса московской жизни. И это лучше всего свидетельствует о несокрушимом душевном здоровье великого города.

Москва попрежнему работает, учится, отдыхает, много читает, посещает музеи, занимается спортом, охотно слушает музыку и смотрит — обязательно

Первым экраном — все киноновинки. Она не научилась смеяться, и петь, англодировать в театре.

В те дни в Москве на улице Горького открывается новый эстрадный театр «Ястребок». В театре им. Станиславского и Немировича-Данченко — премьера: идет новый балет «Штраусиана»; и под звуки знакомых штраусовских вальсов перед москвичами оживает старая веселая Вена.



Московский патруль

Рис. художника А. ЛАПТЕВА

Начался шахматный турнир на звание чемпиона Москвы. В доме авиации открыта выставка трофеев отечественной войны. Московские художники готовятся к вернисажу: выставка батальных полотен на темы великой отечественной войны. Выходят в свет новые книги. Работают библиотеки.

В Москве зима, настоящая московская крепкая зима. Дворники и снегоочистительные машины не успевают убирать улицы. А снег все валит и валит... Побелели московские крыши; плотным слоем белеет снег на целерине бронзового Пушкина, на свитке Первопечатника.

В парках столицы идут хоккейные соревнования, военизированный бег на лыжах; открываются катки на прудах.

Днем в зоопарке масса детей. Ребята знают все здешние новости. Они расскажут вам, каких именно хищников эвакуировали в зоопарки других городов. Они знают, что молодые жирафы уже достигли четырех с половиной метров в высоту, что обезьянке Монго нехватает солнечного света и потому ей поставили около клетки «искусственное солнце»... Зато отлично чувствуют себя белый медведь и кондор — самый старый обитатель Московского зоопарка. Вот уже скоро полвека, как он живет в Москве. Похожий на опшпанного германского орла, неподвижно сидит он в вольере на верхушке скалы. Даже воздушные тревоги не выводят гигантскую птицу из ее холодного и презрительного равнодушия ко всему окружающему...

Сирена воеет над городом — опять палет. Пустеют аллеи зоопарка, безлюдными становятся улицы. Милиционеры заставляют прохожих укрываться в бомбоубежища. И только неутомимый сотрудник московской газеты перебежит от милиционера до милиционера — продолжает свой путь на Трехгорку: тревога — тревогой, но срочное задание редакции должно быть выполнено во что бы то ни стало...

Вот и вечер близится. За плотно зашторенными окнами Москва продолжает жить обычной жизнью. У театральных подъездов вас останавливают традиционным вопросом: «Лишнего билета не имеете?» Письмоносцы возвращаются в последней разноске. Огромные пятитонки развозят на завтра продукты по газинам, доставляют муку на хлебозаводы, туда, где вздыхает в дежах крутое московское тесто.

В редакции московской областной газеты сотрудники, столпившись у телефона, с нетерпением ждут очередной корреспонденции. Сегодня опять весь день, как и вчера, по Москве циркулируют радостные слухи об успехах наших войск, о том, что немцы выдыхаются, что вот-вот они дрогнут...

Близится час развязки великой московской битвы.

Темная декабрьская ночь спускается над городом. Уже перестали ходить трамваи, гулкой и настороженной тишиной окутаны улицы, Красная площадь, старые башни Кремля... Они дремлют, эти седые свидетели многих веков и событий, и сквозь дрему, быть может, смутные видятся им видения и сны.

Но сегодня эти древние сны не тревожат, не мучат Москву. Иное вспоминается нынче: ратные подвиги Дмитрия Донского, походы Грозного — разгром Ливонского ордена, покорение Астрахани, Казани и сибирского Кучумава царства.

Когда-то стрелецкая стража у ворот так перекликалась по ночам:

— Славен город Москва!

Сегодня вся страна повторяет как лозунг этот древний сторожевой клич, славен город Москва! Он выдержал жесточайшие испытания временем, огнем, железом. Новые испытания только обновляют блеск его древней бессмертной славы.

Уже на Спасской башне пробило полночь. По Москве не спалось. Какое-то нетерпеливое радостное ожидание томило ее. В квартирах люди не ложились спать, прислушиваясь к потрескиванию и жужжанью репродуктора: несмотря на поздний час, трансляционная сеть почему-то не заканчивает свою работу обычным «Интернационалом».

В половине первого раздался голос диктора:

— Внимание, внимание! Говорит Москва.

— В последний час. Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы. Поражение немецких войск на подступах Москвы...

Кто из нас не помнит этого исторического сообщения Советского Информбюро! С каким счастливым волнением, с какой жадностью вслушивались мы каждое слово...

А диктор между тем продолжал торжественно, громко:

— ..6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его танковых фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группы противника разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение неся огромные потери...

...В ту же ночь весь мир узнал о крушении гитлеровского похода на Москву. В ту ночь в старой Европе радость, надежда охватили сердца миллионов порабощенных несчастных людей. А британское радио передало в эфир следующее обращение:

«Лондон приветствует неустрашимый город Москву... Сыновья Берлина отступают, сыновья Мюнхена отступают, сыновья Лейпцига отступают. Сыновья двадцати германских городов разбиты. Сыновья Москвы торжествуют победу!»

...Так под Москвой, — скажет автор будущей «Войны и мира», — на фашистскую Германию «в первый раз была наложена рука сильнейшего духом противника».

ЕВГЕНИЙ СИМОНОВ

КРЕПОСТЬ НАД РЕКОЙ

(Боевое прошлое московского Кремля)

Начинается земля,
Как известно, от Кремля.

Вл. Маяковский.

ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ

Первыми путями и направлениями, первыми вехами исторической географии Руси были реки. Издавна вверх по крупным рекам двигались от их устьев племена, расселявшиеся по лесному краю. Расступались мохнатые сосны, звенели топоры, веселые дымки взвивались над лесами.

И Москва-реке, далеко не самой большой из рек, не самой протяженной, не самой многоводной, но на редкость удачно расположенной в центре речных и морских водоразделов, довелось сыграть роль не менее славную, чем иные великим рекам. По ее имени была названа столица. Ее имя перенесено было на всю страну. Во второй половине XVII века заезжий голландский парусный мастер Стрюйс записывал в своем дневнике: «Москва, столица царства, лежит на реке Москве, которая дала название всему государству».

Полой водой, с весны, по Москва-реке, Яузе, Оке плыли купеческие караваны, воинские отряды, переселенцы с южных земель, разоряемых набегами кочевников. Зимами, когда лютые морозы сковывали реки, они превращались в природные ледяные дороги: быстрые, гладкие, удобные. И на больших реках подымались города древней Руси: Киев на Днепре, Новгород Великий на Волхове, Москва на Москва-реке.

Историки не называют нам точной даты, когда русские люди облюбовали для своего поселения крутой холм, береговой мыс у впадения реки Неглинной в Москва-реку. Восемьсот, а то и тысячу лет назад эти пионеры срубали в густом сосновом бору низенькие избышки, выволокли на берег реки свои долбленные челпы, развесили сушиться рыболовную сеть. На сотни тысяч верст от холма тянулась лесная чаща, на низком заречном берегу зеленели богатые заливные луга. Сухопутных дорог тогда почти не было. Не то что человек, даже зверь с трудом продирался сквозь лесные дебри. Суздальская земля, на окраине которой возникла Москва, — земля лесная. Известны случаи, когда при очередной княжеской усобице целые рати не могли отыскать ода другую в лесной чаще, как это было в 1176 году, когда

дочница Ярополка и Михалко «минулася в лесех». Лес для русского народа заменял горы и замки. Недаром татары называли леса «великими крепостями», а заезжие соглядатаи уверяла, что русские преднамеренно держат дороги непроходимыми, оберегаясь от иноземных вторжений. Былины о делах других, геройских подвигах богатырей воспевали прокладку «дорог прямоезжих».

Леса и воды Москва-реки кипели зверем и рыбой: мяукала рысь, сохатый лось обглаживал зеленые ветви, в силках бились хорь или заяц, на берегах лесных рек возлились бобровые горы, из дуплистых деревьев бортники собирали мед.

Из степей наступали на Киевскую Русь полчища кочевников. Раздираемая княжескими усобицами разрозненная Русь не могла отстоять свои земли. Крестьяне, ремесленники, купцы, спасаясь от полона и рабства, бросая свои «животы» (пожитки), уходили на северо-восток, где темная стена густых лесов преграждала путь кочевым ордам. И Москва, и враждовавшая с нею Тверь были наиболее удалены от татар. Старые городские центры — Суздаль, Переяславль, Ростов — хирели, но крепили и подымались такие, как Москва и стоявшие на больших речных путях Рязань, Нижний, Тверь. Совершался великий перелив населения: от старых днепровских гнезд русское славянство подавалось на берега Москва-реки, Клязьмы, верховья Волги.

«Судьба бросила это (великорусское. — Е. С.) племя на волнистую равнину, покрытую лесами и изрезанную реками, пустынную и легко юступную для заселения. Поселенцы свободно растекались по этой равнине, как растекается вода по гладкой поверхности» (С. Ф. Платонов).

НАЧАЛО ЗЕМЛИ

Он ставил сруб, усталый,
Ложился слушать бор,
Кладя в траву сырую
Под голову топор.

Бледнели утром звезды,
Светледа синева,
Щепой сосновой пахло.
Так началась Москва.

Степан Щипачев

С высокой арки Каменного моста открывается Кремль, раскинувшийся вдоль всей речной горы. По берегу встали каменным дозором боевые башни: тупеящая пирамида Боровицкой, острый шатер Волновозной, стройное тело Беклемишевской, замыкающей береговые укрепления. Над зубчатыми мерлонами выдавшей виды боевой стены желтеет фасад Большого дворца, уходят в глубь Кремля столпы колоколен, купола соборов, палаты, переходы, хоромы. Кремль! Далеко за пределами нашего города, государства слышно это имя. Его произносят с надеждой, с гордостью, иные — с пескываемой непаянностью. Шесть букв, которые слышит весь мир, как и другие шесть букв, из которых складывается имя Сталин.

Здесь, на круче холма, в глухом вековом бору была заложена много веков назад наша Москва. Датой начала ее принято считать 1147 год. Весной это-

го года суздальский князь Юрий Владимирович Долгорукий вместе со своим союзником, северским князем Святославом Ольговичем, вернулся с набега на земли новгородские и смоленские. Разгромив своих соседей, Юрий послал Святославу приглашение: «Приди ко мне, брате, в Москов».

Еще дальше в глубь веков уводят начало Москвы археологи. Раскопки говорят о том, что задолго до XII века человек заселил местности, входившие в Москву. В Кремле, у храма Христа, близ Симонова монастыря строители находили серебряные гривны, серьги о семи лепестках, арабские дирхемы, битые в Мерве в IX—X веках. Но, кроме курганов и городищ, нет никаких следов древних жителей Москвы, которая тогда еще не знала даже своего собственного имени.

Современники недаром звали князя Юрия «Долгие руки», «Долгорукий». Получив в наследство от Владимира Мономаха глухое Залесье, лесную окраину, захолустье тогдашней Руси, Юрий энергично заселял и застраивал землю: «Начал города строить и людей населять». Суздальщина была удалена от степных кочевников, меньше терзали ее княжеские усобицы. Богатели старые и новые города, звенели топоры, расчищая лес под пашни. В Суздальской земле князь Юрий

«распространил гражданское образование, открыл пути в лесах дремучих, оживил дикие мертвые пустыни знаменами человеческой деятельности, основал новые селения и города» (Н. М. Карамзин).

В Суздальской земле из крохотного селения и выросла огромная четырехмиллионная Москва. От тесаных бревен к пержавеющей стали Дворца советов, от тлеющего мха к ослепительным прожекторам, от земляного очага к теплоцентралям, к асфальту, к обузданию речных потоков, к самолетам, которые несут над водами Тихого океана гордое имя «Москва» — путь великого города в веках.

Сама природа подготовила строительную площадку для города-крепости, естественное укрепление у встречи рек Москвы и Неглинной. Высокая береговая гора обрывалась крутым сорокаметровым откосом к устью Неглинной. Когда-то конь с трудом подымался здесь в гору, которую превратили в более пологую только лет сто назад.

Москву звали «горбатой» — по многочисленным ее холмам. Река прокладывала себе дорогу, округляя луговые низменности, круто поворачивая, когда ее поток упирался в нагорные берега. На одном из таких поворотов стоял Кремль. Этим Боровицким холмом заканчивается главная возвышенность Москвы, которая тянется на юг от Тимирязевки.

Здесь, на краю горы, через девять лет после встречи князей, русский плотник срубил первый город.

Над обрывом сходились углом бревенчатые степы острога. На земляном валу были укреплены стоймя бревна, остро обтесанные поверху. В новом городище, защищенном с двух сторон обрывами и реками, ров выкопали только со стороны «приступа», «приступного места». Колья и надолбы укрепляли края узкого, но глубокого рва. Глиняная обмазка предохраняла степу от огня. За бревенчатыми щитами укрывался во время боев гарнизон. С приземистых вежей, как звались башни до татар («баш», «башка» — татарское — голова), вглядывались в даль дозорные. Башни были головным сооружением фортификации. Заполненные землей и камнями, они могли противостоять ударам степобитных орудий. Если неприятель и овладевал стеной, он оказывался

под огнем с башен. Каждая из них превращалась в самостоятельную крепость, отстоявшую одну от другой на полет стрелы.

Невблизк был этот зародыш Москвы, город, целиком умещавшийся между внешними Боровническими воротами и Большим кремлевским дворцом. Но за его стенами уже могло укрыться в лихие дни население, он прикрывал своими укреплениями поселения окрест Боровникового холма, торговые пути.

А в те глухие времена каждый город неминуемо становился крепостью, последняя превращалась в город. Без оборонительной ограды теряло смысл и само название «города», огороженного поселения. И древние летописцы звали внешний Кремль — городом, поселение за его стенами — посадом, более отдаленные слободы — загородьем. Само имя «кремль» впервые записано под 1331 годом: «кремь» — крепкий здоровый лес; «кремлевник» — хвойный лес на болотистом месте. Производили это имя и от греческого «кримпос» — крутизна, крутое место.

Через 21 год после постройки степ пламя взметнулось над укреплением, толпы половцев с гиканьем кинулись на приступ, брать копьем новое поселение. Вместе с половцами торжествовал победу приведший их на Москву князь Глеб Рязанский. «Поже Московь всю, город и села», он положил начало долговому списку осад и пожаров.

Но городок над рекой не сдавался. Само его расположение на перенутье днепровского юга и верхневолжского севера стягивало людей. Стекавший сюда народ терпеливо и упрямо рубил на пепелище новые хоромы, прокладывал дороги сквозь бор, заселял окрестности. Еще автор древней повести «О зачале царствующего града Москвы» рассказывал:

«Князь Юрий взыде на гору и обозре с нее очима своима семо и овамо, по обе стороны Москва-реки и за Неглиппою, возлюби села оные и повеле вскоре сделати град мал, деревян, по левую сторону реки на берегу и прозва его званием реки Москва град».

Град был впрямь нрядно мал — едва одна десятая нынешнего Кремля, примостившаяся в его юго-западном углу. Но место было избрано на редкость удачное.

Городок рос и мужал. Спустя три поколения после Юрия в городище над холмом поселился первый удельный князь Даниил Александрович (1272 г.), сын Александра Ярославича Невского. Москва стала столицей миниатюрного княжества. Над колоколом сверкал крест небольшой церквушки, нестрели яркие кровли княжеских хором. Позади парадных палат, над крутым берегом Неглиппой, подымались жилые терема. С высоких башенок постельных покоев открывалась вся заречная низменность. Зорко следили с вежей войны за луговойной, из-за которой мог показаться враг. Первый кремлевский «дворец» не заполнил бы даже половины зала, в котором была принята Сталинская Конституция и узаконено воссоединение Украины и Белоруссии. В грубом, но прочном деревянном доме князя Даниила разместились пизепькие горницы и клети, под ними в амбарах и ледниках хранились прятасы. В Кремле жила ближняя дружина князя. За укреплениями, на тех площадях, где стоят теперь кремлевские соборы и монастыри, тянулись амбары и кладбища, росла репа и паслись коровы.

У пристаней на берегу реки год за годом ширился торговый и ремесленный посад, пока еще лепившийся поближе к крепости.

В разных концах от Кремля подымались дымки ближних сел: Воробьевы, Дорогомилова, Сущева, Кудрина. В просторе дальних лугов и лесов терялись одинокие дворы. По речкам Неглинной и Яузе клубилась над мельницами водяная пыль, у рыбацких дворов сушилась снасть, лай стоял над псарнями. Широта и приволье открывались во все стороны. Но крепость на холме уж становилась тесна: хоромы, палаты, службы лепились по склонам, стискиваясь друг друга, росли ввысь, громоздясь галлерейками и переходами.

Спустившись с Боровницкого холма, нынешняя кремлевская стена поворачивает на восток и уходит вдоль берега Москва-реки, слегка вгибаясь внутри Кремля. На эту сторону, обращенную к юго-западу, обрушивались первые удары татар и литовцев. Зарево взметнувшихся над горизонтом пожарниц оповещало о приближении врага. Пустели слободы и дворы — кто укрывался под защитой кремлевских степ, кто бежал в отдаленные монастыри и глухие лесные деревеньки. За стенами Кремля, в крови и пламени, рождалась русская государственность, слагалось национальное единство русского народа. Страшные пожары дотла испепеляли город и крепость, враг опустошал слободы, обращал в неволю людей; казалось, что жизнь замирала навсегда, и Москва подымалась из пепла вновь и вновь, как сказочный феникс.

И за все семь веков кремлевская крепость была взята приступом только дважды: в 1238 году Батыем и в 1293 году Дюденей.

В XIII веке кровавая лавина татаро-монгольских полчищ докатилась до Москвы. Беженцы с восточных окраин Владимирщины приносили страшные вести. Из неведомых глубин Азии идут нечестивые агаряне: числом, как саранчи; неотвратимые, как гроза; злые, как сатана. Когда татарские орды подходили к Рязани, гиканье всадников, скрип арб, ржанье коней и рев верблюдов оглушили горожан, как перихонская труба. Рязанцы не слышали друг друга. Умудренные вековой культурой, китайские и персидские инженеры везли неведомые машины, метавшие камни, изрыгавшие пламя.

Москва изготовилась к обороне. Взявшие ее татары вырезали весь город. Это они делали в назиданье за упорное сопротивление. Но даже кровавый разгром Москвы ордами Батия не остановил ее роста. Народное предание говорило: где прошел Батый — сто лет не растет трава. Но Москва росла быстрее травы. За Дюденей Кремль осаждал тверской князь, страшные пожары уничтожали ее стены.

И князь Иван Калита спосит старые стены из смолистой горючей сосны. Лесорубы заготавливают более огнестойкий лес, и в 1339 году «заложен град Москва дубов». Примерно сто лет назад, при постройке Большого кремлевского дворца, землекопы наткнулись на остатки стен Калиты: аршинные дубовые брусья. Горододепы выводили из этих исполинских бревен стрельницы и стены. Кремль раздался в сторону нынешней Красной площади. Иван Калита поворачивал его к торговому посаду. Большой гарнизон сидел теперь в крепости: стрельники из лука, пушкарки метательных машин, оружейники для починок «ратного сосуда», прочий военный люд. Вся крепость занимала примерно треть нашего Кремля.

За темными дубовыми стенами крепости над рекой кипела созидательная работа. Все ширились и торговый посад, и ремесленное и военное Заречье. Быстро строился новый город, но быстро превращался он в пепел и прах. Пожаров Москва боялась чуть поменьше татарского хапа, но «красный пепел» незваным гостем жаловал на столицу и уходил, оставляя одни голые лешки.

Там, где бор дремучий, дикий
 Песнь отшельника внимал,
 Белокаменный, великий
 Вырос Кремль и засиял!

М. Дмитриев

В княженье Дмитрия Ивановича от церкви Всех Святых на Черторых (Кропоткинские ворота) начался пожар невиданной силы. Лето 1365 года было засушливое, пересохли даже реки. Начавшаяся буря раздувала огонь, переносила за реку пылающие головни. Огненная река разлилась по Москве.

«Во едином бо месте гасяху, а в десяти загорашеся, — сокрушался летописец. — Все огонь поять». В этот пожар, прозванный «Всесвятским», за два часа «погоре Посад весь, и Кремль, и Заречье» без остатка.

Уныло торчали обугленные стены Кремля с выгоревшими навесными бойницами и заборами. Город был почти беззащитен, предавался скорби великой. Но великий князь созвал старейшую боярскую думу и князей, вел совет о новом укреплении престольной Москвы. Негоже обходиться ей и вیرهль деревянными стенами, как деревне. «И еже умыслиша, то и сътвориша».

Все лето и зиму заготавливали белый мягковатый камень в селе Мячково, верстах в тридцати вниз по реке. Весной 1367 года с великой поспешностью собирали отовсюду мастеров каменного дела, стали выкладывать первое прясю каменной стены. Степа получилась добротная, высокая. Осторожный Дмитрий велел повременить с разборкой дубовой стены, и новую выводили снаружи старой на 40—60 шагов. Тем временем дубовые стены, вконец обветшавшие, порушились, не дождавшись, пока их разберут. Но это было не страшно — Кремль горло стоял на холме, опоясанный белым камнем. Над стрельницами белой стены пестрой толпой стояли храмы и звонницы, переливались под солнцем кудрявые терема.

Летописец записал:

«Князь велики Дмитрий Иванович заложи Москву камен и начавши делати беспрестани. И всех князей русских привожаше под свою волю, а которые не повиновахуса воле его, а на тех нача посегати».

Не прошло и года, как по пыльным дорогам промчался в Кремль гонец, нахлестывая коня. Ольгерд Литовский «тихим обычаем» перешел русский рубеж, перебил пограничный сторожевой полк. Узнав, что князь в Москве и почти без рати, Ольгерд поспешил сюда: на разбогатевшую за сорок лет мира и будто бы отвыкшую воевать Москву его направляли родичи — тверские князья. Возвышения Москвы они боялись пуще огня.

Когда полчища одетых в звериные шкуры литовцев подошли к Кремлю, он был готов к обороне. Посад выжжен, литовцы остались без укрытий, без единого дерева для постройки примета, по которому, залив ров, карабкались к стенам. Мосты над рвами были подняты, ворота наглухо заложены камнями и бревнами, железные каракули вонзались в копыта коней. Над башнями злобеще поблескивали щиты и копыта гарнизона. Да, это была не та Москва, которую громили татары.

Окружив Кремль, литовцы занялись грабежом ближних сел, но Ольгерд видел, что здесь он теряет время попусту. А тут еще из дома пришла тревожная весть: господа рыцари Тевтонского ордена пожаловали в Литву. Через

трое суток Ольгерд снял осаду. Год спустя он повторил свою попытку, но тем же плачевным результатом.

Москвичи сидели в новом Кремле, «как за каменной стеной». А когда князь московский пошел в 1375 году рассчитываться с тверскими князьями, к его походу примкнуло по доброй воле еще девятнадцать князей. Возвышение Москвы становилось делом всей русской земли.

Был 1380 год. Кремль уже весь опоясался каменными стенами. Ясным августовским утром из всех ворот выходят полки. За черным своим знаменем едет на широком коне великий князь Димитрий Иванович, рослый и плечистый, с решительным взглядом. Черная борода спускается на кольчугу, крепкая рука лежит на мече. Он ведет Русь встретиться один-на-один с ордой.

Хан Мамай готовился напомнить Москве времена Батыевы, вел на нее двусоттысячное войско татар и наемников: генгузцев, греков, яссов. На помощь Мамаю спешил и литовский его союзник Ягайло, руку татар держал двурушный рязанский князь Олег. Димитрий послал гонцов по князьям: «Встретим Орду, братне, силами всей земли Русской». К опозданию не примкнули только князья тверской и пичегогородский, осталась в стороне повгородская боярская республика. Димитрий торопил: надо ударить, пока не соединились силы «окаянного сыродца Мамаю, нечестивого Ягайло и отступника Олега». И под знаменами Москвы встали теперь плечом к плечу, забыв усобицы, люди муромские, владимирские, кострюмские, ростовские, ярославские, белозерские и других земель. Встала сама Русь.

Войско молча стоит на площади, солнце горит на щитах. Истово молятся о победе воины и начальники, опускаются на колени монахи и князья. Русь или Орда? Кто кого? Войско спускается к реке по застроенному спуску Великой улицы. Звенят кольчуги и щиты, ржут кони, плачут женщины. В кубках пыли войско спускается к Москва-реке, по обеим ее берегам уходит в Котлы и Спас-Андроньев монастырь, чтобы встретиться в Коломне. На два дня вперед ушла разведка, посланная Димитрием, броды пытает, мосты мостит. А перед битвой Димитрий оставляет за спиной все реки, чтобы некуда было отступить с Куликова поля.

Месяц спустя израпешенный Димитрий возвращается в родную Москву. Победа за ним.

Один за другим сменялись на кремлевском престоле московские Даниловичи. Хотя Ключевский и назвал их «устойчивыми посредственностями», но они сделали неизмеримо больше буйных Мономаховичей и иных Ярославичей. Земли, уделы, княжения, как бы движимые центробежной силой, попадали в орбиту Кремля. Ровной и непрерывной нитью тянется эта преемственность. Москва слывет городом порядка и единой власти во всей путанице феодальных схваток.

Но не раз еще набатный колокол гудел над реками и слободами, оповещая горожан и землепашцев о нашествии врага. Воцарившийся в хапской усобице Тохтамыш решил отомстить Москве за разгром Мамаю. Суздальские князья изменники подвели его в 1382 году к Москве. Татары обложили Кремль, гарцуя на почтительном расстоянии от стен, откуда лучники метко поражали врагов, убили одного из приближенных хана. Татары пошли на хитрость и предложили мир, но когда распахнулись железные кованые ворота и торжественно вышел крестный ход, враги, сверкая кривыми саблями и секирами, с гиканьем ворвались в крепость. Москва разорена. «Одна горелая земля, дым и пепел, да лежат во множестве трупы мертвых». Кажется, что Москва стер-

та с лица земли, кончилась, обращена в прах. Город выжжен. Горожане порублены, погоплены. Но во все стороны от московского пепелища кинула жизнь и была жива главная сила — народ, Русь. Тринадцать лет спустя на Москву двигалась новая гроза — полчища железного хромца Тамерлана. Пирамиды из черепов отмечали победный, кровавый путь покорителя Туркестана, Индии, Персии, Малой Азии, разгромившего могущественного турецкого султана Баязета. Но Тамерлан не пошел дальше Оки. А Москва была живуча, бессмертна, как бессмертен создавший ее народ. Она крепла, росла, отстраивалась.

Летописец, описывая штурм Кремля в 1451 году, говорит, что татары кидались, «где несть крепости каменные». Пожары и битвы, сильные землетрясения порушили каменные стены. Они сплошь покрылись деревянными заплатыми, и итальянец Контарини принял крепость за деревянную.

Начав с поправок, Иван III кончил полной перестройкой Кремля. Рядом с князем жила теперь в Кремле наследница византийских базилиевсов Софья (Зоя) Фоминишна Палеолог. Ученица римского папы, она была послана в Москву склонить ее к римской ориентации. Но вся изощренность католических политиканов потерпела крах: у Ивана Васильевича была одна ориентация — Москва, державная Русь.

Из солнечной Болоньи и лазурной Венеции, с Рейна и Вислы едут в далекую Московию знающие люди и лазутчики, торгующие своим мечом ландскнехты, зодчие, астрологи. На узких улицах Кремля звучит певучая итальянская речь: здесь работает великий Аристотель Фиоравенти, стеной мастер Алевиз, оружейник Боргоманере. В кремлевских воротах врач-немчин Антон встречается с казанским царевичем Муртозой. Забредший в Москву органичный игрец, августинец капеллан Иван Сальватор, астраханские царевичи, польские князья — все они открывают в Москве новый рыпок, источник доходов или возможность воплотить в камне творческие замыслы.

В третий раз перестраиваются стены великой крепости, «не по старой основе, града прибавиша». В кремлевских хоромах заезжие зодчие Антон Фрязин, Марко Руфо, Пьетро Антонио Соларио, Алевиз вместе с русскими мастерами размечают углем план нового замка для «дюка Базилия». Великий фортификатор Аристотель, про которого говорят, что нет в мире архитектора, инженерника, художника, который бы знал что-либо не ведомое Аристотелю, планирует башни и стены, которые — в этом порукой его седая борода — простоят до судного дня.

В 80-х годах XV века сносятся до последнего камня обветшалые стены и башни. Первыми заложены башни, прикрывающие речную полосу и тыловую ровную площадку — «приступ». Холопы крепят сваями крутые берега, выводят в реку подземные ручьи. Надо укрепить грунт, предупреждают зодчие, дабы он надежно держал каменные громады.

Иван приказывает на «сто сажень да девять» расчистить пространство перед стенами, снести десятки лачуг и церквушек с погостами, облепивших старые стены. Явное святотатство для старозаветных москвичей: рушить божьи престолы, выбрасывать в Дорогомиллово кости из старых могил. Но спясть и не хочет слушать: мертвые да не теснят живых.

Укрепляя Кремль, зодчие Возрождения вложили весь опыт римских фортификаторов. Стены и башни располагались по завету хитроумного Витрувия: чтобы когда неприятель приблизится к стене, он был бы охвачен башнями, одной с правого фланга, другой — с левого... Надо, чтобы башни

прерывали ход по стенам; если неприятель завладел одной частью ны, остальные были бы от него отрезаны».

Круглые башни, наполненные изнутри землей, оказывали громадное противление снарядам. Здесь нельзя было обрушить углы, как в квадрат башнях.

И над закопченными подслеповатыми домиками и огородами подымалась крепость, превосходившая многие знаменитые замки Запада. С каждой башни открывались для обстрела стены, вплоть до их подножья. Изломы стен кривали для обзора соседние стрельницы. С каждой башни ее команда видела всю линию обороны, могла притти на выручку соседней башне. С опасной стороны башни стояли чаще всего.

Каждая башня — самостоятельная крепость. Отняв приставную лестницу гарнизон наглухо замыкался в каменной громаде, а в случае беды мог скрыться потайными ходами. Подземные «слухи», окружая стены, позволяли предупредить подкоп. Водные течи, родники отведены под башни — для снабжения осажденных водой. Подъемные мосты на толстых цепях перекидывались в глубоких рвах. Проездные арки ворот перегорожены массивными решетками. Два-три ряда окованных железом дубовых ворот со скрипом распахивались перед вступающим под темные своды.

Над верхним краем стены выглядывали каменные и деревянные бойницы. Амбразуры были хитро расположены рядами друг над другом, с наклоном наружу, и размещены так, что никому невозможно было ни укрыться, притаившись у стены, ни скрытно подобраться к ней.

По восьмиаршинной стене расхаживали дозорные, всматривавшиеся в туманную даль: не ударит ли где за холмами пабат, не взметнутся ли подозрительные столбы пыли, не покажутся ли языки пламени.

Зубчатые стены каменным треугольником замкнули Кремль. Цоколь и пол белого камня проходят по всему телу стены. «Ласточкины хвосты» двурогих зубцов напоминают архитектурный почерк замков Венеции и Вероны. Боевые отверстия чернеют на поверхности зубцов.

Каменные работы окончены. Кровля укрыла гарнизон от навесного боя, зенитные боролы — от прямого боя. Шатры и кровли защищали стены от дождя и снега; с ярусов башен зияли дула пищалей и бомбард. К 1508 году Алевиз подымает шлюз на Пеглиной, — бурный поток наполняет ров, перерезавший всю Красную площадь от Неглинной до Москва-реки. Водяная преграда завершает укрепление Кремля. Глубокий ров выложен белым камнем, во всю длину защищен он зубчатой стеной. Кремль окружен водой со всех сторон, он возвышается как неприступный замок на острове. Только по мостам можно проникнуть в крепость. Кремль построен!

Зазеленные иностранцы с уважением оглядывают капитальные стены, осторожно вступают в темные переходы ворот, где из узких щелей свешиваются над самой головой готовые упасть вниз острые решетки. Кремль сравнивают с несокрушимыми крепостями Мена и Милана. Он вообрал все лучшее, что создала фортификация сурового средневековья: башни Бригеллы, двугорбые миланские зубцы Гиббелинов, машикули флорентийского палаццо Веккио. Но все это возникает здесь переплавленное в русском вкусе. Застывшее под гнетом татарщины, русское творчество вырвалось, наконец, на волю. Русские мастера вносят в каменное строение привычные им приемы деревянного зодчества. Камень в руках строителя соборов и башен играет, как податливый деревянный брус; вышуклые обломы, узоры, карнизы оживляют башни и палаты.

Если мы хотим представить себе Кремль XV века, надо мысленно снять рядные русские шатры с башен, — они станут приземистее, будут глядеть угрюмо и грозно. Совсем немного выдаются они над стенами. Двускатная деревянная крыша тянется вдоль стен. За двойной, а местами тройной щетиной заграждений на светлом московском небе теснятся маковки церквей и вышки теремов. Каменный Кремль нарушил привычное деревянное коснение, в котором так легко побеждал Москву огонь. И вокруг Кремля кольцами нарастает Москва, как растет ствол могучего дерева.

ТРЕТИЙ РИМ

Исполнискою рукою
Ты, как хартия, развит
И над малою рекою
Стал велик и знаменит.

Федор Глинка

В этом Кремле Иван III принял титул государя всея Руси. Князь увенчал свою жизнь, освободив Русь от татарского ига. Вздохнула полной грудью теперь вся земля, веселее зазвенели пилы и рубанки, застучали лопаты каменщиков, еще больше стругов устремилось по водным ходам. «Великий макиавеллист» с берегов Москва-реки, как называл Ивана III Маркс, «погубил одного татарина посредством другого», разгромил Золотую орду руками татар, крымских и ногайских. Последний ханский баскак бежал из Москвы оплеванным, увозя клочки ханских грамот.

«...интересы обороны от нашествия турок, монголов и других народов Востока требовали незамедлительного образования централизованных государств, способных удержать папор нашествия» (Сталин).

И такое государство подымается на берегах Москва-реки. Его идеи и воплотились в том декоруме, которым окружил себя правитель Кремля: он уже не Иван, но Поаян; он принял от оскудевших, изгнанных из Византии Палеологов их герб; он больше не старший среди феодалов, но государь, воплощающий в своей персоне единое государство, которое долго блуждало между Днепром и Клязьмой, утвердившись, наконец, на Москва-реке.

Бесхитростный публицист, московский старец Филофей, оформляет красивую, но вполне еще отвечающую истинному положению вещей идею — «Москва — третий Рим» (первые два — античный Рим и Византия): «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». Наезжающие в неведомую страну москвитов европейцы видят перед собой чудо:

«Измученная Европа в начале княжества Ивана III едва ли даже подозревавшая о существовании Московии, зажатой между Литвой и татарами, была ошеломлена появлением огромной империи на восточных своих окраинах» (Маркс).

Император Максимилиан именует московского государя «цесарем всероссийским», но предложение представителя немецкого императора, — он, император, присвоит Ивану титул короля, — встречает отказ, полный достоинства: «Мы божнею милостью государя на своей земле избрали».

Уезжающие из Москвы зодчие и инженеры разносят весть о громадной

стране: народ ее трудолюбив, хотя и непросвещен, он любит свою землю, ее леса и реки обильны зверем и рыбой, воздвигаемые города не уступают европейским. Велико ее будущее!

Итальянец Павел Повий оставляет описание Москвы 1525 года:

«Город Москва по своему положению в самой средине страны, по удобству в водяных сообщениях, по своему многолюдству и, наконец, по крепости стен своих есть лучший и знатнейший город в целом государстве... Москва, по мнению многих, никогда не потеряет первенства своего».

Москва с белокаменным ее Кремлем стала центром национального русского государства, сложившегося раньше Италии или Германии. Интересы обороны сцементировали раздробленные уделы. Так, в период между распадом Киевского княжества и рождением Петербурга в крови и пламени поднялась Москва.

Под древними стенами, в глубине Кремля, подымается массивный Успенский собор, детище великого Аристотеля Фиоравенти. Уже деловитый Иван Калита в суете стяжания и стройки не упустил момента укрепить идейный вес Москвы. Престарелый Владимирский митрополит Петр, объезжая епархию, подолгу гостил в дубовом Кремле. Здесь же князь обещал достойно похоронить прах Петра, причисленного затем к лику святых. А преемник усопшего, грек Феогност, конечно не без влияния Калиты, выразил желание жить вблизи гроба чудотворца. Так митрополит стал постоянным жителем Москвы. Это было большой идеологической победой Калиты, который «присоединил власть церкви к могуществу своего трона» (Маркс). Князей было много, но митрополит один на всю Русь, от Камы до Карпат, от Вологды до Галича. В его лице как бы воплощалось единство русского народа, его общность в раздробленности.

Ширившейся Москве был нужен и кафедральный собор, более импонирующий «Третьему Риму». При Иване III за это было взялись свои мастера. Множество скупленных митрополитом холопов, под присмотром Кривцова и Мышкина, принялись за дело. Князь взял за образец Владимирский собор, но велел строить более видный храм. В 1472 году, благословясь, заложили стены собора из двух рядов тесаного камня, середку заполнили каменной мелочью.

К весне 1474 года уже свели своды, но майским вечером, в час заката, оглушительный грохот всполошил весь Кремль: стены и своды собора обрушились. Строители пытались отговориться «трусом» — землетрясением, но вызванные из Искова каменесечные хитрецы указали Мышкину и Кривцову, что они «не разумея силы в том деле, жидко растворяху, ино не клеветито». За века татарского ига Русь растеряла зодчих, застыла в развитии техники. Всегдашняя угроза вторжения, неуверенность не только в завтрашнем, но и в сегодняшнем дне отучили строиться всерьез и надолго. Строители сами подготовили разрушение собора: тяжелые своды опирались на пустую изнутри стену; известь с песком не давала прочности. По образному описанию летописца: «празило стены извихляется».

Недавно тихая и глухая, Московия спосилась уже с многими странами Востока и Запада. Отправляя дьяка Семена Толбузина в лазурную Венецию, к «тамошнему их князю», дожу Трояно, Иван поручил «мастера пытати церковного». Побывавший у Аристотеля Толбузин только развел руками: «хитр вельми». Аристотель все мог: передвигал 65-футовые колокольни,

Ямлял покривившиеся башни, перевозил монолитные колонны, подымал для морей затонувшие суда. Славными свидетелями его дел были многие города, молва делала его чуть ли не чернокожишником, а при дождя старика даже подозревали в чеканке монеты для личного обихода. Не пойман — не вор», — посмеялся Толбузин. Он видел в натуре и памятниках все строенное Аристотелем: и пышный палатко в Болонье, и голубые врата в богатой Венеции, и горбатый мост через голубой Дунай. И он подрядил великого болотца ехать на край света — в далекую, неведомую Московию за два фунта серебра в месяц.

Потянулся долгий зимний путь. Веселые ямщики пели непонятные баркароллы. Вся земля была покрыта снегом: ни травинки, ни цветка. Холод. Глупь: «Куда мы заехали?» — допытывался у Аристотеля его сын. Шестидесятилетний зодчий кутался в шубу. «О, бесконечный путь в неведомое, есть ли тебе предел?»

Три месяца спустя Аристотель въезжал в Москву. Она оправдывала слова: «Снаружи Иерусалим, внутри — Вифлеем» (попросту говоря — хлев). Это был город деревянного коснения, не только деревянный, но и деревенский. Изенькие покосившиеся домики. Станный народ, недоверчивый к новизне, косо глядевший на каждого иноземца, гордый своим доморощенным. Главный замок города, Кремль, был вовсе неказист: свежие деревянные заплаты на почерневших, обваливавшихся стенах, веселые кудрявые терема вперемежку с соломенными крышами и корявыми избами. Старик осмотрел и руины собора. Гладкость камня, без сомнения, хороша, но кладку нельзя не похвалить: известь по клеевитам, белый камень слаб. Надо обжигать кирпич, это дело нехитрое, и класть храм из твердых плит.

Аристотель немедля приступил к делу. Нашел за оврагами на Яузю хорошую глину. Научил делать продолговатый и твердый кирпич, дал рецепт густого известкового раствора. Он наотрез отказался исправлять разрушенную, — будем строить заново, с тем величием, коего хочет государь.

Чтобы разбить толстые своды, установили тарап из бревен, наподобие того, которым Тит разрушал стены Иерусалима. На площади, где еще возвышались стены собора, толпились восхищенные москвичи. Старик в портах пузырем и кургузом кафтанчике поспевал всюду. Плотники поставили три дрова, совокупив воедино верхние концы, на этом треножнике подвесили толстое бревно, окованное обручами, одетое железной шапкой. Не переставляя треножника, каменщики направляли в разные стороны тарап. Только летела пыль и рушились каменья. В подбитые выемки закладывали дрова, поджигали их, огонь разрушал кладку, и стены медленно оседали под своей тяжестью.

— Чудно видети, — сокрушались москвичи, — еже три года делали, во едину неделю и меньше развали. Еже по посеваху износити каменья.

Аристотелевы кирпичи оказались такой твердости, что, ломая их, приходилось размачивать в воде. Каменщики и плотники были удивлены: осторожный старик не доверял ничьим глазам, все выверял по циркулю или правилу (циркулю и линейке). Он научил каменщиков перемешивать известку мотыгами, ее клали между камнями, как густое тесто: «Як на утрие засохнет, то ножом не можно расколупати». А недавно еще известку лили, как кисель.

Аристотель объехал города Руси, оглядел храмы и терема, подивился, как

в руках старых плотников дерево работало, точно податливая глина. видел соборы Владимира и деревянное кружево вологодских изб, он все дальше на север, прячась в шубу от студеного дыхания ледя морей.

«Мой герпог, — писал он в Милан, — я охотился на зверей. Между есть такие, которые от страха бегут к океану и прячутся под водой 15—20 дней, живя там подобно рыбам. В середине лета в продолжение двух половиной месяцев солнце вовсе не заходит».

А храм уходил ввысь. На третье лето достигли подводной части. Каменщики, обливаясь потом, втаскивали по шатким лесам шестивершковый пич. Тогда хитрый старик велел построить большое колесо с малыми сиками, и веревка с лебедкой подымала теперь все тяжести под свод. Вести своды сошлись, и железная кровля одела собор.

Купол лежал на шести столбах, «аки на дровах». И двор, и народ, и заезжие гости в один голос подивились работе Аристотеля и его русских помощников. Собор был славен всем: «величеством, и высотой, и светлостью, и звонностью, и пространством; такова же прежде того не бывала Русь...»

КОЛЬЦО ГОРОДОВ

И пожаром тем жестоким,
Сладко память шевеля,
Вьется поясом широким
Вкруг высокого Кремля.

Вл. Бенедиктов

Еще в XII веке первоначальные обитатели Москвы вышли за стены Кремля, положив начало Посаду. В крепости сел гарнизон и правители города. Посаде — торговые и рабочие люди. Уже Иван Калита повернул Кремль Боровникого холма на восток, к Посаду, между торговыми узлами и притоками на Яузе и Москва-реке. Посад начали укреплять рвом и тыном в конце XIV века, разметали на пути многие хоромы, но дело до конца не вели, «не доспеша». А к XVI веку, в дни осад, Кремль не мог уже вмещать в своих стенах жителей города, где Герберштейн насчитал больше с река тысяч домов.

В дни регентства великой княгини Елены Глинской, матери малолетнего Ивана IV, всех московских людей, кроме бояр и чиновников, мобилизовали на укрепление Посада. Через месяц, к июню 1534 года, весь Посад опоясали рвом, утыканным острыми кольями. Москвичи сплетали хворост, засыпали изнутри землей, покрывая земляную стену тесовым помостом, под кровлею «устроили вельми мудре». Но на будущий год обрушившийся гепуэзеп Петро Малый повел вдоль реки капитальную каменную стену. Три года спустя она прикинула к Беклемишевской и Собакиной башням по углам Кремля. Крепость сожмнулась в одно целое с Кремлем. Новую фортификацию назвали Китай-городом, имя, которое с подлинным Китаем не имеет ничего общего. Видно, оно напоминало княгине Елене, выезжей литовской княжне из рода Глинских, о Китай-городке около кремля родного ей Пропска.

Царская казна отпустила небольшие средства на стройку стен. Их строил сам народ. Ров вдоль стены был без воды, его защищали палисады — ряды острых кольев. В шахматном порядке подымался перед палисадом частокол. Вал перед рвом был укреплен оплетенными хворостом сваями. Расположенные надолбами бревна преграждали подступы. Между рвом и стеной, по так называемой берме, лежали доски, обитые острым железным частиком. Чем выше поднималась стена, тем шире была обычно берма, чтобы можно было держать под фронтальным огнем ров, несколько отдаленный от крепости. И ров, и берма, и все искусственные препятствия усиливались со стороны «приступа», «приступного места», откуда ждали штурма.

Китайгородская стена была много ниже и беднее кремлевской. Но и в шестиметровой толще ее казематов укрывались воины, по боевой тревоге быстро вынимались кирпичи, скрывавшие амбразуры, выдвигались стволы душек. Орудия малого калибра стреляли через «средний бой», мегательные орудия и ружья располагались у «верхнего боя». В стене таились замаскированные вылазные ворота, невидимые с поля, заложенные сухой кладкой кирпича, заваленные изнутри землей. Кроме бойниц, для стрельбы служили и мерлоны, открытые пролеты зубцов. Кверху стена расширялась, по всей ее поверхности, а не только на башнях, можно было расставить пушки.

Стена Белого города была третьим кольцом стен, ооясавших Москву. Давно уже сопрели боевые башни, разобраны проезжие арки, но вот уже четвертое столетие сохраняются в памяти все эти ворота — Никитские, Петровские, Яузские, Сретенские, больше того, новые имена наших дней причудливо сочетаются с давно исчезнувшими крепостями, — так появляются вновь Кировские и Кропоткинские... ворота.

К XVI столетию Москва далеко переплеснулась за границы Китайгородской стены. Тянулись улицы, заселенные купцами и ремесленными людьми. На окнах одной избы висел свежий калач, на другой — лапоть, на третьей — лоскут сукна, дальше — сапог. Это были вывески булочников, сапожников, шивцов. Мясной ряд можно было угадать без вывесок — тухлятиной несло за несколько кварталов. В кружалах торговали медом и пивом. На Пущечном дворе лили пушки и колокола. За обширными садами прятались палаты бояр и иностранцев, блестели купола церквей и колоколен. По свидетельству посольств, приезжавших в Москву, Белгород был вчетверо больше Китайгорода.

Почти столетие спустя постройки каменных башен Кремля, через полвека после укрепления Посада, заложили кольцо стен по линии нынешних бульваров. Еще при постройке Китайгорода Белый город обнесли земляным валом шестисаженной ширины. Борис Годунов, фактический правитель Руси при полуюродивом Федоре Ивановиче, приказал поставить над валом каменные стены. Строил их бывший плотник Федор Савельев, холонский сын; за гигантский рост и неукротимую силу звали его Конем. За его плечами тянулась жизнь, полная приключений. Избив царского опричника и иноземного соглядатая Генриха Штадена, Конь бежал за рубеж русской земли. Он добрался до родичей своего приятеля-немца, живших в далеком Страсбурге. Он обошел десятки городов, видел готические соборы Германии, рыцарские замки на Рейне, богатые портовые города Бельгии, лазурные берега Италии. Он стал чиз безродного бродяги жатоком каменного строения.

— Если вы останетесь в Италии, — говорил ему знатный фортифика-

гор Барбарини, — из вас, Теодор, выйдет великий инженер и зодчий. **Глаз:**
Витрувия вы сочетаете с гармонией Палладия.

Но Теодор вернулся в Москву. Заграница провожала его салютами и комплиментами, родина встречала батогами. Федор Конь разделил судьбу Ивана Болотникова, Михайло Ломоносова, Василия Баженова.

Пожая ради, Коня злиерли в тюрьму, но Борис Годунов вышпустил мастера. «Быть тебе, Федор, сын Савельев, городовым мастером Царева Белова Каменного города».

В Москву сгоняли мастеров со всей земли. Чтобы они не строили стены на свой местный обычай, людей в артелях перетасовывали, как колоду. Псковские каменщики работали рядом с суздальскими. Через семь лет крепостной ход прошел вдоль стен. Мастера одарили парчой и дорогой шапкой. Патриарх Иов воздал должное энергичному Борису: «Царствующий град Москву, яко некую невесту, преизрядною лепотою украси».

Высокая стена из белого камня полумесяцем опоясывала город от Москва-реки вокруг всего Кремля и Китай, снова к реке, по другую сторону Кремля; от устья Неглинной до устья Яузы. Новый каменный город имел 28 башен и 10 ворот, как мы видели, не забытых до наших дней. До половины высоты стена подымалась откосом, выше нависала карнизом. Ворота извивались неожиданными поворотами и препятствиями. В толстом земляном валу тонули ядра, выпущенные из вражеского орудия. Бывалый приезжий человек Павел Алеппский изрядно хвалил конструкцию новой стены: «На нее не действуют пушки... Таких мы не видывали ни в стенах Антиохии, ни Константинополя, ни Алеппо, ни иных укрепленных городов».

Так смыкались кольца города: крепость — посад — слободы.

Последним кольцом стен, замкнувшим Москву, был Земляной город, он же Скородом, нынешнее Садовое кольцо. В 1591 году к Москве подступил крымский хан Казы-Гирей. По Коломенской дороге, нахлестывая коней, мчались вестники со страшной вестью о новом нашествии татар. Борис Годунов со свойственной ему деловитостью готовился к обороне. У Коломенского на всех путях поставили сотни связанных телег, на переправы навели пушки. Во все слободы и концы Борис разослал дьяков: переписать мужской пол старше 20 лет, вооружить к бою, держать день и ночь стражу на стенах города. Конная Орда двигалась стремительно, не закрепляясь на позициях, не задерживаясь в городах. Каждый воин имел двух коней, для подмены их на марше. Подойдя к реке, воины связывали лошадей хвостами и поводьями, поднимали на спину луки и переправлялись, стоя на спинах коней. Исаак Масса, оставивший нам это описание, считает, что Казы-Гирей привел к Москве до четырехсот тысяч татар. Татары успели на час опередить гонцов. На заре задрожала земля, подобно грозовой туче Орда нависла над городом. Татарская конница обложила город от берега до берега, от Коломенского до Воробьевых гор.

В первый день обе стороны стояли неподвижно. На второй день татары перешли в наступление. В небо взвились тысячи стрел. На низкорослых выносливых крымчаках гарцовали татарские отряды, то приближаясь к центру московских войск, то угрожая флангам. Ухнули московские пушки, обстреливая татар, наступавших изогнутым полумесяцем. Русские вывезли из гуляй-города небольшие пушки, укрытые в колесницах. Бой разгорался. Татары наседали, но русские стояли крепко. Борис призвал на совет лучших воевод. Потомок татар и опытный дипломат, он решил провести хана.

Ночью в русском лагере, под проливным дождем, зазвонили колокола, по-
давались пушечные залпы. Утром татары захватили в плен богато одетого
парчу и жемчуг русского дворянина. Начался допрос: почему всю ночь урус
стрелял, почему не в татар? Пленник, запинаясь, рассказывал: ночью пришло
большое подкрепление, и поляки, и немцы, и новгородцы; в их честь и раз-
давались выстрелы и колокольный звон. Татары пытали пленника, но он стоял
на своем. Ночью в татарском лагере горели все костры. На рассвете русские
дозоры увидели, что лагерь пуст: татары, испугавшись мнимого подкрепления
русских войск, бежали. За ними кинулись было в погоню, но не догнали.
И через год после ухода Орды четырнадцативерстный земляной вал, укреп-
ленный бревенчатой стеной с бойницами и боевыми башнями, опоясал Мос-
кву. В первую очередь город прикрыли с ордынской, заречной стороны,
а потом с запада и с востока. Названия Крымского, Зацепского, Коровьего,
Земляного валов храпят память об этих земляных укреплениях.

На вершине Земляного вала подымался хорошо укрепленный острог с 36 про-
езжими башнями. Боевой офицер Генриха IV Жак Маржерет, бывший в Москве
командиром конницы, рассказывал:

«Москва — город обширный; среди него течет река, которая шире нашей
Сены; весь город обнесен деревянной оградой, в окружности, как я думаю,
более парижской; внутри ее другая стена (Белый город. — Е. С.) на полови-
ну меньше первой».

Обшитые тесом стены были очень толсты — до трех сажен — и наполнены
изнутри камнем, глиной и землей. Величаво подымались над воротами-улипами
башни с трех концов. Это была последняя черта, закрепившая границы бояр-
ской, посадской, слободской Москвы, которую уже Герберштейн (начало XVI
века) считал вдвое больше Праги и которую по изъяснению к плану, изго-
товленному для польского короля Сигизмунда, «едва может объехать в три
целых часа легкий всадник». В двух местах, у Красных холмов и Крымского
брода, стена переходила за Москва-реку, прикрывая собою город.

«И все это, — торжествовал поляк Маскевич после лихолетья
1611 года, — в три дня обратили мы в пепел». Стены эти больше не восста-
навливались. Только через четверть века после пожара по кольцу насыпали
высокий вал, обложенный досками и бревнами. К имени Скородома прибави-
лось второе — Земляной город. Славился он тем, что быстро выгорал и чуть
ли не столь же скоро восстанавливался. Московские плотники в быстроте
работы соперничали с огнем. Голландский парусный мастер Стрюйс удивлял-
ся: «В этой стране плотники делают все, и так ловко, что в 24 часа строят
дом». На рынках Скородома, где торговали не только лесом, но и готовыми
в сборке домами, мостами и башнями, Лизек даже видел вынесенную на про-
дажу колокольню.

Голландский купец фон Кленк записал:

«За незначительную сумму можно купить построенный уже дом. Дома эти
построены из балок, скрепленных друг с другом так, что они легко могут
быть поставлены, где будет угодно. Пожары там бывают очень часто, но
погоревшего, если только он не купец, убыток невелик, а хлопот и того
меньше. Дело в том, что он покупает за дешевую цену новый дом на рынке,
а затем в немного дней дом уже поставлен на месте, и в нем уже живут
люди. Часто бывает даже так, что во время пожара близкие к горящим уже
зданиям дома разбираются и переносятся на более безопасное место».

ИМПЕРАТОР КРАЕВ ПОЛНОЧНЫХ

Перегнет судьбы удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

А. Пушкин

Летом 1605 года народ стекается к Кремлю, к Красной площади: «Едут, едут...» На площадь въезжают латники, они блестят на солнце, как зеркала, больно глядеть на их свергающие ряды, ослепительные панцири, племы. Лебединые крылья колышутся за плечами. Под перезвон колоколов и грохот литавр лихо осаживает горячего коня рыжий самоуверенный парень — «царь Димитрий». Он окружен иноземцами. Папы в цветных кунтушах. Драчливые и гонористые шляхтичи, от первых вельмож Речи Посполитой до той загоновой шляхты, которая сама пашет свою землю. «Император Деметриус» приветствует ручкой своих добрых москвичей. Народ дивится: виданое ли дело, чтобы царь въезжал в родной город с иноземным войском?

Лжедмитрий отстроил в Кремле новые хоромы на крыше занасного голубовского дворца. Стены обтянули рытым бархатом, покрыли позолотой даже дверные петли и крюки. Самозванец окружил себя гвардией наемников, международных бродяг со всей Европы. На реке поставили подвижную крепость — «гуляй-город», или «турусы на колесах» — древний прообраз наших танков. Колесная повозка была вооружена небольшими пушками. Головы словов закрывали собой толстые двери, пламя извергалось из чертей, прикрывавших собою пушки.

Весной у реки Лжедмитрий встречал свою невесту — Марину Мнишек. От Дорогомилова до Кремля перенгами стояли стрельцы и дворяне: их было не так уж много, но по мере движения процессии они перебежали очень прытко от одних ворот к другим, неизменно выстраиваясь в назначенном месте «так искусно, что издали казалось их втрое более, чем было на самом деле». Будущую парницу под видом свиты сопровождал целый корпус интервентов.

Въехав в Кремль, Марина направилась в монастырь на поклон к цариче-матери изучать обычаи православия, «но я полагаю, — деловито замечает голландец Исаак Масса, — что Димитрий учил ее в это время чему-нибудь другому». Впрочем, ученица стояла учителя. Медовый месяц четы авантюристов продлился какую-нибудь неделю. Майской ночью москвичи оттеснили наемных алебардчиков от Спасских ворот и ворвались в Кремль. Самозванца они застали в новом дворце. Увы, Димитрию не помогли даже потайные ходы, искусно расположенные в стенах. Напрасно просил он, уже раненный, вынести его на Лобное место: «Там я объявлю вам всю правду перед народом». На Красную площадь вынесли изуродованное тело Лжедмитрия, похоронили на него скоморошские, маскарадные атрибуты — дудку и маску, из-под которой открылся лик иноземного прицепника. У ног его лежал труп Басманова. «Деметриус, император краев полных», закончил свою недолгую и бурную жизнь, которую современник назвал «маловременной».

Но интервентам не хотелось выпускать из своих цепких рук Московия. Сановитые русские, бояре вошли в сговор с польским королем. Потомкам удольных князей ислеские хорядки казались куда как хороши: король сплал

имеет, шляхта никто не прекословит. Поднялись головы феодалов, уцелевшие при Иване Грозном. Осенней ночью 1610 года Красную площадь наполнили тихие тени. Молча, скрытно поднимаются к воротам темные колонны. Лишь изредка звякнет меч, высунувшийся из-под плаща. Ворота Кремля замыкаются наглухо: изменившие народу бояре ввели в крепость иностранные отряды; они заперлись, выжидая подмогу.

Москва забурилась. На площадях немцам и венгерцам открыто угрожали близкой расправой. Шляхта избегала ходить в одиночку. В Кремль перебрались державшие руку интервентов бояре. Чужеземная стража встала у ворот русского города, уличные решетки были сломаны, русским отныне запрещалось иметь оружие. Отбирались сабли и мушкеты, у мясников и сапожников отнимали ножи, у плотников — топоры, с застав поворачивали обратно возы с мелкими дровами, — из них эти русские еще понаделают себе колья и дубины. От зари до зари запрещалось выходить на улицы.

Интервенты чувствовали, что у них под ногами горит почва. Жолнеры и пахолики втаскивали пушки на стены Кремля и Китай-города. Под предлогом защиты северных городов бояре помогли вывести из Москвы стрелецкие полки, оставили столицу беззащитной. По теперь на ее оборону подымался сам народ.

19 марта к Красной площади свозили пушки из Белого города, но возчики пытались повернуть обратно, к окраинам. На рынке, где стояли возчики, поднялся шум и брань. Польские уланы и наемная немецкая конница, вылетев из Кремля, принялись рубить всех встречающих. Звонари ударили в набат. Москва вскочила на ноги. После резни в Китай-городе иноземцы кинулись к Белому городу. Здесь их ждал народ: улицы были перегорожены рогатками, санями, столами, дровами. Москва покрылась баррикадами, первыми в ее жизни. Дюжие молодцы вытаскивали бревна из мостовых, прикрывшись столами, наступали на опешивших уланов. Народ карабкался на кровли, вооружался камнями и дрекольями. На перекрестках спешно устанавливали пушки, снятые с башен. Бравые уланы оказались запертыми в узких улицах. Полевые орудия открыли огонь. Посадские наступали под прикрытием, били из самопалов, глушили камнями и дубинами.

Иностранцев охватила паника. Кто-то вспоминал вчерашние слова Салтыкова: «Был случай, и вы Москву не били, так она вас будет бить». «Мы уже не умели придумать, чем пособить себе в такой беде, — рассказывает шляхтич Маскевич, — как вдруг кто-то закричал: «Огня! огня! жги дэмы!»

Город вспыхнул, как костер. Горело все вплоть до бревенчатых мостовых. Ветер гнал пламя на русских, а за огненным валом провигались жолнеры и гусары. Бояре, сидевшие в Кремле, услужливо посоветовали подпалить и Замоскворечье. Офицеры признавались: «Только огонь отогнал русских». Два дня бушевало пламя. В городе не осталось ни кола, ни двора. Таких пожаров Москва не видела даже в дни палата Девлет-Гирея.

«Пожар был так лют, что ночью в Кремле было светло, как в самый ясный день, а горевшие дома имели такой страшный вид и такое испускали зловоние, что Москву можно было уподобить аду. Мы были тогда безопасны: огонь охранял нас», — записал шляхтич Маскевич.

«По улицам, — рассказывал летописец, — мертвых тел лежало выше человека».

«Столица московская сторе́ла с великим кровопролитием и убытком, гд^я рыи и оценить нельзя, — злорадовал коронный гетман Жолкевский. Изобилен и богат был этот город, занимавший обширное пространство: бывшие в чужих краях говорят, что ни Рим, ни Париж, ни Лиссабон величия ной своей окружности не могут равняться сему городу».

Но с широкой Волги, из дремучих ветлужских лесов, с суздальских озер, шли на Москву ратные люди: русские, чувашаи, татары, удмурты. Ополчение Мипина и Пожарского неуклонно приближалось к Москве.

26 октября 1612 года ворота распахнулись, ополчение вошло в Кремль, разоренный и запакощенный. Его восстанавливали добрых три десятилетия.

КАМЕННЫЕ СТОРОЖИ КРЕМЛЯ

И рядилася младая
Величаяя Москва,
Стены, башни убирая
Древних зодчеств в кружева!

Д. Дмитриев

На краю холма четырьмя уступами подымается Боровницкая башня. Ее ступенчатая пирамида — уголок Востока, занесенный в сердце Московии.

«Характер московской архитектуры непостижим, — писал из Москвы один из создателей научной географии, Александр Гумбольдт. — Громкие слова «византийский, готический» совсем ее не определяют... В Москве имеются башни наподобие ступенчатых пирамид, как в Индии и на Яве».

Поднявшись пологим въездом, автомобили ныряют в арку. Ворота пробиты не в толще башни, как обычно, а в примыкающей к ней стрельнице. Когда нные восторженные очеркисты пишут: «Пять веков смотрят на нас с высоты этих башен», они вступают в явное разногласие с историей. Каменному кубу нижнего массива действительно 452 года, он воздвигнут в 1490 году, подсмотрением фряжских мастеров. Вдвое моложе его верхний шатер, каменная шанка, лихо надетая русскими зодчими на итальянскую фигуру, преобразившая ее, придавшая стройность и рост.

Нижний массив башни — сумрачная крепость: чернеет широкая щель, из которой опускались решетчатые герсы; зияют узкие проемы, по которым скрипя выползали ржавые цепи подъемного моста. Подняв эти мосты, открыв шлюзы, Кремль становился островом, опоясанным со всех сторон водой. С верхних этажей башни рявкали пушки, изрыгая каменные ядра. Волны атак, разбивались о скалы неприступных стен.

На эти крепостные массивы, в конце XVII века, насадили легкие и нарядные шатры. Высокие и легкие шатры — излюбленный мотив деревянного зодчества. Когда церковь наложила запрет на шатровые храмы, шатер перенесся на колокольни и крепостные башни. Предком таких башен была вежа — казачья дозорная вышка: четыре наклоненных к вершине столба с площадкой для дозора и обстрела врага.

Можно только подивиться вкусу, с которым безвестные нам зодчие бережно слили русское с фряжским, два противоречивых стиля, две далеких эпохи. В этой неповторимой гармонии по замечанию историка Кремля С. Бартенева, «быть может, лежит тайна присущей кремлевским башням своеобразности».

Иа старых палорамах Москвы стена Кремля до появления патроа тянется ровной до уныния, однообразной вершицей башен с низкими кровлями. Замыслы зодчего полностью подчинены обороне. Только на рубеже XVI столетия башням придается тот декоративный силуэт, без которого Кремль показался бы нам странным.

Боровицкие ворота — древнейшая калитка Кремля. Скрытая зарослями спускалась к воде трона, самая близкая и безопасная. Кустарники скрывали водоноса в дни осад. Боровицкие ворота так и оставались дворцовой домашней калиткой, парадным ходом усадьбы стали Спасские ворота на Красную площадь.

В центре стены сидит под горой самая старая из всех грузная Тайницкая башня, одетая зеленым колпачком. Ее заложили первой из всех новых фортификаций в 1485 году. Башня была обращена на самую страшную дорогу, по которой хаживали на Москву татары. От Серпухова, мимо застав и огородов, тянулась пыльная дорога из всеильной Орды. Забылось теперь это кровавое имя, уцелевшее лишь в названии улицы Ордынки. Глядевшая на Орду башня несла и другую службу: за ее стенами таился колодезь, ход к воде; второе ее имя было — Водяные ворота. Из потайного хода осажденный гарнизон выходил на разведки, внезапными вылазками тревожил неприятеля. Здесь было легче брать воду, чем под стрелами или пулями сбежать по крутой Боровицкой горе.

За парапетами башни расхаживали дозорные, когда-то из слуховых окон высматривали татарина, позже, к XVII веку, башня стала пожарной каланчой. Услышав первый, вполношный набат, похожий на мерный благовестный звон, просышалась в тревоге Москва: «Никак горим?!» На Тайницкой башне висел набатный колокол. Для звонарей при Алексее Михайловиче была разработана довольно сложная сигнализация:

«Будет загорится в Кремле, бить во все три набата (на трех башнях. — Е. С.) в оба края, по-скору... Будет загорится в Земляном городе — в набат на Тайницкой башне, в один край, тихим обычаем, бить с развалом, с расстановкой».

Особая система звона была предусмотрена для Китай-города и для каждого из «городов» Москвы. И, конечно, первая тревога подымалась в случае пожара в Кремле или в Китай-городе, для которого тоже звонили «скоро же», а ремесленный Белый город, а тем более черные слободы, можно было будить «потипе, с развалом».

У подножья башни в XVIII—XIX веках выстраивались вдоль набережной в две шеренги солдаты со связками тонких, гибких прутьев. Начиналась экзекуция. Приговоренного проводили сквозь строй два солдата, державшие в руках ружье, к которому были привязаны руки наказываемого. После десятка ударов чернела спина, кровь и куски кожи падали на мостовую, заботливо присыпанную песком. В конце шеренги лекарь смывал водой и уксусом кровь, и экзекуция возобновлялась под зловеющий грохот барабанов, заглушавших крики.

Въезд на Красную площадь сторожит Беклемишевская башня. В каменной симфонии Кремля она звучит лучшим солистом. Сравнения с минаретом, каменной свечой, стройным кипарисом не могут передать тех пропорций, из которых сливается ее гибкое тело. Она проста по своему строению: высокий цилиндр с раструбом наверху перехвачен по низу белокаменным поясом. Окна узкие, как бойницы. Над цилиндром стремительно возносится легкий шатер

с дозорной вышкой. Вот и все! Можно лишь добавить, что в октябре года снарядом снесло шатер, щепетильно восстановленный до последнего тика.

Башня получила свое имя от примыкавшего к ней в XV веке двора риппа Никиты Беклемишева, сына которого Ивана звали «Берсенем», «блужвником», за едкий, колючий язык. Отец и сын были дипломатами, пер выезжали и к крымскому хану и к польскому королю. Молодой Берсен Беклемишев встал в резкую оппозицию к великому князю, который не больше на поводу у феодалов.

Оппозиционная знать — князь Холмский, боярин Тучков, Берсен — бирались по вечерам в келье Максима Грека, ученого монаха, выдавшего петицию и Париж, приехавшего теперь в Москву для перевода псалтири. сень негодовал на Василия III, с которым он не раз «говорил встречном при обсуждении смоленского вопроса великий князь с позором изгнал из боярской думы, приговаривая: «Пошел, смерд, вон, ты мне не надобе Удельные традиции вступали в открытый бой с единовластным Василием, который, «запершись сам третьей у постели, всякие дела делает». Размолва окончилась печально: в 1525 году у Живого моста через Москва-реку Берсеню отсекли голову за «высокоумие», за непригэжие речи о великом князе и его матери.

«ЛИКУЙСТВУЙ, КРЕМЛЬ!»

Возможно ли, чтоб вам разрушиться, восстать
И прежней красоты чуднее процветать?
Твердыням таковым коль пасть и восставляться,
То должно, так сказать, природе применяться!
Но что не сбудется, где хочет божество?
Баженов! Начиная,—уступит естество.

Г. Державин

Екатерина II, всерьез почитавшая себя Северной Семирамидой, надумала удивить Европу постройкой дворца, подобного которому не знал мир. Императрица поручила проектирование нового Кремля Василию Баженову. Сын дьячка и лауреат многих европейских академий, масон и мечтатель, он был поэтом в зодчестве. С листов его проекта глядит на нас чудесная классическая композиция, вписанная в древний Кремль, план грандиозный и фантастический.

...Исполинецкий дворец раскидывается по всему Кремлю, от Неглинной до Красной площади. Кремль становится новым Акрополем и Капитолием. Историки и зодчие в один голос говорят, что дворец безусловно превосходит и храм Соломона, и Форум Траяна, и виллу Адриана. Старый Кремль отступает перед новым дворцом, в его круглых дворах прячутся старые соборы, звонницы, терема, только один ярус Ивана Великого выглядывает над парадетом. Десять лет своей беспоконной жизни отдаст Баженов проекту дворца.

Летним днем 1773 года на фоне декоративных колонн выстраивались солдаты, придворные, архитектурская команда. Шла церемония закладки дворца. Баженов нес кирпичи, «за-архитектор» Казаков — известь.

«В сей день, обновляется Москва. Ликуйствуй, Кремль!»—волнуясь, начала речь Баженов.

Каменщики разобрали часть береговой стены и башен — по проекту
реке спускалась парадная лестница. Гавриил Державин в оде «На случай
разлома Московского Кремля» воспевал дерзания зодчего:

Прости, престольный град, великолепно зданье
Чудесной древности: Москва, Россий блистанье!
Сняючи верхи и горды вышины,
На диво в давний век вы были созданы.

Увы, хотя Баженов и начал, по «естество не уступило». Уже шли работы,
сносились ветхие строения, как на голову зодчего обрушилось высочайшее
повеление: прекратить строительство «поелику положение места, очень близ-
кое к Москве-реке, причинило непреодолимое препятствие». Основание тяже-
лого дворца, аргументировал указ, будто бы поколеблет собор, где покоятся
князья и цари. Мертвые хватались за живых. Щегольнув перед Европой, ца-
рица успокоилась: казна ее порядком оскудела — где взять пятьдесят мил-
лионов, да и сможет ли джорощенный зодчий тягаться с заграницей? Вос-
поминанием неосуществленного замысла осталась модель. Это сам дворец в
миниатюре. Снимки с модели — все эти строгие портики, воздушные колон-
нады, арки кажутся сделанными с натуры.

Сорок лет спустя Карамзин сожалел:

«Планы знаменитого архитектора Баженова уподоблялись Республике
Платоновой или Утопии Томаса Моруса: им можно удивляться единственно
в мыслях, а не на деле».

Но время, наше советское время поправило почтенного историка. В каких-
нибудь сотнях метров от Кремля могучие краны подымут на невиданную
высоту дворец, о котором и не смели мечтать ни Баженов, ни великие уто-
писты.

Нынешний дворец в Кремле занимает открытый гребень горы. Проходя ве-
черами по набережным, москвичи видели залитые светом огромные окна двор-
ца, в котором собирались съезды партии, съезды Советов. В этом дворце кон-
гресс Коминтерна слушал Ленина. С трибуны Большого кремлевского дворца
на весь мир звучали речи Сталина. Вождь народов выступал здесь перед
колхозниками-ударниками, перед стахановцами, перед избранниками народа.
На торжественных приемах собирались под сводами дворца лучшие люди
нашего времени: герои-летчики, мужественная четверка папанинцев, боевые
командиры, передовые ученые нашей страны, деятели культуры и искусства.
В стенах дворца была утверждена Конституция Союза ССР. Дворец построен
в 1849 году.

«ЭТИ РУССКИЕ НЕ УМЕЮТ СДАВАТЬСЯ»

Вот башни полуденные Москвы
Перед тобой в венцах из золота
Горят на солнце... Но увы!
То солнце твоего заката.

Дж. Байрон

Не прошло и ста лет с того дня, как за ворота Кремля изгнали последнего
чужеземного воина, а над Москвой нависла новая война. От Петра прискакал
нарочный: шведский Карл XII провозгласил: «На Москву!», из древней сто-

лицы он грозится продиктовать мир, распоряжаться русской короной, как только что распорядился польской из Варшавы.

В указе Петра предписывалось: «Для обороны все учинить с крайним прилежанием и спехом, как честному человеку надлежит пред богом и светом ответ дать». Кремль оцетинился укреплениями. По берегу насыпали двойной вал. Земляные бастионы спланировали по системе славного фортификатора голландского инженера Когорна. В башнях пробили новые бойницы для орудий, более крупных против старинных. Но, как известно, «господа шведско хребет показали». Армия Карла попала-таки в Москву, но в качестве пленника. По четыре в ряд тянулись мимо Кремля воинственные предводители Маннергейма. Москвичи считали ряды: их было 5520. Воистину прав был пленный татарский хан, который в свое время говорил пленным же шведам и ливонцам:

«Поделом вам, немцы. Вы дали царю в руки розги, которыми он сначала нас высек, а теперь сечет вас самжих».

Прошло еще одно столетие, зарево войны опять нависло над Кремлем. Светлым осенним днем 1812 года русские войска покидали Москву. Кремль уже опустел. Вечером город опоясало ожерелье бивуачных костров, отблески пламени дрожали на куполах, как зарницы надвигающейся грозы. Когда Кутузов увел войска за Яузу, французы спустились к Москва-реке.

На Поклонной горе стоял Наполеон. За рекой блеснул золотыми маковками долгожданный город. «Москва! Москва! — прокатилось по войскам, — вот он конец войны!» Граф Сеюр записал в своем дневнике: «Так кричат моряки «Земля!» после долгого и мучительного плавания». Император не отрывался от подзорной трубы.

— Что это за большой дворец над рекой?

— Воспитательный дом для сирот, ваше величество.

— Великолепно... Составьте депутацию, которая должна поднести мне ключи. Ступайте, приведите бояр.

Генерал-адъютант граф Дарю вслед за авангардом промчался по улицам. Странно! Мертвая, гнетущая тишина. Ни души. Пожимая плечами, — приказ императора должен быть выполнен, — Дарю после долгих поисков привел депутацию. Что за сброд он собрал! Кого здесь только не было! Мелкие торговцы — французики, итальянцы, немцы. Кто-то из них, запинаясь, начал речь, но император резким «дурак» оборвал его. Обескураженные «бойре» молчали. Император сошел с коня и нервно ходил по берегу. Он переночевал в трактире у Дорогомилова, где все русское население представляли четыре дворника, бородатые, вполне равнодушные к оказанной им великой чести.

Утром эскортируемый двумя эскадронами конной гвардии Наполеон въехал в Кремль. Император был на низком арабском коне, в знаменитом сером сюртуке. Удивленный, он хмуро оглядывал притихший город. «Куда же они все подевались?» Москва встретила прославленного завоевателя молчаливым настороженным. Тихо, как на кладбище. «Но кому же суждено стать покойником?» Гулко отдавался цокот копыт на дворцовых площадях. У тяжелых дверей встали на караул обветренные мамелюки и ветераны старой гвардии в медвежьих шапках.

Наполеон удивлялся. Где колокольный звон? Где ключи от древнего города? Где трепещущие, прекрасные московитянки, подносящие по русскому обычаю хлеб-соль? Пустота. Уныние.

«Может быть, жители этого города даже не умеют сдаваться», — желчно проворчал корсиканец.

«Подобным образом больших городов не покидают, — рассуждал капитан Лефрансэ. — Эти каналы попрыгались, мы их разыщем, и они будут перед нами стоять на коленях!»

«Это последнее их торжество», — серьезно сказал Кутузов, когда ему доложили, что Москва занята.

Маршалы вспоминали триумфальное шествие по чистеньким, аккуратным улицам и королевствам: австрийским, немецким, итальянским. Все идет по регламенту. В положенное время бургомистры выносят ключи от городских ворот. Заранее приготовлены квартиры и фураж. Офицера, забывшего про соню оружие, догоняют и почтительно вручают шпагу и пистолет. В одну минуту Наполеон был безусловно прав — сдаваться Москва не умела!

Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою!..
Не праздник, не приемный дар, —
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.

(А. С. Пушкин)

К утру император успокоился. Что бы то ни было, но ведь победа опять венчала лаврами наполеоновых орлов. Торопливой походкой обошел он здание. «Наконец, я в Москве, в древнем дворце царей, в Кремле». Он уже чувствовал себя почти хозяином. Не поленился вскарабкаться по сотням ступенек колокольни, которая зовется у русских Жан ле Гран. Отсюда был виден весь город... Извиваясь, уходила на юг река. Желтела листва в рощах и садах. Одинокие дымки вились над молчаливым городом. В трубу были видны редкие всадники на отдаленных улицах. Это были казаки. «Последние из отступающих или первые из наступающих?»

Император, как всегда, был полон энергии. Подготовить Кремль к обороне. Ворота завалить наглухо бревнами. На берегу расположить батареи. По ту сторону реки снести здания, которые могут помешать артиллерии. Он слыбнулся, узнав, что верные его солдаты дают новые названия улицам:

«Правильно! Мы предоставим миру небывалое явление спокойно зимующей армии посреди враждебного ей народа, окружающего ее со всех сторон. Наши зимние квартиры обеспечены. Паша армия, пребывающая в Москве, будет походить на корабль, охваченный льдами. Но с возвращением весны мы снова начнем войну...»

Когда Наполеон вернулся во дворец, первое пламя занялось над городом. За Красной площадью загорелся Гостиный двор, огонь охватывал одну лавку за другой. Солдаты Великой армии кинулись к пожарнице, тащили бархат и сукна, выкатывали бочки с вином, обдирали серебро с икон. По Замоскворечью, не занятому еще французами, рыскали казаки. Они подпалили деревянный Москворецкий мост. Огненная река разлилась по берегу: загорелись казенные хлебные магазины и лабазы, пылали баржи с сеном. Все Замоскворечье обратилось в огромный костер. Удушающий смрад мешал дышать, над рекой летала зола, тлеющие головни перелетали с дома на дом. Пожар распространялся с огромной быстротой.

Император спокойно принял известие: «Горит? Ну-пу. Пусть Мортье не медленно прекратит пожар». Но в городе не оказалось ни пожарных труб, ни багров, ни насосов. Все вывезено. «Что ж, они с ума сошли — сжигать свой родной город?»

Вечером во дворце не зажигали свечей, было светло, как днем. Император нервничал, чего не бывало с ним в самых опасных сражениях. Он подбегал к окнам, от стекол веяло нестерпимым жаром. Он садился за стол, но, бросив работу, вскакивал и перебегал по дворцовым покоем. Погой он оттолкнул верного мамелюка. Это зарево в окнах не давало покоя. Внутренняя тревога выводила его из себя. «Какое страшное зрелище! — повторял он. — Это они сами поджигают... Какая решимость! Какие люди! Это — скаффы!» На кровле дворца, возле теремов, стояла гвардия, еле поспевавшая тушить пылающие головни.

Грохотали барабаны, тревожно рыдали горны, как удары испуганного сердца, колотился набат. Пламя становилось хозяином положения. Звеза падали на землю колокола. За рекой залетали в воздух бочки, окутанные голубым огнем. Пролетели голуби, покидая город. Теперь уже весь Кремль был охвачен поясом огня. Ночью, за 12 верст от Москвы, не зажигая огня, читали газету, подобранную на дороге.

«Это было огненное море, небо и тучи казались пылающими, — писал врач Наполеона О'Мира, — горы красного крутящегося пламени, как огромные морские волны, вдруг вскидывались, подымались и падали затем в огненный океан! О! Это было величайшее и самое устрашающее зрелище, когда-либо виденное человечеством!!»

Повсюду вопли, стоны, крики
Над белокаменной Москвой:
Лишь временем Иван Великий
Сквозь огонь, сквозь дым и мрак почной
Столпом огромным прорезался
И в небесах, блестя челом,
Во всем величии своем
Великой жертвой любовался.

(К. Ф. Рылеев)

«Москва не существует, пропала награда, которую я обещал моим храбрым войскам», — сумрачно сказал Наполеон.

Неумолимый огонь подползал к Кремлю. языки пламени жадно лизали стены и башни, ворота были окутаны дымом и жаром. Уже загорелась башня у арсенала. Запылала Троицкая башня. Marshалы почтительно доложили императору: возможен взрыв, не лучше ли его величеству покинуть Кремль? Но неужели оставить дворец русских царей, едва занявши его? Нет, это немыслимо. Из окон виделось Замоскворечье, превратившееся в сплошное огненное море. Пламя охватило уже все мосты, все ходы в Кремль. Marshалы чувствовали себя осажденными в имп же побежденном городе. Наполеон медлил, хотя отовсюду слышалось: «Кремль горит!» Сильный ветер все еще раздувал огонь. Мюрат, Бертье, пасынок Наполеона Евгений Богарне почтительно, но настойчиво уговаривали императора немедленно покинуть город.

С трудом отыскали выход — везде бушевал огонь. Наконец между каменных стен нашли калитку к набережной. Собрались идти путем, который входили в Москву. Это оказалось невозможным. Солдаты искали проход, исчезая в огненном море. Люди с трудом понимали друг друга в реве и трес-

Узким Лебяжьим переулком и Ленивкой Наполеон выбрался к Пречистенским воротам. Стараясь держаться ближе к реке, низко опустив голову, шел он за своей свитой. «Мы шли по огненной земле, под огненным небом, между двумя стенами из огня», — записал Сегюр. Какие-то мародеры показали императору проход. Только к вечеру, через Дорогомилово и Шелепиху, добрался он до загородного Петровского дворца. Проснувшись, Наполеон прежде всего подбежал к окну. Пожар не утихал. «Это предвещает нам большие несчастья», — задумчиво сказал император. И он опять был прав.

Когда дожди потушили огонь, Наполеон вернулся в Кремль. По грязным улицам шныряли французы и баварцы, поляки и итальянцы. В кострах горели обломки драгоценной мебели. На серебряных блюдах лежала конина. Солдаты не слушались начальников. Армия развалилась на глазах. Победа обернулась поражением, великолепный Кремль оказывался западней. Наполеон пытался в позе победителя договориться о мире. Безуспешно! Молчание сменялось у него припадками бешенства, самонадеянность — тревогой. Он готовил для России разгром, еще более страшный, чем татары. Он ввел в ее пределы армию, больше чем вдвое превышающую русскую. И вот к чему это привело...

Он еще пытался навести порядок. Слал гонцов к Кутузову и Александру. Ответа не было. Устроил смотр войскам. Гвардия прошла церемониальным маршем. Да, императору Александру надо подписывать мир, пока еще не поздно. Но в разгар парада император поднял голову:

— Что это, артиллерия, грохот орудий? В чем дело, господа?

— Кутузов вышел из своего лагеря, — доложил адъютант, — он напал на Мюрата, нанес ему поражение.

Через несколько дней к мостам устремились нестройные толпы. Армия покидала Москву. Артиллерия и кавалерия еле волочили ноги. Тянулся бесконечный обоз с награбленным добром. Офицеры с трудом водворяли порядок. Серебра и жемчуга в армии было больше, чем овса и хлеба. По Старой Калужской дороге уныло уходили поляки. «Пришедши тигром — бьют зайцем», — писал Н. М. Карамзин И. И. Дмитриеву. «Дрейф» в Москве оказался не под силу кораблю Наполеона. Тридцать шесть дней в этом городе стали началом конца Бонапарта.

Вы отведать русской силы
Шли в Москву: за делом шли!
Иль не стало на могилы
Вам отеческой земли!..—

писал четверть века спустя Н. Языков, а народ в поговорке обыграл имя Наполеона: «Был неопален, вышел опален».

Через два дня после ухода войск громовой удар прокатился по Москве: рвались мины, заложенные под Кремлем. Большие запасы пороха только стесняли поспешное отступление, почти бегство. Пусть верный Мортье на прощанье сотрет с лица земли гордые стены этих варваров, а заодно и ту восточную мечеть на Красной площади. Французы содрали крест с Ивана Великого, Наполеон решил украсить им Дом инвалидов в Париже. Артиллеристы трое суток минировали Кремль. Отойдя от Москвы, Мортье пушечным выстрелом подал сигнал к взрыву: «Прощальный салют за Русское гостеприимство».

Ночью страшный удар потряс Москву. Кремль вздрогнул от подошвы до

главы Ивана Великого. Удары, как волны землетрясения, прошли по мостовым и набережным. Дым понемногу рассеялся. Водовзводная, Петровская и другие башни обратились в бесформенные груды. С Боровицкой башни сорвало шатер. Новые и новые взрывы потрясали город. Вокруг Кремля выбило не только стекла, но и оконные рамы. Громадное бревно, вылетевшее из Кремля, упало в Китай-городе, на аршия зарывшись в землю. Борьба длилась два дня, пока проливные дожди не погасили фитилей.

Но пятам отступавших французов казаки въехали в обугленную и разоренную Москву. Трещины зияли в уцелевших башнях Кремля. Золотая глава Ивана Великого была разможжена, огромная трещина отделяла столп от пристройки, середина стены лежала поверженная в прах. За рекой на месте города лежало поле, покрытое пеплом и развалинами. Где-то вдали, у лужских ворот, чернели дома единственного уцелевшего квартала.

Много лет спустя Наполеон вынужден был признаться:

«Эта роковая война с Россией, в которую я был вовлечен по недоразумению. Эта ужасающая суровость стихии, поглотившей целую армию... затем вся вселенная, поднявшаяся против меня».

ПОСЛЕДНИЙ, РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ

Заповом ранних зорь в просторах синевы
Бездонная встает литая площадь славы,
Как величавое граненое заглавье
Гранитной летописи города Москвы.

Перец Маркиш

У стен Кремля, на гребне берегового холма, раскинулась Красная площадь, трибуна советской страны. В дни радости и скорби человеческой прибой заполняет ее каменные берега. Люди, их тысячи и миллионы, проходят площадь. Все взоры сходятся в одной точке — гранитном парапете мавзолея, за которым стоит человек «с головой ученого, с лицом рабочего в одежде простого солдата». Это Сталин, наш Сталин. Это Ленин сегодня, как сказал Барбюс.

Жизнь Красной площади — это жизнь всей страны: осады и победы, восстания и казни, цари и патриархи; это сама история от первых шалашей на пригорке до наших дней, когда целые крепости на колесах мчатся сквозь площадь, готовые снести к чертям того, кто посмеет преградить им путь. Дважды в год народ и его армия празднуют на площади победу, одержанную в октябре.

Утром 25 октября 1917 года полевая радиостанция на окраине Москвы приняла радиограмму: временное правительство низложено, социалистическая революция победила. Крейсер «Аврора», своим выстрелом открывший штурм Зимнего дворца, передавал эту радиограмму круглым путем, через Архангельск. Текст был написан Лениным. Два дня спустя бои, начавшиеся в районах, перекинулись на Красную площадь. Освободившиеся из тюрьмы солдаты-двинцы двигались к Моссовету. Юнкера потребовали сдать оружие, подняли на штыки командира двинцев, роты юнкеров окружили оборонявшихся солдат. Половина отряда была перебита. Унося раненых, двинцы

Крыльями пробилась к Совету. Багровые пятна растекались по булыжникам: первая кровь октябрьских боев.

В эту ночь провокация белых открыла им ворота Кремля. Стоявшие в Кремле полки были на стороне большевиков. Но гарнизон был отрезан от города, телефон молчал, юнкерские цепи окружили выходы. Дни и ночи мучительного ожидания и неизвестности... Белые используют момент, распускают слух о полном разгроме восстания. Гарнизон Кремля, убежденный, что он изолирован, открывает ворота. Юнкера врываются в Кремль, как некогда врвалась орда Тохтамыша. Построив в шеренги солдат, они расстреливают их пулеметами. Неудачливый кандидат в московские Галифы, полковник Рябцев отдает приказ — подавить Красную гвардию. Но вся Москва от окраины до окраины уже взялась за оружие. Разломаны стены, где были замурованы арсеналы боевых дружин 1905 года. Железнодорожники срывают пломбы с вагонов, на которых написано: «Селедки». Там — трехлинейные винтовки.

Утром 1 ноября астроном П. К. Штернберг по поручению Замоскворечья «предлагает начать работу шестидюймовых орудий». «Да, — отвечает ревком, — по шадить исторические здания». Первый снаряд дает перелет на двенадцать верст. Орудия есть, снаряды подвезены, некому рассчитать наводку. Штернберг впервые в жизни подходит к пушке. Чорт ее знает, как управлять этим стальным телом! Но должны же помочь ему законы механики, премудрость высшей математики. И ученый, протерев очки, вычисляет траекторию полета тяжелого снаряда. Пли! Снаряды все ближе ложатся к юнкерам. Подымаются хоботы орудий на Воробьевых горах, над первой оградой Никиты Мученика на Швивой горке.

— Есть ли у вас, господа, разрешение духовного совета на въезд за ограду храма божьего? — бежит навстречу красногвардейцам отец Владимир.

— Есть, батя, — отвечают ребята с «Мастяжарта», — получай пропуск, — подымают они снаряд. Батя не успевает воздеть руки, как грохот орудия покрывает его вопли. Дребезжат стекла церквушки, первая шрапнель рвется над Кремлем.

— Надо подавить пулемет на Спасской башне, — подбегает наблюдатель.

С высокой горы открывается весь Кремль: Малый дворец, где засел штаб Рябцева, купола Василия Блаженного, часы на башне, с которой потрескивает пулемет, грузовики, подвозящие оружие.

— По Спасской башне... огонь!

Артиллеристы наводят орудия. Выстрел! Снаряды ложатся у дворца, разбивают грузовики, выбивают пулеметные гнезда с колоколец, с Воспитательного дома, с парапетов храма Христа, где под прикрытием крестов укрылась контрреволюция.

Хмурым вечером 1 ноября Красная гвардия прорывается на Красную площадь. Между зубцами старой стены торчат пулеметы. Под обстрелом отряды занимают Верхние торговые ряды, ложатся за оградой Лобного места. Ночью по Никольской подкатывают орудия. В Никольских воротах пробита брешь. Темная ночь прикрывает смельчаков, подобранных вилочную к воротам. Ворвавшись в Кремль, они распахивают входы. Кремль взят! Пламя знамен вспыхивает над старой площадью, которой не придется менять своего древнего имени.

В солнечный полдень 12 марта 1918 года у кремлевских ворот оставался автомобиль.

— Кто едет? — спросил обвешанный оружием командир.

— Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ленин.

Командир и часовые вытянулись в струнку. Они впервые видят Ленина. Владимир Ильич улыбнулся и взял «под козырек» круглой караульной шапочки.

— Вот он и Кремль! Как давно я не видел его! — тихо сказал он.

После двухвекового перерыва Москва опять стала столицей, столицей государства Советов, Кремль — сердцем и мозгом революции.

Владимир Ильич прошелся по Кремлю. Солнце играло на золоченых гонимых. За рекой шумел город. Ленин осмотрел палаты и соборы: древние багряные городные камни зияли пробоинами, башни разворочены снарядами, стены изрешечены пулями. Юнкера залакостили Кремль, точно здесь стояла немцы или армия Наполеона. Ленин велел проверить караулы: все сокровища хранилищ и ризниц целы. Уходя, он просил поднять красное знамя. И победный стяг революции взвился над старыми орлами, недоуменно растопырившими огромные крылья.

Ленин поручил немедленно заделать все разрушения октябрьских боев. В одной из монографий о Кремле он прочел, как при Николае I крыльцо древнего собора превратили в фуражный сарай.

— Ведь вот была эпоха, настоящая аракчеевщина, — с возмущением сказал Ленин. — Все обращали в сараи и казармы, им совершенно была безразлична история нашей страны. Надо сейчас же, немедленно это крыльцо открыть. Смотрите, какое оно интересное, судя по чертежу, который здесь приложен.

Застучали ломы каменщиков, заделанные окна и арки освобождались от кирпичей, крыльцо принимало свой древний облик. Ленин приходил на стройку.

— Совсем иной вид, тут виден художник-архитектор, а раньше было удивительно смотреть, так не гармонировала эта пристройка со всем собором. А оказывается, тут не в соборе дело и не в архитекторе, а в Николае I, в аракчеевщине.

Реставраторы осторожно снимали краску. Из-за позднейших наслоений открывались фрески XVI века, наивные и неповторимые в своих красках. По просьбе Ленина убрали памятник Александру II, нескладную галерею, загорожившую кремлевский холм. Началось восстановление собора Василия Блаженного.

С дворцового «променада», по которому прогуливался Ленин, открывалось широко раскинувшееся Замоскворечье. Монтажники стежок за стежком вышивали на светлом небе ажурную сеть шаболовской радиобашни. Семь рабочих начали в голодный 1919 год сборку ее стального каркаса. Строили без лесов. Подвешивались на большой высоте почти под прямым углом. Голедили, но работали. И вопреки всему великолепное творение В. Г. Шуховца инженера и почетного академика, росло, как сказочный богатырь. «Какая красота! — говорил Ленин, остановившись у балюстрады. — Какая мощь сила!»

Однажды он остановил слесаря, возившегося с замком в кабинете председателя совнаркома. Почему стоят кремлевские куранты? Буржуазные газетки по этому поводу пророчествуют, что жизнь в России начнется лишь в 1919

день, когда часы опять заиграют «Болъ славея». Это, конечно, вздор. но по объявлению в газетах не нашли нужных мастеров, а часовые фирмы дерут немислимые деньги. Слесарь Н. В. Беренс знал механизм часов. Шутка сказать — три этажа валов, пружин, противовесов. А снаряды угодили метко: разворотили передачу, согнули валы, на всем циферблате уцелели две цифры: XI и XII.

— Как хотите, — сказал Ленин, не допуская возражений, — а часы почините.

И старые курапты заработали вновь.

На древнюю крепостную стену не раз подымался Ленин. Щурясь от солнца, он прохаживался между зубцами и улыбался Красной площади. По ней шла первая майская демонстрация, перед стеной стояла трибуна, наспех сколоченная из теса. Здесь, на площади, Ленин открывал мемориальную доску борцам, отдавшим жизнь за победу народа. Художник изобразил на доске крылатого юношу, взметнувшегося в порыве среди траурных знамен.

«Почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их памятником дадим себе клятву итти по их следам, подражать их бесстрашию, их героизму, — говорил Ленин. — Пусть их лозунг станет лозунгом нашим, лозунгом воєставших рабочих всех стран. Этот лозунг — «победа или смерть».

На Лобном месте плотники установили деревянный памятник Степану Разину.

«Это Лобное место, — рассказывал народу Владимир Ильич, — напоминает нам, сколько столетий мучились и тяжело страдали трудящиеся массы под игом притеснителей, ибо пикогда власть капитала не могла держаться иначе, как насилем и надругательством, которые даже и в прошедшие времена вызывали возмущения. Этот памятник представляет одного из представителей мятежного крестьянства. На этом месте сложил он голову в борьбе за свободу».

Мы помним студеный январь 1924 года. Морозная мгла дрожит над площадью. Лопаты не берут смерзшуюся землю, ее взрывают динамитом. Ветер порывисто рвет траурные стяги. У башни, где Ленин говорил о героях Октября, между двумя братскими могилами, растет деревянный куб. 27 января скорбная процессия вступает на площадь. Слезы замерзают на ресницах. Ветер слепит глаза. Тело Ленина вносят в мавзолей, пока временный. Два года спустя в центре площади возникает строгий силуэт уступчатой пирамиды. В ее полированных гранях врезано одно слово: «Ленин».

Мавзолей. Неувядающие ели встали на караул вдоль стены. Тени города, его жизнь мелькают на гладких плитах гранита. Они переливаются густым красным светом, как будто в них струится кровь. Тяжелая плита карельского порфира венчает мавзолей, ее держат колонны гранита. В молчаливом зале стеклянный саркофаг хранит тело Ленина. Позади тянется стена, чернеют мраморные плитки, золотом горят имена великих сынов советского народа: Кирова, Горького, Орджоникидзе, Менжинского, Куйбышева, Крупской, Чкалова, Серова, Осипенко. Перед мавзолеем живет, гудит, движется Москва, неутомная и кипучая.

Перед мавзолеем, лицом к Ленину, воины социализма присягали на верность народу и отчизне. С грозным своим оружием проходят они площадь, равняясь на мавзолей, на Ленина, на Сталина. По этой площади проходил когда-то танк, единственный в стране, трофейный, отбитый у белых. «Пе-

виданная диковинка», — называли его газеты. Над этой площадью пролетал когда-то один-единственный самолет, пролетали эскадрильи разнокалиберных самолетов чужих марок. Прошли года. По гладким плитам шли сомкнутые плечом к плечу шеренги пехоты. Блестели клинки кавалерии, мчались легкие тачанки. Танки врывались из-за стен Исторического музея, заполняя площадь гулом и грохотом, как будто целые вулканы клокотали над броней. Тяжело вздрагивала сама земля, когда на площадь вступала артиллерия тяжелых калибров.

Небо покрывалось самолетами, они летели тучами, тяжелые и скоростные корабли воздушного океана. Колонна самолетов растягивалась на двенадцать километров. Эскадрильи выходили в воздух, строились, спокойно подравнивались, расходились на дистанцию, как будто были не в поднебесьи, а на строевом плацу. Колонна выстроилась до последнего самолета за сотню километров от Москвы, и тут обнаружилось, что часы Спасской башни расходятся на полторы минуты с точными, до десятых долей секунды точными хронометрами флаг-штурмана эскадрильи. Эти девяносто секунд не были пустяком. Они грозили разбить колонну, нарушить идеальное равнение, испортить парад. И все это из-за какой-то неисправной шестерни в часах (дело было до их обновления в 1937 году). Командир колонны потребовал перевести часы. Проверили. Оказалось, что часы на башне действительно ушли вперед. И командование парада разрешило тогда самолетам не считаться со старыми часами. И за восемнадцать километров до Красной площади флагман командовал: «Смирно!», и сотни приемников повторили команду экипажам.

И в двенадцать ноль ноль по московскому времени, в двенадцать часов полторы минуты по спасским часам, над Красной площадью в гуле и рокоте проплыл флагманский корабль.

«За ним двенадцатикилометровой колонной с гулом, рокотом и ревом, в безукоризненном строю летели сотни и сотни самолетов, — рассказывал флаг-штурман И. Т. Спириин. — Трудно забыть эти полторы минуты. Всего полторы минуты. И это в стране, которая два десятка лет назад вставала по петухам, кончала работу с наступлением сумерек, определяла время по отлету птиц».

Изменилась за эти годы старая площадь. Она освободилась от ларьков, крикливых вывесок, скопищ нахальных пиццих, стала строже и скромнее. Крыльями отходят от мавзолея каменные трибуны. Снесены лишние часовни и соборы. Вылезавший на середину площади памятник перебрался к ограде Василия Блаженного. Но это еще не все. Площадь раздвинется, потеснит Китай-город, станет еще шире и наряднее.

Красная площадь. Имя яркое, как путеводный маяк, вознесенный над миром. Градостроители не успели еще расширить геометрических границ площади, как она далеко перешагнула их, стала площадью мира.

Как хороша она, наша прекрасная, наша Красная площадь зимними вечерами! Серебристые ели вытянулись перед нишами кремлевской стены. Недвижимо застыли часовые у мавзолея. На припорошенной снежком старой башне ветер тихо поворачивает огромную звезду. Луна бросает свой отблеск на пеструю связку луковниц Василия Блаженного. Гулко отдаются шаги запылавшего пешехода. Москва засыпает...

«Когда проходишь ночью по Красной площади, ее обширная панорама словно раздваивается: то, что есть теперь, — родина всех лучших людей зем-

дого шара, — и то архаическое, что было до 1917 года. И кажется, что тот, кто лежит в мавзолее посреди пустынной ночной площади, остался сейчас единственным в мире, кто не спит; он бодрствует надо всем, что простирается вокруг него, — над городами, над деревнями. Он — подлинный вождь, человек, о котором рабочие говорили, улыбаясь от радости, что он им и товарищ, и учитель одновременно; он — отец и старший брат, действительно склонявшийся надо всеми. Вы не знали его, а он знал вас, он думал о вас. Кто бы вы ни были, вы нуждаетесь в этом друге. И кто бы вы ни были, лучшее в вашей судьбе находится в руках того, другого человека, который тоже бодрствует за всех и работает, — человека с головой ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата» (Анри Барбюс).

На древней площади в памятный день 7 ноября 1941 года принимал парад полководец нашей страны. С вечера все небо вздрагивало от ударов зениток. Лучи прожекторов огненными кинжалами вонзались в облака, за которыми кралась к городу сотни бомбардировщиков с черной свастикой.

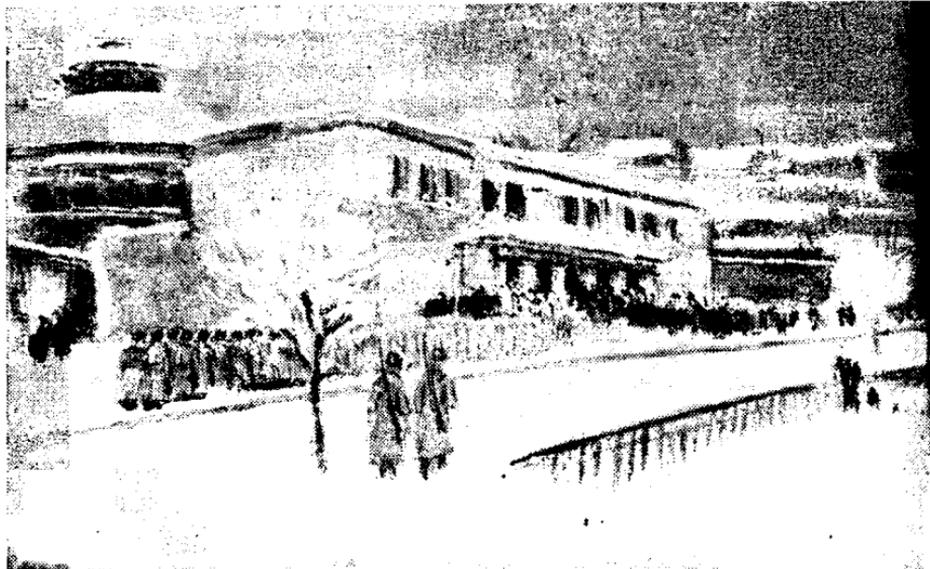
Но, вопреки всему, в назначенный час на мавзолее поднялся Сталин и начал свое слово, как всегда, неторопливое и убежденное. Он сказал народу о его великих предках, чьи боевые полки не раз победно проносили свои стяги через Красную площадь, через Москву.

Потомки этих великих предков в те дни отстаивали свою Москву. Хищной подковой надвигались на нее гитлеровские дивизии. Но народ, как сказочный богатырь, разогнул и эту подкову, откинул ее от столицы.

★

Гордо и нерушимо стояла старая крепость над рекой. Солнце играло па высоких звездах. Они были тоже в защитной, в военной форме, как и вся страна.

—————



Москва в декабре

Рис. художника А. ЛАПТЕВА

МИХ. ЗЕНКЕВИЧ

СЛУШАЙТЕ, ВСЕ!

Слушай, Одесса, Минск и Киев,
Слушайте, кровные такие,
Наши советские, родные,
Слушайте, все города,
Где, насильничая,
Рыская,
Грабит разбойничья
Орда
Фашистская.

Слушайте все, кто на пепелище
Трупы замученных близких ищет.
Слушай, Варшава,
Слушай, Прага, —
Цепрано право,
Жива отвага!

Слушай, разрушенный Белград,

Слушайте, мраморные Афины, —
Враг был рад
Навеки вас обратить в руины,
Но вы восстанете в новой красе!
Слушай, растерзанная Европа, —
Бурей растет твой приглушенный
ропот!

Слушайте все! Слушайте все
Наших моторов орлиный клеток,
Наших танков железный грохот,
Нашей конницы звонкий цокот,
Нашей пехоты походный топот,
Наших орудий раскатистый гром.
Это мы идем. Мы несем
Славным победным путем
Угнетателям вашим — разгром
И уничтоженье,
Вам — освобожденье,

Военинженер 1-го ранга П. ФЕДРОВИ

АНГЛИЯ В ДНИ ВОЙНЫ

Записки петчика-инженера в литературной обработке С. Дангулова

I. ТВЕРДЫНЯ НАД ТЕМЗОЙ

Летающая лодка «Каталина» в облаках приближалась к английскому побережью; под утро она вышла из них, и мы увидели голый, скупо усыпанный щебнем срез небольшого острова. Очевидно, встреча с этой землей не входила в планы летчика, потому что самолет развернулся и с набором высоты ушел в море. Мы оставались здесь до тех пор, пока на светлосером фоне моря не обозначилось темное пятнышко. «Каталина» заметно изменила курс и пошла ему навстречу. Вскоре мы увидели под собой катер. Наш самолет развернулся и, сделав над катером круг, послал на воду первую радиодепешу. Судно остановило свой бег и как будто прислушалось. Теперь можно было хорошо разглядеть старенький сторожевой катер, типичный «морской волк» — осторожный, недоверчивый, много видевший на своем веку, изучивший все дороги океана. Повидному, катер отвечал нам скупое, односложно, потому что «Каталина» продолжала кружить над ним и новые депеши летели на воду. Как и другие пассажиры лодки, я невольно передвинулся к окну и принялся наблюдать за этой не совсем обычной беседой двух созданий человека, покоривших море и воздух.

Не помню, сколько раз мы прошли над катером, но, очевидно, нужный ответ был получен, потому что «Каталина» неожиданно «отвалила» от катера и, взяв совершенно новый курс, безошибочно вышла на побережье, к бухте.

Мы покинули «Каталину» в пол-

день, и через час сухопутный самолет унес нас в Лондон.

В предвечерние сумерки мы приближились к английской столице.

Летчик нашей машины — молодой сержант в форме офицера английской авиации — лихо сдвинул пилотку и сказал:

— Чорт побери! Вот и Темза! Не пройдет и десяти минут, как моя птица будет в Хемдоне.

Действительно, в сиреновой мгле обозначились светлый извив реки и темная громада Лондона. А когда машина вошла в черту города, легкий атлантический ветер освободил небо от облаков, и взору представилась живописная панорама. Самолет шел на высоте 3000 метров, и город, развернувшийся внизу, показался мне таким же, каким он сохранился в моей памяти после знаменитых кройдонских празднеств. Так же незыблемо и гордо стояли Вестминстер и Букингем, так же буйно зеленели знаменитые лондонские сады и парки, и спокойно неслла свои стальные воды Темза.

Наш самолет пересек город и достиг Хемдона. Летчик перевел машину на планирование и аккуратно «притер» ее возле ангаров. К самолету быстро подъехали несколько легковых автомобилей, и навстречу мне вышла группа офицеров Британского королевского воздушного флота. Мы представились друг другу и уселись в комфортабельные лимузины.

Я хорошо помнил облик лондонской улицы 1936 года и, когда машина въехала в город, не без любопытства осмотрелся вокруг. Город изменился, стал строже, суровее. Некоторые рай-

оны производят впечатление военного лагеря. Очень много людей в армейской форме, почти у всех горожан, кроме сумок с противогазами, каски. Часто встречаются женщины, одетые в серые комбинезоны, прозванные лондонцами «костюмами воздушной тревоги». На стыках улиц — противотанковые препятствия из конусообразных железобетонных тумб. Вдоль домов тянутся сплошной лентой надземные бомбоубежища — прочный прямоугольный остов, плоская крыша, массивные стены толщиной в метр. А над широкими просторами городских улиц, площадей и парков — ослепительно белая зыбь аэроостатов.

Мы прибыли на место, когда в Лондон уже вошел тихий августовский вечер. Наскоро приведя себя в порядок и подкрепившись, я вышел из дома. Город уже погрузился во мрак, однако на улицах было довольнолюдно. В этот вечерний час многие лондонцы были вооружены электрофонариками, — тонкие лучики фонарей золотыми нитями протягивались во тьме.

Густой людской поток вливался в двери кино; повидимому, там шла новая программа. Я решил идти вместе со всеми. Это был небольшой окраинный кинотеатр, наполненный рабочим людом, очевидно, обитателями этого района — докерами, металлстами, текстильщиками. Многие из них пришли сюда после длинного трудового дня и заметно устали. В ожидании сеанса они неторопливо беседовали или мирно дремали. Мне казалось, что многие пришли сюда не столько для развлечения, сколько для того, чтобы осмыслить происходящие события, получить ответ на вопросы, которые слишком близко задевали каждого из них.

Но вот очередной сеанс кончился, и зрительный зал принял новую партию посетителей. Когда в зале погас свет и на экран упал первый луч проекционного фонаря, я понял, почему здесь сегодня столько народа. Театр демонстрировал советскую хронику, посвященную отечественной войне. На экране стремительно пронеслись советские самолеты-истребители, тяжелые воздушные корабли улетали в далекий опасный путь. Проходила героическая советская пехота. Могучей всеокрупающей лавиной двигались танки. Охваченный ярким пламенем, падал на землю немецкий «Мессершмитт». На поле лежали изуродованные фашистские бронемашинны, по ши-

рокой, размытой дождями дороге шли пленные немецкие солдаты. Зал следила за происходящим на экране, затаив дыхание. Англичане тут же наскоро переименовали советские «МиГи» в «Красные Спитфайеры», четырехмоторные воздушные корабли — в «советские летающие крепости», а танки — в «дредноуты русских просторов». Когда же на экране крупным планом возникло простое русское лицо нашего красноармейца, зал задрожал от аплодисментов:

— Long live the russian soldier — our brother, our son!

— Да здравствует русский солдат — наш брат, наш сын!

Я вышел из кинотеатра и темными улицами направился домой. Я шел, все дальше углубляясь в каменную утробу большого города, и бережно нес в сознании простой образ нашего бойца и эти слова лондонских рабочих, дорогие сердцу русского человека. Все, что я видел в этот вечер, произвело на меня сильное впечатление и надолго врезалось в память. Улетая в Англию, я, конечно, знал, что Лондон живет вестями с Восточного фронта. Знал и то, что образ советского воина дорог трудящемуся человеку, но я не ожидал, что это выражается в такой непосредственной форме. Понятия «Красная Армия» и «победа» в сознании лондонцев сегодня слились воедино. Лондонец говорит «Красная Армия» и добавляет «победа». Он произносит «победа» и повторяет «Красная Армия». В советском командире и бойце он видит верных друзей, любит их, хочет узнать о них как можно больше.

В Лондоне это проявляется во всем. Я никогда не забуду памятный день открытия советской выставки в лондонской галлерее «Саффолк» у площади Пикадилли. Группа командиров, приехавших на открытие выставки, пользовалась в этот день особым вниманием лондонцев. Беседа, завязавшаяся между нами и лондонцами при открытии выставки, закончилась лишь с нашим уходом. Когда мы собирались покинуть зал, нас буквально засыпали просьбами дать свой автограф. Помнится, в тот день мы расписывались на книгах, блокнотах, дамских сумках и даже чемоданах. Но самое интересное произошло перед уходом. У подъезда галлерей стояли машины. Прослышав о том, что «русские офицеры» оставляют посетителям галле-

свои автографы, один из шоферов вошел в зал выставки, снял свою шапку и попросил нас расписаться тыльной стороне козырька, и обязательно на русском языке.

Я слышал, как в Гайд-парке молодой докер в течение добрых двух часов объяснял огромной толпе принципы построения Красной Армии. Я видел, с каким воодушевлением тысячи толпы лондонцев шли на последний вечер советского Красного Креста в парке Баттерлей. Мне неоднократно приходилось наблюдать, с каким увлечением лондонцы смотрят советский фильм «День нового мира», часто во второй или третий раз.

И наконец я видел, какой отклик встречает в среде лондонцев каждое новое слово о Красной Армии, будь то книга, статья или просто газетная заметка. Во время моего пребывания в Англии одна из лучших издательских фирм Лондона — «Путнем» — выпустила одновременно два издания книги одновременно двумя А. Полякова «В тылу врага». Книга вышла трехсоттысячным тиражом. В это же время издательство Хетчисон обратилось к советскому кинооператору Кармен с предложением составить книгу-репортаж с фронтов русской отечественной войны. Идя навстречу желаниям английского читателя, наши лондонские друзья подготовили к изданию два больших сборника, составленных по материалам нашей прессы — «Стратегия Красной Армии» и «Советские партизаны».

Я возвращался домой в одиннадцатом часу. Улицы заметно обезлюдели, но автобусное движение было такое же интенсивное. В переулках отставалась тьма. Далеко в пролетах улиц чернели парки — оттуда заметно тянуло свежестью.

На своем столе я нашел объемистую пачку вечерних лондонских газет. Из Советской страны шли хорошие вести: «Москва мужественно отбивает атаки нацистских бомбардировщиков! Не сломить врагу воли русских к победе!» Я погасил в комнате свет и открыл окно. В этот поздний час небо над Лондоном было сизовато-синим. Изредка над городом возникал голубой луч прожектора и, выхватив из тьмы аэроплан, падал глубоко вниз. Легкая дымка заволакивала город. Движение прекратилось, кругом разлилась чуткая полудночная тишина.

Я смотрел в тьму и думал о боль-

шой судьбе этого города. Он возник из тьмы тысячелетий, как чудесное олицетворение ума и силы своего народа. Он прожил героической жизнью, этот город-богатырь, умел ее отстаивать и несокрушимо противостоит напору врага. Враг посылал на него легионы своих войск, он обрушивал на голову города огонь больших пожаров, железо и сталь бомбардировок. А город, могучий, непоколебимый, все стоит железной твердыней над Темзой. И невольно мысль перенеслась к другому городу, который в этот поздний час продолжает упорную борьбу за жизнь и честь своего народа; в сознании крепла вера в то, что общность судьбы двух городов-героев всегда будет знаменовать нерушимое единство великих народов, поклявшихся отстаивать священную землю своих предков, сокрушить врага...

II. ПОЛКОВНИК МАК ЭВОЙ И ЕГО ИСТРЕБИТЕЛЬНОЕ КРЫЛО

Наш лимузин стремительно мчался по предместьям Лондона. Маленькие руки водительницы спокойно лежали на штурвале. Денушка вела машину играя, легко преодолевая многочисленные переезды, обгоняя идущие впереди автомобили, то ускоряя, то замедляя бег. Время от времени она остававливалась лимузин, выбегала и, вскрыв капот машины, внимательно осматривала детали мотора. Возвращаясь в машину, она торопливо поправляла рассыпавшиеся пряди белокурых волос и, глядя на нас большими голубовато-серыми глазами, говорила:

— Господа офицеры могут не беспокоиться, — доставлю во-время.

В дороге мы разговорились. Водительница нашей машины оказалась членом популярной в Англии женской ассоциации помощи армии и давно работала в министерстве. Она явно гордилась оказанным ей доверием и повторяла, что «английские женщины могут очень много сделать для армии». Бывая в военном министерстве и в строевых частях, я часто встречал девушек в хорошо отутюженных серых костюмах. Они работали радиотехниками, электромеханиками, шоферами и порученную им работу выполняли с усердием, свойственным женщинам, когда они берутся за «мужское дело».

Девушка доставила нас на место во-время. Молодой сержант принял у нас документы и снесся по телефону с командованием — пропуск был дан не-

мелленно. И вот машина, мигая часо-
вого, огibtает служебные здания авиа-
ционного городка и останавливается на
цементной дорожке аэродрома. На-
встречу нам идет рослый, хорошо сло-
женный командир лет сорока, в фор-
ме летчика. Как и многие англичане
его возраста, он суховат, но темные
глаза глядит молодо. На нем темно-
серый военный костюм и на рукавах
знаки различия полковника. Нас пред-
ставляют друг другу.

Полковник Мак Эвой — начальник
истребительной станции — представи-
тель знаменитой плеяды старых ан-
глийских летчиков, прозванной на ро-
дине «стаей славных». Имя его хоро-
шо известно в королевских воздуш-
ных силах. В авиации он двадцать лет,
и все двадцать лет много летает. У не-
го мягкий баритон и приятная манера
говорить. Между нами быстро устанавли-
вается тот душевный контакт,
который так необходим для взаимного
понимания. Мак Эвой живо интере-
суется советской авиацией. Он хочет
знать, насколько удачно действуют
наши летчики по аэродромам, как мы
организуем сопровождение бомбарди-
ровщиков, каким образом при защите
Москвы устанавливается взаимодей-
ствие между артиллерией и авиацией.
Беседуя, мы обходим летное поле,
посещаем ангары, идем к машинам...

Аэродром представляет собой об-
ширную площадку, укрытую густым
травяным покровом. Ровные цементные
полосы пересекают аэродром вдоль,
образуя несколько правильных прямо-
угольников. Находящиеся на аэродро-
ме самолеты и огневые средства зама-
скированы настолько тщательно, что
абсолютно неотличимы от общего фона
местности. Чтобы предохранить дежур-
ные самолеты от бомбардировки, они
помещены в особые железобетонные
портики.

Пока мы осматривали аэродром, тех-
ники выкатили на летное поле «Спит-
файер-2». Условлено, что до обеда
командование предоставляет мне воз-
можность ознакомиться с машиной на
земле, а после обеда — в воздухе.
«Спитфайер» — по-английски «Огне-
вержец». По мнению английских
конструкторов, это одна из наиболее
удачных конструкций самолета-истре-
бителя, созданных англичанами за
последнее время. Самолет представля-
ет собой компактный цельнометалли-
ческий моноплан с низко расположен-
ными крыльями. На самолете установ-

лен мотор известной мировой фирмы
«Роллс-Ройс», в крыльях машины
до десяти скорострельных пулеметов.
Машина тщательно камуфлирована.
Поверхность корпуса и плоскостей
полирована, машина имеет совершен-
ные аэродинамические формы.

Осмотр самолета закончен. Командир
предлагает мне осмотреть дом офице-
ра. Он расположен тут же, в авиа-
ционном городке, в нескольких шагах
от аэродрома. Мы идем по асфальтовой
дорожке, обрамленной яркой зеленью.
Еще на аэродроме я обратил внима-
ние на отсутствие пыли, так губи-
тельно сказывающейся на эксплуатации авиа-
ционного мотора и заметно сокращаю-
щей сроки его службы. Оказывается,
что это достигается очень просто.
Здесь не только самое летное поле
аэродрома, но и каждый свободный
клочок земли далеко за его пределами
укрыты густым травяным покровом.

Дом офицера стоит в центре авиа-
ционного городка. Это двухэтажно
кирпичное здание, просторное и удоб-
ное. Мы с командиром проходим
библиотеку и читальный зал. В биб-
лиотеке наряду со специальной лите-
ратурой имеется и художественная. В
частности, можно найти произведения
русской классической литературы: Пушкин,
Толстой, Горький. Современные
советские писатели представлены
Шолоховым, «Тихий Дон» которого в
Англии вышел полностью. Из читаль-
ни мы проходим в так называемый
музыкальный зал. В нем имеются
фортепиано, смычковые и струнные
инструменты. Комната отдыха коман-
диров обставлена строго, но комфорта-
бельно, — мягкие кожаные кресла,
столы, покрытые сукном, массивные
шкафы, украшенные художественной
резьбой. Мак Эвой обращает наше
внимание на один из них: на трех-
верхних полках стоят серебряные куб-
ки. Это призы, полученные летчика-
ми полка на соревнованиях спортив-
ной авиации. Согласно традиции, су-
ществующей в английской авиации,
каждый летчик, прослуживший неко-
торое время в полку и уходящий в
другую часть, должен оставить на па-
мять подарок — серебряную кружку,
вазу, бокал и т. п. Я обратил внима-
ние на то, что полк не имеет своего
знамени. Мне объяснили, что полковое
знамя заменено нагрудным знаком
летчика — в каждом полку свой знак.

Осмотрев дом офицера, мы напра-
вляемся в столовую, которая поме-

шлется тут же. Большой зал во всю высоту здания. Много света и воздуха. Зал полон офицерами. Большой дубовый стол командира у дальней стены поставлен так, что командир, сидя за ним, видит весь зал. Мак Эвой предлагает мне место по правую руку от себя. Нас, как и остальных офицеров, обслуживают девушки в военной форме — члены все той же женской ассоциации помощи армии. Обед проходит в оживленной беседе. Командир интересуется боевой деятельностью русской авиации. Он просит рассказать о новых советских конструкциях самолетов-истребителей. Особенно его занимает наш противотанковый самолет. Насколько сокрушителен его огонь, как защищен самолет, на каких высотах он преимущественно действует. По моей просьбе командир рассказывает об одном из своих крыльев и его людях. Всю войну крыло провело в боях над Лондоном. В последнее время летчики крыла перешли от обороны к наступлению. Они все чаще вылетают за пределы английской столицы и углубляются на территорию врага. Последний большой воздушный бой между летчиками английского крыла и немецкими «Мессершмиттами» разыгрался за два дня до нашего приезда. В этом бою англичане сбили 14 машин, потеряв 4.

Между тем известно о том, что русский летчик будет летать на «Спитфайере», быстро распространилось в полку. К нашему возвращению на аэродром здесь уже собралось немало летчиков. Я решаю немедленно приступить к полету, быстро надеваю парашют и направляюсь к машине. Командир настоятельно советует не удаляться от аэродрома и на всякий случай перечисляет наиболее приметные наземные ориентиры на его подступах. Затем он сообщает мне особенности выпуска и подъема шасси на «Спитфайерах». И наконец просит во время полета не выпускать из поля зрения аэродром.

Мотор запущен. Осторожно вырубивая на взлетную полосу. Подаю сектор газа. Разбег продолжается семь секунд, — я в воздухе. Мотор гудит в полную силу своих трех тысяч оборотов. Убираю шасси и, увеличив шаг винта, набираю высоту. Достигнув 15 000 футов, я, по методу советских испытателей, опробовал «Спитфайер». Самолет оказался послушным в управлении, мягким и маневренным. в по-

лете и доставил мне искреннее наслаждение. Через семь минут полета мы перешли с машины на «ты» и дальше действовали, как старые, хорошо знающие друг друга друзья. Я бросал самолет из одной фигуры в другую. «Петля», «бочка», «иммельман», «штопор» возникали в воздухе. Машина послушно выполняла волю летчика. Наконец, достигнув высоты 4000 метров, я ввел «Спитфайер» в пики. Стремительно завертелась стрелка альтиметра. Скорость нарастала неудержимо. Когда до земли осталась 30 метров, я выхватил машину из пики и круто пошел в гору. На высоте 1500 метров я придал самолету горизонтальное положение и внимательно осмотрел приборы. Мотор работал безотказно, — температура воды и масла была нормальной. Я перевел мой «ястребок» на планирование, выпустил шасси и устремился к земле. Скоро самолет мягко коснулся глиняного грунта аэродрома, — посадочные свойства «Спитфайера» оказались такими же высокими, как и летные.

Я выключил мотор и, быстро сбросив парашют, выпрыгнул из машины. Навстречу мне шли офицеры полка вместе с командиром. Мак Эвой сердечно поздравил меня с благополучным окончанием полета и просил завтра обязательно посетить аэродром. По его словам, сегодня ночью на аэродром должен быть доставлен модернизированный вариант «Спитфайера», который полковник обязательно хочет мне показать. В этот момент из группы летчиков вышел офицер в обычной форме и на чистейшем русском языке произнес:

— На аэродроме базируется польский истребительный полк. Нам очень хотелось бы, чтобы вы завтра заодно побывали и у нас!

Я пожал руку польскому летчику и обещал побывать в их полку. Мы расставались всего на несколько часов, но Мак Эвою хотелось торжественно обставить наш отъезд. И по английской традиции, прежде чем расстаться, мы осушили «кубок дружбы».

III. У ПОЛЬСКИХ ЛЕТЧИКОВ

Следующее утро снова застало нас на пути к аэродрому. Лондон остался далеко позади. Мы едем полими. Навстречу бегут опрятные английские деревни в тридцать—сорок усадеб. Суровое дыхание войны ощущается и здесь: так же, как и возле Лондона,

на дорогах стоят противотанковые надолбы. Кое-где среди зелени полей проступают вышки постов воздушного наблюдения. Ровные поляны, которые могут пригодиться вражеским летчикам, перечеркнуты накрест туго чатынутыми тросами.

Наш автомобиль подходит к аэродрому. Над летным полем бьются по ветру высоко поднятые английский и польский национальные флаги. Полковник Мак Эвой встречает нас, как старых друзей:

— Новая машина подготовлена к полету. Там сейчас поляки. Кстати, ведь вы обещали побывать у них сегодня?

По дороге полковник тепло говорит о своих товарищах по оружию — польских летчиках:

— Это настоящие истребители, и первый из них — сам командир Рогоза. Храброе, честное сердце у этого человека.

И вот мы знакомимся с Рогозой. Он суховат, высок, при ходьбе немного сутулится. У него лучистые серые глаза, светлые волосы. На нем форма военного летчика британских воздушных сил. На рукавах френча — английские знаки «сквадридера», на отворотах — соответствующие польские.

Голос у Роговы спокойный, грудной, чуть тронутый хрипотой. Речь ровная, размеренная. Как многие польские летчики, он свободно говорит по-русски. Он представил нам своих офицеров и, обменявшись с нами несколькими фразами, извинился, что отвлек меня от подготовки к полету. Решили продолжить разговор позже.

Я начал осматривать самолет. Польские техники, казалось, только и ждали этого момента. Это были славные ребята из Кракова и Лодзи, Познани и Люблина. До войны они работали слесарями, техниками, электромонтерами, шоферами. Почти у каждого из них в Польше осталась семья. Во мне они видели не только представителя великой дружественной страны, но еще и русского, славянина, родного по крови человека.

Надо было видеть, с каким старанием польские техники показывали мне самолет! Они раскапотировали его полностью в несколько минут. Каждый считал своим долгом сообщить мне какие-то особенные, только ему известные, данные этой машины. А потом техники начали подносить мне «для ознакомления» разные детали мотора,

оборудования, вооружения и ^{вскоре} натаскали целую гору.

Наконец самолет осмотрен. Беру парашют и выхожу в поле. На этот раз мне предстояло вести в воздух «Спит-файтер-5», модернизированный экземпляр истребителя. Улучшив скорость, а отчасти и маневренность машины, конструктор сделал более мощным ее вооружение.

К началу полета погода заметно изменилась. Ветер пригнал с моря гряду облаков и ограничил высоту. Весь комплекс фигур предстояло проделать на высоте 1000—1500 метров. Я произвел один за другим три полета, несколько раз проверил машину на самых сложных эволюциях. Как и накануне, самолет произвел на меня приятное впечатление. Отрадно было отметить, что летные данные машины значительно повысились, а в то же время техника пилотирования и эксплуатация нисколько не усложнились.

Новая встреча с польскими летчиками состоялась в Доме офицера сейчас же, как только закончились полеты. Когда я туда вошел, там уже были польские военные. Я обратил внимание на старшего из них — маленького, очень подвижного, с пухлыми руками. Он был одет в обычный офицерский френч, только на отворотах виднелись кресты. Под френчем вместо светлой сорочки — черная блуза с крахмальным воротничком. Я узнал в этом человеке полкового ксендза. Рогоза зализывал, и беседу начал ксендз. Он говорил по-русски с польским акцентом:

— У нас сейчас общий враг, но не это одно связывает наши народы. Люди моего поколения хорошо понимают, что польская интеллигенция истарии формировалась под сильным влиянием русской общественной мысли. Сердцу каждого славянина близки такие русские имена, как Пушкин, Тургенев, Толстой... Для многих из нас русский язык не менее дорог, чем язык наших предков. Вот, например, наш командир Рогоза. Он учился в петроградской гимназии и навсегда сохранил искренние симпатии к России...

Когда речь шла о Рогозе, у каждого польского летчика было что рассказать. Из обрывков фраз, отдельных реплик, случайно брошенных замечаний все яснее вставал облик этого замечательного воздушного бойца. Рогоза родился в Польше, но детство и юность провел в России. В авиации он

Больше десяти лет. В Польше летал на отечественных самолетах-истребителях. В Англии — на «Харрикей-нах» и «Спитфайерах».

Когда немцы вторглись в Польшу, Рогоза был включен в часть, действующую против соединения фашистских эскадр Кессельринга. Позже генерал Сикорский поставил талантливого летчика во главе одной из польских истребительных частей, защищающих Лондон. Вместе с английскими летчиками Рогоза отбивал атаки врага, вместе с ними перешел к нападению в темные ночи, в туман, в дождь водил Рогоза эскадрильи «Спитфайеров» через море, в глубь вражеской территории. Под охраной его истребителей летали на трудные задания английские бомбовозы. Слава о храбром и умелом польском офицере прокатилась в среде английских летчиков.

В ходе беседы мы не заметили, как в комнату вошел Рогоза. Он присел, достал трубку, закурил. Разговор теперь шел о создании польской армии в СССР, об ее кадрах, вооружении. Рогоза слушал, молча поглядывая на окружающих, потом спросил, когда будет закончено формирование армии и какие роды оружия будут в ней представлены. Вдруг он поднялся и горячо, с еле заметной дрожью в голосе, произнес:

— Нашей армии в России нужны летчики. Мои люди жаждут попасть в Россию. Предложите — все пойдет.

Я смотрел на польского летчика и думал: как должна быть велика в этом человеке любовь к отчизне, если сквозь все невзгоды пронес он немеркнущее желание продолжать смертельный бой с врагом, драться до конца за родную землю.

Нашу беседу прервал сигнал тревоги, и Рогоза быстро оставил нас, сказав на прощанье:

— Не теряю надежды встретиться с вами в России!

Я несколько дней не был на польском аэродроме, но, посещая английские авиационные части, нередко встречал польских летчиков. Узнав во мне русского, они запросто вступали в беседу и неизменно проявляли живой интерес к великой борьбе нашего народа, к его истории, к его культуре. Однажды на ночной истребительной станции мне довелось встретить старого польского летчика, оказавшегося литератором, он много лет изучал русскую художественную прозу. Он латал

день и ночь, но как только выдавалась свободная минута, садился и принимался переводить рассказы Чехова.

Наконец я снова побывал на знакомом аэродроме, чтобы повидать Рогозу. Польские летчики встретили меня радушно, но среди них не было командира. Опыт почти двадцатилетней работы в авиации научил меня: когда в кругу летчиков кто-нибудь неожиданно отсутствует, не всегда следует это обнаруживать. И я не подал виду, что замечаю отсутствие Рогозы.

Но один из летчиков за несколько минут до боевого вылета рассказал мне о судьбе своего командира:

— Он погиб на прошлой неделе при полете к Эмлену... Сопровождал бомбовозы. Над Ламаншем эскадру атаковала стая «Мессершмиттов». Рогоза защищал бомбовозы яростно. Было сбито девять немецких машин, остальные обратились в бегство. Но тут он сделал ошибку: пошел за ними. Они увлекли его вглубь, навалились...

Он замолчал, потом поднял голову и, взглянув на темное небо, произнес раздельно по-польски:

— У, вражий души!

Он на мгновение задержал мою руку в своей и, крепко пожав ее, устремился к машине. И тут же, энергично набирая скорость, над нами пронеслась эскадрилья польских самолетов.

IV. В ГОСТЯХ У ЗЕНИТЧИКОВ ЛОНДОНА

Накануне нам передали приказ главы военной миссии: 15 сентября не отлучаться из Лондона. За месяц пребывания в британской столице такого рода распоряжения мы получали не впервые. Обычно это означало, что предстоит поездка за пределы Лондона; англичане хотя бы нам показать что-то новое.

Утром 15 сентября к зданию посольства подкатило несколько камуфлированных автомашин министерства авиации. Нас представили генералу — командиру дивизии противовоздушной обороны Лондона. Это был типичный в представлении среднего европейца английский офицер: белое, гладко выбритое лицо, высокая, несколько сухопарая фигура, строгий костюм — английский френч, брюки галифе, темнокоричневые краги.

Прежде чем отправиться в путь, генерал счел нужным сказать нам несколько слов. Его манера держать себя и говорить удивительно гармонировала

с его обликом: он был нетороплив, говорил медленно, плавно и, стараясь облегчить нам понимание, часто прерывал речь паузами. По его словам, нам предстояло сегодня познакомиться с системой артиллерийской защиты столицы. Сначала он объяснил нам структуру организации противовоздушной обороны Лондона, потом рассказал об огневых средствах, которыми располагают защитники столицы, и, наконец, указал, на каких принципах основано управление системой обороны. Обязательно ответил на все вопросы, он заметил, что нам покажут сегодня две батареи зенитных орудий и штаб противовоздушной обороны столицы.

И вот наши автомашины мчатся по улицам Лондона. Ласковое солнечное утро. Ночью над городом пронессяливень, начисто вымыл улицы и освежил зелень. В этот утренний час яркие солнечные блики лежали на мокрой листве и в городе еще чувствовалась ночная прохлада.

Через полчаса мы были на батарее. Командир ее отдал генералу рапорт:

— Батарея легких противозенитных орудий готова встретить воздушного противника.

Решено было показать батарею в действии, и генерал приказал командиру дать сигнал тревоги. Сложный механизм батареи пришел в действие буквально через минуту после того, как был отдан приказ. Батарея работала настолько быстро, что нам не без труда удавалось фиксировать ход ее операций. Последовательно это происходило так: наблюдатель, заметив вражеский самолет, известил дежурного, и тотчас же раздался резкий свисток тревоги. Потом мы увидели, как артиллеристы вихрем понеслись к орудиям. Наблюдатель указал им направление цели. Орудие, управляемое особым автоматически действующим аппаратом, завертелось на своем лафете. Аппарат определил высоту, на которой находился самолет, направление и скорость его полета, дал установочный угол. Затвор щелкнул, и артиллеристы послали по воздушному врагу первый снаряд.

Затем огонь был прекращен, расчет орудия выстроен, и, по приказанию генерала, артиллеристы выключили аппарат, автоматически управлявший стрельбой. Генерал предложил, чтобы орудийный расчет повел беглый огонь по врагу, не прибегая к автомату. И на этот раз артиллеристы продемон-

стрировали высокое знание дел умелых руках наводчиков орудия. Именно оборачивалось на лафете, раскиная врага в необъятных просторах неба. Безупречно действовали стоящие на лафете номера.

В самый разгар стрельбы генерал отдал приказание заменить накаливший ствол орудия. Зенитчики прекратили огонь и наклонили ствол на землю. Орудие немедленно было взято в своеобразные клещи—один из артиллеристов ловким движением повернул ствол и отсоединил его от казенной части. Пока производилась эта операция, к орудью доставили новый ствол и установили его в несколько секунд. Вся операция по замене ствола заняла две с половиной минуты. Наши артиллеристы потом говорили мне, что такой результат принято считать отличным.

Мы тепло простились с зенитчиками и выехали на батарею тяжелых орудий. Наши машины снова пересекли Лондон и по ровной гудронированной дороге направились к опушке леса. Темневшего на горизонте узкой полосой. Боевые позиции батареи были расположены на открытой местности, поросшей низкорослыми кустарником. Бетонированные сооружения батарей длинные, высоко поднятые стволы тяжелых орудий четко вырисовывались на бледно-голубом фоне безоблачного неба.

Мы вышли из машины и направились к штабу батареи, находящемуся в компактных железобетонных помещениях цилиндрической формы. Рядом с штабом, на специальном вращающемся лафете, был установлен радиопередатчик. Поодаль от него, под особым копаком из прочной металлической проволоки, радиоприемник.

Генерал пригласил нас войти в штаб батареи. Железобетонный цилиндр, в котором помещался штаб, был невысок — полтора-два метра. Одна из его дверей вела на площадку, огороженную толстой железобетонной стеной, так же невысокой, как и само здание. Площадкой возвышалась земляной вал. В одном конце площадки был установлен дальномер, улавливающий в него вражеские самолеты, в другом—прибор, автоматически управляющий орудием. Компактное помещение штаба и находящаяся перед ним площадка были сооружены так, чтобы в случае нападения неприятельских самолетов на батарею она, оставаясь неуязвимой, име-

возможность вести борьбу с врагом
полную силу.

Затем члены миссии направились
рассматривать зенитные орудия. У каж-
дого орудия находился его боевой рас-
чет. В ходе осмотра мы разговорились
с артиллеристами — командирами и
солдатами. Это были крепкие, молодые
люди, лет двадцати трех — двадцати
четыре, хорошо сложенные и натрениро-
ванные. На них были обычные сол-
датские костюмы цвета хаки и ме-
ханические каски вместо пилоток.
Внимательно наблюдая за тем, как мы
рассматриваем орудия, они старались
обратить наше внимание на детали, ко-
торые, по их мнению, могли нас инте-
ресовать. После осмотра группа солдат
предложила мне проверить вес выстре-
да тяжелого орудия. Я проверил — ре-
зультат, который удалось мне полу-
чить, оказался весьма внушительным
— Славный гостинец для фашистских
воронов! — заметил при общем смехе
один из солдат.

Как это всегда бывает при первой
встрече, после случайной шутки беседа
стала непринужденнее. Наши собесед-
ники рассказали нам много интересного
о противовоздушной обороне Англии.
С прошлой зимы зенитное оснащение
Англии значительно обогатилось и
улучшилось. Сейчас зенитные батареи
имеются не только для защиты круп-
ных центров, но и повсюду, где распо-
ложены объекты, интересующие врага.
Дело не только в том, что стало
больше хороших зениток, но и в том,
что у артиллеристов необычайно разви-
лось чувство «локтя», люди стали ра-
ботать дружнее, быстрее. Кроме того,
сильно развилось своеобразное соревнова-
ние между расчетами отдельных бата-
рей. Раньше казалось невозможным
попасть в движущуюся цель, летящую
со скоростью 400 миль в час. Сейчас
это стало действительностью. Бомбарди-
ровщики врага истребляются огнем
зенитных батарей даже на высоте в
пять миль. В Англии имеется теперь
много зенитчиков, сбивших по несколь-
ку немецких самолетов. Артиллеристы
представили нам своего товарища, бла-
годаря которому батарея уничтожила
две неприятельских машины.

Когда мы осмотрели батарею тяже-
лых орудий, генерал решил показать
нам в боевой работе. В отличие от
батарей легких зенитных орудий, нам
демонстрировали не только стрельбу,
но и отдельные операции боевой
деятельности батарей — организацию

подвоза снаряжения во время боя, по-
дачу боепитания к орудиям и т. д. Ра-
бота артиллеристов была рассчитана до
деталей и максимально механизирова-
на. Артиллеристы действовали с той
ловкостью и пунктуальностью, которая
обычно решает успех точной артил-
лерийской стрельбы.

Мы покинули батарею, когда солнце
уже клонилось к горизонту, и отпра-
вились обратно в Лондон, — генерал хо-
тел до наступления вечера показать
нам штаб противовоздушной обороны
столицы. Когда наша машина вошла в
город, в его глубоких улицах уже ле-
жали густые предвечерние тени. Здание
ПВО, невысокое, обложенное зем-
лей, по внешнему виду походило на
хранилище боеприпасов. Впрочем, глав-
ное, что привлекло нас сюда, находи-
лось не в самом доме, а глубоко под
ним. Перед нами раскрылись массив-
ные двери, и по широкой, отлогой
лестнице мы спустились в подземелье.
Генерал ввел нас в просторный, зали-
тый ярким электрическим светом зал,
где помещалось оперативное управле-
ние противовоздушной обороны британ-
ской столицы. Защитники Лондона
сконцентрировали здесь руководство
всеми оборонительными средствами го-
рода; именно здесь была сосредоточена
система связи с боевыми единицами и
контроль их деятельности. В моменты
напряженных боев за Лондон здесь
воспроизводится полная картина того,
что происходит в городе.

Весь зал увешан огромными картами
и схемами. В центре зала — большой
стол с электрифицированной картой
британской столицы. Назначение карты
— дать общую картину боя за город,
зафиксировать очаги огня, разрушения.
Вдоль стен размещены карты отдель-
ных районов. В отличие от первой, эти
карты максимально детализированы и
дают подробную картину боя по рай-
онам. Каждую карту обслуживает офи-
цер-оператор, связанный с основны-
ми постами ПВО соответствующего рай-
она телефоном.

Наибольший интерес представляет,
конечно, схема оперативного управле-
ния боем. Она дает не только картину
движения неприятельских сил, но и
детально показывает, какие средства
приведены в действие для отражения
атак врага. Интересно отметить, что
каждый выстрел зенитной батареи, да-
же в самом отдаленном конце лондон-
ской зоны ПВО, автоматически повто-
ряется на схеме. Схема эта позволяет

не только воссоздать полную картину боя, но и проследить, насколько быстро и точно выполняются в ходе боя приказания штаба.

В заключение генерал познакомил нас со средствами связи штаба и схемой сигнализации, которой пользуются защитники города при отражении неприятельских атак. Мы обратили внимание на остроумную схему прокладки аварийных телефонных линий. Она построена таким образом, чтобы связь со штабом действовала бесперебойно, несмотря на любые разрушения. По всему помещению провода выведены наружу, очевидно для того, чтобы иметь возможность быстро ликвидировать порчу. Помещение штаба буквально окутано ими.

Когда мы ознакомились со связью, генерал коротко рассказал о принципах работы штаба и пригласил нас к столу, накрытому в укромном уголке штаба. Чтобы сделать нам приятное, к столу были поданы не только русские блюда, но и русская волка. За ужином мы обменивались впечатлениями, и генерал много рассказывал о деятельности ПВО в дни особенно ожесточенных атак немцев на Лондон. Когда разговор зашел о боевой деятельности лондонских зенитчиков, генерал сообщил, что ими сбито 469 фашистских самолетов.

V. НА АЭРОДРОМЕ «ДАГСФОРД»

На подходах к аэродрому мы стали свидетелями несколько необычного зрелища. Из темной пучины облаков выхватился «Юнкерс-88» и, войдя в пике, обрушился вниз, к ангарам. Не прошло и минуты, как, пробив толстый облачный настил, за «Юнкерсом» устремилась пара «Спитфайеров». Они настигли «Юнкерс», когда тот, выйдя из пике, пытался уйти. Англичане навалились на него и стали прижимать, вынуждая приземлиться. Мы прибыли на аэродром, когда «Юнкерс», эскортируемый «Спитфайерами», шел на посадку.

Мы видели, как самолет приземлился, нехотя развернулся и неторопливо порулил к ангарам. Дверца пилотской кабины раскрылась, и из машины вышел молодой военный в обычной форме английских воздушных сил со знаками различия «сквадрилдера». Он окинул взглядом легкое поле и, обнаружив неподалеку от себя техника, крикнул, указывая на самолет:

— У моего «немца» кашляет правый мотор. Опробуй мотор, дружище...

Потом летчик взвалил на плечи парашют и направился к автомашине. Только сейчас я заметил, что на аэродроме, кроме «Юнкерса-88», было много других «немцев»: «Мессершмитты», «Хейнкели», «Хейшели». На аэродроме была представлена также и авиация гитлеровских союзников. В дальнем углу аэродрома стояли «Италяндцы» — еще надали угадывался «Фиат-43».

Мы находились на опытном аэродроме «Дагсфорд», известном всей Англии своими прекрасными летчиками-истребителями. С одним из них я познакомился тотчас же по приезде на аэродром. Нас представил друг другу начальник «Дагсфорда» группкэптен Макдональд.

Мой молодой коллега оказался типичным летчиком-истребителем — стремительный в походе, движениях, речи. Он с первых же дней войны принял участие в боевых действиях британских воздушных сил и за это время сбил много немецких самолетов.

Группкэптен Стенфордтак — один из тех английских летчиков, о которых я сохранил особенно приятное воспоминание. Познакомившись со мной, он предложил обойти вместе с ним аэродром и осмотреть машины. На аэродроме были расположены все более или менее замечательные модели английского самолетного парка. Мы тщательно осмотрели каждый образец. Объяснения такого опытного летчика, каким был мой собеседник, представлялись мне особенно ценными. Они помогали увидеть машину в действии, что, в конечном счете, главное.

Но в этот раз среди самолетов, которые мне показал Стенфордтак, не оказалось самого интересного, из-за которого, в сущности, я и приехал на аэродром «Дагсфорд». Впрочем, Стенфордтак утешил меня, сказав, что истребитель «Вируинт» будет подготовлен к осмотру часа через два.

Чтобы не терять времени, Стенфордтак предложил мне слетать вместе с ним на море — проверить вооружение. Я охотно согласился. Пока мы обедали, техники приготовили нам два самолета «Спитфайер-5»: с пулеметно-пушечным вооружением для меня, с пулеметным для моего спутника.

Небо в этот день было укрыто грядой облаков, и, набрав высоту, мы поднялись выше них. Казалось, что мы идем над необъятной снежной равниной. Скоро вдали, над самым краем этого снежного поля, мы увидели чут

метную кропотливую работу самолета. Решив, что это самолет врага, мы пошли вслед. Вскоре мы достигли его и были приятно обрадованы, увидев на плоскостях unmistakable знаки британских воздушных сил. Это был двухмоторный английский бомбардировщик «Бленхейм». Поравнявшись, мы приветствовали его покачиванием крыльев, потом отчалили и устремились к восточному побережью Англии. Теперь мы шли парой, близко придвинувшись друг к другу. Сквозь окна кабины я видел веселое лицо Стенфордтака. Изредка снежная равнина облаков обрывалась, и мы могли рассмотреть землю. На фоне ее четко проступали очертания военных аэродромов.

Незадолго до того, как мы пересекли линию берега, на горизонте обозначилось ярко-белое облачко. Это верный признак близости моря. Не прошло и четверти часа, как мы очутились над ним. Северное море отливало такой ясной синевой, что казалось до краев напоенным щедрым приморским солнцем. Над беспредельным его простором кружили светлокрылые чайки. Мы углубились в море на 25—30 миль и, выйдя в район стрельбы, определили цель. По условному знаку Стенфордтака мы перевели свои машины в пикирование и приступили к делу. Используя तो пушку, то пулемет, я сделал три захода и, парасходявав боеприпасы, удалился в сторону, наблюдая за стрельбой английского летчика. Стенфордтак владел машиной безупречно: в его умелых руках «Синтфайер» показывал чудеса точного истребительного маневра. По существу этим определялся и успех атаки летчика. Нацупав цель, Стенфордтак безошибочно выходил к ней и, когда открывал огонь, буквально обсыпал цель пулями. Я хорошо видел, как пули дожились кучно и точно, оставляя в воде кипящий след.

Мы возвращались с моря, приблизившись друг к другу крыло в крыло. Если смотреть на такой полет издали, то кажется, что самолеты идут в небе взявшись за руки. Когда синяя громада моря осталась позади, я, взглянув на корпус машины моего спутника, заметил светлую маслянистую полосу, которая неширокой дорожкой протянулась от носовой части машины к хвостовому оперению. Опасаясь за исправность маслопровода самолета Стенфордтака, я сигналом дал знать ему об этом. Стенфордтак ответил по радиотелефону, что пока-

зания маслоизмерительного прибора нормальны. Потом оказалось, что машину слишком щедро заправили маслом.

Когда мы вернулись на аэродром, истребитель «Вируинт» был уже готов к осмотру. Но прежде чем ознакомить меня с машиной, меня познакомили с человеком, который принял участие в ее создании. Это был выдающийся английский летчик-испытатель Манрой. Я увидел коренастого человека с мощным корпусом и короткими сильными ногами. У него было круглое лицо и неторопливая, несколько косолапая походка. Несмотря на то, что человек этот был немного угловат и даже тяжеловесен, во всей его крупной и крепкой фигуре чувствовалась умелость большого мастера, сноровка и ловкость.

Глядя на «Вируинт», казалось, что Манрой вложил в него много своих черт. Внешне самолет производил впечатление большого, крепко сколоченного существа: круглая, слегка скошенная балка фюзеляжа лежала на прочных крыльях, мощные моторы машины были вынесены несколько вперед, стабилизатор настолько поднят по киллю, что я с трудом доставал верхнюю его часть.

Мы подошли к самолету вместе с Манроем. Летчик хотел было обстоятельно рассказать о своем детище, но запнулся, безнадежно махнул рукой и решительно двинулся к самолету, сказав только:

— Сейчас вы сами его оцените...

И вот эти два симпатичных «медведя», как называли бы их наши летчики, показали нам такое, отчего у нас захватило дыхание. Самолет пробыл в воздухе всего десять минут. Эти десять минут Манрой играл машиной. Казалось, что в его умных руках машина потеряла вес, обрела эластичную форму. Прodelав основные эволюции, Манрой выполнил «номер», который, как мне сказали, разрешается делать только ему, да и то лишь в исключительных случаях. Манрой снизился до высоты 400 метров и, вогнав самолет в крутое пики, на страшной скорости понесся к земле. Он заставил машину принять горизонтальное положение в 30 метрах от земли, потом обернул самолет вдоль его продольной оси, развернулся, выпустил шасси, сел.

Время нашего отъезда приближалось, но я не хотел покинуть аэродром, не попрощавшись с Манроем. Мы уже со-

бирались идти к ангарам, где, по моему мнению, должен был находиться Манрой, как поодаль показался велосипед и на нем летчик.

Мы выразили летчику свое восхищение, заметив, что летчик и самолет достойны друг друга.

На следующий день, едва рассвело, мы снова отправились на «Дагсфорд». Наша машина подъехала к воротам аэродрома раньше, чем часовые успели убрать поставленные на ночь металлические противотанковые препятствия.

Ворота распахнулись, часовой проверил документы и пропустил нас на аэродром. Стенфордтак и Манрой встретили нас, как старых друзей. Новый экземпляр самолета еще не прибыл, и я решил пока что ознакомиться с теми английскими или американскими самолетами, с которыми еще не успел познакомиться в Англии. К сожалению, никаких машин, кроме старого «Томагавка», на аэродроме в этот момент не оказалось. В течение часа я выполнил на «Томагавке» восемь полетов. Когда я их закончил, ко мне подошли мои английские друзья, и Манрой, очевидно, желая узнать мое мнение о самолете, шутя спросил:

— Как вам нравится этот «топор»?

Я сказал, что «Томагавк», повидимому, не новейший американский истребитель, но что мне нравится система руководства огнем и простота управления.

Пока мы разговаривали, на аэродроме приземлился новенький «Вирунт». Солнце щедро освещало свежеекрасивые его плоскости, ворошеую сталь его фюзеляж и пулеметов. Когда мы подошли к машине, из нее быстро выбрался молодой лейтенант с гербом «Аэрофорст» на пилотке. Увидев у самолета чужих людей в незнакомой форме, молодой летчик сначала растерялся и обвел нас унылым, недоумевающим взглядом. Но все это продолжалось до тех пор, пока он не разглядел в толпе Манрой. Не обращая ни на кого внимания, лейтенант с радостным воплем бросился к маститому летчику. Когда же Манрой познакомил его с «русскими офицерами», летчик пришел в неописуемый восторг. Узнав о том, что мне предстоит совершить на его машине несколько полетов, он заявил, что сам покажет русскому летчику принципы управления машиной. Я с радостью воспользовался любезностью лейтенанта и с восхищением наблюдал, как он шумно возился во-

круг меня, стараясь сообщить как можно больше сведений о своей машине. Глядя на этого простого и веселого юношу, я думал, как неправильно традиционное представление о замкнутости и чопорности англичан.

На ознакомление с самолетом мне понадобилось не больше часа, и скоро моторы «Вирунта» увлекли меня вверх. Я начал полет с того, что проверил устойчивость самолета на высоте 4000 метров. Затем я проделал на новой машине весь цикл фигур высшего пилотажа и даже вогнал ее в штопор, из которого она, сделав виток, быстро вышла. После этого я выключил один мотор и попробовал выполнить несложный маневр — самолет вел себя безупречно. Не включая мотор, я попробовал набирать высоту — сердито подергивая рулями, машина лезла вверх. Последовательно то увеличивая, то сокращая количество оборотов мотора, я снова в снова вводил самолет в пики — машина вела себя безупречно. Во время одного из пикирующих полетов я выровнял самолет и заметил при этом, что он имеет совсем небольшую осадку. В заключение я проверил, насколько удобно пользоваться вооружением машины; оказалось, что самолет устойчив в стрельбе, хорошо наводится на цель.

Когда я возвратился на землю, Манрой встретил меня обычным вопросом: — Ну, как вам понравился мой «топор»?

Я ответил ему в том же тоне:

— Этот «топор» рубит крепко, особенно если его опустить на голову врага.

VI. САМОЛЕТ НЕСЕТ ТОРПЕДЫ

Через несколько дней я снова посетил аэродром «Дагсфорд». У кромок летного поля стояли шумной толпой летчики-испытатели и изощрялись в остроумии, глядя на неловко забирающийся в небо автожир. Еще издали я разглядел в толпе долговязую фигуру Стенфордтака. Завидев меня, он вышел навстречу, приветливо поздоровался и, указав рукой в небо, где все еще карабкалось бескрылое тело автожира, заметил:

— Полюбуйтесь, как лезет в небо — стрелой! На таком чемодане не страшно сесть на крышу гостиницы.

Только сейчас я заметил на груди Стенфордтака цветную ленточку ордена «Милитер Кресс». Он был награжден на-днях. Я от души поздравил летчика со столь высокой оценкой его трудов и напомнил ему, что он как-то обещал

рассказать мне о своей боевой работе. Дагсфорд так пытался было отделаться шуточной, но потом обещал, что сегодня исполнит мою просьбу.

Самолет, с которым я хотел ознакомиться на аэродроме «Дагсфорд», не был готов к полету. В моем распоряжении было не менее полутора часов, и я решил посвятить их полету на какой-нибудь другой машине. Признаться, я искренно обрадовался, когда мне предложили «Харрикейн». Английские летчики, с которыми мне доводилось беседовать об этой машине, считали «Харрикейн» одной из наиболее удачных отечественных конструкций самодельного истребителя, причем особенно высокую оценку давали его вооружению.

На предварительное ознакомление с самолетом я потратил всего несколько минут, сел в машину и поднял большой палец — интернациональный знак летчиков: «Убрать опорные колодки!» Техники выбили из-под ног «Харрикейна» колодки, и я увел машину в воздух. «Харрикейн» обладает всеми качествами современного истребителя, но не так строг в управлении, как, например, «Спитфайер». Когда я стал проверять «Харрикейн» на значительных перегрузках, то почувствовал, что мне помаленьку довольно изношенный экземпляр самолета — машина скрипела, потряхивала крыльями. Как только я ввел «Харрикейн» в пики, он бешено затряс рулями, как бы пытаясь вырваться из моих рук. Выравнивая самолет, я оглянулся и увидел, что ветер со свистом вспорол обшивку гортога фюзеляжа и весело замахал ею в воздухе.

Я быстро убавил скорость машины, выпустил шасси и приземлил «Харрикейн». Признаться, в эту минуту мой старенький «Харрикейн» с ободраным гортогом имел далеко не блестящий вид. Я видел, как к самолету подскочил испуганный техник и, увидев разорванную обшивку, крикнул идущему к нам командиру:

— Самолет поломан!

Но его слова не произвели на командира должного впечатления. Командир окинул машину снисходительным взглядом и спокойным, невозмутимым тоном дал технику необходимые указания относительно того, как отремонтировать «Харрикейн». Через час «поломанный» самолет был исправлен.

Когда я снова вышел на старт, там уже стоял самолет, из-за которого я и приехал сегодня в «Дагсфорд». Это был «Бофорт» — один из самых своеобраз-

ных самолетов современной Англии. Нет ни одной машины, которая пользовалась бы в английском народе такой популярностью. В Англии «Бофорт» знают все и в обычной беседе могут снабдить вас исчерпывающими данными об этой машине.

Что же представляет собой этот самолет? «Бофорт» — цельнометаллический моноплан с двумя четырнадцатилитровыми моторами «Таурус». Бесшумность самолета в полете и тихий гул его мотора многие сравнивают со звуком обычной швейной машины. «Бофорт» вооружен лучше всех английских бомбардировщиков. Его быстродходность на небольшой высоте выше, чем у «Харрикейна». При пикировании «Бофорт» достигает 400 миль в час. Экипаж «Бофорта» состоит из четырех человек: летчика, штурмана, радиста и стрелка. Особое преимущество «Бофорта» заключается в том, что он и разведчик, и бомбардировщик, и торпедоносец, и миноносец, т. е. отвечает сразу нескольким задачам.

Были случаи, когда «Бофорт», вернувшись после торпедной операции, брал груз бомб, а сбросив их, возвращался за минами и отправлялся минировать вражеские воды. Наземная подготовка ко всем этим операциям настолько хорошо налажена, что самолет нагружается в течение часа, независимо от перемен в характере груза.

Но, конечно, «Бофорт» полезнее всего как торпедоносец. Англичане называют торпеды «рыбами». Хотя радиус действия торпед измеряется не менее чем 15000 ярдов, торпеду сбрасывают только в нескольких стах ярдов от объекта и на небольшой высоте. Летчик, таким образом, находится в большой опасности, так как подвергает себя на близком расстоянии огню корабельной артиллерии с сопровождающих судов; почти все немецкие транспортные и грузовые суда сопровождаются не менее чем двумя буксирами или тральщиками, превращенными в настоящие иловучие батареи. «Бофорт» летает низко, и потому экипажи этих самолетов предпочитают облачную и бурную погоду, которой другие летчики избегают. Чем хуже погода, тем лучше для «Бофорта». Туман является для него спасительным прикрытием от вражеских орудий.

Общие данные о торпелах «Бофорта», известные всем, приблизительно следующие: «рыба» имеет в диаметре около 18 дюймов и длину приблизительно

17 футов. Скорость ее — 50 узлов. Вес равен полной бомбовой нагрузке среднего бомбардировщика. Когда торпеда достигает воды, скорость ее, разумеется, гораздо выше той, с которой она проходит следующие 50 узлов, так как в это время «рыба» движется со скоростью самолета. Сброшенная торпеда уходит под воду, как пловец, поднимается на поверхность, образуя в воде полунетягу, «мешок», и идет на цель.

Для иллюстрации работы экипажа «Бофорта» можно привести следующий недавний эпизод. Как-то вечером разведывательный самолет командования береговой авиации привез фотоснимок немецкого грузового парохода водоизмещением около 6000 тонн, стоящего с полным грузом во внутренней гавани одного из голландских портов. «Бофорт» был послан с заданием «угробить корабль». Самолет прошел во внутреннюю гавань в полной темноте почти над самой водой; по пути ему приходилось разворачиваться, уменьшать скорость в лабиринтах порта, т. е. двигаться почти как автомобилю. Он летел ниже крыш портовых складов и таможен. Когда торпеда ударила в цель, «Бофорт» взвился вверх и попал в паутину прожекторов, взрывов снарядов и трассирующих пуль. В то же мгновение раздался оглушительный взрыв, и силой его волны «Бофорт» чуть не перевернулся, однако «удержался на ногах», как выражаются английские летчики, и сквозь мощный заградительный огонь умудрился добраться до своей базы.

Интересно отметить, что шумевшая в свое время операция по разгрому итальянских военных кораблей в заливе Торренто была выполнена самолетами того же назначения, что и «Бофорт».

И вот я в «Бофорте».

Может быть потому, что мне давно не приходилось летать на бомбардировщиках, сравнительно небольшой «Бофорт» кажется мне гигантом. Я знакомлюсь с системой управления машины и обращаю внимание на некоторое сходство между «Бофортом» и советским самолетом «СВ». Поднявшись в воздух, я невольно устанавливаю некоторые общие черты и в летных качествах этих машин.

Я выверил поведение машины на пикировании, вираже, некоторых эволюциях и прошел несколько раз с брошенными рулями. Мой первый полет на этой машине продолжался около часа. Потом, обменявшись со Стенфорд-

таким замечаниями о некоторых качествах самолета, я опять ушел в воздух.

На этот раз я пробыл в воздухе несколько дольше. Когда я снова направил «Бофорт» на посадку, то имел уже более или менее полное представление о его летных качествах. По моему мнению, «Бофорт» принадлежит к тем английским машинам, которые, не отличаясь особенными показателями в скорости, удобны в эксплуатации, практичны, а это для такого самолета, как «Бофорт», главное. Опыт показывает, что машина, обладающая такими данными, может прожить годы даже при современных темпах развития авиации.

Когда я, приземлив самолет, выключил моторы, Стенфорд так уже ждал меня. Он предложил мне пойти в Дом офицера подкрепиться. Там я познакомился с полковником американской армии — полным мужчиной лет сорока пяти, со слегка рыжеватым лицом и веселыми искорками в глазах. Отрезвевшаяся, он сообщил, что прибыл в Англию, чтобы выверить в воздушных схватках с врагом боевые качества нового американского истребителя «Аэрокобра». Свои машины он называл «змеями» и при этом, смеясь, добавил, что от их «яда» погибло уже несколько немецких бомбардировщиков.

Когда мы вышли со Стенфордом из Дома офицера, день уже клонился к вечеру. Мы шли через палисадник, аккуратно разграфленный ровными линиями дорожек. На дворе заметно похолодело. В легких пробокших листьях деревьев шумел предвечерний ветер. В этой успокаивающей обстановке неукротимо звучал молодой голос Стенфорда. Летчик говорил, что даже мы, люди авиации, не представляем себе, какую огромную роль сыграет наше оружие в исходе войны. Он говорил о молодых летчиках Англии, их любви к авиации, жажде знаний. Я еще раз напомнил Стенфорду о том, что он обещал мне рассказать о своей боевой работе. Стенфорд так немного смутился, помолчал, потом заговорил и вполголоса, изредка осторожно поглядывая в мою сторону:

— Вы же знаете, что я не сделал ничего особенного. Вот хотя бы тот эпизод, о котором все говорят. Помню, когда мы вылетели к морю, никто из нас не знал, есть ли там неприятель. Мы просто летели в надежде нащупать врага и нащупали его над узким горлышком Ламанша. Пять «Ю» шли ниже

Я решил напасть на вожака. Мне удалось подойти к нему сбоку мерсов, потому что встречающий курс на свою же дистанцию. Я подумал, что, впрочем, встречный курс не озаглаивал времени на размышления. Мне оставалось только честно использовать мощь своих четырех пушек. Фашиста, конечно, сбили. Я видел, как он врезался в воду и тонкая струя дыма метнулась в небо... Ну вот и все... Но я не вижу в этом ничего необычного. Уверяю вас, что наши русские друзья отправляют гитлеровцев на тот свет с немалым искусством.

Я смотрел на Стенфорда и думал. «Английский летчик даже не подозревает, насколько он прав».

VII. «РУССКАЯ ТАНКОВАЯ НЕДЕЛЯ»

Незадолго до открытия «недели танков» всю английскую прессу облетела телеграмма о первой успешной операции наших войск в этой войне. Речь шла о разгроме 39-го танкового корпуса немцев на подходах к Минску. Английская пресса уделила этому событию огромное внимание, посвятив ему, кроме обычных телеграфных сообщений своих корреспондентов в СССР, несколько статей военных специалистов. Во всех статьях особое внимание было уделено роли советских танков в разгроме немецкого корпуса. В частности уже тогда многие военные обозреватели английских газет приходили к выводу: если бы СССР имел больше танков, то участь 39-го немецкого корпуса постигла бы и другие соединения гитлеровской армии.

Таким образом, еще до того как Англия заговорила о «неделе танков», многие английские газеты в сущности сказали уже по этому поводу свое слово. Все это оказало благотворное влияние на подготовку общественного мнения к проведению «русской танковой недели», как ее вскоре назвали в Англии.

Говоря о танках, англичане не без гордости произносят: «Наше оружие!» В этом есть свой смысл. Известно, что впервые в истории военного искусства танки были созданы и применены англичанами. Осенью этого года исполняется четверть века с того дня, как первый раз в знаменитом сражении у Камбре появились английские танки. Появление танка как мощного современного оружия в Англии положило начало возникновению своеобразной школы

идеологов «танковой войны». Основные принципы этой школы не выдержали испытания времени, и вряд ли последователи ее имеются еще в Англии. Однако некоторые изречения основоположника этой школы генерала Фуллера пользуются известной популярностью среди военных специалистов Англии и теперь. Английские военные, например, часто говорят: «Бензин сильнее мускулов, сталь крепче костей». Как известно, фраза эта принадлежит Фуллеру; однако английские военные обращаются к ней с несколькими иными целями, чем человек, впервые ее произнесший.

Правда, призвав к жизни могучее оружие современной войны, Англия в послевоенные годы не сразу сумела продолжить эту работу, и многие из боевых качеств, которыми славен сегодня танк, были сообщены ему военными специалистами других стран, в частности СССР. Английские специалисты возвратились к этой работе по существу лишь в последние шесть—восемь лет и, надо отдать им должное, сумели многое сделать, чтобы придать этому делу достойный размах. Знатоки танкового дела, английские офицеры, высоко оценивают новые модели английских танков «Матильда» и «Валентин», считая их скорость, маневренность, вооружение и толщину брони отвечающими строгим современным требованиям.

И вот «неделя танков» открылась. Вся столичная и периферийная пресса Англии широко отметила это событие. Газеты опубликовали обращение к рабочим лорда Бивербрук.

— Все, что мы имеем, будут иметь русские, — сказал Бивербрук. — Вместе с ними мы переживем и солнечные дни, и дни ненастья, и придем к победе.

Английская пресса поместила серию посвященных «неделе» корреспонденций, сопроводив их множеством интересных рисунков. Вообще следует подчеркнуть, что культура рисунка в английской газете очень высока. Помимо всемирно известного Лоу, в Англии много других выдающихся художников-графиков, которые работают только для газеты. «Русской танковой неделе» художники английских газет посвятили многие десятки прекрасных рисунков. Некоторые из них я вырезывал, и к концу «недели» их у меня собралась целая стопка.

Вот чудесный рисунок Лоу. На фоне Ленинграда стоят три танкиста — три богатырски сложенных русских парня. Они пытливо вematриваются на Запад.

Вот рисунок лаконичная подпись: «Они ждут — мы должны дать им танки».

Вот другой рисунок.

На баррикадах стоит работница. У нее строгое русское лицо, за плечами впитовка. Она на минуту оставила свое место на баррикадах, чтобы принять из мужественных рук английского рабочего «букет с танками».

Вообще же английские художники-газетчики охотно работают над «русской темой». Многие из их прекрасных рисунков, посвященных великой отечественной войне советского народа, заслуживают быть собранными в специальный альбом. Особенно хороши рисунки, посвященные обороне Ленинграда, пропущенные искренним уважением к отважным защитникам великого города.

Открытие «недели» было ознаменовано огромным рабочим митингом на одном из крупнейших танкостроительных заводов страны. Вместе с сотрудниками советского посольства на митинг была приглашена наша военная миссия. Группа советских людей прибыла на завод, когда там был объявлен обеденный перерыв. Рабочие быстро узнали гостей из Советской страны. Послышались возгласы:

— Long live the Soviet Russia!

— Да здравствует советская Россия!

Митинг решено было проводить на открытом воздухе. Огромный заводской двор быстро наполнили рабочие. Когда советские люди появились на территории заводского двора, здесь уже стояли только что выпущенные заводом пять танков. Сейчас же после того как митинг открылся, рабочие предложили дать первому из этих танков имя Сталина и тут же нанесли это имя на брону танка. Немедленно здесь была установлена трибуна, и слово было предоставлено нашему послу, товарищу Майскому. Рабочие подошли вплотную к трибуне, некоторые взобрались на танки и, приняв непринужденные позы, кто сидя на корточках, кто полусклонившись, близко придвинулись к советскому послу, принялись слушать. В какое-то мгновение огромная масса людей замерла, тишина воцарилась кругом. Майский говорил негромко, но голос его был слышен далеко. Некоторые из присутствовавших здесь рабочих слушали Майского не впервые. Имя нашего посла популярно в Англии. По приглашению общественных организаций страны он часто бывает на заводах.

Сегодня послы говорили о великой миссии союзников: освободить человечество от коричневой чумы, завоевать своим народам свободу и независимость. Советская Россия нанесла гитлеровской военной машине первые решающие удары, развеяв миф о ее непобедимости. Победа над фашистской Германией будет завоевана на континенте. В данный момент основные силы врага находятся в России. Значит, от успешных операций советских войск зависит наша общая победа. Советской армии должна быть оказана всяческая помощь, в частности самолетами и танками. Задача английских рабочих состоит в том, чтобы и в дни «танковой недели» и в последующее время неуклонно увеличивать выпуск продукции. От этого в конечном счете зависит наша победа.

Рабочие покрыли последние слова советского посла могучими криками «ура» и возгласами:

— Long live our victory!

— Да здравствует наша победа!

Вслед за товарищем Майским с речами выступили представители английского правительства, профсоюзные деятели, рабочие завода. Митинг прошел с огромным подъемом. Рабочие приняли решение: мобилизовать все средства для максимального увеличения выпуска продукции, дать Советской стране как можно больше танков.

Наутро отчеты об открытии «русской танковой недели» появились во многих газетах. «Таймс» дал огромную фотографию митинга на танкостроительном заводе. Фотография запечатлела общую панораму митинга в момент речи Майского. Фигура советского посла дана на фоне танка с тщательно выписанной надписью на броне: «Stalin».

Вечером я побывал в одном из лондонских кинотеатров. В хроникальную часть программы уже вошло несколько эпизодов, посвященных первому дню «недели танков». Зрительный зал с интересом следил, как из широко раскрытых ворот танкостроительного завода шли средние танки. На броне их было начертано: «To Russia», т. е. «В Россию».

Как стало известно потом, английские танки, выпущенные в те памятные дни, прибыли в Советскую страну во время и приняли участие в боях за Москву. Для наших друзей в Англии, много сделавших для проведения «недели танков», это было хорошим сюрпризом. Однако еще тогда многие из

говорили, что «русская танковая дивизия» — это всего лишь начало большой работы по оказанию помощи СССР, которую следует с еще большей интенсивностью вести дальше. Впрочем, эту же мысль в той или иной форме выражали представители самых различных слоев английского народа. Через некоторое время после окончания «пелен танков» я развернул «Ньюс хроникл» и в отделе «Что мы должны сделать для победы» прочел крохотное письмо в редакцию, которое, на мой взгляд, говорит о многом. Как сообщает редакция, письмо принадлежит доктору маццирату из Льюисхэма. Вот его текст:

«Русский фронт — главный фронт. Наши танки и самолеты должны быть посланы туда».

VIII. НА СТАНЦИИ НОЧНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

Приближался вечер, когда двухмоторный «Хавеланд-Рапид» доставил нас на аэродром ночных истребителей. Не успели мы ступить на влажную траву аэродрома, как где-то совсем близко раздалось громкое приветствие. Оглянувшись, мы увидели двух английских летчиков. Первый, старший на вид, с темным, загорелым лицом и богатырским сложением, отрекомендовался Вильямом Спэдрон — начальником станции ночных истребителей и представил нам своего спутника — командира эскадрильи, белокурого здоровяка с веселыми, доверчивыми глазами. Позднее мы узнали, что командир эскадрильи, канадец, прибыл в Англию в первый же день войны. На станции он возглавлял группу канадских летчиков.

До полной темноты оставалось не менее получаса. Командир решил воспользоваться этим и показать нам разбивку ночного старта, познакомить нас с самолетным парком станции — ночными истребителями «Дифант». Мы быстро осмотрели старт и направились к машинам. Перед нами возникли черные компактные самолеты-истребители с сильным корпусом и тонкими крыльями. Самолет рассчитан на экипаж в два человека — летчика и стрелка. Оснащенный мощным пулеметно-пушечным оружием, он позволяет экипажу вести круговой обстрел. Если стрелка ранят, то летчик, при известном напряжении, может управлять его пулеметом. Самолет обладает малой посадочной скоростью — очень ценное свойство, ко-

торое облегчает приземление в сложных ночных условиях.

Окончив осмотр «Дифанта», мы отправились на командный пункт. По дороге начальник станции сказал, что до вылета «ночников» остается три часа, ночью предстоит большая работа и нам полезно подкрепиться. За столом завязалась оживленная беседа. Канадец оказался приятным собеседником. Он много путешествовал, отлично знал американский материк, особенно северную его часть. Впрочем, когда разговор коснулся советского Севера, канадец обнаружил не меньшие знания. Он с глубоким уважением говорил о работе советских летчиков на Севере, об их смелых полетах в глубь арктического бассейна и при этом не без удовольствия произносил имена выдающихся людей советской авиации. Про Чкалова канадец сказал:

— Чкалов — русский Колумб. Все русские летчики происходят от него.

Но вот разговор зашел о боевой деятельности советских летчиков в этой войне. Англичане засыпали нас вопросами. Когда мы на них ответили, начальник станции ночных истребителей поднял тост за процветание русской авиации и здоровье ее мужественных летчиков.

— Вся английская авиация твердит о храбрости боевой работе ваших летчиков, — сказал он.

По просьбе английских офицеров, мы научили их нескольким русским словам. В их устах русская речь приобретала особый смысл. Английские летчики понимали это и вместо английских слов: «Our peoples», «Our friendship» и «Our victory» — с гордостью произносили по-русски: «наши народы», «наша дружба», «наша победа».

Когда мы поднялись из-за стола, англичане предложили нам обменяться сувенирами. К сожалению, мы не подготовились к этой, принятой на Западе, церемонии. — Сколько мы ни рылись в наших карманах, мы не могли обнаружить ничего сколько-нибудь похожего на сувенир. Но наши хозяева нашли и тут. Окинув нас внимательным взглядом, они заявили, что сувенирами могут служить наши военные пуговицы с изображением эмблемы Красной Армии. Едва было сделано это открытие, как началась охота за нашими пуговицами. К счастью, начальник станции своевременно умерил пыл своих офицеров. Увидев, что охота за пуговицами может поставить нас в

очень неудобное положение, он дипломатично предложил перенести эту церемонию на следующую встречу.

Ужин кончился. Мы покинули командный пункт. На пороге нас встретил звездный вечер, по-сентябрьски свежий, ветренный. Мы сели в машины и направились на аэродром. Лимузины с затемненными фарами бесшумно шли по ровному шоссе. То и дело по обочине дороги возникали призрачные тени высоких деревьев, на поворотах тускло поблескивали наружные знаки, и убегали далеко в ночь светлые полосы шоссе-ных дорог.

Но вот мы снова на аэродроме. До вылета осталось 30 минут. Мы идем к небольшому зданию. Перед широким выходом возвышается прочная стена из железобетона. Она предохраняет вход на тот случай, если рядом разорвется бомба. Мы обходим стену и, пройдя узкий коридор между ней и фасадом дома, входим в помещение. Командный пункт находится в комнате, три стеклянные стены которой выходят на аэродром. Стеклянные стены пересекаются в разных направлениях проводами — это антенны радиотелефона. Если откажет проволочная связь, офицеры обращаются к радио. Рация самолетного типа находится тут же.

В комнате один стол. Когда мы вошли, за ним сидел начальник штаба станции — капитан английской авиации. Познакомившись с нами, он информировал нас о том, какие задачи командование поставило перед летчиками станции на сегодняшнюю ночь.

Когда мы прибыли на старт, техники работали над подготовкой машин к ночным полетам. Машины должны были покинуть аэродром минут через 20—30, но летчики еще не выходили из дежурной комнаты. Командир предложил пройти туда. Комната освещалась густосиним светом, но в ней было так же плохо видно, как и за порогом дома. По голосам, которые раздавались рядом с нами и поодаль, мы поняли, что в комнате находится человек десять. Когда глаза несколько освоились с темнотой, мы разглядели летчиков. Они отдыхали, играли в пашки, металы стрелы в диск или рассматривали иллюстрированные журналы. Те, которые должны были с минуты на минуту вылететь, были в специальных очках. Внимательно осмотревшись, мы увидели, что находимся в довольно просторной комнате. На стенах висели плакаты с силуэтами вражеских самолетов,

над дверью был установлен репродуктор, через который отдавались приказания с командного пункта.

Отсутствие света не помешало английским летчикам разглядеть на форму советских воздушных сил. Англичане быстро окружили меня и с шумными приветствиями стали спрашивать, даю ли я прибыл в России. Начальник станции сказал, что я нахожусь в Англии более месяца и уже летал на английских истребителях. Летчики хотели знать, какое впечатление на меня произвели полеты на их отечественных самолетах-истребителях, и просили обязательно сравнить их с советскими «Мигами».

В разгар нашей беседы в репродукторе раздался голос дежурного — летчиков вызывали на аэродром. Они бегом направились к своим машинам. За ними вышли и мы. Еще не дойдя до стоянки, мы слышали рев нескольких «Мерлинов». В освещенных кабинках уже сидели летчики. В некоторых из них я узнал своих собеседников. Проверив приборы, летчики погасили в кабинках свет, и «Дифнант» погрузился в темноту. Только голубоватые языки пламени и равномерный рокот моторов напоминали о самолете.

Летчики приняли команду по радио: «На взлет!» Один за другим самолеты пошли мимо нас и медленно исчезли в темноте. По рокоту моторов и быстро бегущей огневой полосе выхлопа мы могли следить за движением истребителей.

Воздушный патруль ушел в ночь, и аэродром притих, насторожился. Летчики покинули землю на добрых два часа. Мы проходим в укромный уголок аэродрома и возобновляем нашу беседу.

Начальник станции говорит о трудной и вместе с тем увлекательной работе своих летчиков. Станция ночных истребителей создана уже во время войны. В Англии таких станций несколько. Они укомплектованы наиболее квалифицированным составом летчиков британских воздушных сил. Среди летчиков, наряду с уроженцами метрополии, много выходцев из английских доминионов. На этой станции тридцать процентов личного состава — канадцы. Англичане придают большое значение ночным полетам. Они стараются не перегружать пилотов дневной работой и тренируют их в предутренние и предвечерние сумерки и ночью. Зрение летчиков находится под непосредственным

блюдепнем военного врача, который идет также за тем, чтобы летчики строго выдерживали специально установленный для них режим в работе. Одышке, питанию. Мне говорили, что для питания почников в изобилии используются овощи и фрукты. Английские военные врачи находят, например, что употребление больших доз моркови благотворно влияет на зрение летчиков-почников.

Опыт показывает, что самая трудная задача в работе почника — это найти противника. Острое зрение является неоценимым качеством ночного истребителя. Этим и объясняется внимание, которое уделяют врачи зрению почников.

Наша беседа продолжалась уже два часа. Все нарастающий звук авиадвигателя известил нас о возвращении почников. Когда рокот мотора возник над нами, в небе вспыхнули два небольших солнца — это условные позывные. Самолет запрашивал землю о посадке. Ему ответил авиамаек — в небе вспыхнула огненная зарева и мгновенно погасло. В темноте снова возникли два маленьких солнца, и снова по почному небу польхнуло зарево. Переговоры между самолетом и маяком были долгие. Они закончились тем, что на темном поле аэродрома появилась цепочка огоньков: это летчикам указали место посадки. Земля приняла самолет. Мимо нас, затемняя мерцающие лучи светлячков, пронеслась его громада.

Начальник станции стоит рядом со мной. Он провожает каждую возвращающуюся машину внимательным взглядом и опять обращает лицо к небу. Из глубокой тьмы идут все новые и новые машины. Начальник станции ведет счет: — Вторая... Четвертая... Пятая...

Но вот беспредельная тишина обнимает аэродром и небо. Проходят минуты. Начальник станции испытующе всматривается в ночь и твердит:

— Пятая... Пятая... Пятая...

Мы знаем: в небо ушло шесть машин, вернулось пять. Где еще одна машина? Начальник станции вынимает часы. Ему хорошо известен запас горючего на самолете. Если минутная стрелка пересечет роковую линию, значит самолет произвел вынужденную посадку или...

Летчик поднимает лицо к небу, считает минуты, секунды... Острый слух его улавливает чуть слышный звук мотора. Он все пристальнее всматривается в тьму и замечает сначала неясно, потом все отчетливее, как на фоне иссиня-черного неба прорезается голубо-

ватый язычок пламени. Начальник станции облеточно вздыхает и говорит:

— Шестая...

— Все!

Но только он произносит заветное слово, как в ночное небо поднимаются новые самолеты.

Воздушные часовые идут на восток, к Ламаншу. Там на пути вражеских орд непреодолимым препятствием встала узкая полоска воды. Летчики устремяются к ней.

Канал стал линией обороны.

Наши союзники владеют им и днем и ночью, на воде и в воздухе и с большим правом, чем когда-либо, называют его британским.

IX. АНГЛИЙСКИЕ ЛЕТАЮЩИЕ КРЕПОСТИ

Я приехал на станцию тяжелых бомбардировщиков в тот момент, когда туда возвращались корабли из налета на заводы «Фнат» в Турине. Начальник станции Бусман стоял посреди летного поля и оживленно беседовал с только что вернувшимися на аэродром летчиками. Нас он принял тут же и познакомил с пилотом.

Бусман по призыванию и складу — типичный бомбардировщик: неторопливый, немного грузный, обстоятельный, привыкший действовать наверняка. Он невысок, но крепко и хорошо сложен. Говорит медленно, раздельно, очень скуп на жесты, прибегает к ним только тогда, когда говорит о чем-нибудь очень важном. Так, он в первый раз сделал движение рукой, когда сказал, что его части сегодня обрушили на итальянские заводы 20 тонн бомб.

Решив сразу же ввести меня в курс дел, он направился вместе со мной к стоянке самолетов. Здесь тесными рядами стояли грозные двухмоторные монопланы с причудливо выраженным двухкилевым управлением. Из круглых башен кораблей смотрели в небо вороненые стволы пулеметов. Около одной из машин работало не менее шести техников. Мощные четырехлопастные винты, до сих пор неподвижные, быстро завертелись, и далеко побежал ветер, пригнал траву. Начальник станции познакомил меня с экипажем и пригласил в самолет. Я попросил разрешения надеть комбинезон, заметив, что вряд ли мне удастся выйти из самолета до того,

как оп лететь на землю. Через весь самолет мы прошли в кабину пилота. Бусман дал очень обстоятельные объяснения и сообщил мне все, что относится к управлению мотора и оборудованию кабины самолета.

Когда я подавал сигнал «субрать опорные колодки», в самолете, кроме обычного экипажа, находилось еще несколько пассажиров.

Я плавно оторвал самолет от земли и пошел на высоту, имея скороподъемность 7—9 метров в секунду. В воздухе самолет показал себя устойчивым и послушным в управлении. Несмотря на сравнительно большой полетный вес (25 тонн), самолет на различных эволюциях управлялся без особого труда одной рукой. Испытав, как ведет себя машина на всех режимах полета, на одном и двух выключенных моторах, я дополнительно выверил некоторые ее качества на длительном пикировании, брющем полете. Чем дальше продолжался полет, тем отчетливее у меня складывалось мнение о новой машине. Я безусловно имел дело с одним из лучших современных бомбардировщиков этого типа.

Когда основные качества машины были определены, я развернул машину в спокойной воздушной тропой пошел к аэродрому. В 10 минутах полета от аэродрома нам повстречался истребитель «Дифиант». У меня возникла мысль провести с «Дифиантом» тренировочный воздушный бой, и я атаковал самолет. Летчик понял мое намерение, принял вызов, и в воздухе началась воздушная схватка истребителя и бомбардировщика. Замечательная маневренность «Манчестера», способность его работать то на одном, то на другом моторе давали мне некоторые преимущества в схватке с «Дифиантом». Нагоняя истребитель и перегоняя его, крутясь на виражах и пикируя, я перебрасывал свою машину из одной эволюции в другую с такой легкостью, словно имел дело с истребителем. Признаться, я так увлекся боем, что забыл про своих пассажиров. Возможно, что я продолжал бы полет в таком же стиле и дальше, если бы в кабину не пробрался капитан Уилтон и не сказал встревоженно:

— Довольно так пилотировать! — И, указывая внутрь фюзеляжа, добавил: — Там все побились!

После такого заявления полет, разумеется, пришлось прекратить, и я

направил машину на посадку. На самолета я вышел последним — не хотелось расставаться с чудесной этой машиной. Прощаясь с экипажем самолета, я заметил, что некоторые из членов имеют довольно помятый вид. На мой вопрос, как себя чувствует экипаж, один из стрелков ответил:

— Very good! — И при этом показывал на садящуюся.

Несколько дней спустя меня познакомили с знаменитым «Стирлингом» — четырехмоторным воздушным кораблем, который англичане называют «Богом британской авиации». Размеры этой машины поистине необычайны: размах крыльев — 33 метра, длина — 27 метров, высота — 14 метров, полетный вес — 47 тонн. Что же касается грузоподъемности, то, по данным печати, она выше, чем у американского бомбовоза «Летающая крепость». Мы узнали, что «Стирлинг» поднимает бомбовый груз, равный грузоподъемности трех-четырёх «Веллингтонов» или целой эскадры «Бленхеймов». Самолет обладает мощным вооружением. Его огневые точки установлены в башнях, расположенных в хвосте, в носу, в фюзеляже. Мне рассказывали, что летно-тактические данные и мощное вооружение позволяют «Стирлингу» успешно противостоять трем фашистским истребителям. Самолет создан для удара по глубоким тылам врага — горючего для этого у него вполне хватает.

Я подошел к машине и начал внимательно ее осматривать. Она подавляла меня своими огромными размерами. Случайно встав рядом с колесом корабля, я обнаружил, что оно выше меня ростом. Потом я вошел в машину и прошел из одного конца в другой. Просторный проход в фюзеляже был похож на коридор — я мог идти во весь рост, не сгибаясь.

Мне никогда не приходилось летать на такой машине, и я попросил летчиков подробно ознакомиться с устройством кабины и управлением самолета. Инструктаж шел довольно быстро, и, опробовав моторы самолета, я сказал англичанам, что готов начать полет.

Отрулив на самую границу взлетного поля, я осторожно сдвинул все четыре сектора мотора. Самолет рванул всем корпусом и, пригнывая густую траву, плавно пошел вперед. Мне, привыкшему к быстрому взлету истребителей, время, ушедшее на разбег «Стирлинга», показалось целой веч-

достью. Уже совершенно ясно обозначилась противоположная граница аэродрома, а самолет все катился по полю и норовил уйти вправо. Но вот машина в воздухе, и я спокойно убрал шасси. Достигнув высоты 3000 метров, я освоился с пилотированием машины на различных режимах полета. Самолет, который на земле подавлял меня своими размерами, теперь был игрушкой в моих руках, правда подчас не совсем послушной. Ложась в крутой вираж, «Стирлинг» недовольно потряхивал хвостом, а когда я, выключив моторы, принимался бросать его из одного виража в другой, он сердито дергал элеронами. И все-таки ощущение обладания самолетом было сильнее всего: в тот момент, когда пять тысяч механических коней подхватили меня в заоблачных высотах и, покорные моей воле, почти по отвесной прямой обрушили вниз. Способность пикировать и была, пожалуй, самым замечательным летно-тактическим качеством этой огромной машины, именуемой самолетом.

Когда я, вернувшись на землю, покинул машину, меня обступили летчики, наблюдавшие за полетом. Здесь же были и все восемь человек экипажа «Стирлинга», летавшие со мной. Обмениваясь впечатлениями о полете, летчики в частности заметили, что мне сравнительно быстро удалось выверить основные качества самолета. Сначала один из них назвал было мой полет «рискованным», но тут же добавил:

— Для летчика, желающего точно знать, на что способна машина, это допустимо...

Большинство из присутствовавших летчиков участвовало в боях за Атлантику, и разговор, естественно, коснулся этой темы. По словам летчиков, «Стирлинг» используется для ударов по вражеским кораблям не первое лето. Немцы зовут «Стирлинг» «воздушным мамонтом» и опасаются встречи с ним в воздухе. Летчики рассказали мне несколько эпизодов воздушных боев «Стирлинга» с немецкими истребителями. Мне особенно запомнился один из этих боев. Вот оп. как я сумел сохранить его в памяти.

Однажды два «Стирлинга» разыскивали вражеские суда у берегов Голландии. Они заметили над Дюнкерком немецкие корабли. Командир эскадрильи сбросил бомбы и сразу увидел поднымающую навстречу шестерку «Мессершмиттов-109». Он стал навлекать их на себя, чтобы дать возмож-

ность второму «Стирлингу» спокойно сбросить свой груз на суда врага.

Три «Мессершмитта» атаковали самолет командира сверху: один — сзади, два — с боков. Стрелок, сидящий в хвосте, сбил первый из атакующих истребителей, и тот упал, охваченный огнем. Второй «Мессершмитт» пикировал на «Стирлинг», но неудачно. Тогда пилотирующему «Стирлингу» летчику удалось развернуться, и он устремился за немцем. Вероятно, в ту минуту на всем свете не было более изумленного человека, чем немецкий летчик. Это был совершенно необычайный в истории авиации бой, когда громадный четырехмоторный бомбардировщик гнался за «атакующим» истребителем.

Английский летчик пикировал с высоты 5000—6000 метров над уровнем моря и все время пристранялся к хвосту врага. Это был вполне нормальный поединок: летчик пилотировал, передний стрелок стрелял. При пикировании «Стирлинг» делал 300 миль в час. Стрелку удалось попасть в «Мессершмитт», и, объятый пламенем, вражеский самолет свалился в море.

Между тем второй «Стирлинг», невзирая на атаки трех «Мессершмиттов», бомбил немецкие суда. Сбросив последнюю бомбу, пилот вогнал свою машину в пики и, развивая до 400 миль в час, помчался вниз. Истребители ринулись за ним, но один из них был сражен огнем заднего стрелка «Стирлинга», а затем и второго постигла та же участь.

После этого необычайного случая, когда два бомбардировщика расправились с четырьмя из шести вражеских истребителей, оба «Стирлинга» спокойно развернулись и полетели на свою базу...

Я пробыл на аэродроме до вечера. Густая тьма покрыла летное поле. Внезапно белый косой луч прожектора упал на аэродром, и я увидел мощные корпусы «Стирлингов», готовые к взлету. Через минуту, когда луч прожектора снова упал на поле, «Стирлинги» начали разбег. Они покидали землю один за другим и уходили в ночь. Не прошло и получаса, как в штабе были получены первые раднотеши: «Английские самолеты только что пересекли море и появились над континентом».

«Стирлинги» шли на юго-восток, к средиземноморскому побережью, к военным объектам Италии.

Х. Воздушные разведчики

В один из ясных солнечных дней лондонской осени, которых, кстати сказать, здесь не так много, штаб воздушного министерства пригласил меня посетить свой специальный аэродром.

Как мне сообщили, на нем базируются только воздушные разведки.

Мне приходилось много слышать о работе английских воздушных разведчиков, и я, признаюсь, не без удивольствия принял это приглашение. Сопровождаемый моим всегдашним спутником, капитаном Уильямом, я вскоре выехал на аэродром, расположенный в живописной местности лондонского района. Меня приветливо встретил командир станции и коротко ввел в курс своих дел.

— Мои летчики очень любят свое дело, — не без гордости говорил он. — Они с сожалением покидают мою часть, когда командование их переводит... Разведывательные полеты — это почетная и ответственная работа, и от нее зависит успешность той или иной операции, предпринимаемой верховным командованием. Только данные, зафиксированные на пленке, являются документальным подтверждением виденного. Только фоторазведка признается верховным командованием. А поэтому лучшие английские боевые самолеты специально оборудованы для выполнения разведывательных функций и приданы нашей части.

Англичане действительно уделяют воздушной разведывательной службе огромное внимание. Еще до войны была создана часть воздушных разведчиков, укомплектована высококвалифицированными летчиками, снабжена лучшими по тем временам самолетами — истребителями и легкими бомбардировщиками. В процессе своей работы разведывательная часть накопила известный опыт, выработала ценные методы фоторазведки и радикально переоборудовала свой самолетный парк, приспособив самолеты к длительным полетам, увеличив радиус действия истребителей в два-три раза.

Станция разведчика — сложная метеозащитка. Ночь, туман, облачность — вот дополнительный арсенал вооружения летчика-разведчика. И английские летчики, умело пользуясь покровом ночи или тумана, выполняют самые опасные дальние полеты и остаются неуловимыми.

За время войны воздушные разведчики приобрели значительный опыт.

Они ежедневно летают на сверхскоростных птицах в глубины тыла врага, отыскивая военные объекты, фиксируя их на пленку. По их следам идет английская бомбардировочная авиация и бомбит военные объекты.

Всегда готовые к длительному полету в глубокий тыл противника, английские летчики уверены в своих машинах. Уверенность эта опирается на высокие качества самолетов. Английские разведчики верят своим машинам не без основания: за все время работы части из сложных боевых полетов не вернулось очень немногих машин. Что же касается потери одного из-за сложности метеорологической обстановки, то и она очень редка, и в среднем приходится одна на 60 вылетов.

Летчики показали мне свои скоростные, окрашенные в белые, синие и с рые цвета, самолеты. Мне показали «Спитфайер», покрывающий расстояние до 2000 миль. Самолет несет на себе разнофокусные фотоаппараты, могущие зафиксировать до 400 миль маршрутного пути. Для фотосъемки на различных скоростях на самолете установлена автоматически действующая по времени аппаратура.

На этой же станции я познакомился с одной из последних новинок английского воздушного флота — mosquito разведчиком, двухмоторным самолетом размером с наш «СБ», построенным целиком из дерева. Прекрасные аэродинамические формы этого самолета обеспечили ему большую, чем у «Спитфайера», скорость и примерно такую же маневренность и управляемость. Вдоль время полета на этой машине я был приятно поражен стремительной скоростью, которую развивал «Москито» при относительно большом полетном весе.

Из других типов мне были показаны специально оборудованные самолеты: «Ворфорт», «Бленхейм», «Мартин», на которых производят разведку на низких высотах. Эти самолеты, так же как и «Спитфайер», ничем, кроме окраски, не отличались от своих собратьев, находящихся в других частях. Хорошо организованная разведывательная служба всегда опирается не только на высококвалифицированный летный состав, отличную материальную часть, но и на тщательно налаженную работу обслуживающего персонала: специалистов связи и фото.

Многу уже было отмечено, что английское командование признает только

документальную авиаразведку. Мне неоднократно пришлось видеть фотодокументы разведки. Это были очень четкие, тщательно заснятые и отражательные снимки; все они сопровождались объяснительной запиской летчика, отчетом штаба.

Оформление документации фоторазведки англичане проводят быстро и четко. С прибывшего из разведки самолета берут фотопленку, проявляют ее, просушивают, печатают и дешифрируют. Вместе с объяснительной запиской фотоотпечатки поступают в штаб воздушного министерства через два с половиной—три часа после возвращения самолета. В английской авиации разведывательная служба пользуется всеобщим уважением и вниманием со стороны командования.

Через три дня после посещения воздушных разведчиков я побывал на аэродроме «Дагсфорд», чтобы облететь американский самолет «Аэрокобра». Встретившись со знакомыми летчиками Стенфордтаком и Макдональдом, я поделился с ними впечатлением о разведчиках. В эту нашу встречу летчики рассказали мне много интересного о боевой деятельности воздушных разведчиков. Особенно запомнился рассказанный ими один эпизод. Он произошел с одним из воздушных разведчиков, которого летчики «Дагсфорда» хорошо знали.

К сожалению, мы не можем назвать имя этого летчика, условно назовем его сквадерлидер Н.

Осенью прошлого года сквадерлидер Н., опытный летчик, имеющий за плечами до полусотни полетов в тылу врага, вылетел на голубом «Спитфайере» на Эссен. Самолет шел на высоте 9000 м, был невидим врагу. Поддерживая радиосвязь со своей базой, летчик передал командованию до десятка дешевых разведывательного характера. Километрах в 250 до Эссена земля стала прикрываться облаками. Летчик, спустившись ниже, пробил облака и очутился перед тремя «Ме-109», которые от неожиданности рассыпались, но в следующий момент погнались за «Спитфайером». Английский летчик тотчас же нырнул в облака и оторвался от них. Набирая высоту, сквадерлидер Н. вновь очутился над облаками и немедленно был обнаружен другой парой «Ме-109»: на белом фоне облаков его самолет обозначался особенно четко. Английский летчик отпрянул, пытаясь вновь зарыться в облака. Однако враг

использовал своим огнем повредить самолету правую плоскость и пробить бензобаки. Бензин — живительная влага мотора — белым снопом брызнул из бака. Английский летчик, продолжая питать мотор из поврежденного бака, пошел вслепую обратно на свой аэродром. Достигнув кромки облаков, голубой «Спитфайер» заметил, что враги ожидают его именно здесь, у границы спасающего его тумана. Летчику не оставалось ничего другого, как вернуться и снова нырнуть в облака и, изменив курс, направиться на север. Кстати, сквадерлидер Н. знал, что он может продержаться дольше врага и тем самым уйти от его преследования. Однако течь бака сократила запас горючего, а впереди предстоял еще полет на полной скорости, которая требовала полного газа и, следовательно, большого расхода горючего. Пройдя минут 20 в облаках, английский летчик вновь стал набирать высоту, но в это время мотор тревожно захлопал. Летчик быстро выключил поврежденный бак и перевел питание мотора на исправный.

Когда самолет вновь вынырнул из облаков, то горизонт и зенит были чисты, и сквадерлидер Н., продолжая набирать высоту, повернул на запад. Врагов нигде не было видно, но летчик продолжал упорно идти вверх, как бы желая раствориться в спасительном эфире высоты, и только когда стрелка альтиметра показала 9000 м, английский летчик перевел свой раненый голубой «Спитфайер» в горизонтальный полет. Высота теперь была настолько велика, что нападение сверху просто исключалось. Что же касается атаки снизу, то над «Спитфайером» развернулось чистое небо — такое же голубое, как корпус и плоскости «Спитфайера».

На фоне его английский самолет был невидимым.

И летчик спокойно привел свою раненую машину к родным берегам.

XI. В КУЗНИЦЕ ВОЗДУШНОГО ОРУЖИЯ

Предстояло отправиться в глубь страны, чтобы осмотреть крупный авиационный завод. Теллым августовским утром нам сообщили из министерства авиации: два мощных пассажирских «Локхиды» ожидают нас на аэродроме. Тотчас же автомашины с советскими командирами пронеслись по улицам Лондона от посольства к аэродрому.

На красной линии аэродрома уже стояли два пассажирских самолета «Локхид-Электра». Английские офицеры представили нам экипаж самолетов, и мы заняли свои места. Машины старательно выписали приветственный круг над Лондоном и легли на курс. Мы шли над облаками. Иногда они расступались, и взору открывалась широкая равнина, прорезанная густой сетью железных и шоссежных дорог. Зелени было мало: темные полоски лесов и рощи лежали по берегам рек, вдоль оврагов, окаймляли пруды.

Завод мы узнали издали по пеленьно-сизой шапке дыма над строениями. Когда машина подошла ближе, мы увидели перед собой целое море аэростатов. Они прикрывали завод настолько надежно, что пробиться сквозь них к аэродрому было невозможно. Наши летчики решили совершить посадку на соседнем аэродроме и оттуда уже просить директора принять самолеты.

Так и сделали. Ждать пришлось не более получаса, и когда мы снова поднялись в воздух, то увидели очень любопытное зрелище: в толще аэростатов, прикрывающих завод, образовался коридор, по которому наши самолеты стали осторожно пробираться вперед. Я выглянул за борт самолета. Серебристые колбасы аэростатов пехотой сползали вниз. Некоторые из них успели достичь земли и лениво переваливались с бока на бок, как будто хотели улечься поудобнее.

Но не успели мы выйти из одного коридора, как попали в другой, правда, уже на земле. Стремясь предупредить вражеский воздушный десант, англичане оставили широкое поле аэродрома старыми автомашинами и тракторами, сделав его непригодным для посадки. Чтобы принять нас, пришлось освободить значительную взлетную полосу от многочисленных «Фордов» и «Ролл-Ройсов».

Но вот, наконец, мы стоим перед директором завода — светловолосым человеком лет сорока, с живыми глазами. Один из нас, намекая на трудности посадки, спросил:

— Что, в Англии всегда так встречают желанных гостей?

— Нет, что вы! — ответил директор. — Наоборот! Вы в этом сами убедитесь сегодня.

Мы направились к заводу. Еще с воздуха он произвел на нас грандиозное впечатление. Это целый город

гигантских корпусов, окрашенных в строгие темные тона. Осмотреть завод в один день было, конечно, невозможно, и потому мы решили разбиться на три группы, с тем чтобы каждая ознакомилась с одним каким-нибудь участком завода. Нашу группу возглавлял сам директор.

Но прежде чем разойтись, директор предложил всем вместе осмотреть конструкторское бюро — мозг завода. Мы поднялись на второй этаж одного из корпусов и вошли в огромный зал, расположенный над цехами и занимающий почти весь этаж. Стоя у одной стены, с трудом можно было рассмотреть противоположную. Во всю длину зала, в несколько рядов, стояли аккуратные столики работников бюро. И несмотря на то, что за каждым столиком сидел сотрудник, в зале стояла глубокая тишина — люди работали сосредоточенно, углубившись в свое дело.

Директор представил нам главного конструктора завода — небольшого светлорусого человека в скромном темнокоричневом пиджаке. Он оказался интересным собеседником и рассказывал нам много любопытного о работе бюро. По его словам, бюро выполняет в настоящий момент ответственные правительственные задания по модернизации одного из лучших английских самолетов-истребителей.

По выходе из конструкторского бюро мы разбились на группы и разошлись в разные стороны. Нашей группе директор предложил начать осмотр завода с гаража. Признаться, это предложение показалось нам несколько странным, но когда мы вошли в гараж и познакомились с его работой, то почувствовали, что директор прав. Гараж сам по себе не представлял ничего необычного. Это было полутемное помещение с цементным полом и огромными воротами. В тот момент, когда мы вошли в него, там находилось несколько автомашин, которые или ремонтировались, или заправлялись горючим. Но суть заключалась не во внешнем виде гаража, а в его функциях: они заключались в том, чтобы обеспечить переброску нужных заводу деталей, на изготовлении которых работало свыше двадцати соседних предприятий. На выполнение этой задачи дирекция двинула весь свой автопарк. По данным диспетчера, в момент нашего посещения в пути находилось несколько десятков автомашин.

Дальнейший наш путь по заводу соответствовал технологическому процессу. Из гаража мы направились в склады материалов и готовой продукции. Материалы хранились в высоком помещении, уставленном стеллажами; они были тщательно маркированы и распределены в строгом порядке. Склад готовой продукции являлся одновременно и экспедицией: здесь сосредоточивались готовые детали и отсюда направлялись по цехам. В обоих складах нас поразила четкая организация дела при чрезвычайно малочисленном обслуживающем персонале — в складах совершенно нет ожидающих, движение организовано таким образом, что к приходу одной машины обязательно разгружается другая. В склады непрерывно подаются электровозы, быстро нагружаются деталями и устремляются по цехам.

Мы следуем за одним из них. Медный цех оглушает нас грохотом своих гигантских молотов. Цех настолько грандиозен, что издали представляется площадью, закованной в железобетон. Мы проходим добрых 200 метров и достигаем лишь середины цеха. Здесь установлен большой воздухообжимный пресс. Подходим к нему. Он вбирает в себя куски листового дюрала и возвращает их в виде капотов машин. В одной только центральной части цеха работает не менее тысячи человек; каждого квалифицированного рабочего обслуживает чернорабочий, который подает материал, разбирает и увозит готовую продукцию, следит за исправностью инструмента.

Мы быстро осмотрели механический цех и вошли в самый интересный для нас цех сборки новых самолетов. По обе стороны обширного помещения были укреплены самолеты. Чтобы предохранить машины на случай бомбардировки, между ними возведены невысокие, но прочные железобетонные стены. Вообще на заводе приняты самые действенные меры для борьбы с пожарами; через каждые 15—20 шагов установлены огнетушители на тележках, укреплены краны с брандспойтами; много ящиков с песком, и возле каждого лежат перчатки для тушения зажигательных бомб. Работа на заводе не прекращается во время воздушной тревоги, но в случае непосредственной опасности рабочие могут укрыться в убежища, находящиеся тут же в цехе, рядом с самолетами.

Нам предложили ознакомиться со всем процессом сборки машин. Когда мы вошли в цех, у истоков конвейера уже находились фюзеляж и хвостовая часть будущего самолета. Рабочие приступили к стыковке; они действовали умело и ловко. Самолет шел по конвейеру, и на нем укреплялись моторы, к нему подвешивались крылья, ставилось оборудование, арматура. И перед нами возникала красивая мощная машина. Продолжая свой путь, она вышла из цеха сборки и прошла в следующий, где устанавливается и наводится вооружение.

В тот день в сборочном цехе находилось более ста самолетов, но этой цифрой далеко не определяется производственная мощность завода.

— Наш завод может и будет выпускать значительно больше самолетов, — сказал нам директор. — Сейчас для завода готовятся кадры. Месяца через два число наших рабочих увеличится вдвое. Вот цех, где они будут работать.

И директор показал нам новый цех. Это был огромный зал, еще не вполне оборудованный, но такой же благоустроенный, как и тот, который мы только что посетили.

Нам оставалось еще посмотреть готовые самолеты в воздухе, и мы направились на аэродром. По дороге я взглянул в ангары — они были пусты. Я объяснил это тем, что изготовленные заводом самолеты не задерживаются здесь и немедленно поступают в части. На подчеркнуто ровном поле аэродрома стояла готовая к старту машина. Еще издали мы заметили рядом с ней летчика, одетого в белоснежный комбинезон, какой обычно носят в Англии заводские пилоты-испытатели. Меня познакомили с летчиком, который оказался одним из самых искусных мастеров легкого дела, каких я встречал за время пребывания в Англии. Это был простой, симпатичный парень, белобрысый, с голубыми глазами и такими яркими и крупными веснушками, какие проступают у ребят в солнечные майские дни. Мы с ним быстро сошлись. Он рассказал мне, что работает на заводе больше пяти лет, много летает и в последнее время занимается исключительно отработкой высшего пилотажа на новых самолетах-истребителях. Директор попросил летчика показать машину. Тот быстро вскочил в самолет и прямо от ангара выхрем взмыл в воздух.

Я увидел полет мастера, нашедшего в авиации свое призвание, свою страсть. Он был прочувствован теоретически и вместе с тем давал нам полное представление о самолете. Начался он обычно. Покинув землю, летчик достиг высоты 2000 метров и перевел машину в горизонтальное положение. Он прошелся по горизонтали несколько раз, спокойно, неторопливо, как бы стараясь выверить, насколько надежно работает сердце машины. Летчик обрушил самолет в пике неожиданно и, развивая страшную скорость, понесся к земле. И вот, когда машина достигла наибольшей скорости и, казалось, ничто не могло изменить ее положения в воздухе, летчик обернул ее вокруг продольной оси и, возвратив ей прежнее положение, продолжил неуверенно мчаться к земле. Он выхватил самолет из пике, когда до земли оставалась какая-то доля секунды полета, и, устремившись в гору, скрылся в облаках. Потом так же неожиданно вырвался из пучины облаков, по отвесу помчался к земле, выравнял самолет и на предельной скорости прогудел над аэродромом, повторив в воздухе его границы. Потом он повернул самолет на спину. Машина прошла совсем низко над нами, выбрасывая из своих патрубков маслянисто-черные хлопья дыма. А между тем скорость движения все уменьшалась, и, когда она достигла критического предела, летчик осторожно возвратил машине нормальное положение и лениво, но круто пошел в гору. Затем он развернулся, выбросил шасси и со скольжением на крыло направился к земле.

Мы бросились навстречу самолету. Летчик снова был с нами, веселый, словоохотливый, и только красноты от прилива крови глаза и вздрагивающие руки говорили об его усталости.

Нас пригласили к обеду в общезаводскую столовую. Когда мы вошли в нее, зал был полон рабочих. Мы прошли между столиками, отвечая на приветствия, раздававшиеся со всех сторон. Когда мы добрались до своего стола и уселись, к нам стали подходить рабочие целыми группами. Они запросто подсаживались к нам, как старые друзья или соседи. Мне запомнились седой рабочий с густыми, лохматыми бровями. Он сказал:

— Работаем день и ночь. Подчас бывает трудно, но мы дадим русским самолеты... Больше самолетов... Много самолетов.

В память о нашей встрече некоторые рабочие предложили обменяться монетами, папиросами, причем очень просили, чтобы наши «сувениры» непременно были из Москвы. Помнится, получив от нас папиросы, один рабочий завернул ее в чистый платок и бережно спрятал в карман.

Столовая соответствовала размерам завода — огромный зал мог вместить одновременно не менее полутора тысяч человек. Мы обратили внимание на меблировку — простую, компактную и красивую. Аккуратные столы человек на десять—двенадцать были покрыты светлой клеенкой, укрепленной по краям никелированными ободами. Обед был простой: на первое — картофельный суп, на второе — небольшой кусок мяса с макаронами.

К началу обеда в столовой появился солдатский джаз-оркестр из соседней воинской части. Рабочие тепло встретили солдат. В программу оркестра входили несложные танцевальные номера и современные английские песенки. Особенным успехом у рабочих пользовались советская песня «Сердце» и английская «У меня есть маленькая дочь». Подконец на авансцену вышел весь состав оркестра, и в зале раздались звуки нашей прекрасной «Песни о родине», дорогие сердцу каждого советского человека. Трудно передать, какую бурную реакцию она вызвала у огромной рабочей аудитории. Надо отдать должное оркестру — он исполнил нашу песню с особым подъемом, и, когда закончил, буря аплодисментов потрясла зал.

Наши самолеты поднялись с заводского аэродрома, когда темнота уже спустилась на землю. Плотный покров ночи скрыл от нас очертания заводских корпусов. Но каждый знал, что кузница воздушного оружия работает и ночью в полную силу. И каждый чувствовал, как бьется среди мрака могучее сердце завода-великана.

XII. НА ТРАНСПОРТЕ С ОРУЖИЕМ ДЛЯ СССР

В хмурый октябрьский вечер, когда над Лондоном лежала пелена тумана, я проснулся с английской столицей. Город еще не спал. По тротуару неторопливо двигался нескончаемый людской поток. У подъезда вокзала одиноко мерцал синий огонь. Мы без труда нашли свой вагон, и экспресс помчал нас из Лондона к морю.

Надо было спешить: со дня на день в Англии должен был отойти караван транспортных судов с оружием для СССР, и нам предоставили возможность вернуться на родину с этим караваном.

Поезд шел всю ночь, проходил туннели, наполнял грохотом каменные утробы гор. Я долго не мог уснуть, подошел к окну. Небо было укрыто облаками, далеко в стороне над темной полеской леса самолет нес разноцветные огни.

Мы прибыли в город с некоторым опозданием и тотчас же снеслись с портом. Приготовления к отплытию корабля были закончены, и надо было как можно скорее прибыть на место. Скоро мы увидели наш корабль. Это был мощный современный транспорт — прочный, быстроходный, емкий. Он назывался просто: «Новый город». В знаменательные дни боев за Атлантику он не раз пересекал океан и встречался с врагом лицом к лицу. Мы узнали, что капитан этого судна, Аркрайт, плавает на нем не менее пятнадцати лет.

Это был старый моряк, невысокий, с обветренным лицом и широкими, откинутыми назад плечами. Когда мы вошли на корабль, он стоял на палубе и курил трубку. Капитан Аркрайт принял нас любезно, но сдержанно, даже несколько сурово. После обычных приветствий капитан заметил, что пароход предназначен для транспортных целей и пассажиры не встретят особых удобств.

Мы познакомились ближе, когда корабль был уже в море. Помнится, день был пасмурный, ветренный. Транспортные суда шли в кильватере. Рядом, в сероватой мгле, двигались грозные корпуса сопровождающих нас военных кораблей. Мы встретились с капитаном на спардеке. Он приветствовал нас издали:

— Как устроились русские офицеры?

Я поблагодарил капитана за внимание и просил сообщить, какие вести слышны из России. (Мы знали, что в капитанской каюте установлена рация и Аркрайт всегда был в курсе текущих событий.) Капитан охотно удовлетворил нашу просьбу. Дело было в середине октября, в те дни, когда немецкие атаки на Москву начались с новой силой, и капитан, естественно, завел разговор о защите советской столицы.

— Москва отбивается яростно, — заметил он, — и немцам вряд ли удастся ее смять. Что говорить — русские умеют драться!

В ходе беседы выяснилось, что капитан и прежде бывал в советских портах. Особенно теплые воспоминания сохранились у него о Ленинграде.

— Приятный город, строгий и вместе с тем какой-то душевный, — задумчиво сказал Аркрайт. В его умных, обычно суровых глазах светилась большая сердечная теплота.

Капитан просил русских офицеров обращаться к нему запросто и обязательно известить его хотя бы сегодня вечером.

Но в тот вечер нам не удалось побывать у капитана. Раздался сигнал: «Мины!» И экипаж корабля занял свои места по тревоге. Я тоже был на палубе. В нескольких метрах от борты обозначился рогатый огурец мины. Я видел в эту минуту капитана: он не шелохнулся. Помнится, увидев мину, он проводил ее внимательным, немного лукавым взглядом и, когда она миновала судно, улыбнулся:

— Пронесло!

Потом ткнул трубкой в пролет трюма и, очевидно, имея в виду находящийся там груз, добавил:

— Ничего, доставим это добро русским!

На следующий вечер капитан принял нас в своей каюте. Это была небольшая комната, в одной половине находилась гостиная, в другой за темной шторой — спальня. Гостиная с мягкой кожаной мебелью служила капитану одновременно и рабочим кабинетом. Я обратил внимание на то, что окраска стен его кабинета не соответствует окраске остальных помещений корабля.

На это капитан ответил улыбаясь:

— Мой кабинет отделан заново...

И Аркрайт пояснил свою фразу.

Немцы бомбили корабль много раз, но последняя атака была самой яростной. Бомба врага врезалась в верхнюю палубу и, пройдя каюту капитана, взорвалась глубоко внизу, разворотив внутрь корабля, обсыпав капитана извесью и щепой.

— На другой день, — весело заметил капитан, — немецкое радио потопило мой корабль в своей сводке. А он, как видите, не только держится на воде, но осмеливается даже плыть и везти оружие русским...

В кают-компании за обедом обычно собирался весь офицерский состав корабля, но капитан обедал здесь только по воскресеньям. Его место находилось на дальнем конце стола, рядом с ним сидели его помощники: старший офицер Тар и младший Филиппс. В присутствии капитана в кают-компании всегда царил веселое настроение. Тон в застольной беседе задавал неустойчивый на выдумки старший офицер Тар.

С ним мы сошлись во время плавания особенно близко, может быть, потому, что Тар не раз бывал в России. — последний раз уже во время войны, — знал наши обычаи, понимал наших людей. Тар был достойным помощником своего капитана. Он провел во флоте не менее двадцати лет, пережил много морских катастроф, причем последнюю всего несколько месяцев тому назад. Об этом замечательном эпизоде из жизни Тара нам рассказали офицеры. Корабль, на котором плавал Тар, пустила ко дну немецкая подводная лодка. Среди немногих спасшихся был и Тар. Своим спасением он был обязан железному здоровью и искусству профессионального пловца. Когда мы стали расспрашивать самого Тара, то он отшучивался, говоря, что единственное интересное в этом эпизоде то, что он выбрал для спасения флагманский корабль и предстал перед самым адмиралом в полуобнаженном виде.

А между тем наш корабль исправно шел своим курсом. Я часто поднимался на палубу и внимательно следил за ходом конвоя. Впереди торговых пароходов шел эскорт военных кораблей, на флангах флотилии расположились сторожевые суда. С капитанского мостика флагмана командир эскорта командовал своими судами, как полком солдат. Корабли переговаривались между собой, пользуясь световой сигнализацией.

Меня интересовала охрана эскорта с воздуха, и моряки, не раз ходившие в состав конвоя в Америку, рассказали мне по этому поводу много интересного. Когда конвой идет у берегов Англии, воздушный эскорт обычно несут летающие лодки «Сандерланд». Если же конвой уходит в дальний путь, на борт некоторых кораблей берется по одному-два истребителя. В случае опасности они выбрасываются в воздух с помощью катапульт. Отразив атаку врага, летчик оставляет свой самолет

в воздухе, так как ни одно судно каравана не располагает площадкой, годной для посадки машины. В этом случае оставленный в воздухе самолет гибнет, а пилот спускается на парашюте в море.

Жизнь на корабле текла размеренно — сменялись вахты, били склянки в положенное время, ни минутой раньше, ни минутой позже. А кругом лежала необозримая морская равнина, и в однообразном облике ее моряки увидели приближение шторма. Задолго до его начала по каютам пронеслось короткое слово: «Лег!» Морякам оно говорит многое. «Лег» — это не выскок, но сильная океанская волна, и появление ее на море обычно предшествует шторму. По кораблям была отдана команда: «Ожидается шторм».

Ветер рос неудержимо. Он поднял мощную волну. Зарываясь в морскую пучину, транспорт поднимал корму, и тогда показывались выхваченные из воды то стремительно вращающиеся, то совсем остановившиеся лопасти корабельных винтов. Сумерки быстро сгустились, на воду легла плотная тьма.

Наибольшей силы шторм достиг в полночь. Огромные волны, высотой с трехэтажный дом, одна за другой ложились поперек корабля. Корабль положило на правый борт — самописец отметил крен в 39 градусов! В таком положении наше судно пробыло четыре секунды. На верхней палубе лопнули дюймовые тросы. Ветер разбил находившиеся здесь ящики с грузом и разметал щепы по палубе. Аркрайт вызвал команду наверх. В эту ненастную ночь матросы работали неустрашимо. Команда корабля состояла почти сплошь из индусов. Босые, голые по пояс, они, несмотря на ледяное дыхание шторма, пробыли на палубе несколько часов, стремительно бросаясь то в один, то в другой конец, работая ловко, напористо. Ветер крепчал неудержимо, и ночь была такая темная, что нельзя было рассмотреть поднесенную к лицу руку.

Когда забрезжил рассвет, я поднялся на палубу. Шторм стихал.

Мы шли один.

Я прошел на бак. В сумерках виднелась одинокая фигура капитана. Он стоял неподвижно, несколько сторбившись, устремив усталый взгляд в мглистую даль океана.

Он стоял долго, пока в предрастветной мгле не возникли силуэты

кораблей каравана. Тогда он рывком вынул трубку, оглянулся кругом и подошел ко мне. В нем, повидимому, еще не угасли впечатления ночи и не хотелось оставаться одному.

Мы прошли в каюту выпить утреннюю чашку крепкого кофе.

Капитан опустился в кресло, протянул руку, достал стоявший неподалеку портрет в темнокоричневом багете и поставил его перед собой.

Я взглянул на портрет — на нас смотрел с него юноша с ясным лицом, в форме летчика английских воздушных сил.

Я спросил Аркрайта:

— Кто это?

Капитан, откинувшись в кресле, ответил негромко:

— Сын. Летчик. Который уж год водит воздушные корабли из Америки в Англию...

Потом наклонился к портрету и сказал тихо, как бы прислушиваясь к собственным мыслям:

— Я вот смотрю и думаю: может быть, и он в эту трудную ночь вел свой корабль океаном.

Когда над морем снова взойшло солнце, ветер стих, облачность поднялась, и горизонты как бы отодвинулись от корабля. Караван входил в наиболее угрожаемую зону, и моряки, опасаясь влета вражеских бомбардировщиков, усилили наблюдение за воздухом. Самолетов не было видно — они шли над облаками, но, судя по шуму моторов, курс их лежал напрямик на караван. Люди обращали настороженные взгляды к небу — шум авиационных моторов нарастал неуклонно, но вот слух зафиксировал еле заметный спад, шум моторов начал ослабевать и, наконец, затих совсем.

Но команда корабля была уверена, что враг не оставит попытки разыскать караван и снова пошлет в море разведывательные машины. В один из этих дней по кораблям тревожно пронеслось:

— Самолет!

На горизонте обозначилась продолговатая черточка самолета. Он шел прямо на караван. Моряки обратили на него свои бинокли. Минуту продолжалось молчание, и радостный крик огласил корабль:

— Русский самолет! Звезды! Красные звезды!

Да, это был наш самолет — летающая лодка советских морских летчиков. Она сделала над нами приветственный круг и уже не покидала караван, пока не ввела его в порт.

Но вот брошен якорь, с корабля на пристань перекинут узкий трап. Люди бегут в порт. Все эти дни корабль был для нас островком дружественной Англии. Вероятно, поэтому я мысленно прощался со страной здесь, на корабельной палубе, на судовом трапе. Но прежде чем расстаться с судном, я оглядываюсь кругом. Капитан стоит на баке, строгий, сосредоточенный, как в тот памятный день, когда мы выходили в море. Я смотрю на него, и мне кажется, что расставание с ним и его страной совпали не случайно. Я убежден, что великая сила, связавшая наши народы, заключена в сердцах таких простых и храбрых людей, как капитан Аркрайт. Они понимают истинный смысл нашей дружбы потому, что они всегда верны своему народу, они его сыны, его солдаты.

Я иду ему навстречу и жму его честную, мужественную руку.

Полет самолета унес меня в Москву.

А. Наркевич

«БИБЛИОТЕЧКА ГАЗЕТЫ «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА»

Выпуск 1. Герои отечественной войны. Выпуск 2. Фронтовые стихи. Выпуск 3. Гриша Танкин. Выпуск 4. Ежи (сборник сатиры). Выпуск 5. Лицо врага. Издательство газеты «Красноармейская правда», 1941. Действующая армия. Западный фронт

С первых месяцев войны с немецко-фашистскими захватчиками, в период временных успехов немецких оккупантов, в те дни, когда фашистские орды бешено рвались к Москве, на страницах красноармейской газеты Западного фронта «Красноармейская правда» появлялись очерки, сатирические фельетоны, стихи и карикатуры, созданные немногочисленным, но крепко спаянным творческим коллективом, объединившим поэтов, прозаиков и художника — О. Верейского.

Пронзведения этой дружной группы приобрели большую популярность среди читателей газеты — бойцов Западного фронта, и поэтою вполне оправданным является выпуск части их отдельным изданием в пяти книжках «Библиотечки газеты «Красноармейская правда»

Эти тщательно и аккуратно изданные пять книжечек посвящены каждой особой теме. Тут и сборник очерков о героях отечественной войны, и сборник фронтовых стихов, и книжка стихотворных рассказов о подвигах созданного поэтами А. Сурковым и Ц. Солодарем персонажа, Гриши Ганкипа, и книжка сатирических фельетонов «Лицо врага», принадлежащая на равных правах — до того неотделимая в ней текст от рисунков — художнику О. Верейскому и поэту М. Слободскому. Как ни разнообразна тематика «Библиотечки», в ней ярко и оцутимо выступает на передний план то, что объединило в работе над фронтовой темой группу авторов с несхожим литературным прош-

лым, с разнообразным творческим багажом. Это — решимость, твердая и непоколебимая, как боевая присяга, принести с собой в красноармейскую газету навыки работы честной, любовной и тщательной, такой же, как работа товарищей по оружию, самоотверженно и нередко ценою жизни кующих победу над остервенелым врагом, или как работа оборонной промышленности, дающая бойцу то грозное оружие, с которым он идет и побеждает фашистские орды.

Грозное оружие. Не случайно всплывает, говоря об этих книжках, эту лаконичную и точную формулу Маяковского. Потому что, несомненно, поэтические традиции Маяковского, — конечно, если говорить о поэтических традициях в самом широком смысле слова, — определяют во многом художественное лицо рецензируемых книжек, как определяют они многое в художественной практике нашего времени, даже если для непосредственных стилистических истоков их более характерны другие имена. И прежде всего думаешь о Маяковском эпох «Огонь Роста», связь с которыми «Библиотечки газеты «Красноармейская правда» несомненны.

Творческие профили авторов «Библиотечки» разнообразны. Казалось бы что общего у беллетриста и очеркиста Вадима Кожевникова с поэтом — представителем публицистической лирики А. Сурковым или с народником и сатириком М. Слободским? Но неожиданно в процессе работы обнаружилось, что их новые, ранее неизвестные возмоз-

дости. М. Слободской, который раньше был известен как пародист, писавший в соавторстве с А. Раскиным, оказался автором острой антифашистской лирики; и его книжка «Лицо врага» является одной из лучших в рецензируемой серии.

Первым выпуском «Библиотечки» издан сборник очерков «Герои отечественной войны». Лучше всего охарактеризованы очерки, составляющие этот сборник, в следующих словах редакционного предисловия: «Очень сжатые по своим размерам, эти очерки зачастую уже по одной этой причине не показывают во всей полноте образов героев. Но эти очерки правдивы, они написаны по горячим следам героических фронтовых будней, они дышат неприкрашенной суровостью священной войны не на жизнь, а на смерть. Они показывают подлинных передовиков фронта, по которым должны равняться все советские люди, с оружием в руках отстаивающие честь и свободу своей любимой родины... Этот выпуск, как и последующие, не претендует на полный показ героев нашего фронта. Это боевая хроника о подвигах людей, каких на нашем фронте много и с каждым днем становится все больше».

В этой книжке перед читателем проходят описания героических подвигов, совершенных участниками священной отечественной войны советского народа. Вот танкист, уничтоживший шесть вражеских танков (Ц. Солодарь, «Танкист Валентин Гурьянов»), вот санитар, за пять дней боев вынесший из огня несколько десятков раненых (В. Кожевников, «Санитар Печенка»), вот командир, отдавший свою жизнь в борьбе с фашистской бандой (Н. Баканов, «Лейтенант Александр Гурин»). Готовность отдать свою жизнь, если это будет нужно, объединяет всех героев, описанных в этой книжке, но одной готовности пожертвовать жизнью недостаточно. В положениях, которые могут показаться безвыходными, на выручку приходят смекалка и находчивость, сопровождаемые порой порой особого фронтового юмора. Артиллеристы Алексеев и Ройк, находясь под вражеским обстрелом, налаживают разысканный на колхозном дворе старенький трактор, который должен вывезти на позицию их ору-

— Трактор, правду говоря, дышал ладан, — рассказывает Ройк. — Он в родном колхозе на Кубани и

считался не последним трактористом. За полчаса удалось подтянуть и наладить трактор.

Точный рецепт горючего, которым Ройк заправил трактор, сейчас установить абсолютно не представляется возможным. Это была невероятная смесь керосина, бензина, мазута и других веществ. Но трактор, скрипя и вздыхая, все-таки пошел» (Ц. Солодарь, «Сержант Алексеев и ефрейтор Ройк»).

Книжка о героях («Герои отечественной войны») не свободна от недостатков. Очевидна определенная диспропорция между поразжающим, необычайным героизмом советских людей, участников отечественной войны, и сравнительно бледным изображением их в очерках. Творческая индивидуальность писателя зачастую не ощущается в них.

Все они, как и другие появившиеся за последнее время фронтовые очерки, являются лишь заготовками, лишь первым приближением к созданию той литературы, которая должна появиться и которая появится, чтобы по-настоящему, в полнокровных художественных образах отразить небывалую героичность нашего времени.

Причина этого не только в крайней сжатости размеров очерков и в условиях спешной газетной работы, но и в самом подходе писателя к своим героям.

Думается, что основным недостатком этой неплохой книжки является малое внимание авторов к тому, что подготавливало героизм изображаемых ими людей, что делало героев героями. В очерках герои даются уже «в готовом виде», весь рост, вся диалектика развития, внутренние мотивы действий остаются в стороне, и о них читателю приходится лишь догадываться. Если один из авторов недогадо пишет: «Когда зорче присмотришься к герою, видишь, как в эти страстные мгновения битвы с врагом в наступавшем бойца сказалося все человечески лучше, что так бережно и терпеливо растила из года в год в нем страна» (В. Кожевников, «Связист Исмагилов»), то эти справедливые слова оказываются, к сожалению, неоправданными не только очерком о связисте Исмагилове, но и остальными очерками сборника. Именно то, как бережно и терпеливо страна растила своих героев, и не видно из очерков. Есть только резуль-

Правда, в ряде очерков говорится

кое-что о предшествующей жизни героев, о том, например, что Герой Советского Союза Муравичкин захотел в свое время стать металлостроителем, а не поваром, чем очень огорчил своего дядю — шеф-повара (В. Кожевников, «Герой Советского Союза Муравичкин»), что капитан Василий Филин был когда-то грузчиком в Новороссийском порту (В. Кожевников, «Капитан Василий Филин»), что комиссар Анатолий Соколов, когда был фабзачником, чтобы не поссориться с приятелем Кутшенко, с которым вместе влюбился в Нюру Шлак, очень славную, милую девушку, решил оставить Нюру (В. Кожевников, «Комиссар Анатолий Соколов»), но все эти факты производят впечатление скорее «паспортных примет», которые автор дает, как бы опасаясь упрека в том, что сообщает слишком мало «человеческих подробностей» о своем герое. С последующей его деятельностью это никак не увязывается.

Я останавливаюсь с излишней, быть может, придирчивостью на пробелах рецензируемых очерков, потому что советский читатель с нетерпением ждет подлинно художественной литературы о героях отечественной войны, а в создании этой литературы, конечно, будут участвовать и авторы рецензируемых произведений.

С книжкой о героях отечественной войны перекликается другой выпуск «Библиотечки» — «Фронтные стихи». Так, подвиг разведчика Пашкова воспевается А. Сурковым в обеих книжках: в первой — в прозе, во второй — в стихах; в обеих книжках воспевается и Герой Советского Союза Муравичкин: в очерке В. Кожевникова и в стихотворении М. Матусовского. Как правило, стихи «Библиотечки» значительно выше по художественному качеству, чем ее проза. Это особенно удобно продемонстрировать на сопоставлении уже упомянутого сравнительно мало выразительного очерка А. Суркова о красноармейце Иване Пашкове с его же ярким стихотворением на ту же тему («Разведчик Пашков»). Тут дело не в преимуществах стиха над прозой или в большей одаренности Суркова-поэта по сравнению с Сурковым-прозаиком (хотя последняя причина, бесспорно, имеет место). Думается, что поэты-сотрудники «Красноармейской правды» стоят на более правильной и плодотворной творческой позиции, чем прозаики (то, что А. Сурков, Ц. Солодарь и М. Матусовский

являются одновременно и поэтами и прозаиками, только подтверждает эту мысль, так как очевидно, что некоторые различия творческого подхода к теме здесь имеются, и их поэтическая деятельность куда более убедительна и удачна, чем очерковая).

Если коснуться отдельных поэтических достижений, то тут авторам Фронника есть чем похвалиться. Тут и приобретенная уже всесоюзную популярность «Песня смелых» А. Суркова с ее всем известным теперь припевом: «Смелого пуля боится, смелого пуля не берет» и его же поэтический цикл «Я пою ненависть», в лучших стихотворениях которого (особенно хочется выделить 3-е, 4-е, 8-е и 9-е) проявляются значительный лаконизм и сила выражения, и живописный «киплинговский» «Разведчик-наблюдатель Усенинов» М. Матусовского и многое другое. Перечислением удачных стихотворений можно занять много места, но надобности в этом нет. В стихах больше обобщений, и сильнее проявляется творческая индивидуальность их создателей, и в этом лежит основная причина преимуществ стихов «Библиотечки» над прозой.

Следующий выпуск «Библиотечки» посвящен похождениям Гриши Танкина. Созданный А. Сурковым и Ц. Солодарем Гриша Танкин и его верные боевые соратники Пулькин Петр и Саблин Пров успели уже зажечь той самостоятельной жизнью, какая бывает наградой только действительно удачным литературным персонажам. В редакционном предисловии перечисляются те черты советского бойца, которые олицетворил в собирательном образе Гриши Танкина. Но странным образом среди этих действительно присущих Грише Танкину и правильно перечисленных в предисловии качеств отсутствует упоминание о проникновении Гришу Танкина в глубоком юморе представляющем, бесспорно, одну из наиболее характерных, если не самую характерную его черту. Невозможно забыть, например, о недоумении растерявшихся фашистов, в сотый раз одуряченных неистощимым Гришей Танкиным:

А капрал в испуге глупом
Посмотрел на Гришу тупо:
«Что такое? Вас ист дас?» —
«Даст ист в плен мы взяли вас!»

Этот юмор и печать народности сближают Гришу Танкина с гашевским

Швейком (разумеется, не забывая самоубийства и несоразмерности масштабов этих явлений и разной направленности юмора). И как brave солдат Швейк в советских условиях продолжает свою жизнь на экране кино, так хочется пожелать и Грише Танкину еще долгой деятельности на страх фашистам и на радость советским читателям.

Линию юмора, начатую Гришей Танкиным, продолжает следующий выпуск «Библиотечки» — сборник сатиры «Ежи», хотя и не все в этом выпуске находится на одинаково высоком художественном уровне и кое-что и звучит довольно наивно (например, такие лемящиеся в открытую дверь строчки о «фашистской ярмарке»: «Но нету здесь ни ума, ни чести, нет ни правды, ни благородства. Фашисты не знают подобных слов». Странно было бы, если бы на фашистской ярмарке нашлись бы ум, честь правда и благородство). Так же неудачен фельетон Ц. Солодаря «Как оберлейтенант Мародернигерн отведал русского нарзана», но в общем «Ежи» можно признать достаточно острым и удачным сборником сатиры.

Последний из вышедших пока выпусков «Библиотечки» «Лицо врага» состоит из рисунков О. Верейского и стихов М. Слободского. И рисунки и стихи могут соперничать в выразительности. Художнику удалось добиться того, что его персонажи вызывают именно то чувство, которое они заслуживают: отвращение. Таковы, например, омерзительная «Волчица», в

восторге разглядывающая присланную ей сыном-грабителем русскую рубашку с отпечатком окровавленной ладони, или гнусная троица — Гитлер, Геринг и Геббельс, бродящая в виде мерзкого зверья по развалинам, среди виселиц. Не менее яркие и стихи М. Слободского (особенно «Скот», «Волчица», «Крестовый поход»). По неотделимости текста и оформления и их художественному качеству книжка «Лицо врага» выделяется на высоком и без того уровне «Библиотечки».

Редакция «Красноармейской правды» хорошо сделала, выпустив отдельным изданием опубликованные на страницах фронтовой газеты материалы. Пять выпусков «Библиотечки» могут служить примером и образцом того, как в трудных условиях газетной фронтовой работы создаются произведения, помогающие бойцам в их борьбе, дающие незабываемые образцы отваги и героизма, едко высмеивающие фашистских захватчиков. В целом «Библиотечка» является осуществлением мечты Маяковского:

Я
хочу,
чтоб к штыку
привыкли перо.

Удача «Библиотечки» газеты «Красноармейская правда» вызывает у читателя желание получить, кроме пяти вышедших, еще ряд выпусков «Библиотечки», таких же действенных, так же метко поражающих врага.

С. Раевский

ПОРТРЕТЫ ПЕРОМ

М. В. Нестеров. Давние дни. Встречи и воспоминания. Издание Государственной Третьяковской галереи. М., 1941

Книга Нестерова «Портреты пером» вызывает у советского читателя двойной интерес: интерес к тому, кто написал их, — к старому русскому художнику, сумевшему и в советское время создать, несмотря на преклонный возраст, ряд замечательных полотен, и к

тем, кому посвящены его воспоминания, — художникам и деятелям искусства, чьими именами справедливо гордится советский народ, естественный и законный наследник всего лучшего, что было создано в дореволюционной России.

«Портреты пером» — яркое свидетельство неисчерпаемой, нескучеющей талантливости народов нашей родины. Сила народного гения, раскрепощенная социалистической революцией, глубоко и разносторонне заявляет о себе теперь, в ходе великой отечественной войны. Высокие достижения искусства нашего народа еще острее, еще горячее воспринимаются во время озверелого нападения фашистских мракобесов на культурные ценности. Вот почему и в суровые военные дни прекрасная книга Нестерова оказывается нужной и своевременной. Недаром она, несмотря на все обстоятельства военного времени, разошлась в течение нескольких дней.

Присуждение в прошлом году Сталинской премии было лучшим отзывом на портреты М. В. Нестерова: отзыв этот перед лицом всей страны удостоверял их художественную значительность, их высокую творческую ценность для нашей эпохи. Галерея портретов, созданных маститым художником в советскую эпоху, поражает молодой силой кисти, утренней свежестью колорита и яркой смелостью характеристики. Портрет у Нестерова никогда не бывает холодным *nature morte*. Нестеров любит человеческое лицо в его живой страстности, в напряжении мысли, в его творческом порыве. Тот, кто взглянет на портрет Нестерова, кого бы он ни изображал, — усталого от долгого творчества Виктора Васнецова или переживающего высокий творческий подъем академика И. П. Павлова, — всегда будет поражен их «лицом необщим выражением». Нестеров ищет в человеке его заветную мысль, его лучшее творческое устремление, его прекрасную волю к бытию, и все это запечатлевает на портрете с молодой влюбленностью в неисчерпаемость человеческой воли и творческой мечты. Нестеров вовлекает зрителя в жизнь, в мысль, в труд тех, кого он изображает. Академик И. П. Павлов на нестеровском портрете читает английскую брошюру, направленную против его теории, — читает ее, борясь с нею, протестуя против ее возражений, и зритель соучаствует в этом протесте великого ученого. Хирург С. С. Юдин на нестеровском портрете весь увлечен своей лекцией; ни единого слушателя не показано на портрете, но мы сами находимся, благодаря художнику, в числе этих слушателей, мы сами увлечены лекцией хирурга-новатора. А на другом портрете, В. И. Мухиной, мы

разделяем радость и труд творчества со скульптором, возводящим к бытию свое новое создание. У Нестерова нет портретов, где человек был бы оторван от дела своей жизни. Все его портреты действительны; они захватывают зрителя прекрасной динамикой человеческой мысли и воли. Вот почему портреты Нестерова оказались так близки советскому зрителю: в нестеровской портретной галлее зритель встречается со своими современниками и чувствует, что в них бьется тот же живой, бодрый пульс эпохи, который живит его самого.

Последний портрет из своей галереи — академика архитектуры А. В. Щусева — Нестеров создавал уже в дни войны, под шум воздушных тревог, но жизненной силы и бодрой радости бытия в нем не меньше, а может быть, даже больше, чем в предыдущих портретах.

Иные художник вводит нас во вторую портретную галерею, созданную им в самое последнее время: это галерея литературных портретов.

Здесь есть писанные пером портреты тех, кого Нестеров раньше писал кистью: Л. Н. Толстого, А. М. Горького, В. М. Васнецова, И. П. Павлова, но большинство портретов здесь — это портреты тех, кого Нестеров писал только пером. Среди них мы встречаем имена крупнейших русских художников: Перова, Крамского, Верещагина, Ге, Сурикова, Левитана, К. Коровина и П. М. Третьякова, создателя знаменитой картинной галереи. Другую группу портретов составляют портреты актеров: М. К. Заньковецкой, П. А. Стрепетовой, А. Р. Артема — любимого актера Чехова, и др.

Литературного автопортрета самого Нестерова здесь нет, но зарисовки к этому портрету встречаются не один раз: Нестеров выступает пред читателем-зрителем то как юный ученик Училища живописи, страстно любящий своего учителя Перова; то как сердечно преданный товарищ грустного Левитана; то как экспансивный зритель, бурно наслаждающийся искусством «украинской Дузе» — Заньковецкой; то как умный, самобытный, живой собеседник Льва Толстого, Горького, И. Павлова. В литературной галлее Нестерова, в каждом ее портрете чувствуется присутствие самого художника — с его неуемным темпераментом, с его постоянными «противочувствиями» (слово Пушкина), с его резкой своеобычностью.

подхода к людям и явлениям. В некоторых портретах Нестерова нет полноты характеристики — и он сознательно уклонился от нее. Он, например, вовсе не хочет писать двойного портрета с братьев Сведомских — художников, влюбленных в Рим древний и новый: как блестящий карикатурист, рисует он на них острую карикатуру под названием «Поп и барон». Не хочет писать он портреты и с Н. Н. Ге: есть беглая зарисовка, есть маленький, почти мгновенный эскиз с этого большого художника, но тот, кто захотел бы написать большой портрет с Ге, уже не сможет обойтись без нестеровской зарисовки, — с такой жуткой меткостью схвачены на ней черты толстовствующего учителя, какими отмечен был Ге последнего периода его жизни и творчества.

Но там, где Нестеров подходит к своей натуре с глубоким уважением, с преданной признательностью, там его портреты поражают своею полнотою. У него Перов, Крамской, П. М. Третьяков. Они выдержаны в спокойных, мягких и вместе мужественных тонах. Перов был художником суровой правды — таким он смотрит и с портрета Нестерова: «Он был истинным поэтом скорби. Я любил, когда Василий Григорьевич, облокотившись на широкий подоконник мастерской, задумчиво смотрел на улицу с ее суетой у почтамта, зорким глазом подмечая все яркое, характерное, освещающее виденное то насмешливым, то злобещим светом, и мы, тогда еще слепые, прозревали». Прозревали и видели ту суровую правду русской жизни, которую умел видеть и запечатлеть на своих полотнах создатель «Похорон в деревне» и «Тройки». «Иногда, — рассказывает Нестеров про школу, — кому-нибудь из великовозрастных «Рафаэлей» придет в голову поныть, пожаловаться Перову на то, что не выходит рисунок... Посмотрит на такого «Рафаэля» Перов и скажет: «А вы пойдите на Кузнецкий к Даднаро. Там продается карандаш, — стоит три рубля, он сам-с на медаль рисует». Взыскательный художник, Нестеров передает этот эпизод с особой гордостью за Перова: он гордится той глубиной и силой требований, которые Перов предъявлял к таланту и художественной совести своих учеников. Обаяние Перова воспитывало их художественную волю — и в Нестерове наших дней, в портретисте-реалисте, воскрес ученик того, кто написал с такой умной прав-

дой и глубокой любовью Острейского, Писемского, Достоевского.

С большой силой, с подлинной страстностью написал Нестеровым портрет Сурикова. Нестеров мятежно любит этот «торжественный, потрясающий душу талант. Суриков поведал людям страшные были прошлого, показал героев минувшего, представил человечеству в своих образах трагическую, загадочную душу своего народа. Как прекрасны эти образы. Как близки они нашему сердцу своей многогранностью, своими страстными порывами!» И сам Нестеров в своем портрете Сурикова рисует автора «Ермака» одним из тех мятежных, могучих людей, какие были его героями. У Нестерова к Сурикову такой же подход, как к его героям: он и любит и любуется мятежной смелостью их порывов, и страшится их, загадочной для него, ярости. «Помню рассказ Василия Ивановича о том, как дед его в порыве ярости закусил ухо своему старому, служилому коню». Нестерову кажется: не случилось ли это с самим Суриковым? Не «закусил» ли он, после «Ермака», «ухо» своему таланту? Но — удивительное дело! — портрет Сурикова, писанный пером Нестерова, тем и привлекает, что в нем есть что-то среднее Сурикову по краскам, по ярости стремительности мазков, по беспokoйной смелости колорита.

Совсем по-другому написан портрет Левитана. Тут Нестеров — тонкий лирик, искренний поэт, пишущий элегию о рано погибшем поэте русской природы. «Говорить о Левитане мне всегда приятно, но и грустно, — так и начинает Нестеров его портрет. — Подумать только: ведь он был лишь годом старше меня, а я как-никак еще работаю. Работал бы и Левитан, если бы злая доля, ранняя смерть, не отняла бы у нас чудесного художника. Сколько дивных откровений, сколько незамеченного никем до него в природе показал бы людям его зоркий глаз, его большое чуткое сердце. Левитан был не только прекрасным художником, — он был верным товарищем-другом, он был полноценным человеком». Краски Нестерова становятся почти прозрачными, его рисунок приобретает доверчивую нежность, когда он пишет своего «верного товарища-друга»:

«Помню я зимнюю ночь, большой, как бы приплюснутый номер в три окна на улицу с неизбежной перегородкой. Тускло горит лампа, два-три мольберта с начатыми картинами, от

ни ползут тени по стенам, грозно-дятся к потолку... За перегородкой изредка тихо стонет больной. Час поздний, заходит проводить больного приятели, они по очереди дежурят у него. Как-то в такой поздний час зашел проводить Левитана молодой, только что кончивший курс врач, похожий на Антона Рубинштейна. Врач этот был Антон Павлович Чехов. Левитан поправился и чуть ли не в эту же весну он уехал в Крым, был очарован красотами южной природы, морем, цветущим миндалем. Элегические мотивы древней Тавриды с ее опаловым морем, задумчивыми кипарисами, с мягким очертанием гор как нельзя более соответствовали нежной, меланхолической натуре художника.

Если б Левитан был портретистом, вероятно, он так бы—вот с этим тончайшим вниманием любви—подходил к своей натуре, как Нестеров подходит к нему в своем превосходном, глубоко волнующем портрете.

В иной манере, более сдержанной, с большим лакономизмом красок, но с большою же теплотою написаны Нестеровым портреты двух забытых художников — баталиста П. О. Ковалевского и Сергея Коровина.

Оба вложили весь свой талант в тему, столь близкую нашему читателю и зрителю, — в народную эпопею 1812 года.

«Самой заветной его мечтой, — вспоминает Нестеров о Ковалевском, — было написать цикл картин или хотя бы нарисовать ряд иллюстраций к «Войне и миру», которую он безмерно любил. Обладая огромной памятью, некоторые места из романа знал наизусть. Любил разговор слабривать целыми цитатами Пьера Безухова и других персонажей романа. Отлично знал Кутузова. Все это для него были живые, еще действующие люди, которые то и дело появлялись, отвечали на вопросы, участвовали в общем разговоре».

Сергей Коровин, художник сосредоточенной мысли и глубокой любви к народу, писал картину «12-й год».

«Холст аршин пяти в длину был весь записан. Глубокие снега, занимается заря. То там, то здесь по обширному снежному полю покоятся замерзшие вонны—остатки великой армии. На первом плане старый гренатер отогревает замерзающего юношу, дальше мародер, озираясь, снимает с умершего собрата «Почетный легион», не думая, что через несколько часов он не будет ему нужен. Там, дальше,

еще фигуры, все они обреченные... Красивая мысль, красивая композиция, такая красивая, торжественная заря. Картина, на мой юный взгляд, удивительная, и я, конечно, в полном восторге, не нахожу слов, чтобы его выразить. Автор, видимо, «отогревается»: он давно потерял веру в свой труд..»

Пятиаршинный «12-й год» окончен не был. Много лет спустя появилась небольшая картина, отдаленный намек на первую. Успеха она не имела. Сергей Коровин с тех пор как бы усомнился в своем большом истинном таланте».

Эти зарисовки Нестерова драгоценны: их с благодарностью примет будущий историк русского искусства, — или, еще точнее, составитель печальной летописи талантов, загубленных в старые годы.

Книгу Нестерова заканчивают три очерка: «Письма о Толстом», «А. М. Горький» и «И. П. Павлов». Ни одного из этих замечательных людей не обойдет своим вниманием биограф. Нестерову принадлежит один из лучших живописных портретов Л. Толстого (Толстовский музей в Москве); его «Письма о Толстом» писаны из Ясной Поляны в то время, когда он работал над этим портретом. Писаны они с большой любовью к автору «Войны и мира», но и с мужественной правдой самостоятельного воззрения на все, что Нестеров видел, слышал и наблюдал в Ясной Поляне. Толстой показан в них без «толстовского» ореола, в действительной красоте своей личности, сродной своему народу, неповторимой в своей единственности. «Старость его чудесная, — пишет Нестеров. — Он хитро устраняет от себя «суету-сует», оставаясь в своих художественно-философских грезах». В свою очередь и Толстой оценил как должно крепкую, своеобразную, также неповторимую личность своего нового знакомого. В письме к Нестерову (оно печатается впервые) по поводу его картин Толстой писал: «Вы так сердечно относитесь к своему делу, что я не боюсь сказать открыто свое мнение о ваших картинах» — и говорит, что ему «нравится «Сергей-отрок» и два монаха на Соловецком» и «не нравится» большая картина «Святая Русь».

О воспоминаниях Нестерова о Горьком у нас есть отзыв самого Горького: «Простой, душевный тон воспоминаний ваших мне очень понравился».

Этот отзыв извлекать от необходимости говорить о них больше, но этот же отзыв вполне приложим и к воспоминаниям об И. П. Павлове, написанным с тою же простотою и душевностью. Отвечая на поздравление Нестерова по случаю 85-летия, И. П. Павлов писал ему: «Счастливи, что и в старые, конечно, остывающие годы могут еще внушать к себе живые дружеские чувства. Дай вам бог еще находить радость в вашей художественной творческой работе, как я все еще в моей научной работе переживаю выдающийся интерес жить».

Эти слова И. П. Павлова превосходно обрисовывают и его самого, и его корреспондента, которому не только наша страна, но и весь мир обязан тремя портретами великого ученого: к двум, писанным кистью, теперь прибавился третий, писанный пером.

В предисловии своем к «Давним дням» Нестеров пишет: «В портретах моих, написанных в последние годы, влекли меня к себе те люди, путь которых был отражением мыслей, чувств, деяний их».

Это претрательно по отношению и к тем портретам Нестерова, которые написаны кистью, и к тем, что писаны пером.

Одна портретная галерея дополняет, поясняет, углубляет другую — и обе вместе составляют прекрасное достояние советской современности.

Книга Нестерова превосходно издана Государственной Третьяковской галереей. Тот, кто держит ее в руках не зная, когда она печаталась и вышла в свет, не поверит, что она издана «в грозу военной непогоды», в городе, подвергнувшемся воздушным бомбардировкам. Прекрасный картонаж и шмуц-титул по рисунку Е. Е. Лансере, различные воспроизведения автотипии — лучших портретов работы Нестерова и портрета его самого работы П. Д. Корина, безукоризненная печать, добротная бумага — все свидетельствует о том, что в книгу вложено много любви и заботы; издававшие ее сумели доказать, что и в военное время можно — а, значит, и должно — делать культурное дело с тем же спокойствием и успехом, как во время мирное.

Н. Никитин

ФРОНТОВЫЕ СТИХИ

Михаил Матусовский, *Фронт*. Изд. «Советский писатель», 1942, стр. 25, цена 65 коп. Степан Щипачев, *Фронтвые стихи*. Изд. «Советский писатель», 1942, стр. 21, цена 60 коп. С. Васильев, *Ответ врагу*. Изд. «Советский писатель», Москва, 1942. А. Сурков, *Фронтвая тетрадь*. Изд. «Советский писатель», Москва, 1942. «Родная Москва». Изд. «Молодая гвардия», 1942

I

В пяти тоненьких книжках около восьмидесяти стихотворений. Различен их поэтический уровень, различен подход каждого из авторов к изображению действительности. Объединяет все эти книжки только единство темы и настроения. Они рассказывают о боевых делах Красной Армии, о силе, мужестве и бесстрашии советского народа.

Один за другим встают перед читателем образы простых советских людей, одетых в походные шинели. Танкисты и летчики, артиллеристы и пехотинцы, санитары и медсестры, мужественно выносящие раненых из-под

огня, бесстрашные и неуловимые партизаны и разведчики — никто не забыт в небольших книжках Матусовского, Щипачева, Суркова, Васильева.

Теплые, проникновенные слова, полные ласки, находят они для своих героев, для передачи тех чувств, которые рождаются в груди каждого советского человека, внимающего рассказам о подвигах наших славных воинов:

А где-то, может около Валдая,
А может быть, и около Москвы,
Певуче истребитель вылетает,
И ласково за ним следите вы.

И станет летчик вам друзей дороже,
Запомнятся черты его лица,

В. Васильев рисует образ героического москвича, защищающего родной город, описывает колхозников, клянувшихся отдать родине все свои силы.

В стихах Щипачева тема родины раскрывается в небольшом лирическом стихотворении:

Я сердцем родину объемяю.
Нет, не померкнет родины звезда!
Враги, ступив на нашу землю,
В нее и лягут навсегда.

Ярко звучит она в лирических зарисовках родной природы в стихах Матусовского:

Сердцем мы живем на Украине,
Помня до смертельного конца
Запах гречихи и полыни,
Горькое дыханье чебреца...

Так же, как и у Суркова, мотив природы переплетается у Матусовского с темой защиты любимой земли от посягательств врага.

Особенно сильно передано чувство родины в заключительной строфе стихотворения Матусовского «Линия обороны»:

Не только сквозь рвы и окопные ходы,
Не только через дороги и склоны,
Но через сердца моего народа
Прходит линия обороны.

Мысли о родине, о ее защитниках неразрывно связываются с обликом вдохновителя и организатора наших побед, великого Сталина.

В стихотворении Матусовского «Фронт слушает вождя» запечатлены незабываемые минуты ноябрьского дня, когда звучала

...над миром вырастая,
Разящая противника, как меч,
Бодрящая, могучая, простая,
Сверкающая сталинская речь.

Глубоким чувством и теплотой дышат стихи Суркова, рисующие образ вождя, всегда живущий в сердцах бойцов, образ руководителя и друга, незримо шагающего в колоннах красноармейцев, указывающего путь вперед, ведущего к победе:

Грохочут танки, и свистит шрапнель,
Но цель ясна, и страха нет в груди.
Твою красноармейскую шинель
Боец в атаке видит впереди.

И перед каждым новым рубежом,
Когда вступает смерть в свои права,

Мы, как святыню, в сердце бережем
Твои простые, ясные слова...

Столь же сильно, как мотив преданности родине, звучит в большинстве стихов мотив ненависти к врагу. Особенно силен он у Суркова, объединившего под названием «Я пою ненависть» целый цикл стихов, призывающих к суровому возмездию. В этих стихах много подлинного чувства, они выразительны:

И воздаст ему кровь за кровь
Мой не знающий меры гнев,
За разрушенный отчий кров,
За потоптанный мой посев...
За возвращенные мной сады,
За короткий сыновий век
И за каждый глоток воды
Из моих белорусских рек.

Война, особенно последние ее месяцы, породила много стихов, посвященных защите Москвы. Эта тема продиктовала горячие строки таких стихотворений, как «Родному городу» Матусовского, «Опять этот долгий, прерывистый вой» Суркова и других стихов о Москве, разбросанных по остальным четырём сборникам.

Москва — сокровищница русской национальной культуры, город, прославивший себя в веках доблестью и мужеством своих защитников; Москва, слившая голоса сотен народов в единый голос, потрясший весь мир; Москва, в грозные дни девятнадцатого года отстаивавшая свою независимость; Москва, возрождающаяся после боев, одетая в бетон и сталь, украшенная величественными зданиями, роскошными садами и парками; Москва — город Ленина и Сталина, сердце и мозг революции; Москва — «больше чем город, — это нового мира столица», — такой встает она в стихах, повествующих о далеком историческом прошлом и недавних годах. И Москва в суровые дни осени 1941 года попрежнему бесконечно дорога и близка сердцу советского человека, всегда готовая дать сокрушительный отпор врагу, отражающая пиратские налеты фашистских стервятников, оцетинившаяся баррикадами и тысячами штыков, грозная, карающая и прекрасная... В стихах Джамбула и Хамида Алимджана, Рыльского и Самеда Вургуня, Жарова и Молчанова, Суркова и Матусовского образ родной Москвы, от которой каждый советский человек, где бы он ни находился, «ни чем иным, кроме расстояния», не от-

делен, — встает овеянный славою прошлого и настоящего, рождая клятву верности и стойкости:

Мы грудью столицу свою прикрыли —
Враги не пройдут к Москве!

Прекрасно сильное, полное глубокого чувства стихотворение Суркова «Опять этот долгий, прерывистый вой», кончающееся суровой клятвой бойца:

И мы услышали глухие слова:
«Клянусь тебе жизнью, родная
Москва,
За кровь на асфальте, за женщины в
слезах,
За ужас в бессонных ребячьих
глазах,
За взорванный бомбами детский уют,
За каждый кирпич, что они разобьют,
За каждый квартал, укутанный в
дым,
Мы страшной расплатой врагу
воздадим!»

II

Значительная часть стихов, о которых идет здесь речь, создавалась непосредственно в боевой обстановке, в условиях оперативной спешки, иной раз в предельно короткие сроки, ограниченные необходимостью своевременно выпустить очередной номер фронтовой газеты. Несмотря на все это, большинство стихов не только не нуждается в каких бы то ни было скидках на «спешку» и «оперативность», но свидетельствует о несомненном росте поэтического мастерства их авторов.

Первое, что особенно радует в стихах таких поэтов, как Сурков, Матусовский, Щипачев, — это умение подчинить свои образы и эмоции единой мысли, пронизать их единой целеустремленностью. О чем бы ни шла речь в стихотворениях этих поэтов, всюду вы ощущаете грозное величие сегодняшнего дня и рожденных им чувств и стремлений народных. Суровы и трудны дни войны, но тем сильнее наша уверенность в победе, тем решительнее наше движение вперед, наша воля и непреклонность — вот эта основная мысль, пронизывающая стихи лучших поэтов, вот эта целеустремленность сообщают их творчеству цельность и органичность.

В сборнике Щипачева есть стихотворение под названием «Фронтное шоссе». Первые две строфы — это простая пейзажная зарисовка. Мы ви-

дим накрытые бомбами обочины дорог, движущиеся по ней танки и грузовики, пыль, покрывающую все вокруг... Но вот третья заключительная строфа:

Еще трудны недели фронтовые
Шоссе скрежещет, лязгает. Оно
Ведет не просто на передовые —
Оно к победе все устремлено.

Именно так устремлено к победе и творчество поэта, написавшего эти строки и сумевшего даже самые незначительные на первый взгляд отрывки или беглые зарисовки наполнить этой же устремленностью. Восхищается ли поэт подвигом летчика, таранившего вражеский самолет, говорит ли о лице простого русского бойца, прекрасном бесстрашием и мужеством, повествует ли с ласковой улыбкой о юном разведчике, который сам себя называет «отважным следопытом», — всюду, в каждой строке и между строк читаются суровые слова о предстоящих днях упорной борьбы, о воле и негибкости советских людей, настойчиво идущих к победе.

Даже рисуя пейзажи, поэты не позволяют читателю забывать, что война здесь, рядом, что она требует напряжения всех сил, всех помыслов и чувств...

Ранний луч просиял впервые
На взлетающем ястребке,
И проехали ездовые,
Примостившись на передке.

На вершинах. еще нечетких,
Закурился сосновый лес.
Старый город, в военных сводках
Называемый буквой С.
Заалели валы крепостные.
Зорька дымчатая зажгла
Пятиглавые золотые
Древнерусские купола.
Ночь закончилась. И над нами
Начинается новый бой
Орудийными облаками
Над предутреннею землей.

(Матусовский)

Вся система образов этой, в основе своей лирической, зарисовки бьет в одну точку, служит одной цели, той самой, о которой мы только что говорили. И единственный упрек, какой мы позволим себе сделать здесь Матусовскому, — это упрек в недостаточной самостоятельности ритмического строя как процитированного, так и не

которых других стихотворений, в точности повторяющих старые ритмические рисунки (в частности, гумилевские).

Другое ценное качество фронтовых стихов, тесно связанное с предыдущим, — это умение поэта показать большое в малом, подвести читателя к обобщениям на основе самого повседневного материала. Это качество нашло воплощение в отдельных стихах Суркова, Щипачева и других поэтов. Вот небольшое стихотворение Суркова, одно из лучших в его сборнике:

Толпы людей без конца и числа
Шли нам навстречу в предутренней
ранн.

Помню: старуха козленка вела,
Девочка в тонких ручонках несла
Маленький кустик чахлой герани.
Гнал их из города ужас ночной,
Пламя ревело за их спиной.

Крошечная зарисовка, мимолетный зрительный образ, однако как много говорит он читателю. Найдена одна деталь, один штрих, но это та самая деталь, которая заставляет сердце биться сильнее, а руки сжиматься в кулаки.

Таких коротких, мимолетных зарисовок, миниатюрных портретов, говорящих, однако, больше многих сюжетно острых и развернутых во всех деталях картин, в книжке Суркова несколько, и почти все они очень просты по форме, значительны по содержанию. Согреты большим человеческим чувством.

Хорошо стихотворение Щипачева «Близится расплата». Тема его, как это явствует из заголовка, — мщение врагу. Вырастает же эта тема, продиктовавшая поэту горячке, дышащие страстью и гневом заключительные строки, из единичного образа, проникнутого, однако, обобщающей силой:

Дочка, где ты, где? — Перед глазами
Две косички, бантик голубой.
Самолеты с черными крестами
Над льняной, над детской головой...

В лучших стихах упоминавшихся поэтов мы сталкиваемся еще с одним поэтическим качеством, говорящим о роте нашей поэзии. Речь идет о нежном искусстве сложной простоты, об умении сжато и просто сказать о глубоком и значительном. В небольшом стихотворении Суркова рассказывается

о двух бойцах, окруженных врагами. Один, пытавшийся бежать, был уложен на месте фашистскими пулями, другой, не побоявшийся вступить в неравную схватку, собрав все силы,

Разил гранатами, колот штыком
И вырвался из замкнутого круга,
Десятерых на месте уложив...
Он жизнь любил, и он остался жив.

Это очень просто и в то же время глубоко. Не о биологическом инстинкте, не о животной привязанности к существованию говорит поэт. Любить жизнь в подлинно человеческом, высоком звучании этого слова — значит уметь постоять за нее, уметь бороться и побеждать. Любить жизнь — значит уметь отдать ее не даром, значит посвятить ее такому делу, за которое радостно умереть, ибо в смерти за это дело — высшее утверждение смысла жизни.. Именно о такой любви говорит Сурков в заключительной строке цитированного стихотворения. И такая любовь побеждает все препятствия, дает и силу, и мужество, и упорство.

Так же значительно по содержанию стихотворение Суркова, обращенное к сыну. В нем мы находим ту же мысль о ценности жизни как борьбы, о бессмертии дела борьбы за коммунизм, о великой радости выполненного долга, о сыновней любви и чувстве отца.

В стихотворении Щипачева «Ленин» рассказывается, как немецкий офицер, приказавший сбросить с пьедестала статую Ленина, на другое утро видит ее вновь стоящей на месте:

Заторопились офицеры вдруг.
Вдали неясные мелькали тени:
То партизаны, замыкая круг,
Шли на врага.
И вел их Ленин.

Какой большой, новый, волнующий смысл приобретают эти так хорошо знакомые, дорогие нам слова о Ленине, ведущем массы к победе! И это сделано в сжатой, лапидарной форме.

Простоту выражения, соединенную со значительным содержанием, мы находим в таких стихотворениях, как «О красоте», «О смелости», «Таран» и др. Именно это искусство в малом показать большое, в немногих словах выразить значительную, ценную мысль рождает трудную форму поэтического афоризма, с которой сталкиваемся мы почти во всех сборниках.

Есть высшее из всех гражданских прав:

Во имя жизни встретить ветер боя...
(А. Сурков)

В неравной борьбе человека с железом
Железо сдает перед волей людской.
(Матусовский)

И, наконец, еще об одном качестве поэзии сегодняшнего дня хочется сказать в заключение. Глубокое чувство, которым дышат стихи поэтов, говорящих о самом дорогом и близком каждому из них, подлинный лиризм, простота, искренность — все это оказалось мощным орудием в преодолении той риторики, штампа и словесной трескотни, которые до последних лет нередко подменяли поэтическое раскрытие темы. Лишь единичные стихотворения из тех, на которых мы останавливались выше, не свободны от этих недостатков. Лишь в немногих из них попадаются фразы вроде: «зная их роль в атакующем строе», или: «спружинив мышцы мускулов упруго»; большинство же стихотворений, входящих в рецензируемые сборники, радует свежестью поэтического восприятия, цельностью и органичностью образов, как это легко можно видеть из многочисленных цитированных выше строк.

Приводя примеры, иллюстрирующие тематику, эмоциональный строй и художественное своеобразие творчества отдельных поэтов, мы ограничивались главным образом стихами Матусовского, Суркова, Щипачева, почти не обращаясь к книге С. Васильева. С. Васильеву близки и дороги те же чувства, те же темы, о которых шла речь выше. Однако художественное воплощение их отличается от того, что мы находим в стихах других поэтов, творчество которых здесь разбиралось. За немногими исключениями стихи Васильева, включенные в его книжку «Ответ врагу» и входящие в сборник «Родная Москва», отличаются таким большим количеством смысловых и стилистических лягусов, написаны так неряшливо, что всем этим закрывается то ценное, что в них есть. Вот, например, первые три строфы его стихотворения «За подступы к подмосковью фашисты заплатят кровью»:

Ноябрьскою полночью
«Хейнкель» летел.
По тайным путям синевы

поганый стертвятник
упрямо хотел
достигнуть до самой Москвы,
На крыльях кресты
и кресты на боках,
и свастика
в перьях хвоста.
Бензином и порохом
«Хейнкель» пропах,
от брюха пропах
до винта.
Разведав дорогу,
заснять, разузнать,
«добыть от победы ключи»
фашистская сволочь,
пиратская знать
хотела в июльской ночи.

Допустим на минуту, что поэтическое обоняние С. Васильева позволило ему не только определить на расстоянии запах «Хейнкеля», но и точно установить границы этого запаха («от брюха и до винта»). Извиним, как «поэтическую вольность», небольшой конфликт поэта с русской грамматикой, которая утверждает, что достигнуть можно чего-нибудь, а не до чего-либо. Предположим, наконец, что темная ночь заставила поэта принять хвостовое оперение самолета за пучок перьев, в которых прячется свастика. Но как мог фашистский пилот, вылетевший в ноябрьскую полночь, разведывать дорожку в июльской ночи, остаться секретом автора. Прочтите стихотворение до конца, и вы увидите, что поэт просто не отдаст себе отчета в том, что говорит. Плоскости «ястребка» у него ласково обвевают «струи от (?) встречного ветерка» (это при скоростях-то наших самолетов! Хорош ветерок!). Рассказывая, как в лунном свете играют «красные звезды у (?) «ястребка», поэт забывает, что дело происходит «во мгле», как он сам только что написал. В противовес утверждению: «безлюдье, затишье стояло кругом» — Васильев тут же заявляет, что в кустах волею упавшего «Хейнкеля» упорно звенел чей-то голос, принадлежавший, надо полагать, очень хладнокровному человеку, ибо падение горящего самолета не заставило его прервать песню. И все это на фоне первых заморозков, которые «легкой росой» (?) упали на луг. Кстати, этот метеорологический ориентир не только не помогает уточнить вопрос о том, в ноябрьскую или июльскую ночь происходило дело, но еще более запутывает читателя. В июле о заморозках что-то не было слышно, а в ноябре на полях подмосковья лежал

уже снег, так что легкую росу первой изморози, падающую на луг (?!), вряд ли можно было заметить.

О чем говорит этот букет несообразностей, эта надуманная красивость «легких рос» и «струй от ветерка»? О неуважении поэта к большой и важной теме, о попытке гладким стихком подменить любовное и бережное раскрытие ее.

И, такие стихи сам поэт, повидимому, считает хорошими, ибо печатает их; не только в сборнике «Родная Москва», но и включает в свою книжку «Ответ врагу», правда под другим названием — «Гибель стервятника». Надо полагать, что поэту было указано на несообразности отдельных мест этого стихотворения, и он кое-что переделал в нем. Но стихи от этого не стали лучше. «Хейнкель» вылетает уже не ноябрьской, а июльской полночью, но все остальное остается по-старому: и иней, и заморозки, и даже появляются «продрогшие ели», которые зябко «жались вокруг». К тому же в одной из строф все-таки сохранилась «ноябрьская ночь».

Подобные стихи далеко не единичны. Попробуйте уяснить себе, что хотел сказать поэт такими, например, строками, обращенными к Москве:

Мы знаем:
в рваных клочьях дыма,
на голубых
полотнищах зимы —
ты будешь
навсегда непобедима,
ни шагу больше
не отступим мы.

Смысл второй половины строфы ясен, хотя по-русски и не говорят «навсегда непобедима». Но какую роль играет при этом пейзажное обрамление первой половины строфы? На голубых полотнищах зимы и в рваных клочьях дыма Москва непобедима, ну а в другое время года и при отсутствии поэтических клочьев — что же она станет слабее, что ли?! Или как понять такой образ: «Он предан ей, как сын, до основанья». О каком основаньи здесь идет речь?

Васильев очень небрежно относится к стилю своих стихотворений. Так, в стихотворении, открывающем сборник, только в двух строчках четыре раза

склоняется одно и то же слово (весь, всю, всем, всей); в стихотворении «Ответ врагу» Васильев пишет: «Не бывать тебе в благополучьи» и т. д. и т. п.

Он себя измаял влещку...

Как бы группа партизанья
Нам не выпустила дух...

Кто не выйдет на призыванье,
Тот потерпит наказание...

Через двадцать дней с лихвою
Он у фронта пойман был...

На трактор легко и уверенно села,
Почти по-мужски, Пирогова жена.

Подобными строчками в соединении с «несчетными бойцами», «гремучими молотами», «свинцовой круговертью», «гремучим грозным граем» пестрит книга Васильева от начала до конца.

Мы отнюдь не хотим сказать, что в стихах других поэтов все обстоит благополучно. Щипачеву следует поставить в вину чрезмерную камерность некоторых его вещей, самая тема и эмоциональный строй которых исключают уместность «малой» формы (см., например, стихотворение «Я сердцем родину объемлю»); отдельные концовки его стихов, внешне эффектные, недостаточно глубоки по мысли («пусти до славы, как до неба, — до неба тут — рукой подать»). У Матусовского важная и значительная тема порою берется несколько поверхностно («Фронтальная дружба»), его стих не всегда одинаково ровен, отдельные образы страдают надуманностью (конец «Сестры», «Разговор с земляком»). У Суркова есть отдельные недоработанные вещи («Баллада о разведчике Пашкове»), «Их расстреляли на рассвете», попадают неотредактированные фразы, мало выразительные сопоставления. Но все это второстепенные моменты, не заслоняющие основного, все это легко устранимые недочеты. То же, что мы находим в книжке С. Васильева, свидетельствует о другом. Это, как мы уже говорили, — результат недостаточно серьезного отношения к материалу, небрежности и неряшливости, которую не может извинить никакая оперативность, никакая спешка.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЛЬЯ ЗРЕНБУРГ — Падение Парижа	3
Л. ПЕРВОМАЙСКИЙ — Цикл стихов	134
П. НИЛИН — Линия жизни, повесть	39
И. БЕЛЯКОВ — Снегурочка, стихи	174
О. ЧЕРНЫЙ — Прорыв	175

□ □ □

Стихи о Москве: С. ГАЛКИНА, ДЖАМБУЛА, СЕСАРА М. АРКОНА- ДА, Е. ШЕВЕЛЕВОЙ	185
В. ХОЛОДКОВСКИЙ — В те дни	189
Евг. СИМОНОВ — Крепость над рекой	212
М. ЗЕНКЕВИЧ — Слушайте все! стихи	244

□ □ □

Военинженер 1-го ранга П. ФЕДРОВИ — Англия в дни войны	245
--	-----

РЕЦЕНЗИИ

А. НАРКЕВИЧ — «Библиотечка газеты «Красноармейская правда»	274
С. РАЕВСКИЙ — Портреты пером	277
Н. НИКИТИН — Фронтные стихи	281



Редколлегия: Вс. Вишневский, А. Исбах, В. Лебедев-Кумач, В. Луговской, Е. Михайлова (отв. секретарь), А. Новиков-Прибой, Л. Тимофеев

12-й год издания. Тираж 30 000 экз. Подписано к печати 6/VI 42 г.
А 50261. Печ. л. 18. Авт. л. 26. В печ. л. 59 370 зн. Цена 10 руб. Зак. 300.

Набрано и сматрицировано в тип. «Известий», Москва, пл. Пушкина, дом 5.
Отпечатано с матриц в 18-й типографии треста «Полиграфкнига».

11 Москва, Щубинский пер., д. 10.

